

Апрель

Булат ОКУДЖАВА

Александр НЕЖНЫЙ

Николай ПАНЧЕНКО

Лев РАЗГОН

Александр АРОНОВ

Михаил КУРГАНЦЕВ

Владимир КОРНИЛОВ

Борис АЛЬТШУЛЕР

Лев АННИНСКИЙ

Андрей СИНЯВСКИЙ

выпуск третий

1990

Апрель

выпуск
третий

1991

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Главный редактор
А. И. ПРИСТАВКИН

Редколлегия:
Ю. В. АНТРОПОВ,
В. И. ВИНОКУРОВ,
Г. В. ДРОБОТ
(ответственный секретарь),
И. И. ДУЭЛЬ
(заместитель главного редактора),
Л. А. ЖУХОВИЦКИЙ,
А. П. ЗЛОБИН
(первый заместитель главного редактора),
Я. А. КОСТЮКОВСКИЙ
А. В. МАЛЬГИН,
Н. В. ПАНЧЕНКО,
А. А. ЧЕРКИЗОВ

Художник
А. Ю. ЛИТВИНЕНКО



МОСКВА 1991

ББК 84.3(2)7
А77

«Апрель» издается издательской группой «Движение „Писатели в поддержку перестройки“» («Апрель») совместно с советско-британским издательством «ИНТЕР — ВЕРСО».

Все произведения печатаются в авторской редакции. Редколлегия альманаха несет полную ответственность за содержание выпуска.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

А77 Апрель: Литературно-художественный и общественно-политический альманах: Выпуск третий. — М.: «Интер — Версо», 1991. — 320 с.

ISBN 5-85217-006-2

Третий выпуск альманаха «Апрель» составлен из произведений писателей, входящих в «Движение „Писатели в поддержку перестройки“» («Апрель»). В первом разделе — поэзия и проза: стихи Булата Окуджавы, Владимира Леоновича, Татьяны Кузовлевой, Александра Аронова, Владимира Корцилова, повесть Александра Нежного, отрывки из романа Леонида Лиходеева, рассказы Асара Эппеля. Во втором разделе: публицистика — статьи Бориса Альтшулера и Георгия Полонского. Третий, критический раздел представлен статьями Льва Аннинского, Андрея Синявского и Семена Липкина. Завершает альманах «Молодой Апрель».

Для широкого круга читателей.

А 4702010201-004
Интер-Версо-91

ББК 84.3(2)7

© Советско-британское издательство «ИНТЕР — ВЕРСО», 1991

© Движение «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»), 1991

ISBN 5-85217-006-2

Содержание

Credo Анатолий Приставкин. Слово 4

1.

<i>Булат Окуджава</i> . Чувство собственного достоинства. Стихи	7
<i>Александр Нежный</i> . Проросшее семя. Повесть	13
<i>Николай Панченко</i> . Пятнадцать стихотворений	91
<i>Лев Разгон</i> . Страх. Рассказ	98
<i>Владимир Леонович</i> . Белый свет. Стихи	113
<i>Леонид Лиходеев</i> . Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала. Отрывки из третьей части романа (предисловие А. Борина)	117
<i>Татьяна Кузовлева</i> . Откуда это все теперь в народе. Стихи	146
<i>Асар Эппель</i> . Бутерброды с красной икрой. Одинокая душа, Семен. Рассказы	150
<i>Надежда Григорьева</i> . Фарисеи. Стихи	172
<i>Зоя Велихова</i> . Неосторожный шепот. Стихи	174
<i>Наум Мельников</i> . Там, где была война (из записок корреспондента)	176
<i>Юрий Каменецкий</i> . Стихотворение	190
<i>Александр Аронов</i> . Приметы весны. Стихи	191
<i>Михаил Курганцев</i> . Реплики	194
<i>Ян Гольцман</i> . Рябина. Стихи	202
<i>Сергей Яковлев</i> . Стихи	204
<i>Светлана Иванова</i> . Стихи	205
<i>Юрий Чирков</i> . Соловецкое лето (предисловие А. Приставкина)	206
<i>Владимир Корнилов</i> . Отрывки из поэмы. Стихи	227

2.

<i>Борис Альтшулер</i> . «...По ту сторону окна»	229
<i>Георгий Полонский</i> . Был у меня друг (о Камиле Икрамове)	256

3.

<i>Лев Аннинский</i> . Провал середины	263
<i>Андрей Синяевский</i> . Сны на Православную Пасху	296
<i>Семен Липкин</i> . Образ и давление времени (открытое письмо)	302

Молодой «Апрель»

<i>Надежда Ажгихина</i> . Перед рассветом. Рассказ	307
<i>Алексей Андреев</i> . Баба сеяла горох... Рассказ	316

Credo

Анатолий ПРИСТАВКИН

Слово

У русской литературы не было за всю ее историю такой передышки, чтобы она сама не страдала. Не преследовалась бы, не была угнетена. И всегда была она под особым охранительским полицейским глазом властей — монархии ли, большевиков, — стерегущим ее благопристойность, то бишь смиренность, пуще живота своего. А все оттого, что многие смуты на Руси начинались от книг и сами большевики начинались от книг, и эту свою школу очень даже хорошо усвоили: тут же, как сами стали у власти, взяли под особый жесткий контроль всю печать, литературу.

Максим Горький в своих «Несвоевременных мыслях» писал в 18-м году: «Я знаю, что они проводят жесточайший научный опыт над живым телом России...» Имея в виду все эти запреты. «Я нахожу, — говорил он, — что заткнуть рот «Речи» и других буржуазных газет только потому, что они враждебны демократии — это позорно для демократии. Разве демократия чувствует себя неправой в своих деяниях и боится критики врагов? Разве кадеты настолько идейно сильны, что победить их можно только с помощью насилия?»

«Они» — ясно кто, он их называл: «люди из Смольного», в их число входил, разумеется, и Ленин. Именно о нем писатель сказал: «древнерусская, удельная, истинно суздальская политика». И он же добавлял: «Я с горечью должен признать: враги — правы, большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов...»

Надо добавить: и уничтожили.

То десятикратно прополотое от инокомыслия поле, где что-то пусть жидко, пусть отдельными чахлыми кустиками росло, было окончательно вспахано в двадцатые-тридцатые годы при помощи репрессий, чтобы не только семечка живого, а памяти не осталось, а было лишь то, что искусственно посеяно под надзором такого великого селекционера-агронома большевиков, как ЧК—МВД—КГБ, и именуемое в дальнейшем «советской литературой», с психологией рабско-крепостной, с характером обслуги, которая живет от подачек и другого дела не знает, как воспевать эту новую большевистскую власть в наиболее громкой, доступной для нее форме. Так объявились в ней Марковы, Кожевниковы, Сартаковы, и принцип отбора по образу себе подобных (та же агрономическая селекция под руководством того же самого агронома) происходил десятилетиями, практически до наших дней. Чего же тут удивляться, что поточный стахановский

метод, начатый, увы, основоположником соцреализма Алексеем Максимовичем, привел к засилию творческого Союза нетворческими людьми. Да я лично, побывав одно время на заседаниях приемной комиссии, смог убедиться, как шли без всяких затруднений в Союз потоком дипломаты, военные, международные журналисты. Одного комсомольского босса приняли за брошюру, кстати, вряд ли даже им самим написанную. За этим буйным чертополохом реденькие кустики истинных художников не были видны. Да их и не забывали, как я говорил, пропалывать, чтобы не застили света своим кучным собратьям.

Не о такой ли литературе говорил Николай Гумилев: «дурно пахнут мертвые слова». Так вот я о слове. Но не о мертвом слове, а о живом — мертвечины, как говорят, вокруг хоть отбавляй, и запах трупный от тех разлагающихся слов еще не выветрился из Союза писателей.

Я не хочу вдаваться в нашу несчастную историю, я лишь о том, почему мы, интеллигенция, творцы, люди искусства и культуры, такими явились на свет. Мы изначально, еще в зародыше напуганы, и наша причудливо выкрученная, деформированная будто в фантазиях Дали душа не способна породить свободную литературу, мы не знаем, мы лишь догадываемся, что она такое. Но мы всегда догадывались, что спасение идет через СЛОВО. В сталинских лагерях, где еще оставались люди культуры, редчайшие, драгоценнейшие представители серебряного века, такие как Нина Ивановна Гаген-Торн, этим лишь и могли выжить. В воспоминаниях о ней так и сказано: «Может быть, потому и не сошел наш народ с ума, что находил спасительное убежище в творчестве, в Слове... И не в том ли печальная разгадка такой особой склонности нашей к литературе?»

У Анны Ахматовой есть стихи (цитирую по памяти):

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле — печаль,
И долговечней — царственное слово.

Но те, кто раньше других догадался, кто искал в слове спасения, раньше других опознавались системой. Мы, наверное, единственная страна, где за слово казнили, убивали, ссылали. Причем, не только за слово сказанное, но и за слово услышанное. В тяжкие нынешние времена, когда в стране безвластие и безверие, а вера в слово политиков тоже окончательно подорвана («дурно пахнут мертвые слова»), еще возможно спастись живым словом, которое могли бы произнести писатели.

«Главный рычаг образования души есть несомненно слово» — так писал Чаадаев. Подчеркну: ОБРАЗОВАНИЯ ДУШИ, а не тела. Говоря о действенном слове, я не имею в виду всякие там экономические выкладки, которые тоже нужны, не про мемуары и документы времени, я говорю про слово веры, про слово милосердия, про все, что способно смягчить человеческие нравы и внушить людям надежду на будущее. Внушить не при помощи вранья, а при помощи правды, одухотворенной желанием помочь своему народу.

В этом плане можно и нужно говорить и о литераторах, которые поставлены ныне в экстремальные условия и тоже нуждаются в защите. Они способны защищать других, но сами они не умеют защищаться, ибо сама их профессия обрекла их на вымирание.

Понимать меня следует так: если бы эти люди были практичны, если бы они умели оттирать ближнего от кормушки, они бы никогда не стали писателями. Последнее, если мы говорим о настоящих писателях,

исключает полностью приспособленность к жизни. Система, кстати, это знает и успешно использует в своих целях. А цель ясна.

Я хочу, чтобы читатель расслышал мою тревогу о судьбе тех писателей, которые сегодня еще живы, но завтра могут уйти, не выдержав насилия, как ушли Шукшин, Трифонов, Шаров, а недавно Эдельман, Раиса Орлова, Довлатов...

Уж больно непомерна и велика нагрузка на душу, на ту самую творческую душу, которой целиком и нет, одни клочки, а она все рвется и рвется.

Но ныне предстоит перенести еще удар, который сравним лишь с блокадой в дни войны, ибо по велению властей (а разве можно ждать от них иного!) творчество сажают на голодный паек, введя драконовские налоги и этим приравняв его к ненавистным им же кооператорам. А для злейшего контроля набрали военизированную налоговую рать более ста тысяч числом, которая с приученной жестокостью будет собирать остатки от ограбленного ими же при изданиях гонорарных крох. А ведь по последней статистике средний заработок среднего литератора не поднимается выше ста рублей. А это, как утверждают экономисты, уже у черты нищенства.

По американским подсчетам, своих мы до сих пор не знаем и не скоро узнаем, судя по всему. Кстати, мы не одни такие бедные, таких по Союзу не менее 80 миллионов человек. Единственно, чего мы лишены — это возможности бастовать, как это делают мои друзья — шахтеры из Воркуты. Нас мало, мы разрозненны.

Но далее грядет рынок, бедственное положение с бумагой усугубится, а без дотации на этом рынке хорошей книге может и вовсе не хватить места. Даже на цивилизованном Западе искусство и литература не существуют без дотации, а у нас же при власти партийной монополии типографии опять будут выборочно печатать СВОЮ литературу, СВОИХ писателей, я уж не говорю про молодежь, которая, судя по всему, обречена.

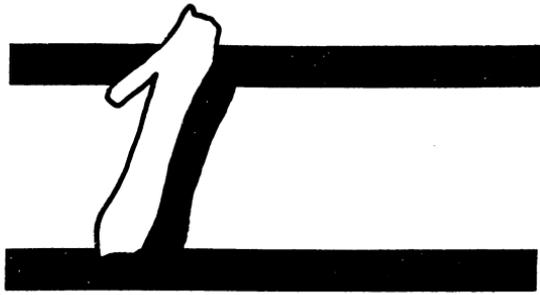
Генрих Бёль с удивлением констатировал, что писатели из тоталитарных режимов обращаются к Богу, а писатели из свободных стран к неверию...

А к кому же нам еще обращаться!

Сейчас происходит «утечка мозгов» и это при том, что мы уже давно в дефиците по этой части. Уезжают-то лучшие, я уж не говорю, что это молодые и работоспособные люди, но уезжают снова (в который раз) писатели, вообще люди искусства. Мы всегда писали о трагедии отъезжающих, но ведь существует трагедия остающихся. Как возможно нам выжить и спасти себя, если станет некому произнести спасительное охраняющее слово? Без надежды-то как?

В знаменитом фильме Тарковского о Рублеве в запустелой стране ищут мастера, который бы умел лить колокола, с этого начинается возрождение Руси. Такого мастера вроде бы находят, мальчишку по сути, который что-то знает, и то понаслышке!

Ах, как бы нам не пришлось по Руси собирать людей, умеющих писать и знающих, как звучит СЛОВО. Боюсь напророчить, но мы погибнем, если таких людей не станет. А к этому все идет.



Булат ОКУДЖАВА

ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА

Б. Ахмадулиной

*Чувство собственного достоинства — вот загадочный инструмент:
создается он столетиями, а утрачивается в момент.
Под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую ль болтовню
иссушается, разрушается, сокрушается на корню.*

*Чувство собственного достоинства — вот загадочная стезя,
на которой разбиться запросто, но с которой свернуть нельзя,
потому что без промедления, вдохновенный, чистый, живой,
растворится, в пыль превратится человеческий образ твой.*

*Чувство собственного достоинства — это просто портрет любви.
Я люблю вас, мои товарищи — боль и нежность в моей крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого, ничего
не придумало человечество для спасения своего.*

* * *

Анджею Мандальяну

По Польше елочки бегут. Над Польшей птицы пролетают.
Видны задумчивые лица и голубые небеса.
И снова сводит нас судьба, и эти встречи обещают
любовь, и слезы, и надежды, и неземные чудеса.

Когда бы грянул яркий свет, чтоб жить нам в идеальном мире
среди нетоптаной природы, не зная горечи разлук!..
А тут хотя бы так, мой друг, в твоей прокуренной квартире,
в твоих выдавших виды креслах согрело б нас пожатье рук.

Не будем плакать о былом. Пускай всё так — и это дело.
Успеть бы сердцем поделиться, последний снег смести с крыльца...
По Польше елочки бегут, и, значит, Польшка не сгинела,
а если Польшка не сгинела — еще далеко до конца.

* * *

Вроцлав. Лиловые сумерки.
Первые соки земли.
Страхи вчерашние умерли,
Новые — где-то вдали.

Будто на мартовском острове,
Не расставаясь, живем,
всё еще братьями-сестрами
гордо друг друга зовем.

Нашу негромкую братию
не погубило вранье.
Всё еще, слава Создателю,
верим в спасенье свое.

Сколько бы мартов ни минуло,
как ни давила бы мгла —
только бы Польшка не сгнула,
только б Россия смогла.

* * *

Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, изумляться,
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.

Он благоуханием так умашен,
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.

Париж для того, чтоб, забыв хоть на час
борения крови и классов,
войти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
где ждет меня Вика Некрасов.

* * *

Пишу роман. Тетрадка в клеточку.
Пишу роман. Страницы рву.
Февраль к стеклу подставил веточку,
чтоб так я жил, пока живу.

Шуршат, шуршат листы тетрадные,
чисты, как аиста крыло,
а я ищу слова нескладные
о том, что было и прошло.

Но вам как бы с полета птичьего,
мерещится всегда одно —
всё то, что было возвеличено,
всё то, что в прах обращено.

Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слезы лью,
что я люблю отчизну бедную,
как маму бедную мою.

* * *

Мне нравится то, что в отдельном
фанерном домишке живу,
и то, что недугом смертельным
еще не сражен наяву,
и то, что погодам метельным
легко предаюсь, без затей,
и то, что режимом постельным
не брезгую с юных ногтей.

Но так, чтобы позже ложиться,
и так, чтобы позже вставать,
а после обеда свалиться
на жесткое ложе опять.
Пугают меня, что продлится
недолго подобная блажь,
но жив я, мне сладко лежится —
за это чего не отдашь?

Сперва с аппетитом отличным
съедаю нехитрый обед
и в пику безумцам столичным
ныряю под клетчатый плед.
А после в порыве сердечном,
пока за глазами черно,
меж вечным и меж быстротечным
ищу золотое зерно.

Вот так и живу в Подмоскowie,
в заснеженном этом раю,
спасая судьбу и здоровье
и душу смиряя свою.
Смешны мне хула и злословье,
и сладкие речи смешны.
Слышны мне лишь выхлопы крови
да арии птичьи слышны.

Покуда старается гений
закон разгадать мировой,
покуда минувшего тени
плывут над его головой
и резкие вспышки прозрений
теснят его с разных сторон,
мой вечер из неги и лени
небесной рукой сотворен.

И падает, падает наземь
загадочный дождик с небес.
Неистовой он раз за разом,
хоть силы земные в обрез.
И вот уж противится разум,
и даже слабеет рука...
Но будничным этим рассказом
я вас развлекаю слегка.

На самом-то деле, представьте,
загадочней всё и страшней.
И голос фортуны некстати,
и черные крылья за ней.
И вместо напрасных проклятий,
смирив слепой их обвал,
бегу от постыдных объятий
еще не остывших похвал.

Во мгле переделкинско́й пущи,
в разводах еловых стволов
чем он торопливей, тем гуще
поток из загадок и слов.
Пока ж я на волю отпущен
и слово со мной заодно,
меж прожитым и меж грядущим
ищу золотое зерно.

* * *

Когда известный русский царь в своей поддевочке короткой
ушмешкой странной на губах и журавлиною походкой
напоминаая давний свой портрет в ореховом овале,
входил в присутствие, то все присутствующие вставали.

В присутствии вставали все, хоть на царе была поддевка.
Неважно, что тайлось в ней: дань старине или издевка.
Не думая, как взглянем мы на них — с надеждой или с болью, —
они вставали, словно лес, и ран не посыпали солью.

Присутствующие тех лет, предшествующих тем и прочим,
не оставлявшие следов достойных у порогов отчих,
стремятся в райские врата, все гимны скопом прооравши,
киркой, лопатой и пером ни разу рук не замаравши.

И мы, присутствуя при сем со дня рожденья и до смерти,
так расточительны подчас и так жалки в своём усердье,
что лишь по нашему труду, по нашей лишь недоброй воле
растет, растет цена на соль тем более, чем больше боли.

* * *

Б. Чичибабину

Я вам описываю жизнь

свою и больше никакую.

Я вам описываю жизнь

свою и только лишь свою.

Каким я вижу этот свет, как я люблю и протестую,
всю подноготную живую у этой жизни на краю.

И с краюшка того бытья, с последней той ступеньки шаткой
из позднего того окошка, и зазывая, и маня,
мне представляется она такой бескрайнею и сладкой,
как будто дальняя дорога опять открылась для меня.

Как будто это для меня: березы белой лист багряный,
рябины красной лист узорный и дуба чёрная кора,
и по капризу моему клубится утренник туманный,
по прихоти моей счастливой стоит сентябрьская пора.

Послание литераторам

Проклятья и злоба, и месть, и бои.

Впавалку лежат те и эти...

Когда ж осознаем, что все мы — свои,
что мы лишь и есть на планете?

Зачем искушать нам фортуна свою?

Пусть Бог нам труды подытожит.

Ну ладно, допустим, врага я свалю —
ведь это писать не поможет.

А нужно всё-то того не забыть,

что короток миг этот пестрый,

друг друга жалеть, ну пускай не любить...

Подумайте, братья и сестры!

* * *

Я рад бы был покоем восхититься,
но нет его — тяжки судьбы удары.

Простите меня, турки-месхетинцы,
простите меня, крымские татары.

Когда вас под конвоем вывозили,
когда вы на чужбине вымирали,

вы ведь меня о помощи просили,
к о мне свои ладони простирали.

Когда на мушку брали вас подонки,
вы ведь меня просили о защите...
Когда-нибудь предъявят счет потомки
мне одному...

Я вас прошу: простите!

* * *

Прощайте, стихи, ваши строки и ваши намеки, и струны,
и ваши вулканы погасли, и, видимо, пробил тот час...

И вот по капризу природы, по тайному знаку фортуны
решается эта загадка:

кто будет услышан из вас.

Когда вы так странно рождались, как будто входили без спроса,
как будто с блаженной улыбкой с господского ели стола,
вам всё удавалось отменно, и были наглы вы,

а проза

была словно нищенка нема и словно подачки ждала.

Но вот словно молнии стрелы в глазах неподвижных проснулись,
но вспыхнули, зарозовели неюные щеки ее.

И тотчас гусиные перья шершавой бумаги коснулись,
и тотчас ушли, не прощаясь, и быт, и беда, и вранье.

А там уж как Бог пожелает, а там уж как время захочет,
а там — что подскажет природа, а там — что позволят грехи...

Покуда шершавой бумаги хоть каплей слезы не омочит,
кто знает, что проза такое? Кто знает, что значит стихи?

* * *

В. Корнилову

Хрипят призывом к схватке глотки,
могилам братским нет числа,
и вздернутые подбородки,
и меч в руке, и жажда зла.

Победных лозунгов круженье,
самодовольством застлан свет...
А может, надобно крушенье,
чтоб не стошнило от побед?

Нам нужен шок, простой и верный,
удар по темечку лихой.
Иначе — запах ада скверный
плывет над нашей головой.

Проросшее семя

Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным миром иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе.

Ф. М. Достоевский
(«Братья Карамазовы»)

О, мое детство, чистота моя!

А. П. Чехов («Вишневый сад»)

Однажды вечером позвонили, и мужской голос, мне будто бы вовсе не знакомый, но в то же время вызвавший смутное ощущение, что где-то и когда-то я его слышал, произнес: «Ну-ка, Васильев, расскажи нам, что тебе известно о Куликовской битве?» «Кое-что», — осторожно сказал я, силясь припомнить, где ж все-таки слышал я этот голос. «Ну-у... Это не ответ для историка. А уж Николай Кузьмич два балла тебе бы точно вlepил». «Ким, — ахнул я. — Петя!» И Петя Ким, бывший мой одноклассник, довольно захохотав, объявил, что все решено и подписано и на ближайшую пятницу у него в Большом Тишинском назначен сбор. «Кимарик, ты гений, что меня нашел», — сказал я, спросил, кого удалось отыскать, услышал в ответ, что будет человек десять — двенадцать, в том числе Василий Григорьевич Мухин, математик и классный наш руководитель, по-школьному — Вася Блаженный, и после этого не только поклялся, что явлюсь даже в землетрясение, но и вызвался предупредить Орлову и Мартынова.

И в пятницу вечером от площади Восстания я поднимался вверх по Большой Грузинской, по левой ее стороне — мимо ограды зоопарка, Георгиевского сквера и мрачного дома сразу за сквером, в котором в школьные времена жила Наташа Орлова... Тени моей юности, погребенные в этой земле под грохот трамваев, грузовиков, автобусов с сомкнутыми устами терпеливо лежащие в ней, в их вечное успокоение, почти каждый год заливаемое жарким потоком асфальта и прокатываемое чудовищно тяжелыми катками... тени моей юности поднялись, окружили меня, и, внимая их невнятному шепоту, то и дело лоя себя на беспричинной улыбке, я прошел сначала вдоль Большой Грузинской, а затем налево и вниз по Большому Тишинскому переулку, до пятиэтажного дома-скворечника, в котором обосновался бывший мой одноклассник корейский мальчик Петя Ким.

Он и открыл мне дверь, чуть постаревший корейский мальчик, и, радостно скаля белые зубы, завопил:

— Великий историк прибыл! Наш Нестор!

— Ну, ты силен, Петя, — только и мог сказать ему я, а он уже тащил меня в кухню.

— Пойдем, я тебя с женой познакомлю.

— Петя, Петя, — говорил я, послушно двигаясь за ним, — над всяким из нас время имеет власть, а тебя, похоже, сберегает твоя вечная утренняя свежесть.

— А ты думал! — кричал в ответ Петя, преуспевающий в области физики металла и уже три года кандидат технических наук — впрочем, он и в школе шел сильно.

...Сидел в среднем ряду на первой парте — вспомнил я прилежную его спину в серо-синем форменном кителе, оттопыренные уши и черные, торчком стоящие волосы.

А из кухни при нашем появлении шагнула навстречу мне маленькая женщина в белой блузке и брюках и, протянув руку, сказала:

— Мэри... А вы — Саша Васильев? Я читала вашу статью в «Вопросах истории». Я тоже историк.

Появился в дверях Мартынов, рядом с которым уже после восьмого класса все мы ощущали себя недомерками, и, увидев меня, проговорил, хмуря белесые брови:

— Пришел наконец! Мне велел не опаздывать, а сам?

И здоровенной ручищей обхватил меня за шею, без видимых усилий притянул к себе. Любил Мартын Мартыныч хвалиться силой, еще в школе любил!

— Кимарик, ты хозяин, уйми злодея! — я взмолился, и Петя замолвил слово:

— Валер, он опоздал, но заслуживает снисхождения. Вот Кисель придет, ему надо как следует, чтобы совесть знал.

— Будьсделано! — пообещал Мартынов и выпихнул меня в коридор.

— Наташка пришла? — спросил я.

— Пришла. Мать у нее в больнице, знаешь?

Я кивнул и шагнул в комнату, где уже накрыт был стол и где собрались все наши...

— Сидите, дети, сидите! — громко сказал я, в один взгляд пытаясь вместить все лица и сразу же узнать — а не узнать, так угадать, живой водой сбрызнуть и воскреснуть в сердце и памяти, — с кем из моих одноклассников свела меня сегодня судьба.

— В дневник записать! Родителей вызвать! На комсомольском собрании обсудить! — неслось меж тем отовсюду, я отмахивался, отшучивался, а в потрясенной душе уже теснило и жгло: что же с нами стало? И что вообще и всегда делается с людьми, если лишь самая малая их часть сохраняет в зрелости отблеск чистого и трогательного облика своего детства? Когда в метро напротив меня усаживается со своим отцом какой-нибудь шестилетний отрок, из глаз которого сияющим потоком льется на весь мир ангельский свет, тяжелое чувство овладевает мной — в эти минуты, наблюдая за отцом и сыном, я становлюсь печальным ясновидцем и почти прозреваю тайну великой подмены, от рождения совершающейся в человеке и час

за часом, год за годом пересеваящей изначала брошенные в его сердце семена.

Велика цена нашему умудрению!

— Ну, здравствуй! — протянул мне руку почти лысый, с усами, почему-то оказавшимися рыжими, а вплоть до десятого класса худенький, прозрачно-бледный, с головой, всегда склоненной к плечу, коварный скромник Володя Гусев.

— Гусев! Усы-то зачем? — пожимая холодную ладонь, спросил я.

— А как же! Компенсаторно! — с важностью ответил он, и я, усмехнувшись, объявил, что с Гусевым теперь шутки плохи.

А та, в желтом платье, с круглыми, близко поставленными глазами и острым носом, еще более делающим ее похожей на птицу, — это, без всякого сомнения, Евдокимова, по поводу которой на исходе последней школьной зимы в тесном кругу любимых учеников Блаженный Вася сказал, прижав руки к груди и обведя всех виноватым взором:

«Все эти годы, — покаянно шепнул он, — я едва сдерживался, чтобы не стукнуть ее по голове. Она ничего... ну совершенно ничего не понимает!»

— Мадам, — наклонившись к ней, сказал я, — надеюсь, ваша жизнь протекает приятно?

Она засмеялась:

— Очень, Саш!

— Имей в виду, Васильев, — подошел к нам Сева Чернов, высокий, сутулый, с темными, лишенными блеска глазами, — перед тобой женщина невиданного в наши дни чадородия!

— Дурак ты, Севка, — беззлобно ругнула его Евдокимова.

— Так сколько у тебя? — спросил я.

— Трое. Два парня и одна девка. А у тебя?

— Увы, Леночка! Никак с духом не соберусь.

— Дурацкое дело нехитрое, — сказал Сева и хлопнул меня по плечу. — Ну как? Все издеваешься?

— Над кем, Сева?

— Над историей, над кем же еще?

Но, оттеснив Чернова, с криком «Дай обнять друга!» подлетел и в самом деле обнял и даже поцеловал меня, дыхнув ужасающим перегаром, Боб Беляков, неизменный сосед мой по парте и приятель.

— Боб, — засмеялся я, — ты, никак уже опохмелился...

Он проговорил небрежно:

— Не бери в голову, дед. Был вчера на защите, потом, сам понимаешь, банкет в «Праге», ну и последствия...

С твердым прищуром смотрел на меня Боб, ну, немного припухший, ну, чуть полинявший, — да и кто из нас не поблек, не обесцветился за эти годы, — но все такой же ловкий, уверенный — сколько раз, едва перелистав учебник, выплывал, вытягивал на «тройку» и шел от доски, победно подмигивая зеленым глазом, а усевшись за парту, пихал меня локтем в бок: «Учись, пока я жив!» И одет хорошо: пиджачок замшевый модный, рубашка черт-те какая с цветочками на воротнике, галстук — картинка с выставки, а не Боб Беляков!

— А ты где обмывал? — спросил Боб и вытащил из замшевого кармана пачку «Кента». — Кури...

— Обмывал... Рожу в сортире — после того, как мне ее на ученом совете расквасили.

Он соболезнующе покивал.

— Обидно, дед.

— Ништо, Боря! Истина дороже степени — за нее и мýку принять похвально... А ты — остепенился уже?

— Я думаю, через полгода... Да у меня все на мази, дед, все! — Он подошел вплотную и зашептал, задышал на меня алкогольным запахом. — У меня руководитель, доктор, — мужик, Сань, в большом порядке! Мы с ним такую тему оторвали... Я через год, через два... — Тут он двинул острым кадыком, торопливо слотнул и продолжал, поглядывая по сторонам: — Да ты услышишь, узнаешь! Что там Кимарик этот... Или Смага... Подумаешь!

А Смага, гладко причесанный, важный, выйдя из другой комнаты, уже помахивал мне и пенял Белякову:

— Боря, ты ведешь себя неприлично. Ты прилип к Саше и не даешь ему поздороваться с обществом.

Но голос, голос прорезался у него! Временами как бы рокоток чуть погромыхивал внутри, на самых глубоких, самых нижних тонах: большим искусством овладел Гена Смага, тихий, хорошенький мальчик, утешение одинокой мамы...

— Понял, дед? — словно не слыша его, внушал мне Боб. — Я тебе точно говорю: два года — и ты узнаешь!

— Беляков, ты увлекся, — еще раз напомнил ему Смага, на что Боб, поморщившись, отвечал:

— Когда встречаются два старых друга, третьему между ними делать нечего. Ясно, Асуан Евфратыч?

— Ты что-то путаешь, Боб, — с мягкой улыбкой возразил Смага. — В школе, если не ошибаюсь, мы все дружили.

— Ошибаешься! — надменно произнес Боб.

Все с той же мягкой улыбкой развел руками Смага, а я тем временем спросил у него:

— Ген, а почему ты — Асуан Евфратыч?

— Школьный юмор... Узнали, что я работал на Асуане, — и, пожалуйста, прозвище! Твой старый друг на своем неизменном среднем уровне, — чуть кивнул Смага в сторону Белякова, который отошел от нас и настойчиво предлагал сигареты некурящему Мартыну Мартыну.

Кто-то тронул меня за плечо, я обернулся — Оля Спирина стояла передо мной и, строго глядя мне прямо в глаза, говорила:

— Рада тебя видеть.

И я — я тоже рад был ее видеть, но лучше бы не встречаться мне с ней! Я виноват был — не перед ней, нет, а перед памятью Славы Аксенова, лучшего моего товарища трех последних школьных лет и ее друга, умершего от рака крови вскоре после того, как получили аттестаты, удостоверяющие нашу зрелость. Раз в год в день Славиного рождения, в сентябре, втайне от других уговорились мы с ней при-

ходить на его могилу, но однажды именно в эту пору оказался я в отпуске, в следующий раз попросту забыл и, спохватившись, дал себе нерушимое слово, что в будущем сентябре приду непременно, однако не пришел и тогда.

Только тем утешаюсь все эти годы, что хоть не хожу, но помню и помнить буду всегда. А сейчас, перед Олей, и на это утешение и оправдание не имел я права; пробормотав ей какую-то глупость, вроде того, что она хорошо выглядит, ринулся в другую комнату, где навстречу мне поднялся и пошел, широко раскидывая руки, совсем седой, со впалыми щеками, но бодрый — сам Василий Григорьевич Мухин, он же Вася Блаженный, с пятого класса учивший нас математике и жизни.

И в ту короткую минуту, пока мы шли навстречу друг другу и, сойдясь, встали почти вплотную, успел я разглядеть худую, индюшачью шею Блаженного Васи, стальные зубы и мутные с неожиданно блестящей слезой на них глаза — увидел я, обнимая его, почувствовал некоторое стеснение в груди. «Надо же! — подумал с удивлением и даже с насмешкой над собой. — Совсем как Василий Григорьевич...» Тот между тем всхлипывал и колол меня плохо выбритой щечкой.

— Я счастлив... я доволен... — невнятно говорил он куда-то в плечо мне, — я давно мечтал... увидеть тебя... всех вас...

За его спиной невесело улыбалась мне Наташа Орлова, а с ней рядом сидела женщина крупная, с округлым приятным лицом. Отлепившись от Блаженного Васи, с немалым трудом признал я в этой матроне Павлову Наташу, вплоть до десятого класса ходившую под именем «птичка-невеличка», и, подойдя ближе, с невольным почтением сказал:

— Экая ты стала большая.

— В самом деле! — восхитился вместе со мной Василий Григорьевич и поспешил прибавить, что узнать Павлову было ему нелегко.

И тут, словно бы для того, чтобы удостовериться, действительно ли перед нами та самая Павлова Наташа и не морочат ли нас какой-нибудь совершенно невероятной подменой, я почти машинально отыскал глазами ее левую ладонь и тотчас передернулся от пробежавшего по всему телу болезненного озноба. Еще в школе, стоило мне увидеть три ее пальца, почти целиком соединенные между собой узкими полосками бледной пупырчатой кожи и напоминающие перепонку или крыло какого-то давно вымершего гада, как в тот же миг ощущал я где-то в костях у себя промозглую зябкость наступающего гриппа. Но странно: это ее уродство одновременно и привлекало меня — вот почему и тогда, и сейчас трудно мне было отвести взгляд от левой ладони Павловой Наташи.

Между тем Блаженный Вася восторгался Орловой, дергал меня за рукав, громко смеялся и называл Наташу красавицей. Я взглянул попристальнее — и едва не ахнул от горестного изумления. Полгода, наверное, не видел я ее, и как же переменилась она с тех пор! И платье-то на ее плечах повисло, будто на вешалке...

— Она, Василий Григорьевич, конечно, красавица, но сегодня явно не в лучшей форме, — осторожно заметил я.

— Не до себя мне, — отмахнулась Наташа.

Распахнулась дверь, в комнату вступил Мартынов и, как дьякон в церкви, прогудел на самых низах своего голоса:

— К сто-олу-у-у по-ооко-орно-о-о про-сим...

Пока разбирались, кому где сидеть, определяли самое почетное место и усаживали на него Блаженного Васю, в глазах которого еще поблескивали не успевшие пролиться слезы, пока Боб Беляков отбивал себе стул рядом со мной, но в конце концов вынужден был смириться и отступить перед явно превосходящей силой Мартын Мартыныча, пока Смага наметанным взглядом осматривал приготовленную Петинной женой снесь, а Чернов мрачно откупоривал бутылки, пока не был еще провозглашен тост, Павлова Наташа, выбрав меня в собеседники, удовлетворенно проговорила:

— Приятно, когда сбываются мечты и осуществляются идеи.

Я взглянул с недоумением, а она сказала:

— А ты не знал? Это же моя мысль — организовать наших. Сбор, конечно, не стопроцентный, но все-таки... Тебя, например, я тысячу лет не видела.

И с выражением искренней приязни в синих, очень ясных глазах коснулась моей руки своей левой ладонью. Тотчас охватило меня сильнейшее желание отдернуть руку, но я перетерпел, улыбнулся и сказал, что идея в самом деле замечательная. И лишь затем, спросив Павлову, где она служит, полез в карман за носовым платком.

— Ни за что не угадаешь! — смеясь, сказала она, и ее лицо порозело. — Профсоюзный бюрократ — вот кто перед тобой. Заведую отделом легкой промышленности в горкоме.

— По местам! — гаркнул наконец Мартын Мартыныч, и Павлова Наташа, еще раз обласкав меня взглядом ясных синих глаз, отправилась к своему стулу — рядом с Васей Блаженным, который со счастливой улыбкой озирался вокруг.

Я сел между Мартыновым и Орловой, и пока Валера, самовластно взяв застолье в свои руки, отдавал последние распоряжения, посылал Кима на кухню за недостающим ножом, кричал Гусеву, чтобы тот прекратил закусывать, громогласно благодарил Мэри за прекрасный стол и грозил одиночной камерой тому, кто зальет белоснежную скатерть, я шепнул Наташе:

— С мамой не лучше?

— Хуже, — сухим голосом сказала она. — Никакой надежды. И самое жуткое — ничем... ничем нельзя помочь! У нее боли ужасные, она сутками глаз не смыкает, а я рядом и ничегошеньки не могу.

Веки у нее мгновенно покраснели, она опустила голову.

Она моя ровесница, Наташа Орлова, — стало быть, скоро тридцать два... В десятом классе был у нас с ней роман, я провожал ее, ходил к ним в гости. Маму ее я почти не помню, зато хорошо помню отца, лысого, с огромным животом, какого-то важного начальника в каком-то министерстве, и бабу, высокую, тощую старуху поразительной скупости. Несколько раз встретив ее на Тишинском рынке,

одетую хуже последней нищенки, я спросил у Наташи: «Чего это твоя бабка под бедную работает?», — на что получил от нее сердитый ответ: «С колхозниками, видите ли, ей торговаться так легче»... Но разве есть хоть что-нибудь общее между быстрой, темноглазой, прелестной девочкой-десятиклассницей, к которой тянула меня моя юная плоть, и этой исхудавшей женщиной с выпирающими ключицами и вздувшимися на шее венами? И тот семнадцатилетний, румяный, пухлогубый мальчик, под звонкий гул вечерних трамваев рука об руку гулявший с Наташей по Большой Грузинской, — разве можно сказать о нем, что он — это я? Я словно родился заново с тех пор и теперь, оборвав с ним всякую связь, как чужого, но бесконечно, до тайных слез мне милого вижу его, на все оставшиеся мне дни покинутого мной там, в полусумраке Большой Грузинской, рядом с девочкой, от каждого взгляда на которую у него смятенно и радостно замирает сердце. Не зная будущей моей грусти о нем, он счастлив — моим самым светлым, ничем не замутненным, единственным в жизни счастьем.

— Терпи, — сказал я. — Мудрые люди, они, знаешь, что говорят? Душа от всего растет, всего же сильнее — от боли.

— Теперь я... Я! — оглушительно закричал Петя Ким. — Ребята! На правах хозяина...

— Хозяин — барин. Говори, — вельможно кивнул ему Валера.

— Ребята! — повторил Петя, одной рукой отбрасывая со лба черные, с бобровой проседью волосы, а другой поднимая рюмку. — Я буду краток, как формула. Всего два слова: за учителя!

— Ура, — мне показалось, с насмешкой сказал Чернов и выпил первым.

Все остальные потянулись чокаться с Василием Григорьевичем. Он кивал, худая рука его заметно вздрагивала — взволнован был не на шутку. Бедный Василий Григорьевич, десятилетия, из урока в урок по доброй воле распинавший себя на грубо сколоченном кресте арифметики, алгебры и геометрии, — ему час звездный это наше сборище! Вспомнили... позвали! — стало быть, вправе он верить, что сел — и вот взросло, возмужало, укрепилось, и своей жизнью длит его, меркнушую...

— Такие встречи... награда за все... Ничего другого учителю не надо, уверяю вас! Я счастлив! — прерывающимся голосом воскликнул Блаженный Вася. — Я по-настоящему счастлив... сегодня здесь... вместе с вами... Вы знаете, я подумал: могу умирать.

— Ну, Василий Григорьевич, что это вы, в самом-то деле! — первой возмутилась Евдокимова и рассерженно вытаращила на всех нас круглые глаза: почему не возражаем, почему попустительствуем этому явному упадку духа?

Подняв брови и словно додумывая какую-то давнюю свою мысль, молча слушал Василий Григорьевич наши протестующие возгласы, а затем, призывая к тишине, как на уроке, легонько стукнул по столешнице костяшками пальцев.

— Да, мои дорогие... Да и еще раз — да! Человек приходит к такой мысли, когда видит, что свое дело он сделал. Нескромно с мо-

ей стороны, наверное, так говорить... Но ведь если разобраться, другого дела, кроме вас, у меня не было! И я его сделал... и, кажется, неплохо, — сказал, просясь, Блаженный Вася.

— Ура! — провозгласил снова Чернов и, быстро налив себе, выпил.

Тут же обличил его Мартын Мартыныч:

— Ты почему, разбойник, всех добрых людей не ждешь?

— Я на добрых людей плевать хотел, я злой, — сказал и хрустнул соленым огурцом Сева Чернов.

— Мартын-то... А? Все видит! — восхитился Ким. — Профессионал!

— Шерлок Холмс тоже не работал в Скотланд-Ярде, ведь так, Василий Григорьевич? — сказал Смага, на что Блаженный Вася, порозовевший и помолодевший, замахал обеими руками и закричал:

— Какой разговор! Конечно!

— Володя, вас к телефону, — позвала Гусева Мэри, жена Пети.

— Кто?! — страшным голосом спросил ее Мартын Мартыныч.

Она ответила игриво:

— Девушка!

— Ну, Гусь, ты даешь! — молвил с одобрением Боб Беляков.

Поднимаясь со стула, скромно сказал Гусев:

— Чисто деловое, уверяю тебя...

— ... была в Филатовской... С прошлого года в Морозовской... — ответила Чернову Оля Спирина, и Евдокимова, услышав, воскликнула обрадованно:

— Оль! Ты, значит, детский доктор? Слушай, ты мою девку не посмотришь, а? Чего-то у меня дохлая какая-то...

— Посмотрю, — сказала Спирина и, взглянув на Блаженного Васю, проговорила с неожиданной на ее лице жесткой усмешечкой:

— Вот так, Василий Григорьевич. Своих нет — чужих нянчу.

— Все дети — божьи, — изрек Чернов, а Василий Григорьевич сказал, погрустнев:

— Своих, Оленька, у меня тоже не было. У меня вы — свои, вы все...

В дверь Петинной квартиры позвонили, Мартынов встал:

— Кисельников. Пойду шею мылить, чтоб не опаздывал.

— Верно! — крикнул радостно Петя Ким и вслед за Мартын Мартынычем кинулся в коридор — встретить Сережу Кисельникова и не пропустить экзекуции.

Слышно было: щелкнул замок, открыли дверь, раздались отчаянные вопли Кисельникова, схваченного железными руками Мартын Мартыныча, и восторженные крики Пети.

— С бедного Сережи не иначе как скальп снимают, — с улыбкой заметил Смага.

Там, в прихожей, все наконец успокоилось и зазвучал раскатистый глуповатый голос:

— Ребята! Я так спешил! Я прямо с аэродрома... Из Внуково... У меня двушки не было, я гривенником звонил, что еду, дозвониться не мог! Ребята! Здорово, что мы вместе!

С этими словами он вошел.

Меня словно столбняк поразил при первом же взгляде на него. И мысль скользнула: чужие люди вместо моих одноклассников приходят в Петину квартиру и по какому-то тайному сговору лишь притворяются, прикидываются знакомыми, непонятно зачем морочат меня.

Да в жизни не узнал бы я его, если бы вдруг встретил на улице! Толстый, обрюзглый человек в потертом синем аэрофлотовском мундире — вот кто появился на пороге вместо Кисельникова и стоял, растягивая в улыбке рот с толстой отвисшей нижней губой, какой и не было никогда у Сережи... Лишь многочисленные бледно-красные по краям ямочки — следы в одну весну вдруг воспалившейся юношеской крови, нарушившегося обмена веществ, бесплодного любовного томления, короче, следы некогда усевших лицо прыщей — лишь они позволяли угадать в этом грузном человеке Сережу Кисельникова, у которого в девятом, если не ошибаюсь, классе живого места не оставалось на щеках, подбородке, на лбу.

Жили с ним в одном доме, я знал его отца — маленького, всегда с чуть откинутой надменной головой подполковника с петлицами малинового цвета, сильно пившего и в пьяном виде с лютой злобой матерно ругавшего Сережину мать, свою жену Дагмару Васильевну. Причем, сколько бы ни пил, слова всегда выговаривал четко, держался прямо — только веки смыкались у него все теснее, он все сильнее откидывал назад голову и шел, будто не глядя, но уверенно, твердо. Всякий раз вводил его Сережа — класса, наверное, до восьмого, — давясь рыданиями, умолая: «Ну, папа! Пойдем домой!» — звал он, и я, припомнив двор наш, чугунной оградой отделенный от тихого тогда переулка, старух на скамейке, зловещими глазами колдуний прослеживавших каждый шаг мирных обывателей, словно наяву, поверх застольного гула услышал прерывистый, захлебывающийся тонкий голос: «Зачем ты так... Зачем?! Папа... Папочка!» С некоторых пор и, как мне кажется, именно с восьмого класса, когда Сережа раздался в плечах и на две головы перерос отца, водворение подполковника домой совершалось много проще. Ухватив отца за рукав, Сережа молча, с ненавистью тащил его к подъезду. Тот упирался, пытался вырваться, однако голову не опускал и отчетливо и тоже с ненавистью называл Сережу ублюдком.

— Ой! — первой сказала Евдокимова, простая душа. — Ты какой толстый стал, Сережа!

И захохотал, залился Боб Беляков, с трудом выговаривая сквозь смех:

— Ну, Кисель... Ну, потешил...

— Бог ты мой, — шепнула мне Наташа Орлова. — Что с ним стало?

Меж тем Сережа, оперевшись одной рукой о спинку стула, а другой — о край стола, навис над Блаженным Васей.

— Василь Григорьевич! Я вас вспоминаю часто! Правда. У меня дочка в первый класс пошла, я ей рассказываю, как вы нас учили...

Смага прервал Кисельникова:

— Сережа, оставь Василия Григорьевича в покое. Потом расскажешь о дочке.

— Генка! — расплылся Кисельников. — Здорóво! И Павлова здесь! И Орлова! Сашка! — кричал Сережа уже мне. — Здорóво! Спирина! Оля! Борька! Ребята! Ну как я рад!

— Остынь, Кисель! — остановил его Чернов. — Ты скажи, ты у нас кто будешь — летчик, кто ли?

— Севка! И ты здесь! — радостно отозвался Сережа и двинулся было к нему, но был перехвачен Мартын Мартынычем и водворен на свое место — в конце стола, рядом с Олей Спириной. Но и оттуда кричал Чернову: — А помнишь, мы с тобой в шестом классе курить бегали? И стекло в уборной разбили — помнишь?

— Ничего я не помню и помнить не хочу и не буду, потому что это все — сор и чепуха. Так ты все-таки кто — летчик?

— Это ты про что — про это? — ткнул Сережа пальцем в синий с золотыми нашивками обшлаг кителя. — Не-ет! Я летать до сих пор боюсь. Я просто в их системе работаю. Взлетные полосы строю.

— Штрафную ему, Мартын, чтоб взлетел! — под общий смех посоветовал Боб, на что Валера ответил с достоинством:

— Уже!

Проговорив негромко, но с достоинством: «Если позволите», поднялся Смага. Боб Беляков, перестав жевать, промычал поощрительно: «Давай, Асуан Евфратыч, толкни что-нибудь», но Смага на него даже не глянул и с легкой улыбкой начал так:

— Друзья! Надеюсь, вы не будете в претензии за это обращение... Что из того, что мы не виделись столько лет? Мы все равно остались друзьями, ведь всех нас объединяет общая и дорогая каждому память о школе. Вы, может быть, сейчас улыбнетесь, но я, например, из всего школьного прежде всего вспоминаю школьную дверь с ее ужасно тугой пружиной. Помните? О, это было гениальное приспособление! В первом классе я тянул за ручку обеими руками — и открывал с трудом. А Олечка Спирина — Оля, ты помнишь? — в первом классе однажды опоздала, и когда ее спросили: «Почему, что случилось?», сказала со слезами: «Дверь открыть не могла». Да, — вздохнул Гена Смага, — так было... Мы выросли, набрались сил и с каждым годом открывали нашу школьную дверь все свободней. И вот, с какой-то, честное слово, теплотой, с какой-то нежностью вспоминая сейчас ее, я не могу не подумать, что как раз за ней и началась наша дорога в жизнь. К этой дороге подготовила нас школа. Спасибо ей! — с чувством произнес Смага.

Я так и знал, что он вывернет именно на это. Хотя не мог он не понимать, что все ложь в его словах — даже дверь школьная, которая была всего-навсего глупостью безмозглого завхоза... Однако же некий символ представлял из нее!

— А вот интересно бы знать, — я сказал, — всем, наверное, интересно... как это, интересно знать, подготовила школа нашего друга Смагу к его такой успешной жизни? Что до меня, то я так и не смог ощутить на себе благотворное влияние родной школы. Был над нами один порядочный человек — я вас, Василий Григорьевич,

имею в виду... Был второй хороший человек — физик наш, Жиндяев Александр Иванович, но — увы! — пьяница... А остальные? Я как вспомню — мне тошно становится! У меня горечь во рту появляется только от мысли, каким все-таки убогим заведением была наша школа.

Чернов перебил меня.

— Ты закуси, — сказал он задумчиво, — вот и пройдет горечь.

— Непременно, Сева... Этот Бубликов, историк наш — Николай Кузьмич, кажется? — ну, помните: маленький, без единого седого волоса, а ведь ему за пятьдесят было, он еще девочек наших то за руку любил брать, то по плечу поглаживать — якобы по-отечески, разумеется.

Прыснула и тут же прикрыла рот ладонью Евдокимова, и внушительно постучал по столу пальцем Боб Беляков.

— Она еще смеется!

— Что он из истории сделал — подумать страшно! Он душу живую из нее вынул и в отхожее место сволок и там утопил — вот какая была его нам наука. История помогает человеку себя осознать, родить себя, если хотите... Все наши корни, все судьбы наши — в ней, в ее священном предании, мы все с ней связаны лично — и не такие уж болваны были мы в старших классах, чтобы не понять, не почувствовать это! Ему ведь только и надо было всего: семя этого отношения в нас бросить — и взросло бы, непременно взросло! А он вместо этого как напалмовой бомбой — все выжег! Я из школы когда вышел, твердо знал: история в лучшем случае нужна... ну как календарь на стенке, чтобы помнить, когда что было — когда Дмитрий Донской с татарами воевал, когда декабристы восстали, когда отмена крепостного права была, когда съезды партии собирались — все! А что там, за этим, какая жизнь, какая Россия — об этом и мысли не было. И правду ли говорят нам учебники, с ложью ее мешают или попросту и без зазрения совести врут — нам и это в высшей степени все равно было. В нас преклонения перед истиной не воспитано — оттого нас и сейчас только на то и хватает, чтобы по углам пошептаться...

— Васильев! — прервала меня Павлова Наташа и синим своим, очень ясным взглядом взглянула с осуждением. — Ты подумай, о чем ты говоришь!

Сразу же ответил ей Чернов:

— Стоит человеку сказать то, что он думает, как его тут же одергивают и велют подумать еще.

— Это в лучшем случае, — заметила тихо Оля Спирина.

— Точно! — подхватил и Боб Беляков. — Как в том анекдоте: не высовывайся!

Странно посмотрел на него и чуть усмехнулся Смага.

— Что такое, Асуан Евфратыч? Есть замечания? — спросил с вызовом Беляков.

— Да нет, Боря... Я так, — сказал и опять усмехнулся Смага.

— Ты не прав, Сева! — твердо проговорила Павлова Наташа. — Никто никого не одергивает. Просто меня удивляет Сашин нигилизм.

И в отношении школы, и в отношении жизни вообще. Конечно, Николай Кузьмич мог бы лучше преподавать историю, а Зинаида Владимировна — странно, почему Саша ничего не сказал о ней? — литературу, но главное, я считаю, не в этом. Мы же взрослые люди, и мы вполне можем вывить и оценить основное и главное, что было в школе и что она нам дала на всю жизнь. Я, разумеется, могу ошибиться, — сказала она тоном человека, которому и в голову не придет усомниться в собственной правоте, — но это, я считаю, чувство коллектива. Не надо улыбаться, Володя! — заметила и осудила она ядовитую ухмылку на бледном лице Володи Гусева. — У меня, я думаю, опыта работы с людьми побольше, чем у любого из вас, и я вполне убежденно говорю... да-да, вполне убежденно!.. что человек, сторонящийся коллектива, просто обкрадывает себя! Он делает свою жизнь значительно беднее!

— Что до меня, — решительно объявил ей на это Чернов, — так я лучше в одиночестве нищенствовать буду, чем богатеть с людьми, которые мне противны.

Гулко хлопнул его по спине Боб Беляков.

— Давай, Сева! Громи!

— Васильев прав: учились мы в учреждении безмозглом, — прибавил Сева, а Бобу сказал: — Убьешь одноклассника, обормот...

Я взглянул на Блаженного Васю: он сидел, понутив голову, сгорбившись, всем своим видом напоминая большую печальную птицу... Этими разговорами о школе мы, должно быть, как молодые хищники, мучаем, рвем его сердце. Всю жизнь вдальбивать, внедрять в умы, подчас совершенно неспособные помыслить хоть в малой степени отвлеченно, алгебраические квадраты и корни, геометрические построения и тригонометрические пространства, всю жизнь плясать у доски, стуча по ней крошащимся куском мела и обсыпая им всегда поношенные, лоснящиеся на заду брюки, всю жизнь выискивать среди нас и нам подобных математического гения, какого-нибудь ошеломляюще юного Галуа (о, я знаю — он втайне грезил этим, жаждал открытия, отблеск будущей славы которого отчасти высветил бы и его, и, не найдя никого, кто был бы одарен божественной легкостью познания, довольствоваться тяжело, по-вороньи вылетевшими из-под его крыла десятком кандидатов разнообразных наук) — каторга добровольная, вот что это такое. Но в добровольной каторге есть, я знаю, как бы приворотное зелье: и клянeshь, и грозишь отрясти ее прах — а все ж хоть проклята, но мила.

— За школу так за школу, — сказал я и кивнул примирительно Павловой Наташе, которая с готовностью улыбнулась в ответ.

Улыбнулся и Смага, гаркнул что-то развеселое Мартын Мартыныч, а из коридора под общий хохот крикнула Мэри:

— Володя! Гусев! Вас опять к телефону.

— И опять небось женщина, — уверенно проговорил Чернов. Загадочно промолчала на сей раз Мэри, однако сам себя выдал Гусев, лживым голосом сказав, что это исключительно деловое.

Ему вслед заорал Боб:

— Гусь, скажи секрет, чтобы женщины любили!

— Как-нибудь, Боря, как-нибудь, — уже из коридора ответил ему Гусев и — слышно было — нежно пропел в трубку: — Але-у-у...

Наташа Орлова тронула меня за плечо.

— А с тобой что стряслось, школьный ненавистник?

— Со мной? С чего ты взяла? Нормальная жизнь: день да ночь — сутки прочь... На службе терплю от начальства, дома терплю от жены, утешаюсь тем, что враги человеку ближние его, и кругом себя презираю. И все пытаюсь разгадать одну загадку... Да так, наверное, и помру, не разгадавши.

— Бедный ты бедный, — вздохнула она. — Давай помогу.

— Помоги... Какого слова для всего мира ждали от России все — от Чаадаева до Николая Федоровича Федорова?

— Ну, Саша... Не по моей части загадка. Я про Федорова этого твоего слышать не слышала. А знаешь, — тихо засмеялась она и, наклонившись ко мне, шепнула: — ты у Павловой спроси. Она-то наверняка тебе скажет.

— Она-то скажет...

«Она-то скажет», — уже про себя повторил я, искоса взглядывая на Павлову Наташу, которая, кивая, слушала о чем-то с жаром вещавшего ей Блаженного Васю и время от времени, должно быть, от полноты чувств произносила:

— Василий Григорьевич, мой дорогой, мы все и всегда гордимся своим замечательным учителем!

Птичка-невеличка, звериня лапка, у Блаженного Васи и пьяницы Жиндяева не вылезавшая из «троек», отыгрывавшаяся на литературе — благо классной даме, преподававшей ее, всего-то и нужно было от нас: образ Печорина, образ Онегина, образ Андрея Болконского и, разумеется, идейно-художественные особенности романа Горького «Мать», — бедный мой разум едва был в силах постичь, как выпросталась из этого довольно жалкого кокона столь впечатляющая особь с белой шеей и начинающим отвисать подбородком. Была, наверное, во всем этом некая подспудная закономерность, некое соответствие, можно даже сказать — гармония, а еще точнее — зов времени, определивший расцвет скудных достоинств Павловой Наташи. И не странно ли, что именно она, вдруг ощутив неясную тоску по навек ушедшей юности, спустя двенадцать лет додумалась посадить нас за один стол? А впрочем, что за вздор, что за нелепость: странно! С ее-то дикарской верой в насущную необходимость людского сообщества — как было не захотеть ей создать еще один коллектив: бывших одноклассников и, разумеется, единомышленников.

...Но дорого бы я дал за то замечательное стекло, которое мастер-блоха с чудесной ловкостью вставлял в глаз господину Перигрину-су Тису и которое открывало истинные мысли и сокровенные движения сердца каждого человека. И что бы я увидел тогда?.. Что?

Наташа Орлова

С девятого класса наши парты соседствовали, и я замечала иногда, что лицо Саши — в точности, как сейчас, — внезапно приобрета-

ло выражение совершенно отсутствующее... Далеко за пределами школьных стен бродила его душа, а сам он, застывшим взглядом уставившись в спину Мартынова, вряд ли что-нибудь видел и слышал. «Боря! — шепотом звала я тогда сидевшего с ним Белякова. — Скажи Васильеву, чтоб очнулся». «Не мешай! — приложив палец к губам, отвечал и зеленым глазом подмигивал мне Беляков. — Диогену хорошо в бочке».

Вот и сейчас... Первым моим бессознательным желанием было окликнуть Белякова и теми же словами... именно теми же, неистлелыми и словно сулящими нечто... словно тайный знак подающими и манящими надеяться и верить... словно подтверждающими нерасторжимое мое единство с той девочкой в школьной форме, о которой я вспоминаю лишь изредка и, вспомнив, тороплюсь внушить себе, что давно отжила она краткий свой век, мне в наследство оставив томительное ожидание счастья, мало-помалу переродившееся в глущую тоску, — точно теми же словами сказать, чтобы заставил Васильева очнуться, и услышать в ответ, что Диогену хорошо в бочке. И если бы я сказала, а Беляков отозвался, можно было бы поверить, что сбылось, исполнилось то главное, ради чего я шла сюда, к Пете Киму, — что время повернуло вспять и наша юность воскресла.

Но я молчала: голос как бы высох, слова не шли.

Я поняла вдруг, что не найду утешения даже в самом точном повторении минувшего, ибо стала совершенно чужой всему тому, что со мной и со всеми нами было. Ведь даже в зеркало я гляжу со странным, иногда почти враждебным чувством — словно та женщина с уядающим лицом, которая на меня смотрит, погубила девочку, в Георгиевском сквере целовавшуюся с Сашей Васильевым и мечтавшую о счастье.

Он славный был человек, Саша Васильев; старые книги читал и огорчался моему к ним равнодушию. Он и сейчас славный, но тоже — другой, и целовалась я совсем не с ним...

Моя мать в больнице, мне сказали — она умрет. Я прихожу к ней и уже с порога, увидев ее отекавшее, желтое, больное лицо, встретившись глазами с ее молящим, страдающим, странно посетлевающим взглядом, неволю себя улыбаться и говорить о каких-то совершенно пустых, ничтожных вещах и уверять, что сегодня она выглядит гораздо лучше. Не знаю, нужно ли ей все это; мне — нужно, иначе бы я не нашла в себе сил подавить слезы. (Непролитые, они теснят мне грудь все то время, пока я сижу у нее. Плачу я потом, по дороге домой, ни от кого не таясь. Встречные смотрят на меня — кто с жалостью, кто с удивлением. «Не плачь, тетя!» — утешил меня однажды маленький мальчик, после чего я разревелась еще сильнее — отчасти и от скорби по самой себе.)

В ответ на мои слова в глазах мамы мелькает иногда проблеск надежды, но гаснет мгновение спустя, и мама моя, безучастно внимая мне, слушает, догадываюсь я, лишь себя, свою постоянную мучительную боль. С трудом приподнимая ее отяжелевшее тело, я переодеваю маму, меняю простыни. И всякий раз одна и та же мысль приходит мне в голову: первым моим прибежищем на земле, думаю я,

было мамино тело, давшее мне жизнь, выносившее и выкормившее меня. (Странный сон изредка снится мне: я вижу себя младенцем, густая жаркая тьма окружает меня, и с каким-то сладким ужасом я сознаю, что еще не родилась, что мне еще предстоит появиться на свет... И я жду, жду с нетерпением, когда ж наконец начнется моя жизнь, и с этим ожиданием просыпаюсь.) Теперь оно угасает, и я, давным-давно, в незапамятные времена отпавшая, отделившаяся от него, давно не припадавшая к нему в твердой надежде, что в его тепле, в родных его запахах непременно найду для себя любовь и утешение, — я ощущаю вдруг, что с его исчезновением лишаюсь последней оставшейся мне защиты.

Чем ближе, чем явственнее мамин неизбежный уход, тем сильнее, крепче, неразрывнее становится моя связь с ней — словно ее и моя плоть опять соединились в одно, и их разделение, некогда уже совершившееся при моем рождении, с великой болью совершится снова: при ее смерти. Утешает же меня вот что. Всем существом сострадавая маме, ее мучением терзаясь сама, я пытаюсь вселить в нее уверенность, что все обойдется, она выйдет из больницы, будет жить. Я внушаю маме стремление жить — в то время как сама знаю доподлинно: радость, если она есть, — в бесконечной печали, и покой, если он достижим, — в отрешении от всего, что связано с тягой к жизни. И я верю, что мама моя на самом краю отчаяния как бы придет в себя, очнется и, вознесясь высоко-высоко, в бездонную высь, станет недоступна ни боли, ни сожалению, ни скорби, испытает невдомое ей во все ее годы чувство блаженства и покоя и радостно приемлет освобождающую ее смерть... Она отдала мне свой перстень, сказав, что пусть будет он для меня памятью о ней — как был для нее памятью о ее матери, моей бабке. «Тебе только некому его оставить», — с укором прибавила мама, не дождавшаяся от меня внуков. Перстень мне велик, сегодня я носила его к ювелиру, но опоздала и из-за этой ничтожной неудачи расстроилась едва не до слез. Мне кажется, когда я надену его, я всегда буду знать, о чем думает моя мама — и сейчас, в больнице, и потом... там, куда она уйдет и где преедет, и где встретит меня.

— Давай я тебя развлеку немного, а то ты прямо на глазах киснешь, — сказала Наташа Орлова и, пошарив в сумочке, извлекла из нее перстень — три тонких кольца, соединенные овальным щитком, по краям которого сплошь посверкивали прозрачные светлые камушки, а в центре, окруженный ими, рдел камень крупный, как бы с гребнем посередине.

— Красивый. — Я подкинул перстень на ладони. — И тяжелый. И дорогой, должно быть, чертовски, да?

Она пожала плечами.

— Понятия не имею, сколько стоит. Мама мне подарила, ей — бабушка. Но, конечно же, дорогой. Вот, смотри, мне еще бабушка рассказывала — а он ей от ее первого мужа или жениха достался, ну, там целая история, — смотри: эти вот, по краю, — бриллианты, а этот, крупный, — рубин, и очень хороший...

- Богатая невеста, вот ты кто.
- Теперь, думаешь, шансов у меня побольше?
- Отбоя не будет, я тебе говорю.

Протянул руку и взял с моей ладони перстень Мартын Мартыныч.

— А ну-ка! — И повертев перед собой так и этак, сказал небрежно: — Тыщи на две. А может, и на все четыре. Я один такой похожий видел, так его ювелир при мне как раз в четыре и оценил.

— Дай посмотреть, Валера, — попросила Оля Спирина.

Переходя из рук в руки и посверкивая под яркой люстрой то ослепительно-белым, то — изредка — кроваво-красным цветом, от которого у меня всякий раз тревожно замирало сердце, пошел по кругу перстень, и Наташе Орловой со словами «Изумительная работа!» вернул его Смага.

— А цена! — заулыбался во весь рот Кисельников. — Это ж надо... Четыре тысячи! — Он звучно поскреб в голове. — Сорок тысяч по-старому!!

— Ты, Кисель, лучше свою получку так считай — по-старому, — сказал Боб Беляков.

— А ее как ни считай, все равно мало, — ответил ему Сережа.

— Счастливая ты, Наташка, — проговорила Евдокимова.

— Да... — едва слышно вздохнула Мэри, жена Кима.

— Де-вочки, — укоризненно сказала Павлова Наташа, — я вас не понимаю. Какое счастье? Перстень? Хороший, конечно, но, честное слово, как-то странно даже. При чем здесь счастье? Верно, Василий Григорьевич?

Блаженный Вася неопределенно хмыкнул, но затем, как бы убоившись, что бывшие его ученики запоздало откроют в нем серебрюбца, торопливо кивнул.

— Да-да... Конечно.

— А мне вот, — мечтательно сказал Сева Чернов, — сон снился. Снилось: наследство я получил.

— Сон золотой, — заметил Смага.

— И так мне хорошо стало, как наяву, уж и не помню, когда и было-то... Почуял я себя без долгов, без забот, без этой, знаете, паскудной неволи — пятерки до полочки у добрых людей стрелять...

— И что, — осведомился Гусев, от крутого Севиного нрава на всякий случай спрятав голову возле плеча Евдокимовой, — дают?

Грозным перстом указал на него Сева Чернов.

— Люди! Щадил я гусиную породу в давно прошедшие времена? Спасал я его от справедливой кары за подхалимство, угодничество и негодяйство? Давал я этому олуху царя небесного списывать физику, к которой он от рождения был неспособен и к которой, несомненно, не способен и сейчас, хотя и пристроился в каком-то там НИИ каких-то там сверхсекретных проблем?

За всех ответил Севе Мартын Мартыныч, что помним: щадил, спасал и давал.

— Я сожалею и раскаиваюсь, — объявил Сева.

— А сон? — спросила Евдокимова, отстраняя от своего плеча го-

лову Гусева. — Отстань, Вовка, ты лысый, я лысых не люблю.

— А что сон, — сказал Чернов и медленно обвел всех тяжелым взглядом темных, лишенных блеска глаз. — Сон хорош — пробуждение дурно. Кого любил — она, по-моему, и не знала... думать не думала, что любил ее... Чего хотел — так хотеньем и завяло... Есть еще, правда, некоторые надежды...

— Они юношей в основном питают, — быстро вставил Боб Беляков.

Но Сева, как бы не слыша, продолжал:

— ...проблески всякие мелькают, но это, скорей всего, так, — покрутил он пальцами, — воображение одно!

Показалось, тень какая-то легла вдруг на лицо Наташи Орловой. А на резко обозначившихся скулах Чернова проступили багровые пятна и растекались по смуглому его лицу: вверх — до корней волос и вниз — до белого, туго обхватившего шею воротника рубашки.

— Чернов, похоже, в градусе, — сказал, приметив это, Мартын Мартыныч.

— Какой еще градус, — низко склонив голову, пробормотал Сева. — Жарко...

Словно наитие сошло на меня: неужто? И укрепляя внезапное прозрение, одно за другим возникали в памяти, казалось бы, давно превратившиеся в прах и тлен, густым быльем прожитых лет последние мгновения последнего школьного года и двух или трех последовавших за ним вечеров встреч... В мае поехали за город, в Купавну, на Бисерное озеро, к вечеру полил дождь, и Сева, опередив меня, набросил свою куртку на плечи Наташи Орловой. Тогда, кажется, и сострил я насчет рыцаря бедного, на что со скорбной готовностью улыбнулся и отошел в сторону Сева. Потом он оказался впереди нас... Особым, дни и годы проникающим взглядом видел я теперь, что все то время, пока брели на станцию, была передо мной его смуглая, мокро блестящая спина с торчащими лопатками и бугорками выступающих позвонков. Рубашку он снял.

Еще вспомнилось — с той сверхъестественной, почти пугающей ясностью, какую являет память, в обломках скопившихся в ней голов, лиц, событий в первозданной целостности находя вдруг: вечер встречи, в старом нашем школьном зале гремит музыка, мы танцуем... Он подходит к Наташе Орловой, но с ней рядом уже стою я, она уже руку кладет на плечо мне, и, обернувшись, со смешком говорю я Севе: «Свободных мест нет! Танцуйте, сударь мой, с Евдокимовой». Ни слова не проронив в ответ, он отступает — и от стены пристальным взглядом темных, лишенных блеска и оттого особенно мрачных глаз следит за нами.

Подняв голову, с тем же мрачным и, мне показалось, вопрошающим выражением взглянул он на меня и сейчас, и я готов был поклониться, что вспоминали мы с ним в этот миг об одном...

Сева Чернов

...Тот вечер помню я хорошо, в мельчайших подробностях — помню, например, как скрытно, через черный ход, выводили нашего

физика Александра Ивановича Жиндяева... Александр Иванович был пьян, идти не хотел и, вздевая худые руки (отчего рукава пиджака, и без того ему короткие, съезжали до локтей), произносил с глубокой печалью: «Неблагодарные! Как жить будете?»; еще помню, что в коридор, примыкающий к залу, вынесены были стулья, столы... на одном из них оказался глобус, трещина с неровными краями пересекала его, начиналась у Северного полюса, шла через Англию, Атлантический океан и обрывалась где-то в Бразилии, на берегу Амазонки... Вид этой трещины вызывал во мне странное чувство, в котором к ясному представлению о том, что передо мной всего-навсего лопнувшее от старости или от страшной мести какого-нибудь шестиклассника — врага географии — папье-маше, примешивалось знобящее ощущение возможности моего нечаянного шага и падения в бездну... ощущение тем более необъяснимое, что был я совершенно, как стеклышко, трезв и отвергал все предложения Кисельникова, Боба и прочих присоединиться и подобающим образом отметить нашу встречу...

Минутой раньше катастрофа постигла меня, надежды мои рухнули, и пыль, подымавшаяся над их развалинами, была напитана горечью... После того, как Васильев опередил меня... после того, как в ее глазах, с похолодевшим сердцем заметил я, мелькнуло облегчение, вызванное, так я решил в тот миг, исключительно тем обстоятельством, что танцевать она будет не со мной... после этого, рассудив, однако, что уже не в первый раз моя мнительность отравляет мне существование и что, в конце концов, даже нерадостная определенность лучше, чем пустые мечтания, я улучил минуту и отозвал ее в коридор... «На два слова, Наташа», — онемевшими, тяжелыми губами едва смог выговорить я. Мы встали у стола — у того самого, на котором покоился поврежденный земной шар (в трещину? разъявшую его поверхность, должен был, вероятно, вытечь Атлантический океан, открыв изумленным взорам мертвые прекрасные города Атлантиды), я встал спиной к залу, чтобы укрыть ее от взглядов наших общих друзей. Ей было жарко, глаза ее блестели, в левом кулачке она держала платок. Все это я заметил — заметил с той щемящей болью, которая есть залог того, что все, нами увиденное, уже никогда не изотрется в памяти... оно навсегда... навсегда останется в ней, погребенное, но вместе с тем живое, и живое мучительно! «Ты отчего невесел, Сева? — нетерпеливо спросила она и, не дождавшись ответа, сказала: — Что ты молчишь, говори, я тебя слушаю». А сама все засматривала через плечо мне, выискивала кого-то счастливым взглядом и, увидев, засмеялась и крикнула: «Сейчас! С Севою поговорю и сейчас!» Кто бы знал, какая в тот миг нашла на меня печаль! Ведь мне одно оставалось — молить ее... заклинать всеми годами верной моей любви, о которой она не ведала и которая, невысказанная, теснит мне грудь... всеми словами, которые во мне умирают и нарождаются вновь... всей преданностью моей собачьей и готовностью ей служить...

И я совсем было решил уже и сказал бы, не взгляни она на меня в то самое мгновение... и не прочти я совершенно ясно в ее глазах ненатуральный, поддельный, неискренний интерес ко мне: вежливый интерес чужого человека. Так близко стояли — и такая неперехо-

дымая пропасть открылась и меня от нее отделила, и я уразумел: отклика не будет, никогда не будет. «Я лучше позвоню», — смешавшись, пробормотал я, и она, мне с облегчением кивнув, убежала в зал — там с новой силой сотрясала стены музыка, и вынырнувший оттуда Боб Беляков, надрываясь, кричал с порога: «Севка! Последний раз... как человека... Пойдем!» И зазывно махал, приглашая присоединиться и обмыть нашу встречу. «Сейчас!» — ответил ему я и, выждав, пока он развернется и скроется в толпе, по следам Александра Ивановича, нашего физика, через черный ход выбрался на улицу.

...Я ей не позвонил. Зачем? Всегда непереносима была для меня фальшь — а тут пришлось бы вымышлять повод, говорить пустые слова, окольными путями выбираться к сути и снова наталкиваться на ту же глухоту, о которую однажды уже расшибся. Нет, я не себя жалел и берег — я и в кровь готов был разбиться, если б не ощущение не толкно ложности моего положения, но и прямой лжи, к которой я должен был бы прибегнуть, чтобы привлечь ее внимание. Мне надо было бы каким-то образом заинтересовать ее собой, а и тогда, и теперь у меня ничего не было и нет за душой, кроме любви и верности — а ведь этого мало.

От меня, я знаю, в школе ждали многого. Отличником я не был — не только из-за нежелания гробить время на всяческую литературу, но также из-за того, что тот, кто стремится в первые ученики, непременно должен вступить в какие-то особые отношения с учителями, должен уметь подладиться к ним и — хотя бы внешне — безусловно принимать все их суждения, подчас поразительно плоские или вообще невежественные. Иными словами, надо было стать верноподданным, с чем я решительно не желал мириться. Я Блаженного воспринимал и уважал именно за то, что у него мерилом отношения служила чистая математика, и знание ее являлось как бы допуском к Василию Григорьевичу, билетом на приобретение его неизменного расположения. (Это же в нем и раздражало. В подобном принципе проглядывает некая узость души, скупость сердца, ограниченность разума... Ибо у человека, находящегося не в ладах с тригонометрией, могут быть иные, куда более важные и высокие достоинства.) Отличником, повторяю, не был, но ждали от меня многого, что я сознавал не без тщеславия, не без некоторой позы еще не вполне признанного гения, как не без самодовольства услышал однажды разговор в учительской. Речь шла обо мне, и Блаженный сказал: «Светлая голова! Далеко пойдет...»

Мое тщеславие и самодовольство, мои надежды и обольщения по молодости лет извинительны, но Блаженный! Будто бы не ведал, что и светлая голова прежде, чем далеко ей пойти, должна унизиться и склониться, должна до поры позабыть о своем уме и довольствоваться чужим, должна изъявить преданность и доказать верность, должна... но не смог я пересилить это! И если в свои тридцать с лишним лет я имею право сказать нечто в собственную похвалу, то скажу, что не было в моей жизни случая, когда бы я сознательно, стремясь к достижению каких-то преимуществ или благ, или просто куска посочнее и получше, умолчал о том, что считаю непреложной

истиной. Я не лгал, не подличал, не пресмыкался, я всегда оставался самим собой, за что и прослыл человеком с тяжелым, даже скверным характером. (Легкий, приятный характер необходим лгунам и подпевалам, ведь им так часто приходится кривить душой.) В цехе меня зовут «металлический Сева», а мой первый на заводе учитель, некто Кареев, маленький и к шестидесяти годам как бы совершенно усохший, а недостаток плоти восполнивший чрезвычайной желчностью, мне внушал: «Дубина стоеросовая, куда прешь? Кому доказать хочешь? Ты глаза разуй да пошире взгляни — или не видишь, что у нас у всех задание одно: друг другу очки втирать? Я — мастеру, мастер — начальнику цеха, тот — директору, директор — начальнику, который в главке, а тот и выше... И пошло! Мы правды изо всех сил чураемся, а ты ей нам в рожу тычешь — не дурак ты после этого?» Хорошо зная Кареева, я не придавал его словам значения, вернее, их прямого значения: он не предостерегал, не увещевал, напротив — ободрял меня, подталкивал — дружеским жестом сухой, легкой руки. (И в изобретательских моих делах, мне столько муки причинивших, помогал Кареев — помогал главным образом терпеть и не отчаиваться.)

...Каков же итог моего краткого и смутного воспоминания? Опечален ли я тем, что не сбылись ожидания, уверенной поступью сопровождавшие мне в школе? Нимало! За свое место в жизни я не платил ни унижением, ни ложью — мне кажется, этого вполне достаточно для того, чтобы жить с чувством собственного достоинства. Но одна мысль временами лишает меня покоя и уверенности... Если бы я был другим... то есть в сути своей я остался бы тем же самым, ибо наши натуры даны нам раз и навсегда, с ними жить, с ними и умереть... но если бы в целях, так сказать высших, я заключил бы сам с собой соглашение, род перемирия, допускающего в мою жизнь маленькие послабления, военные хитрости, всяческие уловки, умолчания и недосказанности, короче — разнообразные виды лжи, то, вероятно, я не был бы сейчас токарем на заводе пищевого машиностроения, малопривлекательной для женского взгляда фигурой, а кем-то иным, на кого, быть может, смотрела бы по-другому и Наташа. Подобное предположение не делает ей чести, и даже несколько странно, что я позволил себе таким образом думать о ней. Однако вполне понимаю, сколь непросто было ей без всякого внешнего повода остановить свой выбор на мне, — понимаю и не сужу ее за это. Не судьба! Она несчастлива — я вижу. Но и я, с тех пор почти забывший муку и радость прекрасного ослепления, — я иногда с горечью думаю, что в чувстве к ней дотла выгорело у меня все, из чего рождается и в чем живет любовь.

И еще многое надо было мне вспомнить, да сбил меня Смага. Отерев губы салфеткой и вальяжно откинувшись, он сказал Чернову: — В нашем возрасте, дорогой мой, одними надеждами и, как ты сказал, проблесками, извини, сыт не будешь. Реальность нужна! Почва! И на ней чтоб обеими ногами и чтоб никакая сила не сдвинула.

— Как ты, что ль, Асуан Евфратыч? — тотчас прицепился к нему Боб Беляков.

Долгим взглядом измерил его Смага, потом наконец ответил с усмешкой:

— Если хочешь, Боря.

— А что удивительного? — вступила Павлова Наташа. — Мне лично не кажется удивительным... Гена вполне может быть примером. И не он один среди нас, правда, Василий Григорьевич? — тронула она левой своей звериной лапкой Блаженного Васю, который, посоловев, с молчаливой улыбкой обвел всех мутным счастливым взором. — Василию Григорьевичу, я думаю, это особенно приятно. И Петя Ким тоже. И Оля...

Довольно засмеялся, засиял белыми зубами нестареющий корейский мальчик Петя Ким.

— Да что я, — отговорился он со скромностью. — Грызу свой кусочек незаметно...

— Мышка-норушка, — буркнул Сева.

Вспыхнув, заговорила вдруг Мэри, жена Кима:

— Петя... скажи своим товарищам... Они будут рады... И Василий Григорьевич.

— Что, что? — оживившись, налег грудью на стол Блаженный Вася и в знак внимания брови приподнял и даже ладонь возле уха пристроил ковшиком — чтобы не проронить ничего из Петиних слов. — Говори, мы тебя слушаем.

Он, страстотерпец, похоже, все надеется... ждет: вдруг, как дар ему Божий на исходе дней, объявится среди нас личность, известная миру. И то! И с Петечкой Кимом, корейским нашим мальчиком, ему как будто забрезжило: выдвинули его, сообщил Петя, посетовав для порядка на женскую несдержанность, на премию Ленинского комсомола. Его и еще несколько человек, уточнил Петя и добавил, словно бы между прочим, что и на телевидение уже приглашали их и там засняли — на тот случай, если достанется им эта премия.

— Так что же мы сидим, други! — как в трубу, загремел Мартын Мартыныч. — Звезда между нами восходит... Велю всем ликовать!

Вскочил, грохнув стулом, Боб Беляков:

— Кимарик! И молчал!

— Сглазу боялся, — хихикнул Володя Гусев.

— Молчи, Гусь! — накинулся на него Боб. — У тебя только и есть, что усы. Да и те — рыжие. А у Петьки — премия!

— Валера! Борька! Ребята... — пытаюсь перекрыть поднявшийся шум, надрывался Ким. — Да погодите... Погодите же вы! Василь Григорьевич, скажите им... Нет еще премии. И может, совсем не будет!

— Как — не будет? — воззрился на Петю Мартын Мартыныч. — Откажешься, что ль?

— Не откажусь, не в этом дело...

— Он не откажется, — с улыбочкой пояснил Смага.

— Что вы, не знаете — конкурс там!

— Не дрейфь, прорвемся! — Мартын Мартыныч ему пообещал и добавил првесело: — Век свободы не видать, прорвемся!

— Мы... пророр-ррремся! — от полноты чувств грянул кулаком по столу Сережа Кисельников.

— Сере-еженька! — отодвинулась от него Оля Спирина. — Петя Ким, конечно, герой, но зачем же стол-то крушить?

Остолбенело уставился на нее Сережа, а потом, словно очнувшись и наконец-то как следует разглядев и признав ее, развернул к ней огузневшее тело.

— Олька! И ты здесь. Дай... дай я тебя поцелую!

Отвлекшись от обсуждения грядущей Петиной славы, холодным душем пригрозил Мартын Мартыныч Киселю, если сей же момент не уймет свой пыл и не оставит беззащитную женщину в покое. Сережа обиделся и замолчал. Петя Ким, устав убеждать всех, что премия ему еще вилами по воде писана, махнул рукой и сказал с сердцем: «Черти». Тут же, сдвинувшись к самому углу стола, к Пете поближе, буд-то коршун цыпленком, завладел им Блаженный Вася. Появился, я видел, перед ним лист бумаги — Блаженный, надо полагать, жаждал доскональных объяснений: что за работа, в чем суть и достоинства.

А мне — невольно становился мне этот вечер, все сильнее, все жарче дышала, сушила сердце тоска. Нет-нет, уже не оттого, что вконец почужевшими находил я бывших моих одноклассников, сверстников моих, вместе со мной проросших сквозь асфальт и булыжник тишинских переулков. То, первое, чувство ушло, и теперь, три часа спустя после того, как переступил я порог Петиной квартиры, в каждом из них успел я рассмотреть ту, некогда мне знакомую и, может быть, единственную для человека черту, которая впечатывается в него на всю жизнь и которая проступает в нем с первым криком и исчезает с последним дыханием. Поворот головы, взгляд, жест, улыбка — родовое, не затягивающееся годами тавро. Я знал их прежде, знал с первого класса, некоторых — того же Кисельникова — с еще более давних, дошкольных, лишь самой тонкой, непрочной связью скрепленных ныне со мной и почти неразличимых времен. И даже под коростой преуспевания, которой, как неуязвимой для смятений сердца броней, с головы до пят покрылся Гена Смага, — даже под ней, в быстрой брезгливой его усмешечке смутно, словно через плохое стекло, различал я усмешечку тоже быструю, но тогда всего лишь еще беззаботно-веселую. Да и смешно, недостойно было бы отрекаться от них, самовластным изгойством перерезать пуповину родства — мне, слепленному из одной с ними глины, с душой, вдутой одним и тем же дыханием, вспоенному одной с ними водой — с осязаемым в летние месяцы привкусом хлорки. Я — как и они, и во мне, как и в каждом из них, стеклось: искуса змия, проклятие Каинову племени, плач и скрежет зубовой всех грешивших и нераскаившихся, крестные муки Распятого и слезы и кровь всех принявших лютую казнь за род человеческий... И так же, как всем им, раздирая нагую грудь, вопит мне из стародавних времен блаженный юродивый Михаил Клопский: «Слышу! Земля простонала три раза и зовет тебя к себе».

Я знал их прежде — так отчего едва узнаю теперь, а узнав, готов, подобно тому юродивому, стать буйным и начать ругаться миру? Отчего в каждом из них видны мне словно бы два человека: тот, кото-

рый был, и тот, который есть и каким останется до истечения дней своих? И отчего всей душой моей люблю и жалею того и всей душой моей скорблю и плачу об этом? Не внешние перемены, не огрубленность лиц гнетет меня, хотя и это важно, ибо всегда выходят вовне созревающие в сердце помыслы и всякому шагу есть своя печать. Гнетет другое, что и молвить мне страшно, что, несказанное, остается во мне и жжет, и палит незатухающим пламенем.

Шум и гам продолжался вокруг, своим путем шествовало застолие. Уже курили, не выходя на балкон; уже и окурки давили в пустых тарелках; уже дважды пыталась запеть «Подмосковные вечера» Павлова Наташа, но одна только Евдокимова неуверенно ей подтягивала... И напрасно ножом о рюмку звенела Павлова Наташа, напрасно ясным синим взором и капризно-жалобным голосом взывала к Мартын Мартынычу, чтобы тот заставил всех объединиться и запеть. Куда там! «Бессилен, — кричал он ей, — ибо взбесилось стадо!» Снова звали к телефону Гусева, и он под одобрительный регот Боба, склонив к плечу голову, исчезал в коридоре; снова лез ко всем целоваться Сережка Кисельников, и от мокрых его губ не уберется и я; и снова темными глазами тяжело смотрел на всех Сева Чернов. Лишь Блаженный Вася, ничего не замечая вокруг, продолжал терзать будущего лауреата, корейского мальчика Петю Кима.

— Васильев! Саша! — из дверей коридора звала меня Наташа Орлова. — Докричатся не могу...

Я вышел к ней. Вздрагивающими руками открыла она свою сумочку, показала мне:

— Вот...

— Ну и что? Видел я твою сумку... Погоди, погоди, — заметил я черные подтеки в ее подглазьях. — Тушь у тебя нестойкая, мать моя. Никак, ревели?

— Ревела, — сказала она, подходя к зеркалу и вытирая под глазами платком.

— Встреча друзей, воспоминания, скорбь о прошедшей молодости, ну и так далее...

— Именно — встреча. И скорбь. Перстень у меня пропал, вот что.

Недоброе чувство к ней охватило меня, я сказал резко:

— Что значит — пропал?

— То и значит — был, а теперь нет.

— Ты это брось! Куда-нибудь сунула, а теперь слезы льешь...

Поищи получше.

Приложив обе ладони к лицу, отчего оно приобрело умоляющее выражение, сказала мне с укором Наташа:

— Мне самой мерзко, ты не думай... Я тебя потому и позвала...

Саш! Ты не сердись. Честное слово, я у себя все перерыла.

— Ладно. Ты мне скажи, ты хоть помнишь, когда ты хватилась?

— Через полчаса... самое большое — минут через сорок после того, как бабкиным перстнем тебя развлекать стала. Мне его Смага отдал, я в сумочку положила, а сумочку на стул повесила. Потом... ну, минут через пять, наверное, вышла... В коридоре достала из сумочки игареты...

— Перстень в сумочке был?

— Ну да, он как раз сверху пачки лежал... Пока курила, сумочку вот сюда, возле зеркала, повесила и так ее здесь и оставила. Забыла! Не идиотка ли? А когда снова вошла, когда за сигаретами снова полезла... Меня чуть удар не хватил, правда! Первое, что подумала, — потеряла. Все, ну буквально все перерыла — нет его.

— Стало быть, — сказал я, ощущая, что в лицо мне бросается кровь и от ее прилива тяжелеют веки, — ... украли?

— Откуда я знаю! Знаю, что он был и что его нет. И что лучше бы... в тысячу раз лучше, если бы его вообще не было, чем такой позор! И не гляди на меня, пожалуйста, так, как будто я же во всем и виновата!

На глазах у нее снова выступили слезы, она промокнула их платком и ушла в комнату. Немного погодя появился там и я, сел на свое место, шепнув Наташе Орловой: «Валере надо сказать, это по его части». Она пожалала плечами: «Как хочешь».

— Секретничают... А они все секретничают! — сначала негромко, а затем во весь голос сказала Евдокимова. — Вот они... Наташка с Сашкой...

— Это у них со школы — секретники-то! — завопил и захохотал Боб.

Поморщившись, заметил ему Сева:

— Ржешь ты... как лошадь Пржевальского.

— Юпитер, — ответил ему необидчивый Боб, — ты почему-то седишься... Ты будешь совсем непраб, если не выпьешь!

Опережая Севу, потянулся через стол Сережа Кисельников:

— И мне... мне тоже налей!

— Налейте тоже вина Сереже, — вызвав всеобщий смех, продекламировал Смага.

«Ну и ну!» — с изумлением говорил я себе, внимая голосам нашего застолья и исподтишка разглядывая лица моих одноклассников. Одно из двух: либо физиономист и психолог оказался я никудышный, либо перстень просто-напросто выпал из сумки и лежит сейчас преспокойно в каком-нибудь темном углу. «А может, все-таки завалился куда-нибудь?» — спросил я у Наташи Орловой. Она покачала головой: «Я в коридоре весь пол коленками вытерла. Да ведь и не иголка — я бы увидела...» Разумеется, не иголка. Но между тем много легче было бы мне вообразить, что исчез, пропал, канул, что не существовал вообще и соткался из загробных наваждений скупой Наташиной бабки, чем допустить мысль, что среди нас есть вор. Конечно, не ангелы! — и в школе еще уличены были во многих грехах: от скрытого курения до лжи в собственное спасение. Между курением и ложью вмещались, кроме того, наушничество, злоба, мстительность, трусость, лицемерие — все это уже прорастало тогда и содержалось, я думаю, в каждом из нас, но покамест в малых, не определяющих человека долях. И, кажется, даже что-то похожее на кражу случилось однажды не то в седьмом, не то в восьмом классе... Но по тем давним, зарубцевавшимся и вряд ли различимым сейчас отметинам разве мог судить я сегодня, кто взял на душу новый грех?

Меж тем Павлова Наташа, отчаявшись в возможности наладить пение, завела речь о тех наших одноклассниках, которых сегодня с нами не было.

— Встретила год назад Наташу Мордвинову... вы ее помните? Помните ее, Василий Григорьевич?

Блаженный Вася кивнул: он помнил, по-моему, все поколения своих учеников — от первого и до последнего колена.

— Трое детей, жена дипломата, — сообщила Павлова Наташа. — Муж — первый секретарь посольства где-то в Африке... Одета, разумеется, прекрасно и прекрасно выглядит — больше двадцати пяти ей не дашь.

— Харч хороший, — ухмыльнулся Сева.

Вспомнили вслед за тем Таню Бухонину: тихую, весьма себе на уме девочку с большими, немного навывкате глазами — она вышла за Колю Шмидта, учившегося в параллельном классе, разошлась с ним, по суду выгнан Колю из его кооперативной квартиры, потом нашла себе профессора, тридцатью годами старше ее, не так давно его похоронила, ловко оттягав у двух его дочек — своих ровесниц — почти все профессорское добро.

Блаженный Вася в изумлении качал головой.

— Такая тихая... по математике неплохо успевала!

— Жизнь, Василь Григорьевич, это вам не «а плюс б в квадрате», — рассудил Боб Беляков, на что Смага тотчас и не без яда заметил:

— Спиноза! Давно ли сам ломал бедную голову над «а плюс б в квадрате»!

Блаженный Вася вступился за Боба:

— Ты не прав, Гена. Борису бы прилежания побольше, умения работать — был бы, я думаю, отличник.

— Понял, Асуан Евфратыч? — просяив, сказал Смаге Боб. — Василь Григорьевичу видней, кто головой брал, а кто другим местом!

— И много ли, Боря... не знаю, правда, чем... взял ты? — с усмешечкой, в которой теперь довольно ясно прочелся весь вечер тщательно припасаемый намек, спросил Смага.

Боб, мне показалось, в этой усмешечке чему-то вял — по крайней мере лицо его сделалось бурым, а голос сел.

— Не твое дело, — севшим, хриплым голосом, срываясь, проговорил он. — Мне вообще плевать... плевать мне, какие ты там по зарубежам плотины строил и каким барахлом отоваривался!

Боб Беляков

Что-то он, сволочь, всю дорогу на меня смотрит и посмеивается... Знает, что ли? Откуда? Видел, может быть... А-а... Плевать я на него хотел, видел так видел, не убудет меня, в конце концов! Скучковались здесь друг перед другом надуваться... Мне до них до всех, конечно, как до фонаря, как до дверцы в то самое место — хотя если эта сволочь, Асуан Евфратыч, вякнет, неприятно мне будет. Перед Блаженным неудобно... Перед Сашкой, Мартыном... Натура моя дешевая, всегда так. Чего, спрашивается, полез: тема... руководитель... за-

щита... Намолол туфты! Есть у меня и тема, есть и руководитель, есть каждый день и защита — только, дорогие друзья детства, по другой, так сказать, линии. Чушь собачья: почему бы не сказать, кто я и какая у меня работа? Я ведь так и думал сначала: спросят — скажу. И пусть попробовали бы поулыбаться! Я бы им сказал... «Чего лыбитеесь? — я бы им сказал. — Сами небось за каждую копейку трясетесь и своих баб поедом едите, если они что не так купят, а у меня с этим делом всегда без натуги». Я и своей говорю — не жена, правда, а так — любимая женщина: мне по второму разу марш Мендельсона слушать нервная система не позволяет. (Когда мы с Галкой — с первой моей законной — расписывались, депутатша там была весом, чтоб не соврать, на добрый центнер и с красной лентой через бюст. Вот она нам и говорит задушевым голосом: «Молодые, — говорит, — покажите, как вы друг друга любите!» А я уже врезал прилично, мне хорошо... Ей киваю: «Это мы сейчас». Галке говорю: «Давай, старуха, раздевайся, люди просят». А Галка тоже тепленькая такая... сгубил алкоголь девушку, совсем сгубил, оттого и жить с ней мочи моей не стало... «Милый, — говорит, — я твоя, я готова». Депутатша чуть в обморок не свалилась. «Детей-то... — из последних сил на истинный путь заворачивает она нас, — ... как растить будете?..») Да... Я любимой женщине так внушаю: не мы для денег, а они для нас. Предел тут, конечно, надо ставить, без предела нельзя, обнаглеешь и сторишь, я сам однажды едва не влип, чудом отскочил и с тех пор усвоил: у кого меры нет, тот непременно подавится.

Я бы им еще сказал, если бы они залыбились: фраера тухлые, я бы сказал, что вы сечете в нашей жизни! Да я в школе любому из вас мог бы при желании фору дать и все равно первым прийти. Блаженный сам сказал: прилежания бы побольше, умения работать... Я и в институт поступил с первого захода, и никакая волосатая меня не тащила, и папа с мамой на прием к ректору не ходили. Они и ведать не ведали, чем я занимаюсь и куда наострил лыжи. Поступил и полтора курса отбухал, но во-время понял, что в недалеком будущем ждет меня сущее рабство, что сам себе принадлежать я никогда уже не буду и что какой-нибудь начальник цеха или завлаб (это в зависимости от того, куда занырнуть удастся) с двумя шариками и одной извилиной будет мной помыкать на полном законном основании, — расчухал и решение принял, что стану последним «муму», если не найду себе занятия, достойного свободного человека. И нашел... и думаю теперь, что всю партию до самого ее конца рассчитал правильно. А вы, я бы им сказал, вы за свои оклады и звания давным-давно свои души позаложили и выкупать их не собираетесь, да и не на что. Вы привыкли, вам даже нравится, когда вас погоняют, — ну и скачите себе, и рвитесь, ломая ноги, и кусайте друг друга. Я-то знаю! Вы у меня все, как у попа на исповеди, бываете. И знаю я, кто чего стоит, и давно понял, что общая всем вам цена — копейка в самый базарный день. Я вашего дерьма во как нанюхался! Мне молоко надо давать — за вредное производство.

Один пришел, вроде Смаги, чистенький и вполне благополуч-

ный: «Жигули» у него, квартира, деньги — все у него есть, а ему, суке, все мало, ему еще подавай, и вот он со своим приятелем мастырит, как бы шефу подложить в постель девку и начальничком потом вертеть в любую сторону. Они, я понял, во внешторговской системе работали и на своего начальника зуб держали за то, что лучшие поездки в загранку тот себе брал, а им сплавлял всякие развивающиеся страны. Девка пришла — ноги от плеч растут, ржаного цвета волосы при синих глазах, и лет ей не более двадцати двух, это точно. Я глянул — у меня сердце защемило. Милая ты моя, зачем тебе? Пойдем отсюда, я тебе все свои деньги отдам, и тебя мне не надо! Прямо по русской классике (читывал однажды): студент хочет спасти проститутку, возродить ее к новой жизни. Он, правда, в конце концов с ней спит, но не в этом дело. А в том, что пробы на ней оказалось ставить некуда...

Вот так, дорогие мои одноклассники, я бы им сказал. Ясно вам, кто вы есть? И не выпендривайтесь, передо мной вашими научными, служебными, общественными и прочими достижениями, я вам, как Есенин, скажу на это на все: только знаешь, пошли их... Больше того: даже те из вас, которые не достигли... ну, вроде Севки... и даже, может быть, и Сашки Васильева, и Мартына — они, я чувю, себя как бы ущербными ощущают... как бы не та цена за них заплачена, меньше того, чего они стоят. Оттого мучаются и достичь хотели бы. Им совесть не велит любыми средствами пользоваться, но достичь хотели бы. А я вот — не хочу. Ей-Богу, ничего не хочу. То есть, разумеется, мне денег надо, и женщину надо, и тряпку кое-какую надо — но все это сущий мизер в сравнении с тем, чего хотите вы. Я и малой части из себя не продал за то, что имею, — а вы! Оптом и в розницу... Да еще ищете, кто даст больше.

Вот почему я бы им сказал, придуркам, чтоб не лыбились. Вы желчью исходите, вы скоро, как змеи, начнете себя в пятки жалить от неудовлетворенного тщеславия... от алчности, пределов не имеющей... от желаний неисполнимых и вас, будто чахотка, сжигающих — а мне, представьте, всего хватает. Вы баб нанимаете, чтоб делишки свои с их помощью обстряпать, а мне женщина, как по природе положено, только для одного нужна, я свои дела сам решаю. От такой нервной жизни у вас климакс раньше времени начнется, а я живу и ем, и пью в свое удовольствие и от преждевременного бессилия застрахован. Ощущаете, я бы им сказал, разницу, козлы вонючие? Смотрите на меня, пижоны: вы, может быть, первый раз в жизни видите человека неподчинившегося! Так бы я им сказал...

Но я пришел и повел себя как последний лох, которому не надо, чтобы им крутили, который сам себя окрутить рад. Кто-то меня спросил... Ну да, Смага меня и спросил и уже тогда, паскуда, лыбился нехорошо... если бы не он, если бы кто другой, я бы сказал, я бы сразу сказал! Но этому... Язык сам повернул в другую сторону, и я понес: тема, руководитель, защита... Потом сворачивать стало поздно, и я к этой легенде присох накрепко. А странно мне: никогда и в мыслях не держал, что так смельчу. В любых компаниях приходилось гулять, и что я — скрывал? А тут...

Может, не столько даже в Смаге дело, сколько во мне самом... в том, что я школу нашу помню и, что бы там ни говорил Сашка, люблю. Скорее же всего, совсем, наверное, и не школу, а себя в ней... ту легкость удивительную, с которой все мне давалось, с которой я жил и которая — я, дурачок, думал — будет со мной всегда. Была легкость, была! Ощущение, что я не по земле вовсе хожу, а как бы чуть над ней, — оттого и послеваю везде, оттого все у меня ладится. А теперь после смены и ноги гудят, и голова болит, и на душе мерзость, словно блевали туда с утра до вечера. Любимая женщина, зная паскудное мое состояние, сострадательной рукой мне наливает, я пью и долго сижу за столом, ни слова не говоря. Я устал, я наговорился, и язык мой, как и ноги мои, и душа моя, нуждается в покое... Кроме того, я жду и к себе прислушиваюсь: может, спешит, возвращается ко мне моя легкость, с которой все всегда удавалось мне? Господи Боже мой... Что-то я, бедный мальчик, напутал и чем больше живу, тем сильнее путаю...

— Мальчики! — укоризненно сказала Павлова Наташа, и Мартын Мартыныч ее поддержал:

— Обоим дам в лоб!

Вспомнили еще... Борис Дорошин — приземистый, широкоплечий малый с косой челкой и слегка набок сбитым носом, которым он на уроках втягивал воздух с таким мощным, гиппопотамьим звуком, что учителя — особенно Верочка-немка — вздрагивали, как от удара током. Временами бывал отвратительно груб, причем с каким-то тупым капризом: швырял учебники чуть не на пол, сам валился на парту, совершенно стесняя соседа, Славика Зюзина, все терпеливо сносившего, и сидел, раскинув руки, с челкой, спущенной до левой брови, бубнил невнятно глухую свою обиду — на школу, учителей, товарищей — на весь мир. Играл в «Метрострое» правым крайним, уверял, что вот-вот возьмут в «Спартак», год спустя после школы, первый и последний раз встретив его, я узнал, что он в спартаковском дубле. В основном составе так и не появился, но зарабатывал с тех пор исключительно ногами: играл в Краснодаре, Ярославле, Казани, забирался и на Камчатку, в какой-то рыболовецкий колхоз, сколотивший команду для класса Б. Рассказав все это, Володя Гусев, чья мать была, оказывается, дружна с матерью Бориса, прибавил не без удовлетворения:

— А сейчас доигрался... Сидит голубчик.

— Да что ты! — всплеснул руками Блаженный Вася, и на лице его выразилось крайнее огорчение. — Ведь говорил... говорил я ему: нельзя строить жизнь на футболе!

— Такое же занятие, как и все остальные, — сказал Сева Чернов. — Не в футболе дело, Василий Григорьевич.

У Гусева спросил Мартын Мартыныч:

— Статью не помнишь?

— А Бог ее, — пожал тот плечами. — Помню, что уголовщина. Не то грабеж, не то с деньгами махинации какие-то...

И еще вспомнили... Галка Аристова — высокая, круглолицая, с

серыми и тоже круглыми глазами и веснушками возле носа, в школе — с длинными косами, которые, едва сдав последний экзамен, тут же оставила в парикмахерской. Видел ее года четыре назад: в магазине, на улице Горького, сноровисто отбирала чеки и взамен их совала в протянутые руки бутылки с водкой... Была в малиновом ярком берете, из-за которого казалась особенно бледной, словно в душном воздухе этого самого бойкого в Москве магазина невозможно ей было не поблекнуть прежде времени и не превратиться как бы в тень прежней Галки Аристовой — школьной любви Сережи Кисельникова. Подталкиваемый со всех сторон страждущими и жаждающими, я долго стоял, с щемящим чувством глядя на нее. Взглянула на меня и она, быстро кивнула, чуть вспыхнув при этом, и сразу же отвернулась...

— Так когда, говоришь, это было? — переспросила меня Лена Евдокимова.

— Четыре года назад, мне кажется...

— Ну вот. А уже два года Галка Аристова вовсе не Аристова, а Матье и живет не в Москве, а в Париже! Вышла замуж и уехала! Мне оттуда письмо прислала.

Боб Беляков даже глаза вытаращил.

— Ну-у дела-а-а! — сказал с изумлением.

Но самое великое изумление выразил, конечно, Сережа Кисельников. Привстав с места, некоторое время держал рот открытым, потом махнул рукой, сел и только тогда, как старые часы перед боем, издав поначалу короткий хрип, проговорил:

— Значит... в Париже... живет...

Тут же сказал Смага, что придется теперь Сереже самолично лететь в Париж, тем более что у него как у работника Аэрофлота должны быть совершенно развязаны крылья. Крылья крыльями, возразил Гусев, но обольщаться не стоит, потому что вряд ли пустит Сережу жена: Париж, соблазны...

— И не известно, кроме того, захочет ли принять его мадам Матье, — с игривой улыбкой им в тон прибавила Павлова Наташа.

— В Париже... значит... — тупо повторял между тем Сережа. — Мадам Матье...

Принялись вспоминать дальше и вспомнили... Валя Куницын — младше всех нас на два года (в пять лет, вундеркиндом, по настоянию родителей, им всегда безмерно гордившихся, принятый в школу), до девятого класса учившийся прекрасно, особенно по математике (тихо сияя, как на любимое дитя, взирал на него Блаженный Вася), но с первых дней девятого вдруг потерявший ко всему интерес, с отсутствующим выражением совсем еще детского пухлощекого лица отбывавший уроки и в конце концов едва дотянувший до аттестата... След его после школы терялся сразу — словно какую-то свою, лишь ему ведомую тропку в стороне от общих дорог отыскал Валя и брел по ней один-одинешенек, ни в ком не нуждаясь. Кое-что, правда, о нем все-таки знали — знали, что в Москве отчего-то ему не жилось, он уезжал куда-то, кажется, в Горную Шорию, откуда привез себе жену — женщину с двумя ребятишками... Говорили, будто

Вале родила она третьего, и еще дошел слух, что Валя долго болел...

Но мы так бы и остались в неведении, куда зашел по своей тропке Валя Куницын, если бы изредка не звонил он Оле Спириной.

— Ну... и как он? — мне показалось, с тайной надеждой быстро спросил у нее Блаженный Вася.

— Валя болен, Василий Григорьевич. Лежал у Ганнушкина... Мы недавно говорили, я сказала, что собираемся, сказала где, он обещал приехать... Его одна мысль изводит, — с горестной улыбкой прибавила Оля. — Он говорил... Да, вот что, — проведя ладонью по лбу, продолжала она. — Человеческая злоба, он говорил, имеет свойство накапливаться. То есть вся злоба, всех людей, всех, кто когда-либо жил на земле... И земля когда-нибудь от нее окончательно погибнет. Она уже начинает гибнуть сейчас, на наших глазах — войны, насилия, убиение природы... Человек прежде всего, пока не поздно, должен истребить злобу и для этого, может быть, жертвовать собой, он говорил... Я его поняла так, что он думает, что есть люди, которые этого не страшатся. И он, если надо, тоже не побоится и тоже сделает...

— Б-р-р, — словно от холода, повел плечами Боб Беляков.

Последовало за тем короткое молчание, после которого первым высказался Мартын Мартыныч:

— Бред какой-то.

— Н-да, — сказал и Смага, — сумасшедшинкой пахивает и очень явно, доложу я вам.

— И он придет? — подавшись к столу, с изумлением воззрилась на Олю Павлова Наташа. — Зачем ты его позвала, он же ненормальный, это видно!

— Валька... хороший парень, — нетвердо выговорил Сережа Кисельников.

— И прав он по сути, — сказал Сева. — Сумасшедшие вообще нормальных много правее.

— Ну, знаешь! — шумно вздохнув, только и могла ответить ему Павлова Наташа, после чего хихикнул и сказал Гусев:

— Пусть приходит. Компании не испортит.

Володя Гусев

По моему разумению, эту компанию не испортит никто, даже патентованный шизик. Я в голове совершенно не держал, чтобы сюда идти, но в последнюю минуту засвербило: пойду взгляну, кто какие рожи притащит. Ну, и, разумеется, может, одноклассница подвернется... Но здесь, увы, ничего утешительного. Из них из всех Спирина блее или менее, но у меня глаз в этом смысле точный — с ней шансов нет. То есть я, может быть, несколько категоричен, ибо, как известно, нет таких крепостей и таких женщин, которые бы выдержали правильную осаду, но позвольте спросить: на фига мне сие? Овчинка выделки не стоит. Вот если бы... Да-да, есть некий червячок неутоленный, один-единственный, он и гложет меня с тех самых пор. И кисло же мне придется, если появится вдруг второй, если эта новая

лаборанточка наша... Из-за нее и сижу здесь, время теряю. Наказал матери, чтобы любому женскому голосу, который меня спросит, давала телефон Кима. Уже звонили. Да не те... Не та! Если уйду, а она позвонит?! И домой больше звонить не станет? Мало ли что ей в голову взбредет... Да у меня от одной только мысли, что я ее упущу, все внутри холодеет! Мы с ней назавтра договаривались — кино, кафе... Это все чушь, ерунда — кино, кафе; мне главное, чтобы контакт установился, чтобы общая волна между нами возникла... чтобы и у нее, девочки моей милой, как и у меня, сердце замерло, когда я ее за руку возьму... Чтобы она охотно... сама пошла! Ко мне она придет, куда денется, придет — фонотека, музыка, Новый Орлеан, Армстронг, Битлзы... придет! Важно, чтобы сама... чтобы ей самой горячо стало, вот что важно! Чтобы пекло везде у нее и чтобы, когда шептать мне будет: «Не надо», думать могла только об одном: «Надо и еще как надо!» А отчего червячок? Отчего эту дурищу Аристову (мадам Матье, видите ли!) я к месту и не к месту поминаю? Отчего сейчас подумал, что, если бы вместо Спириной была она, времени бы тогда я жалеть не стал? Все оттого, что не так, как надо, получилось у меня с ней... Пронзает не судорога, это все ерунда, примитив, голая физиология. У собак тоже судорога, но мы, слава Богу, не собаки. Пронзает, до перехвата дыхания пронзает и в каждой клеточке отзывается, и стонет, и изнемогает, и еще хочет — обоюдность! Совместный вздох, так сказать, сорастворимость в едином желании... (Ничего слаще не знаю... Представить только: вчера еще колебалась, оттягивала, может быть, и не вполне хотела даже — а сегодня, тобой доведенная до высшего накала... до состояния, когда нельзя не переступить... когда либо трепещет, как девочка, либо кидается, как изголодавшаяся...)

А с Аристовой... Но кто ж знал, что так обернется! Через год после школы мы встретились — ну да, на первом же вечере встречи было... точно — я ее проводил и хотя видел, что дура, однако ж знал и то, что мне ведь не жениться на ней. Родители ее в ту пору куда-то уезжали, соседка, на мое счастье, оказалась стара и глуха, и стал я к Галке шастать чуть ли не каждый вечер. Четкого — как теперь — понимания у меня тогда, ясное дело, не было и быть не могло. К тому времени какой опыт: женщины, должно быть, три-четыре, из которых две совершенно случайные. Но нутром чуял: силой — ни в коем случае! И не в том дело, что безнравственно и даже подсудно, а в том, что и тогда, совсем еще жеребеночком, я чувствовал: полюбовное согласие тут всего милей.

Вот и с Галкой лошадей я не гнал. Был вечер — уже лежали вместе, и только и хватило у нее последних сил и проблесков сознания, что коленочки свои кругленькие сжимать. Мне бы, дуралею, их развести... нет, нет! никакого усилия — от слабого нажима сама бы распались и все мне открыли (до сих пор, как вспомню — так и вспыхнет, так и запалит сердце сожаление: почему? ну почему? И горло сохнет). Чересчур я притормозил. Считал, правда, родители должны приехать через неделю, а она не завтра, так послезавтра коленочки свои сама разожмет и меня впустит. Так, скорее всего,

и случилось бы, не привали ее предки на следующий день. Я чуть на стену не полез: где теперь? когда?! У меня в ту пору никак нельзя было: одна комната с мамочкой-пенсионеркой на двоих, и соседей целая рота. Кинулся к друзьям-приятелям, спроворил хату, зову Галку: «Пойдем». Пошла. Но сразу же ощутил я — пошла как бы по долгу — словно отказать неудобно, нехорошо... словно обязана мне чем-то. И верно: как ни бился с ней в тот вечер — все бестолку. В ней отзвука ни малейшего не возникло, ответного трепета, внутри у нее холодно было и от меня не загоралось... Я себя перемог, отступил: до следующего, думаю, раза. Однако и следующий раз, и еще — будто заколодило Галочку! И чувствую я: уплывет... уплывет она от меня с пряменькими своими плечиками, прелестными грудками, кругленькими коленочками... уплывет и кому-нибудь другому достанется. Я ночами не спал. Едва вспомню, что всего лишь рукой надо было мне чуть крепче нажать и что сам же я, на один день отсрочив, все погубил... едва вспомню, как лежала со мной рядом, как дышала прерывисто и приставывала и какими глазками хмельными на меня взглядывала и вряд ли что видела... каким от нее несло жаром, и только зад, с кожей, правда, чуть в пупырышках, был прохладен — едва вспомню, и ничего, и никого мне на свете не надо, только ее. Она болела, я к ней днем пришел. В халатике... коленочки выглядывают... горлышко раскрыто до самого того места, где грудь только чуть припухать начинает и раздвояется... Что со мной было, Боже мой! Она села, я сзади подошел, ремешком руки ей захлестнул и тут же узлом стянул накрепко. «Кричи, — говорю, — Галочка, кричи, милая, но чему быть, того не миновать». Ножками своими она отбиваться пробовала — и все молчком, молчком и с ненавистью, и халатик у нее совсем распахнулся...

Меня в момент и в дрожь, и в пламень кинуло, и теперь, если бы вознамерился кто меня ее лишить, то единственно по принципу либо — либо: либо я бы убил, либо со мной кончать бы пришлось на месте. Я к ней прилег. «Ну, Галочка... ну, милая моя», — ей шепчу, еще надежду тая, что, может быть, и в ней та струнка вдруг зазвучит, — что однажды уже звучала при мне. А она и смотреть не хочет. Голову отвернула и глаза закрыла — лежит себе, как покойница. «Не хочешь, — я подумал, — так сейчас ты у меня захочешь!» Она только вначале вскрикнула — девочкой была, моя милая, — но потом, сколько я ни старался, как ни стремился к тому, чтобы естество ее в ней пробудилось и заговорило, как ни ждал ответной ее дрожи — все напрасно. Даже головы не повернула и глаз не открыла моя Галочка. Встал, оделся, руки ей развязал — лежит, не смотрит. «Галочка, — ей говорю, — может, нехорошо тебе?» «Уходи, — она мне отвечает, — воняешь ты...»

Так с тех пор я ее и не видел. Знал, что продавщицей работала, но про мадам Матье впервые... Надо же! Но хотел бы, очень хотел с ней хотя бы раз еще... Даже притом, что вполне могу представить, как она истаскалась и какие крохи остались в ней от той Галочки. Мне кажется, если я пересплю с ней и если достигнута будет обоюдность, то червячок, меня с тех пор сосущий, насытится и

стихнет... Но звонка, звонка почему нет?! Почему не звонит она, девочка моя маленькая? Ей ведь, между прочим, и восемнадцати, кажется, еще нет... Это все ерунда, несущественно... сегодня нет, завтра есть... Надо же до такой степени усложнить жизнь всяческими условностями! А если позвонит... если подтвердит, что да, завтра... Ее, мою милую, я по всей улице, как ребеночка, пронесу! Ножки горячие, стройненькие осторожной рукой разомкну...

Об остальных никто ничего не знал. Где они, что с ними, живы ли вообще — Бог весть!

— Давайте, ребята, за них... — чтобы хорошо им жилось, — сказал Петя Ким, влажными черными блестящими глазами взглянув на Мартын Мартыныча. — Давай, Валера, провозгласи!

Смага, приметив Петин увлажненный взор, сказал:

— Нам, оказывается, не чужды сантименты, а, Петенька?

— Стареем, — отшутился Петя.

— Тело дряхлеет, душа мягчеет, — изрек Сева Чернов, и согласно кивнул Блаженный Вася:

— Так.

Еще раз оглядев застолье, я шепнул Мартынову:

— Пойдем проветримся.

Мы вышли в соседнюю комнату.

— У Наташки кольцо пропало, — сказал я.

Мартынов молчал.

— Что смотришь, как солдат на вошь? — вскипел я.

— Слушаю, — обронил он бесстрастно.

— Я тебе сказал: перстень пропал! Мало тебе?!

Он придвинул к себе стул, сел, велел сесть и мне, сказал:

— Подробней. Где? Как? Когда?

А все выслушав, вдруг ухмыльнулся:

— Хошь верь, хошь не верь — у меня сразу мелькнуло: утащат. Соблазн больно велик.

— Так ты что... не сомневаешься, что...

— Что украли-то? — договорил за меня Мартын Мартыныч. — Как пить дать. Теперь думать давай: кто.

— Я, Валер, думал уже...

— Что надумал?

— Да некому вроде...

— Духом святым, стало быть? На такой версии далеко не уедешь, — сказал он и, взяв лист бумаги, принялся быстро писать. — Вот, — показал мне, — мы все.

В столбец, корявым почерком переписано было наше застолье. — Исключаем, — проведя ладонью по розовой лысине, сказал далее Мартын Мартыныч. — Этого, — первым вычеркнул он Блаженного Васю. — Эту, — вымарал вслед за тем Наташу Орлову, — ну и нас с тобой, я думаю... Ты ведь не брал перстечка, а, Саня? — елейным голосом спросил меня. У меня дух захватило, но Мартын Мартыныч тут же пояснил: — Шутка.

А секунду спустя, медленно поднеся к глазам лист бумаги с

нашими фамилиями, из которых четыре были вычеркнуты, а десять остались, добавил:

— А вообще имей в виду... Не знаю, как тут у нас сложится, но имей в виду, и тебя, и каждого из нас об этом спросят... У нас, как ни крути, кража, и крупная.

— Спирину вычеркни. И Севу. И Боба.

— Это почему же?

— Объяснить надо?

— Объясни, сделай милость.

— Не брали они... не могли взять!

— Уверен?

— Как в себе!

Вместе со стулом придвинувшись ко мне так, что его колени коснулись моих, сказал с шумным вздохом Мартын Мартыныч:

— Эх, Саня! Ты что — как Вася Блаженный, что ли? Чего в грудь колотишь? Ты мне скажи: выходили они в коридор, пока там Наташкина сумочка была?

— Выходили... Все выходили!

— Я не про всех, я про них. Выходили, видели сумочку, знали, что в ней... И не таких бес путает — ты мне поверь. Я тут недавно одним химиком занимался... Доктор наук, профессор! За рубеж ездил чаще, чем мы с тобой в Малаховку, — а знаешь, что учудил? Ему для его опытов препарат дефицитнейший на валюту покупали, так он из него нечто вроде кокаина гнать наловчился... Торговлю открыл. И человек сам по себе неплохой, зарабатывал прилично, да вот бабенке его все мало было. Нет, Саня, нет, друг мой милый, — многознающей головой покачал Мартын Мартыныч. — Что в нас таится, мы до поры и сами не ведаем. Я к Оле Спириной не хуже твоего отношусь и тоже того мнения, что не могла она, а все ж, раз случилось, подумать и о ней надо.

— Думай, что хочешь, — буркнул я.

— Ну-ну, — усмехнулся Валера Мартынов, хотя без малейшего намека на улыбку смотрели на меня его глаза, из двух добродушных поросячьих щелочек превратившиеся вдруг в две льдышки, от которых ощутимо веяло холодом. — Мне, между прочим, без удовольствия — дерьмо одноклассников разгребать. Я в нем и без того сижу по уши с утра до ночи...

— Тебе за это орден дадут.

— Ассенизаторам не дают, — сказал Мартын Мартыныч, встал, велел мне слушать внимательно и, расхаживая по комнате, которая — от стены до стены — всего-то была в три его шага, принялся рассуждать:

— Прямых улик у нас с тобой нет... Кто вслед за Наташей вышел в коридор первым, мы не знаем, да и не обязательно, чтобы этот первый непременно был вор. Я с тобой могу согласиться вот в чем — умысла украсть, возможно, ни у кого и не было. Вот так прямо: улучу момент и украду — так вряд ли кто думал. Но! — произнес Валера, для вящей убедительности повторив еще раз: — Но! Представь: вышел в коридор и оказался возле сумки, которую и от-

крывать не надо... Рука словно сама нырнула — похоже? Мысли об этом не держал — но случай представился, и, как короткое замыкание, все сдерживающие центры в момент перегорели. Это первое. И второе: мог сделать только тот, у кого это короткое замыкание по натуре возможно. Понимаешь? То есть, ну как бы тебе объяснение: либо расслабившийся («Кисельников!» — мелькнуло у меня тотчас), либо жадность обуяла свыше всех сил, либо, — он на секунду задумался и сказал твердо, — подловатый... Тут, видишь ли, Саня, не история, в которой все ясно, тут самое трудное — психология, в которой сам черт ногу сломит.

— В истории как раз, если знать хочешь, туману больше, чем где бы то ни было... А что до психологии. Если ты такой Порфирий, — Валера удивленно вздернул брови, и я напомнил: — Из «Преступления и наказания»... — то Спирина должен вычеркнуть непременно. Не пьяна, не жадна, не подла — этого твоего короткого замыкания быть в ней не может.

— Погоди, — поморщился Мартын Мартыныч. — Что ты, как муха: Спирина, Спирина... Давай дальше.

Но я сник. Подлой скороговоркой во мне словно зашептал кто-то: «А ты подумай... оцени вот что... Не принадлежи перстенец Орловой... принадлежи, например, звериной лапке, Павловой Наташе... ты бы как выглядел при этом, а? То-то! Вряд ли бы сидел сейчас с Мартын Мартынычем, суд рядил... Оказался бы здесь Геночка Смага, и был бы ты в их глазах такой же возможный воришка, как и все остальные-прочие... Как Мартын Мартыныч считает... он же так считает, ты знаешь, что всякий украсть мог! Он даже Олю Спирина — и ту не желает вычеркивать. А ты... Да ты подумай... ты в себя загляни, ты жизнь свою копни поглубже — и увидишь... Нечего тебе в ответ сказать, чтоб защититься, нечего? Ты ли не подличал? Не лгал? Не выдавал себя совсем не за то, что ты есть на самом деле? Почему ж ты перстенец украсть не мог? А? То-то!» «Не так, не так это все! — беззвучным криком ответил я. — Нельзя про меня... Я честно живу, мне жить трудно!»

Не то я говорил, не то... Я оправданий не ищу, я свои слабости и пороки знаю — но ведь и предел им тоже знаю, за который никогда не переступлю! Опять не то. Переступал — однако же и казнил себя за это, и всеми силами старался затем искупить. Статья в «Вопросах истории», о которой упомянула сегодня Мэри, жена Пети Кима, — она как бы вовсе не моя статья, хотя писал ее я; там есть несколько фраз, я их собственной рукой вставил, и они ее суть зачеркивают... Я над ней целый год корпел, а теперь без стыда читать не могу. Кого я предал? Себя предал; истину, в которую верил; родную нашу историю, и без того достаточно униженную и поруганную. И почему? Да потому, что нашелся на мою голову член редколлегии, профессор, мужичок лет шестидесяти, оказавшийся вдруг лютым, до иступления и, по-моему, даже до какого-то помрачнения разума ненавистником Бориса Годунова.

Бедного Бориса он иначе как чертом не называл, и стоило кому-нибудь возразить и сослаться, к примеру, на добросовестнейшего

Платонова или даже на дьяка Ивана Тимофеева, далеко не однозначно оценивавшего Годунова, профессор кидался, будто очумелый: «Злодей! Ведь он что натворил-то — Юрьев день отменил, Федору отраву подсыпал, сестричку в монастырь утек, а царевича, мальчонку, Дмитрия — зарезал, окаянный! Его рук дело, Борисовых, тут и сомневаться-то нечего!»

Страсти по минувшему — быть может, самые сильные страсти.

А я сомневался. Не доверяя Клейну, в 1911 году издавшему угличское следственное дело, читал архивные столбцы и, все факты собрав, вывел: не убивал. Да ему убивать никакой нужды не было — Нагие в Угличе под присмотром Бятиговского тихо гнивали, и во всей России никому в ту пору не было до них равным счетом никакого дела. Девятилетний эпилептик с пугающими зачатками чудовищной отцовской натуры в полдень пятнадцатого мая, играя в свайку, насмерть покололся ножом, а Бятиговского, «государево око», растерзала натравленная пьяным Михаилом Нагим и обезумевшей Марией толпа — так я написал.

Без его визы мою статью и рассматривать бы не стали. Он меня долго ломал — я держался. «Чего написал-то, сам понимаешь? — он внушал. — Вспомни: Ключевский, не нам с тобой чета, завещал — надобно отличать известие о факте от самого факта. Отличать! А для тебя будто разницы нет, что́ этот старый лис Шуйский на потребу Годунову состряпал, а что́ в самом деле стряслось». Он меня не столько напором, сколько лаской взял. Я, правда, к нему из последних уже сил цеплялся: «Моложе вас был Василий Иванович...» Он хохотал, жмурил глазки, но из узких щелок посверкивал на меня холодными огоньками: «И Шуйского в обиду не даешь... Тебе всех царей, что ли, жалко?»

Сначала я одну фразу вставил, потом вторую, третью... Он меня словно заколдовал. Я к нему приходил, а он из-за своего стола уже махал крепкой рукой: «Давай, Саша, подгребай! Я тут еще одно местечко нашел, предложеньице имею...» Я подгребал, садился, он вставал за моей спиной, дышал мне в шею (от него почему-то всегда пахло луком) и, тыча в рукопись пальцем с мохнатой седой порослью на фаланге, приговаривал: «Вот тут, голуба-душа... Мы с тобой тут подмалюем чуток — и баста! И, Господи, благослови — в печать!» «И все?» — сквозь зубы спрашивал я, лютой ненавистью пылая к нему — к его голосу, запаху, к этому его пальцу, отвратительно поросшему седыми волосами. «Да ты мне будто не веришь!» — с обидой восклицал он. Я, в свою очередь, кричал: «Но имейте в виду — это последнее надругательство над моей статьей! Последнее!!»

Когда вышел журнал, жена попробовала меня утешить: «Статья как статья. Вы все так пишете: с одной стороны... с другой стороны...» Я закричал, как помешанный, и выскочил на улицу, изо всех сил хлопнув дверью.

На следующий день я уехал в Углич. Зачем? Сам не знаю... Погянуло, должно быть, земле поклониться, прощения у нее попросить. Ведь я совершенно уверен, я знаю, чувствую — не было злодея! А по моей статье можно понять, что было. И кем же я тогда

выхожу сам перед собой, а главное — перед заброшенными русскими могилами? Выхожу человеком бесчестным, выхожу лжецом. С отчаянием, чуть не плача, признавался я в этом — Волге, все заметней терявшей дневной, ослепительный блеск, церкви Димитрия на крови с золотыми звездами на синих куполах, «жильцам» — мальчишкам: Петрушке Колобову, Баженке Тучкову и Ивашке Красенскому, на розыскные опросы согласно ответившим, что не было в те поры за царевичем ни Осипа Волохова, ни Данилы Бятиговского... Они правду сказали — и сейчас их тени на меня с укоризной глядят.

...деядося нынешнего девяносто девятого году, майя в пятнадцатый день, в субботу, в шестом часу дни зазвонили в городе у Спаса...

Остановившись посреди комнаты, недовольно спросил Мартынов:

— Что ты там бормочешь? С чем-нибудь не согласен — скажи...

— Все в порядке, Валера...

— Слушай тогда дальше.

Все то, что нам с тобой известно о людях, здесь собравшихся, размеренно говорил он, — по крайней мере, значительная часть того, что нам известно, относится к временам школы. Разумеется, поспешил добавить Мартын Мартыныч, человек — величина не постоянная, кроме того, в известном смысле он напоминает деталь, денно и ночью обрабатываемую всякого рода наждачными дисками, среди которых отметим семью, службу, малое общество, в чьем окружении он живет, и общество в целом, чьи требования он постоянно ощущает... Есть люди поразительно высокой прочности, их не берет ни один наждак, с каким бы усилием он ни применялся. Но, во-первых, судьба их, как правило, незавидна, а во-вторых, с усмешкой взглянул на меня Мартын Мартыныч, в нашем классе таковых не нашлось. Все мы, сказал он далее, внезапно блеснув знанием полузабытого философа, оказались подъяремными ослиами и ослицами редкостного терпения, и лишь приличия ради прикидываемся нежными, стеная о гнетущей нас тяжести жизни. Исходя из этого, я и рассматриваю наше застолье.

Скажу тебе сразу, наибольшие сомнения вызвал у меня поначалу твой сосед по парте... да, да, именно Боб Беляков, хоть ты и предлагал его незамедлительно вычеркнуть. Известная нам с тобой его жизнь была, если ты помнишь, как-то чересчур легка... точнее — легковесна, устойчивости не чувствовалось в нем никогда, ты должен со мной согласиться. Был случай, ты его помнить должен... Перед самыми выпускными экзаменами прошел слух, что Гусь знает темы сочинений, — помнишь? Все это оказалось в конце концов вздор и чистая липа, но Боб! За Гусевым, как собачонка, ходил — а ведь никогда раньше дружен с ним не был! И вот еще... Он что тебе сказал про свои нынешние дела? Кандидатская на мази, защита скоро — так? А я между тем голову даю на отсечение: никакой кандидатской у него и в помине нет и быть не может, и вообще занимается он совсем не тем... Смага про него что-то такое знает, о чем Боб предпочел бы не распространяться. Ты обратил внимание, как он на Ге-

ночку окрысился? Почувствовал... Но я тем не менее его отсекаю. Напрочь эту возможность исключать нельзя, но есть, мне кажется, претенденты более явные.

Возьмем теперь Севу. Можешь мне сказать, кто он? Погоди. Вечный неудачник — вот он кто. У него на лбу написано, что ему всю жизнь мыкаться суждено, — ты мне поверь! Если по школьному его замаху судить, то Сева наш никак не меньше министра быть должен. Замах-то рублевый, а удар, я тебе скажу... Токарь — и ничего кроме. Правда — изобретает. Я краем уха слышал, он Киму рассказывал — какие-то там приспособления к станкам, чтобы переналадка быстрее шла... Одно назвал просто и со вкусом — «Мечта»! Над святыми стремлениями шутить, конечно, грешно, но эта его «Мечта» по сей день явью не стала. А неудачники, да еще вот как Сева — с изобретательской блажью, — они, мой милый, самые опасные на всем свете люди! Опасны, потому что непредсказуемы. Он и кольцо-то мог взять из благих намерений — Наташке забава, лишняя побрякушка, а мне для дела... Продам, года на два работу брошу и заниматься буду только изобретательством.

Но есть одно обстоятельство, которое, мне кажется, не должно допустить Севу до кражи: его отношение к Орловой. Он, по-моему, ее и сейчас любит, а что в школе любил и в первые годы после — так об этом среди всех один только ты не знал. Произведение Лермонтова «Тамань» читал? Слепой мальчик оттуда — это вот как раз ты и есть. Стало быть, Севу мы с тобой трогать не будем — психология не велит. Следующим в моем списке Петя Ким... Живой человек. И не без расчета — у Павловой уже путевки просил достать, Сережу билетами пытал — может ли, к Смаге в отдел какого-то своего приятеля пристроить хочет... Но колечка, я мыслю, не брал — риск велик. Жена его нам неизвестна, однако, похоже, робка и вообще необходимых качеств не имеет — пишем ей отставку.

Смага... Ведь это с ним связана та история... ну, помнишь — в восьмом классе, когда у Наташи Мордвиновой кошелек стянули? Подробности я запомнил, но Мординова — это я помню точно — тогда меня уверяла, что либо Смага, либо Кисельников: сидели они вместе позади нее и видели, как она показывала деньги Аристовой... Геночку Смагу я назвал бы вероятнейшим претендентом, но, умишком пораскинув, я в конце концов понял — момент для него неподходящий. Видишь ли, у него, по моим наблюдениям, душа поет, у него праздник, именины сердца, он сюда на собственной «Волге» прикатил — вон она, у тротуара — и ему его упоение сейчас дороже, чем Наташкино колечко. С Павловой, по-моему, все ясно...

Трое осталось: Кисельников, Гусев и Евдокимова. Возьмем для начала Гуся. Тут, видишь ли, идеальное совпадение двух условий: внутренних и внешних. Условия внутренние — это его характер, тебе, я думаю, достаточно известный. Подлянка сидела в нем еще в школе, и не может быть никаких причин, чтобы она не развилась в нем до полноценной подлости. А внешние... Возможно, я ошибаюсь, но, право, чем точнее пытаюсь вспомнить — а память все-таки профессиональная, — тем яснее вижу, что сразу же после того, как вернулась

из коридора Наташа, зазвонил телефон, и Гусь сорвался к нему, ожидая, что это какая-то очередная его баба... Он там минут пять ворковал, и все это время никто из комнаты в коридор не выходил! Разумеется, первый после Наташи вышедший в коридор еще не обязательно вор, мы об этом уже говорили. Довольно трудно поручиться тут и за абсолютную точность. Но ощущение, что это было именно так, а не иначе, может иногда заменить десяток фактов — ты мне поверь. Про Евдокимову скажу следующее. Особа, как ты знаешь, вполне заурядная — такой была, такой осталась. Но вот глаза у нее при виде перстенька блестели, заметил я, так, что если бы в комнате ненароком погас свет, я тебя уверяю — они бы у нее светились и в темноте! А этот вздох ее помнишь? когда сказала Наташке, что та счастливая? И наконец, Сережа... Представь себе человека, которого буквально взашей вытолкали из дому жена и ее родственники; которого лишили единственной привязанности — дочери, воспитав ее так, что она не ставит отца и в грош; который, подобно незабвенному своему папе, подполковнику с малиновыми кантами, в последнее время пьет горькую... месяц назад брел ночевать к приятелю, упал, потерял папку с документами, после чего с превеликим трудом удержался на службе... Представь себе человека, измочаленного жизнью, ослабленного водкой, и спроси: может ли он, приметив безнадзорный, плохо лежащий перстень, удержаться от соблазна? То-то...

Валера Мартынов

Я несколько увлекся в своих изысканиях — отчасти, вероятно, потому, что рядом со мной был зритель, перед которым я старался не за страх, а за совесть. Но уж зато совершенно натурально... даже без намека на актерство и без всякого желания прослыть ясновидцем отвечал я Васильеву, что так и знал, что непременно утащат. Тут есть некая непостижимость... нуτρο, которое чует и, как правило, точно... способность предвосхищать события, минуя их связи и последовательность... Все это облечено в формы достаточно смутные, расплывчатые, неопределенные и напоминает как бы неясное ощущение, скользнувшее по краю сознания, и я лишь сравнительно недавно стал задерживать на нем внимание и доверять ему.

Ловили Воропаева, незаурядного скокаря, что в переводе на общепринятый означает — специалист по квартирным кражам. (Специалист такой, что любо-дорого: в Минске очистил квартиру министра и, с двумя чемоданами в руках появившись на улице, остановил проезжавшую мимо машину, показал депутатский мандат, заодно с хрусталем, золотом и наличными прихваченный у товарища министра, и велел мчать на вокзал, объяснив, что его персональная «Волга» внезапно вышла из строя, ему же нуаτρο надлежит непременно быть в Кремле, а днем надо улетать в Женеву на конгресс ЮНЕСКО, где он избран вице-президентом... Вся его лапша довольно забавна, однако особенный, высший юмор придает ей то обстоятельство, что в машине сидел капитан из следственного управления МВД респуб-

лики, который на вокзале помог слуге народа выгрузить чемоданы, заметив при этом: «Тяжеленькие». Воропаев ответил ему спокойно: «Сувениры проклятые! Как за рубеж, так хоть носильщика с собой бери — всем надо! Одному президенту конгресса — шесть хрустальных бокалов».) Вот такого артиста ехали мы брать, зная улицу, номер дома и квартиры и даже время, когда он собирался приступить к работе.

Все это сообщил накануне мой осведомитель, человек жалкий и запуганный. Оснований не доверять ему у меня не было, но тем не менее чем-то не понравился мне дом, который как будто облюбовал себе Воропаев. От соседнего отличался он, пожалуй, только тем, что был потише... ну, может быть, стоял не совсем удачно, далеко от стоянки такси... ну, словом, черт его знает почему, но я в конце концов решил, что на месте Воропаева полез бы не в этот, а именно в соседний. Тут-то, сам не зная зачем, быстрым шагом двинулся я в ЖЭК, на эти два дома общий. И в том ЖЭКе накрашенная девица мне охотно сообщила, что в квартире, возле которой собрались мы поджидать Воропаева, живет семья Бузычкина Вадима Анатольевича, корректора издательства «Машиностроение», но зато в квартире под тем же, тридцать седьмым, номером другого дома проживает гражданин Нойбаум, зубной техник. Бузычкин или Нойбаум? Корректор или зубной техник? Пример совершенно школьный, а Воропаев, между прочим, с незаконченным университетским образованием. Так рассудив, снимаю я людей и веду к другому дому — к тому самому, где в изобилии и покое благоденствовал гражданин Нойбаум, не ведая, что должен сломя голову нестись в храм и ставить там здоровенную свечу православному Богу за то, что, непонятно почему и зачем, я прислушался к смутным своим ощущениям, а прислушавшись, стал сомневаться в достоверности полученных сведений.

В нашем случае все несколько по-другому, то есть определенности, какую подразумевает слово «знал», не было и быть не могло у меня в те минуты, когда перстенок переходил из рук в руки, сверкал камушками и заставлял трепетать сердца. Ну в самом деле, как бы мог я помыслить нечто подобное, если пребывал в состоянии замечательной благодати, в которое привела меня наша встреча. Я всех любил и дурных умыслов ни в ком не допускал. Однако лишь только сказал Васильев, что колечко пропало, как в тот же миг снова, но уже с большей силой охватила меня та неясная, ни на чем не основанная настороженность, с которой я в первый раз увидел перстень. Тогда, в застолье, мне, откровенно говоря, лень было разбираться в этом чувстве, хотя в то же время прекрасно помню, что возникло оно из еще более отдаленного предощущения крушения нашего праздника, крушения, имеющего в своей основе некую гадость. Мне перстенец с первого взгляда показался опасным, он был чреват преступлением, я видел... Так и вышло.

Не скажу, что я удивлен или — учитывая обстановку и прочее — даже поражен случившимся. Друзья-одноклассники могли бы, конечно, и воздержаться от кражи, но, с другой стороны, наши общие школьные годы и общие воспоминания не дают совершенно ника-

ких поводов считать, что бывшие ученики 10 «А» скроены по особой мерке. Мерка та же, и материал все тот же. Начиная работать в розыске, я полагал, что с годами преступность если не вполне сойдет на нет, то, во всяком случае, существенно уменьшится. Получилось, однако, наоборот. Не далее как вчера допрашивал проститутку, причем «центровую», из тех, кто промышляет в «Национале», «Метрополе», «Москве» и прочих самых что ни на есть центральных кабаках нашей столицы... Красивая девка двадцати шести лет, и лет, наверное, пять у нас на учете... Но мне вчера совершенно все равно было, с кем она спит и сколько за это берет. Я знал, что два дня назад ночевал у нее «Абрикос», грузин из Кутаиси, который довольно ловко от нас бегал, имея между тем на своем счету только в последнее время три вооруженных ограбления. Надо было, чтобы она его отдала. «Он у тебя с пистолетом под подушкой спал!» — я ей говорю, от верного чело- века точно узнав, что так оно и было: лег, а пистолет под подушку сунул.

Но очень уж сильно напугал ее «Абрикос»: ничего она не знает, ни с кем не спит, пистолета в жизни не видела. «Ладно, — говорю, — иди, подумай. Три дня тебя жду, на четвертый начну бумаги оформлять». «Это какие же?» — от дверей спросила. «Из Москвы высылать тебя будем». Она только плечиком дернула: «Это вы можете». Ушла — привели мошенника, с таким замечательным искусством содействовавшего честным гражданам добывать «Жигули», что дома у него при обыске нашли три сберкнижки тысяч на десять каждая и наличными восемь тысяч. За мошенником последовал карманник с надежным прикрытием — справкой из психдиспансера, за карманником — фарцовщик, и так крутилось до семи вечера, когда сообщили, что в подвале найден труп девочки лет восьми-десяти...

Преступлений никогда не было и не будет меньше — вот истина, в горькой справедливости которой теперь уверен я твердо. Все рассуждения о социальных корнях преступности — такая же блажь, как разговоры о том, что лишь незримое, постоянное присутствие Бога может удержать человека от воровства, грабежа или убийства. Блядь, повязавшаяся с бандитом, мошенник, жулик, наконец, тот еще пока не пойманный скот, изнасиловавший и задушивший девочку, — их и сонм им подобных я всегда вспоминать буду, когда мне станут внушать, что возможен и вполне сбыточен мир без преступлений. Ерунда! Мир немислим без преступления, оно — такое же совершенно необходимое проявление жизни, как прямо противоположные ему милосердие и добро. Оно — часть человеческой природы, некогда воплотившейся в убийце Каине и с тех пор неустанно подтверждающей свою сродненность с корнями бытия. Больше того: оно не только присуще, оно, по какому-то страшному, еще не открытому закону, необходимо жизни, иначе столетия организованной государственной борьбы давно бы покончили с ним. ...Смешно мне удивляться краже перстня.

— То-то, — заключил Мартын Мартыныч, усаживаясь напротив с таким видом, словно мне надлежало встать и лавровым венком увенчать его плешивую голову.

Но, взглянув на него, тотчас опустил я глаза. Не дай Бог, углядит

в них старинный товарищ мой, Валера Мартынов, все, что я о нем думаю! Думал: лишь человек с выжженной дочерна способностью сострадать может с подобной легкостью заподозрить, по сути, каждого; вернее — ни в ком не найти качеств, которые сделали бы неправдоподобной одну только мысль о краже... И не случайно и совсем не в шутку спросил он, не брал ли я Наташкиного перстенька! Но, по его же логике, такое сомнение позволительно и мне: а разве не выходил он сам, Мартын Мартыныч? разве не видел раскрытую сумку и разве не мог возникнуть в нем соблазн сунуть руку за перстнем?

Заглянул Боб Беляков:

— Третий нужен?

— Третий лишний, — не оборачиваясь, быстро сказал Мартын Мартыныч.

Он сидел с неподвижностью Будды и прищуренными и оттого ставшими совсем крохотными глазками смотрел прямо в лицо мне.

— Вам виднее, — одним только правым плечом пожал Боб, что в школе, тотчас припомнил я, служило у него выражением крайней обиды.

— Извини, Борь, мы сейчас...

Дождавшись, пока за Беляковым закрылась дверь, сказал мне Валера Мартынов:

— Ты вправе и заподозрить, и меня спросить: не брал ли? Но я бы на твоём месте меня, — стукнул он пальцем в грудь, — подозревать не стал.

— А я тебя и не подозреваю... и не спрашиваю... какие к тебе вопросы... — поспешно отведя взгляд в сторону, пробормотал я.

— Очень интеллигентен, — обронил небрежно Мартын Мартыныч и шагнул к двери. — Ну-с, кликну подследственных. С кого начнем?

Я вскинулся:

— погоди! Валер... Ты хоть представляешь, что будет?

— Вполне.

— Давай тогда вместе выйдем... И позовем вместе...

Он пожал плечами:

— Как хочешь.

Петя Ким закричал мне навстречу:

— Что же вы?! Ушли, беседы ведете... Валера, ты ведь руководить взялся... Мы тут Славу Аксенова помянуть хотим, а вас нет... Давай, Валер, распорядись.

Пете кивнув, быстрой рукой налил всем Мартын Мартыныч и вопросительно взглянул на меня:

— Скажешь что-нибудь?

...Сколько лет прошло со дня его смерти... и с того летнего, ясного, знойного дня, когда забрали гроб из больничного морга, привезли на кладбище и там закопали... (Анна Григорьевна, Славина мама, с жалкой улыбкой на трясущихся губах смотревшая, как опускали Славу в могилу.) Кидали вниз темные комья глины, сырую тяжесть которой, едва вспомнив о Славе, тотчас ощутил я в руках.

И сразу же (как, впрочем, и всегда) ощущение это, словно

попав в кровь, от рук поползло вверх, знобящим тревожным чувством наполнив сердце. Причина этого чувства заключалась не только в том, что Славы нет и что его смерть напоминала мне, что то же самое — гроб, кладбище и могила (хотя, может быть, и крематорий, в огненные недра которого плавно опускаю я или то, что совсем недавно мной было) — ждет и меня. Причина была главным образом в мучительном сознании, что все это постоянно находится рядом, что было рядом всегда, еще с пеленок, и по внезапному, моему пониманию недоступному знаку готово в любой миг разлучить меня с жизнью. Ведь так! У Славы Аксенова началось с какой-то ерунды — с чуть вспухшей и покрасневшей крохотной родинки как раз в том месте, которое в старину называлось душой: в низу шеи, над грудной костью. И трех месяцев не прошло после, а я уже сидел в автобусе и смотрел на чужое желтое лицо с выпуклыми глазными яблоками под шафрановой и, казалось, очень тонкой кожей, с запавшими и пожелтевшими щеками, с прямым носом с косточкой, вдруг резко обозначившейся на переносье, которой и не было никогда у живого Славы.

Эта вот косточка особенно поразила меня. Здравомысленно рассуждая, нельзя было допустить, что она появилась у Славы в те два дня, пока лежал он в морге; она, несомненно, была у него всегда, однако же за три года нашей тесной дружбы я не рассмотрел ее, отчего и чувствовал себя непоправимо виновным...

— Чего молчишь? — спросил Петя.

Ему вторя, сказал Сева Чернов:

— Давай... Массы ждут.

— Славу Аксенова, — я сказал, — мы пережили на целых четырнадцать лет. Он уже давным-давно там... и оттуда на нас глядит, и все мы ему видны, и знает он про нас все... даже то, чего сами мы про себя не знаем или знать боимся... И если бы он сейчас, вот эту самую минуту, оказался бы здесь и нас спросил: ну, как вы, ребята? — трудно было бы нам отвечать ему, чистому... Он и живой был бы чист... ему и живому тяжело было бы в глаза смотреть... А теперь... Представить только, что с ним говоришь! И не отыщешь места, куда бы от стыда забиться.

— Ты уж не убивайся так, не надо, — дождавшись, когда я замолчу, заметил Смага. — Все мы люди как люди... Отъявленных подлецов и негодяев среди нас я что-то не вижу. Ну а слабости наши... Что за человек без слабостей? Еще бабка моя говорила: не согрешишь — не покаешься. А Слава... Что ж, все там будем!

У меня руки затряслись от ненависти. Подлая натура! И смотрит на всех как бы с усталостью, через силу, словно взаимы всем дает.

— Там, где он, — с хрипом выдал из себя я, — ты не будешь. Гена Смага чуть приподнял ровные брови.

— Можно подумать, у тебя с загробным миром телетайпная связь.

— А я говорю: туда, где он, таких, как ты, пускать не должны...

Блаженный Вася посмотрел на меня с изумлением и с изумлением же сказал:

— Васильев! Саша! Что с тобой?

— Именно, Василий Григорьевич! — подхватил Смага. — Ни за что ни про что брат на брата, одноклассник на одноклассника.

Опять зазвонил в коридоре телефон, и Мэри, жена Пети Кима, опять позвала Гусева, теперь уже даже слегка подшучивая, как человек, вполне приобщившийся к компании:

— На вас просто невиданный спрос, Володя!

И Гусь, выбравшись из-за стола и двинувшись к двери, отвечал ей, склонив чуть набок маленькую полысевшую голову:

— Это, знаете ли, всего лишь отголоски прежних бурь...

— Ну, Гусь! — восторженно крикнул ему вслед Боб Беляков. — Ну, дает!

И зашумели тотчас по поводу Гусева и его амурных походов («А ведь такой был тихоня!» — самозабвенно кричала Евдокимова, и Павлова Наташа с многозначительной улыбкой ей отвечала: «Ты же знаешь... В тихом омуте...»), принялись вспоминать что-то со смехом — и, разумеется, в миг и как бы с облегчением забыли про Славу. Он словно бы снова умер, умер на моих глазах, и ничем я помочь ему не смог.

Оля Спирина

Васильев со Славой был дружен и Славу не забыл, я рада. Когда он перестал ходить к Славе на могилу, я отнеслась к этому довольно спокойно, рассудив, что связи рвутся и между живыми, вчера еще близкими, и неразумно требовать верности чувства к тому, кого давно уже нет. Но он помнил и помнит, и тринадцать лет спустя это не менее важно, чем в день Славиного рождения, четвертого сентября, принесенные на могилу цветы... Во всем мире, таким образом, осталось нас трое, соединенных верной памятью о Славе: Анна Григорьевна, я, Саша Васильев...

Анна Григорьевна почти ослепла, согнулась, едва ходит. В своей комнате она не позволяет менять ничего — пусть все останется так, как было при Славе, требует она и прибавляет, что если уж выпало ей нарушить закон (произнося это слово — «закон», она поднимает вверх правую трясушуюся руку и, повернув голову, устремляет почти незрячие глаза точно в то место на стене, где висит Славина фотография) и ей, матери, пришлось похоронить сына, то пусть ее собственная душа в положенный миг отлетит в комнату, где все напоминает о ее мальчике... Все это произносит она голосом ровным, сухим (даже как бы шелестящим от сухости... высохшим), и, наверное, только я, за все годы после Славиной смерти Анну Григорьевну узнавшая лучше, чем самое себя, могу различить в каждом ее слове вместе с постоянной, незатухающей болью непреклонный, упорный, никаких отступлений не признающий вызов времени... судьбе... всему тому, что тринадцать лет назад пресекло жизнь ее сына и что теперь по праву не нами установленного, извечного порядка стремится размыть и унести скорбь и память о нем. Вне этой скорби

для Анны Григорьевны жизни нет вообще — она дышит, питается ею, живет в ней, как в своей раковине улитка.

Иногда я пытаюсь внушить ей, что дело совсем не в тех вещах, которые нас окружают и неодушевленная плоть которых рано или поздно истлеет, а исключительно в нас самих... что Слава жив, пока мы живы... и что пусть даже по какой-либо нелепой случайности не осталось бы после него ни единого снимка, мы все равно сохранили бы в своих сердцах его облик и образ... И что, конечно, надо оставить и стол его, и книги, и тетради, но диван, который уже тогда собирались выбросить, теперь совсем развалился... изодрались обои... выцвел, растерял бахрому и никуда не годится абажур...

Она слушает меня, поджав губы, и, когда я замолкаю, говорит с нескрываемой неприязнью, обращаясь ко мне на вы, как к человеку, ей совершенно чужому: «Вы, моя милая, судите по-своему, но уж позвольте мне, старухе, иметь и свой взгляд. Вот вы выразились насчет неодушевленной плоти этих вещей. Мне странно... более чем странно... мне совершенно непонятно, как это тот, кто утверждает, что ему бесконечно дорог мой сын... не может понять, что во всех этих вещах обитает его душа. Хорошо, пожалуйста, — зовите людей, тащите диван на свалку. Душу моего сына — как последнюю рухлядь! Оклеивайте стены новыми обоями, милости просим! Немецкими или какими там... до которых сейчас все так падки... Но я хочу, чтобы вы сначала взглянули». При этих словах с неожиданной живостью цепкими холодными пальцами она хватается мою руку, поднимается, опираясь на нее, и ведет меня к той стене, на которой — я помню — в последнюю школьную весну перед выпускными экзаменами, когда всем нам было и весело, и страшно, Слава нарисовал двух препотешных, вихрастых человечков, согнувшихся под тяжестью взваленных на их спины книг, и подписал: «Еще немного — и кончен бал! Прощайте, школа. Сдаем весь хлам». «Видите?» — требовательно спрашивает меня Анна Григорьевна. «Да... — помедлив, отвечаю ей я. — Вижу». Славиного рисунка нельзя различить лет, наверное, уже пять — лопнули и порвались обои, и лишь одно слово можно даже не столько прочесть, сколько угадать: «Прощайте...»

«Он рисовал хорошо. Стихи писал... ты помнишь?» — подняв голову с пучком седых редких волос на затылке, немигающим долгим взглядом она всматривается в мое лицо (а видит, это я знаю, всего лишь светлое, неопределенных очертаний пятно). «Помню», — говорю я, и она умиротворенно вздыхает: «Помни, дочь. Я умру — ты помнишь останешься». Общим нам было бы легче жить, если бы у меня был от него ребенок. (Моя мать, врач, раньше меня знавшая, что Славу спасти нельзя, предупреждала: «Ольга! Глупостей не надевай».)

Но в тот первый и единственный раз, когда это могло случиться... здесь, в этой комнате, накануне того дня, когда Славу увезли в больницу, из которой он не вернулся... в тот первый и единственный раз у него уже не было сил... Измучив себя, он зарылся головой в подушку и говорил глухо, глотая слезы: «Я из больницы выйду, тогда... Облучение проклятое, оно всему виной... Еще немного осталось,

я знаю, мне профессор сказал, и тогда! Оль, — резко повернувшись, вдруг спросил он меня, ловя глазами мой взгляд (сердце мое едва не разорвалось от ужаса... я будто впервые услышала голос его, странно высокий и как бы не имеющий в себе твердой основы, зыбкий, какого и не было прежде у Славы, увидела глаза его, чей цвет, всегда темно-серый, яркий, теперь словно был разбавлен водой и приобрел неживой, тусклый блеск... и поняла, что смерть уже приступила к нему), — ты веришь, что я поправлюсь? Не отвечай, не надо. Я тебя прошу, — зашептал он, горячо дыша в лицо мне, — ты замуж не выходи... погоди, не говори ничего, потом скажешь! Ты пока не выходи... пока обо мне помнить будешь...» «Я о тебе всегда помнить буду», — омертвевшими губами едва смогла вымолвить я, и он тотчас отметил с невыразимо-скорбной улыбкой: «Вот видишь, ты уже не говоришь мне, что я поправлюсь и буду жить и тебя любить...» «Но, Слава!» — вскрикнула я, но он шепнул, горячей ладонью накрыв мне рот: «Молчи. Я знаю, что всегда. Но в разное время по-разному. Ты подожди, пока в тебя глубоко не уйдет... пока жизнью со всех сторон не обрастет... понимаешь? Вот тогда...»

Тринадцать лет прошло, а боль моя не затухает, и не обросла жизнью моя память о нем. Единственное, о чем я не перестаю сожалеть, так это о том, что слишком долго решалась и что рядом со мной нет сейчас Славиного сына. Я бы назвала его Славой, и было бы ему сейчас почти тринадцать лет... И тогда, может быть, не было бы у меня постоянного, в эти годы ни разу не оставившего меня чувства, что мне — еще в этой жизни — суждена встреча со Славой, что туда он взят только на время, и в свой час вернется, и застанет меня верной, вечной его невестой... И что, твердо зная это, он и просил меня не выходить замуж. Больше того: он и вернуться может лишь в том случае, если я буду одна и буду верна ему... (Конечно, я понимаю... Все совершившееся необратимо, и из того запредельного мира возврата нет. Но что же мне делать, если и по сей день я люблю его — его одного? если никак не обымет меня облегчающая тень забвения? если бессонными ночами я разговариваю с ним и явственно слышу его голос — не тот, странно высокий, зыбкий, каким говорил он со мной в последние дни своей жизни, а прежний его, чуть глуховатый, и в глубине, на самых низах, неизменно печальный?)

Однажды вечером после работы я шла к Анне Григорьевне. И как всегда еще не вполне покинула свою палату... там у меня лежали семь ребятишек-дошколят, среди них Настенька Рыжкова четырех лет, смугленькая, кудрявая, очаровательная девочка... Стоит ей пробежать по коридору какие-нибудь ничтожные десять метров, как она останавливается и с тревожной, жалкой, недоумевающей улыбкой на прелестном личике дышит тяжело, вздохлб — будто за краткие мгновения бега прожила всю жизнь и на последнем шаге оказалась по крайней мере шестидесятилетней. У нее порок сердца, поражение двух клапанов, в каждом случае сочетаемое: стеноз и недостаточность. Без чувства глубочайшей вины я не могу слушать Настенькино сердце: оно хрипит, захлебывается, трепещет, в отчаянном усилии стучит в тоненькие ребра грудной клетки, и отзвук тревожных его

ударов разносится по всему Настенькиному телу — просит... молит... вопит о помощи. А я бессильна. И могу уповать лишь на редкое везение Вити Муравьева, моего однокашника по институту, хирурга.

Но чем ближе Малая Бронная и дом, где живет Анна Григорьевна, тем сильнее овладевает мной другое чувство, за все эти годы не утратившее надо мной своей власти. Мне кажется, что если существую я, если по-прежнему, за малым исключением, сохранив все свои черты, все приметы своего облика, существует мир, в наше со Славой владение милостиво предоставивший улицы, скверы, скамейки (на берегу пруда наша заветная... и она все та же, я точно знаю, и неизменность ее существования представляется мне словно бы залогом... безусловным подтверждением возможности того, о чем постоянно я думаю), если ничто не прерывалось, не нарушило своего хода, не прекратило движения, как это непременно должно было бы случиться, когда бы Слава — часть мира — на самом деле выпал из состава целого, то, значит, он где-то здесь, он, может быть, обрел иную форму, иной вид, может быть, растворился, растаял в знойном воздухе того летнего дня, но в любую минуту появится вновь. И я жду — жду с таким постоянным, сильным, иссушающим напряжением, что однажды вечером в подворотне их дома увидела совершенно точно... Звук его шагов гулко и звонко раскатывался под каменным сводом; затем, выйдя из полумрака подворотни и вступив в освещенную часть двора, он обернулся и призывно махнул рукой. «Слава!» — крикнула я и побежала к нему. Он стоял, улыбался и протягивал навстречу мне руки...

Толкнул меня Валера Мартынов, я повернулся к нему.

— Давай.

Он позвал:

— Сережа! Кисельников! У нас с Саней к тебе дело.

Сережа встрепенулся:

— Ребя... А я думал... думал, я вам мешаю!

— Пойдем, Сереж, в ту комнату, — поддерживая нетвердо стоящего на ногах Кисельникова, Мартын Мартыныч повел его в соседнюю комнату.

Я вошел следом и плотно закрыл за собой дверь.

— Ты вот что, Сережа, — начал Мартынов. — Разговор между нами, никто четвертый о нем знать не должен.

В знак того, что предупреждение это совершенно излишне и что он и так был бы нем, как могила, Сережа Кисельников, поджав губы, попытался выбраться из кресла, но Мартын Мартыныч двумя пальцами легонько толкнул его в грудь, и Сережа грузно осел назад.

— Вообще, — забормотал он, — как-то странно... Если не верите, то и не надо... Не зовите... И не говорите...

— Ты как? — спросил я у него. — В порядке? Не очень позволялся?

Не дав Сереже раскрыть рот, ответил за него Валера:

— В порядке, в порядке! Ну, выпил чуть, так это ему ерунда. —

После чего легко, быстро шагнув ко мне, злым шепотом прибавил: — Ты помалкивай. Слушай и помалкивай.

А отойдя от меня, встал перед Кисельниковым и некоторое время молча, пристально глядел на него — для того, должно быть, чтобы тот, несколько сбитый с толку, занервничал. И точно: Сережа, с благодушной улыбкой снизу вверх взиравший на Мартын Мартыныча, малое время спустя стал нетерпеливо ерзать в кресле и на меня оглядываться с недоумением, словно бы желая и не решаясь спросить, к чему, зачем все это. Но все еще улыбался — однако теперь с выражением некоторой растерянности и даже, показалось мне, виноватости. «Неужели?» — подумал я с горечью и тут же понял, что не к нему, не к Сереже Кисельникову, испытываю недоброе, тягостное чувство, а к Наташе Орловой, которой не следовало выставлять напоказ бабкин перстень.

— Вот что, Сережа, — тихо произнес Мартын Мартыныч. — Перстень пропал.

Я видел — клянусь, я видел, что, прежде чем Мартыну ответить, всем телом вздрогнул Сережа!

— Перстень? Это... это какой перстень? Это Наташкин перстень? Ну, тот... вот этот? — свел Сережа в кольцо два толстых пальца.

И Мартын Мартыныч, точно так же соединив два пальца, кивнул: — Именно, Сережа. Именно этот.

— А почему... почему пропал? Вы искали?! — тревожно спросил Кисельников. — Он же дорогой... четыре тысячи стоит, ты, Мартын, сам говорил!

Ровным голосом произнес Валера:

— Его украли.

— Как?! Кто... — едва вымолвил Сережа, — кто украл?

— Да, — вслед за ним, но без мучительного его выражения повторил Мартын Мартыныч, — кто украл?

— Вы, значит, думаете... вы меня позвали... вы думаете, — вцепившись в ручки кресла, лепетал и озирался вокруг Сережа. — Саня! — отчаянно крикнул вдруг он, словно впервые увидев меня. — Скажи ему, что я не брал!

— Валера! — не выдержав, шагнул я к Мартын Мартынычу, но тут же, им отброшенный, отлетел к стене.

— А разве я говорил, что ты? — почти ласково сказал Кисельникову Мартын Мартыныч, а мне, обернувшись, погрозил: — Не лезь! Мы с Васильевым, — продолжал он даже как бы убаюкивать Сережу, — просто хотим помочь... И Наташе, и всем нам... Отыщем перстень, отдадим Наташке — и все тихо, без шума. И никто не узнает. Никто, — он подчеркнул. — А не найдем... — Мартын Мартыныч развел руками. — Милиция, обыск. Всех обыскивать будут, Сережа. И представь — найдут у кого-нибудь! У того, кто, может, случайно его в карман положил... кто просто отдать забыл... выпил, заболтался и забыл — ведь бывает! А у него найдут. Вот ведь позор-то какой, а, Сережа? И мало того, что позор, — уголовное дело.

— Я не брал, — тусклым голосом проговорил Сережа. — Саня! Ты веришь, что я не брал?

Он умоляюще смотрел на меня — а я... я словно бы сквозь какую-то пелену видел его, нынешнего: с толстыми, уже обрюзжими щеками, в синем заношенном аэрофлотовском мундире с линялым золотом на обшлагах. Все мерещился мне в эти минуты тишинский наш двор и несчастный мальчик Сережа — давясь рыданиями, тщится он увести домой тяжело, угрюмо пьяного отца. И скорее тому — на веки вечные оставшемуся на Тишинке в обличии угловатого робкого мальчика, страдающего от матерной отцовской брани, — сказал я, зная, что он — не мог:

— Верю, Сережа! Конечно, верю!

— Я правда... правда... — подхватил сразу Кисельников, но, не договорив, уткнул лицо в ладони, спина и плечи его крупно затряслись — он заплакал.

— Ты-ы-ы... — задохнувшись от жалости, злости и отчаяния, шепотом выкрикнул я Мартын Мартынычу.

Он холодно взглянул на меня:

— Мне только твоей истерики не хватало.

— Я думал... думал, что хорошо было бы, если б Наташкин перстень был мой, — невнятно, не поднимая головы, сквозь всхлипывания проговорил вдруг Сережа. — Долги бы отдал... Пианино дочке купил...

Мартынов усмехнулся:

— Пропил бы ты его, Сережа.

Но Кисельников, словно не слыша, продолжал торопливо, как бы боясь, что решимость его иссякнет и он так и не выскажет всего, что отяготило душу:

— У меня даже мысль была... была мысль, чтобы взять... Но только мысль, правда! Честное слово, только мысль, — твердил он с отчаянием. — Но я только подумал, что возьму... и мне страшно стало... А когда вы меня позвали... когда сказали, что нет перстня... что украли... у меня внутри все оборвалось. Я вдруг на себя подумал... показалось, что это я... я украд, — с трудом выговорил он последнее слово.

Положа ему руку на плечо, сказал настойчиво Мартын Мартыныч:

— А ты поищи... Как следует поищи.

Сережа вскинул голову, и в мокрых глазах его проблеснуло и резануло мне сердце то жалкое и вместе с тем как бы угрожающее выражение, с которым смотрят на проходящих людей бессильные, старые собаки.

— Ты так, да? Так? Хорошо...

Не сразу попав трясущимися руками в карманы, он наконец вывернул их. Посыпалась на пол мелочь, упала связка ключей, полетели какие-то бумажки.

— Смотри, — ожесточенно говорил при этом Сережа. — На, смотри... Вот он, перстень, на, смотри! На! На! На!!! А... Я знаю! — воскликнул он. — Знаю, почему вы решили, что я! Вам этот гад... Смага вам сказал!

— Что сказал? — тотчас насторожился Мартын Мартыныч.

— Все ловишь? — дрогнувшим голосом спросил Сережа и тыльной стороной ладони стер выступивший на лбу обильный пот. — Лови, лови...

— Ты про Смагу начал, — терпеливо напомнил Валера.

Некоторое время Сережа Кисельников молчал, отрешенно глядя перед собой, затем перевел глаза на меня и сказал со вздохом:

— Он ведь обещал не говорить никому... А теперь сказал. Столько лет прошло...

— О чем ты? — я спросил.

— В восьмом классе... помнишь? У Мордвиновой деньги пропали... Триста рублей. Старых триста... Так это я их... взял. Украл, — быстро, бледнея, проговорил Сережа и все с той же мрачной настойчивостью не сводил с меня глаз. — Как мы жили, ты знаешь... Отец денег почти не приносил, у мамы инвалидность. А за мной, ты знаешь, еще двое, я старший. Что-то тогда особенно было плохо... Я не помню, не могу сейчас вспомнить, что, но совсем... очень плохо, иначе бы я не взял... не украл эти деньги. Я иногда о себе подумаю, мне жутко делается. Мне родиться не нужно было, вот что! А я живу... Ну вот скажи... ты, Саня, мне скажи — зачем?! — запаленно дыша, говорил Сережа. — Все люди как люди... Валерка, ты, все... у Мартына вон мать дворничиха, отец слесарь, а он жил в тыщу раз лучше, чем я! С собакой гулял... Мне тридцать два года, а скажи мне сейчас: «Кисель, вспомни что-нибудь в твоей жизни хорошее», я отвечу: «Не было никогда, нет и не будет!» Мне жена говорит: выродок ты... И дочка... — Но тут, будто неосторожным движением задев плечное место, он передернул плечами и затих.

И уже совершенно иным, вялым голосом и как бы через силу рассказал затем Сережа Кисельников, что о его краже (он так и сказал, нимало не переменявшись в лице и даже не запнувшись: «моя кража») знал Смага (внезапно вошел в пустой класс, когда Сережа запиховал в карман три сторублевые бумажки, и тут же, скорее всего, просто так, от нечего делать, но очень цепко пристал: «У кого украл?») и что с тех пор, став обладателем Сережиной постыдной тайны, этим обстоятельством изрядно пользовался. Не только задачки решал ему Сережа и писал сочинения — и в институт вынужден был поступать вместе со Смагой, на приемных экзаменах трудясь за двоих, причем в тот институт, куда сам вовсе и не стремился, — в автодорожный. Не понимаю только, вполне безразлично прибавил Сережа, вам-то ему зачем было об этом говорить. Разве только для того, чтобы самому сейчас очиститься...

— Не говорил он нам ничего, — сказал я.

— А-а... — скривился и махнул рукой Кисельников. — Какая разница... — И, тяжело поднявшись с кресла, шагнул к двери.

— Сережа, никому! — проговорил ему вслед Валера Мартынов.

Еще раз, не оборачиваясь, махнул рукой Сережа, и в открытую им дверь я увидел, как, сев за стол, он тут же налил себе и залпом выпил.

— Кисель, в чем дело! — возмутился Боб Беляков. — Не уговаривались пить сепаратно.

— Тебе что — жалко? Украл я у тебя эту рюмку? — дрожащим голосом почти закричал в ответ Сережа, на что Боб радостно объявил всем:

— Совсем плохой!

Из-за моего плеча позвал Мартын Мартыныч:

— Гусев! Зайди на два слова.

— Саша! Валера! — с капризным неудовольствием проговорила Павлова Наташа. — Что это вы там устроили? Тут все-таки женщины, они требуют внимания, а вы!

— Айн момент, Наташенька! — над моей головой ловко щелкнул пальцами Мартын Мартыныч. — Гусь нам и нужен именно в этих целях. Будем, так сказать, перенимать опыт.

— Ну-ну, — снисходя, усмехнулся Володя Гусев и уселся в кресло, в котором только что сидел Кисельников. — Что угодно?

Я бы сказал ему... Имея в виду, что все или почти все, что знаем мы о тебе, несколько отдает пакостью (взять, к примеру, тот случай, когда ты совершенно бескорыстно настучал директрисе, что Александр Иванович Жиндяев, бедный, запойный наш физик, был опять не в себе и объяснять ничего не мог) и не может быть истолковано в твою пользу, угодно нам, сказал бы ему я, сообщить тебе следующее... Не брал ли ты случайно перстенок из сумки Наташи Орловой, тот самый, который она всем нам показывала? Вопрос этот адресован тебе еще и потому, что Мартынов почти уверен, что сразу же после того, как вышла из коридора, забыв там сумочку, Наташа, первым оказался там ты. И отчего бы тебе?..

Разумеется, историческая, так сказать, масса этого твоего поступка (и всех твоих, и моих, и наших поступков — и дурных, и хороших, и никаких) ничтожно мала. Вместе с тем никто не может поручиться, что внедрение твоего поступка в гигантскую массу уже прожитой человечеством истории не изменит направления ее движения. Никаких заметных изменений, конечно, не произойдет, но крошечное, микроскопическое отклонение вполне вероятно. И если это тебя хоть немного интересует... Но все равно: вопрос — неразрешимый, в своем роде единственный, давно меня мучающий и временами ввергающий чуть не в исступление вопрос заключается в том, не сбилась ли человеческая история далеко в сторону, в худшую, надо полагать, сторону, из-за бесконечной череды совершенных в ней больших и малых злых дел: от убийства Бориса и Глеба до сегодняшней твоей кражи... (Предположительно, пока всего лишь предположительно твоей.) И каким подвигом добра, каким беззаветным мученичеством, каким самопожертвованием удастся теперь, на исходе второго тысячелетия от Рождества Христова, исправить движение истории?

Ты бы мне мог возразить (для чего тебе, вероятно, следовало бы всего лишь переродиться), что искупительная жертва некогда уже была принесена. Да, так! И поистине счастливы те, кто верит, что она достаточна. Но я поверить не смогу, не в силах — вот боль и скорбь моя! В одной нашей русской истории — в ней одной, от первых ее времен и до самых последних, — нахожу я столько насилия, вероломства, подлости, лжи, воровства, невинно пролитой крови,

что искупить все это и тем самым склонить человеческую историю в ту сторону, откуда, не переставая, светит нам негасимое сияние вечной истины, — нет уже никакой возможности.

Я молчал, а говорил Мартын Мартыныч, упирая главным образом на то обстоятельство, что в коридор чаще всех выходил Гусев и, когда оттуда, забыв сумочку, вернулась Наташа Орлова, первым оказался там именно он, Гусев. Все это Гусев выслушал, глядя попеременно то на Мартынова, то на меня с неподдельным интересом, — правда, отметил я, слегка порозовев. И с нескрываемым сожалением к нам обоим сказал, по давнишней привычке чуть склонив облысевшую голову:

— Я и отрицать не собираюсь. Выходил и сумочку ее помню — она как раз у зеркала висела. Только что это доказывает, господа сыщики? Что я в эту сумочку, едва увидел, сразу же и полез?

— Прямого доказательства тут нет, есть косвенное, — ответил ему Мартын Мартыныч.

— А с вашим косвенным доказательством, насколько я понимаю, вы вполне, и не раздумывая, можете отправиться в жопу, — с замечательным хладнокровием отозвался Гусев. — Больше того: на меня глубоко удручающее впечатление произвело само качество ваших рассуждений. Васильеву простительно, он дилетант, — сказал Гусев и, секунду подумав, прибавил с ядовитой ухмылкой: — Любитель, иначе говоря. Но тебе, Мартынов, должно быть стыдно. Удивительный непрофессионализм! Полагаю, — как бы вскользь заметил он, — твою карьеру именно это и сдерживает... К телефону, между прочим, меня всякий раз звали. И если Орлова ушла, забыв свою сумочку, а потом зазвонил телефон, то подошел к нему первым не я, а кто-то...

Он встал и шагнул к двери.

— Вся эта компания, честно говоря, мне изрядно надоела. Я и без того собирался уходить, теперь тем более...

— Это — вряд ли, — сказал Мартын Мартыныч.

— Ты удержишь? — полюбопытствовал Володя Гусев.

— Надо будет — я, — пообещал Мартынов. — Сюда милиция придет. Надо, чтобы все были. И помалкивай пока, Гусев, понял?

Дверь за Гусевым закрылась. Мартын Мартыныч повернул ко мне злое лицо.

— Хитрый гад! Петькину бабу подставляет.

— А его один раз и Павлова звала, — вспомнил вдруг я. — Точно! Она на кухню пошла, и тут телефон...

— Да помню! — раздраженно махнул Валера. — За тортом она пошла.

В эту минуту настала за дверью тишина столь глубокая, что ее вполне можно было назвать гробовой, если бы не случайное, пронзительное звяканье металла о тарелку, произведенное чьей-то вздрогнувшей рукой. Но словно курок вдруг нажали — так заговорили и закричали в той комнате, причем особенно был слышен оказавшийся на высоких тонах необычайно резкий голос Павловой Наташи, повторявшей: «Это неправда! Этого не может быть среди нас!»

— Сказал, все-таки, сволочь! — быстро, вполголоса проговорил

Мартынов и метнулся к двери, успев и на меня прикрикнуть: — Что расселся!

Он опоздал: дверь распахнулась, и показавшийся на пороге Блаженный Вася, с взъерошенными седыми редкими волосами, вытянутой худой шеей и оттого отчасти напоминающий внезапно состарившегося цыпленка, спросил слабым голосом:

— Саша... Валера... Сейчас Гусев сказал... Это правда?

— Чистейшая, Василь Григорьевич, — не колеблясь, ответил Мартынов и, взяв Блаженного под руку и развернув на сто восемьдесят градусов, вышел с ним к примолкнувшему за столу.

Двинулся следом и я и, сев на свое место, взглянул на Наташу Орлову. Сидела прямо, не прислоняясь к спинке стула, с плотно сжатыми губами и подрагивающим подбородком. Я коснулся рукой ее руки, она чуть кивнула, не повернувшись ко мне, не разжимая губ. Петя Ким шептал что-то жене, которая, слушая его, нервно теребила маленькими пальчиками верхнюю пуговицу своей наглухо застегнутой белой блузки. С видом полного равнодушия, и даже позевывая, листал какую-то книгу Гусев. Соседка его, Евдокимова, выглядела, наоборот, весьма возбужденно, в круглых глазах ее помимо всегдашнего птичьего любопытства мелькало выражение осмысленное, отчасти даже цепкое, обличавшее в ней особу, способную при необходимости за себя постоять. Презрительно кривил губы Чернов. Перехватив мой взгляд, успел пожать плечами Боб Беляков, что, судя по всему, должно было означать: «Ей-богу, дед, не знаю, что и думать!» Справа от меня, грудью навалившись на край стола, обеими руками с ожесточением распахивал и не мог распахнуть ворот форменного кителя Кисельников. Не поднимая глаз, сидела Оля Спирина, крепко тер многотумный лоб Мартын Мартыныч. Слева — за Наташей Орловой — видел я Смагу, на лице которого без труда можно было прочесть, что он, Смага, знал заранее, что в конце концов выйдет какая-нибудь гадость, за ним — Павлову Наташу, излучавшую праведное негодование, и во главе стола видел Блаженного Васю, мутным, растерянным, вопрошающим взором оглядывавшего всех нас, бывших своих учеников. В этом взоре вполне выразилась смятенная душа Василия Григорьевича Мухина и даже как бы мольба его к нам: обратить все в шутку, забыть, похоронить и снова соединиться в радующей его сердце школьной, старинной, крепкой дружбе... Но было уже совсем не до шуток, и Мартын Мартыныч, помедлив, начал:

— Ну, раз он сказал...

— Хорошенькое дело! — отложив книгу, тут же перебил его Гусев. — Меня, можно сказать, обвиняют, что я стащил этот перстень...

— Никто тебя не обвиняет, — проговорил Мартын Мартыныч.

— Подозревают! — налившись краской, крикнул Гусев. — А кто дал вам право — тебе и Васильеву? Кто дал вам право меня подозревать? Я не имею к этой истории ни малейшего отношения! И не желаю, чтобы мое имя трепали...

— А вообще, почему именно они? — ни к кому не обращаясь,

как бы между прочим заметил Смага. — Почему Мартынов и Васильев?

— Я их просила, — сухо, с вызовом сказала Наташа Орлова. Смага пожал плечами.

— Они самые достойные, возражать не смею... Но все-таки не святые и вполне могли...

— Кто?! — гневно закричал Боб Беляков. — Сашка? Мартын? Да ты думай, что говоришь!

— Хорошо, Боря, я не настаиваю. Только заметь: защищая их, ты обвиняешь себя. То есть увеличиваешь возможность своей причастности к этому прискорбному событию. Если оно, — прибавил Смага, — вообще случилось.

Что-то сказал ему и я, должно быть, с изрядной долей грубости, потому что в ответном его взгляде ясно выразилась откровенная злоба; что-то крикнул Боб Беляков и даже со стула поднялся с некоторой угрозой, но был осажен Черновым; звериной лапкой хватала Блаженного Васю за руку Павлова Наташа и требовала, чтобы он немедленно подтвердил, что этого не может быть и что все это чудовищно; у Блаженного на морщинистой шее выступили ярко-красные пятна и заметно вздрагивала голова... Кричал иступленно Гусев, что тысячу раз прав Смага, что Васильев с Мартыновым точно так же должны быть подозреваемы и что, побывав на встрече со своими одноклассниками, он, Гусев, испытывает такое ощущение, будто вляпался в кучу дерьма. Сидели, затаившись, Петя Ким и его жена Мэри, и лишь изредка умоляющим голосом произносил Петя: «Тише... Пожалуйста, тише...»

— Тихо! Тихо, черт побери!! — загремел, наконец, Мартын Мартыныч. — Плевать я хотел, что вы тут все орете, что Мартынов и Васильев тоже могли... Зарубите себе... Все зарубите, — пристукнул он кулаком, — случилась кража, кража крупная. Тот, кто украл перстень, здесь. Я ему хочу сказать, пусть не думает... не надеется, что все шито-крыто останется. Не хочет сам, между нами... как-никак своими людьми это дело покончить, пусть на себя пеняет. Милицию вызовем.

Сказав это, Мартын Мартыныч умолк, посверкал на всех из-под наморщенного розового лба маленькими глазками и почти с угрозой прибавил:

— Н-ну?!

Вскочил Петя Ким.

— Ребята! — торопясь и сбиваясь, заговорил он и смуглой ладонью то и дело приглаживал свои черные с бобровой проседью волосы. — Я что хочу сказать... Я хочу попросить... я и Мэри — мы вас просим... Мы с ней хозяйева, ну и вообще... Я вам сказал насчет премии... И что уже на телевидении съемки прошли... Понимаете... Василь Григорыч, я вас тоже прошу, вы им скажите... Не надо огласки. Милиции не надо. Мы тут сами как-нибудь разберемся. Милиция придет, сразу вопросы — кто да что, чья квартира... На работу сообщат. Василь Григорыч! Ребята... Вы же наши порядки знаете... Вычеркнут и все тут.

Он смотрел умоляюще, и с той же мольбой смотрела, прижав к груди руки, Мэри, его жена.

— А мы решим... все решим, — продолжал Петя. — Еще поискать надо. В коридоре смотрели? Он из сумки мог выпасть... Закаяться... Там обувь. А под ковриком смотрели?

Я ему ответил:

— Каждый ботинок перетряхнули.

— Ну тогда... может быть... — пробормотал Петя, — я, право, не знаю...

— Давай, давай, Кимарик! — поторопил его Мартын Мартыныч. — Есть идеи — выкладывай.

— Да нет... какие идеи. Милиции только не надо, я прошу!

Не спеша заговорил Смага:

— Хорошо бы, конечно, без милиции. Придут грубые, тупые люди — извини, Мартынов, но среди вас таких, к сожалению, большинство...

— Говори, говори, — отозвался Мартын Мартыныч.

— ...Начнут шарить, выпытывать, записывать... И все это, я уверен, бестактно, по-хамски! — Даже плечами передернул при этих словах Гена Смага и на лице изобразил крайнее отвращение.

— Я совершенно согласна: ни в коем случае! — нервно сказала Павлова Наташа. — Не знаю, правда, как мы все выйдем из этого дурацкого положения, но милиция никому здесь не нужна. Господи! — Она закрыла лицо руками. — Какой ужас... какой стыд! И зачем только нужно было показывать этот перстень!

— Скажи лучше, зачем его воровать надо было! — сказав это, Сева Чернов потянулся за рюмкой. — Не понимаю, почему не пьем, Мартын, где твои тосты?

— Иди ты! — Мартын Мартыныч буркнул в ответ.

— Грубо! — без тени улыбки произнес Сева. — Ты, Валера, не прав. Подумаешь, кража! И во время чумы пир был...

— Во время чумы была смерть, но не было позора, — тихо, словно себе одной, сказала Оля Спирина.

— Стыд не дым, глаза не выест, — услышав ее, ответил и сразу же выпил Сева.

— И мне... налей мне... — пододвинул к нему свою рюмку Кисельников.

— Будет тебе! — прикрикнул на него Мартын Мартыныч и Севе велел: — Киселю не наливай.

— Это почему же... почему ты распоряжаешься? — прыгающими губами, белея, едва выговорил Сережа и, оттолкнув рюмку, непослушными пальцами принялся торопливо застегивать китель. — Я что... я уже у тебя под следствием?.. Нет, ты скажи... под следствием, да?!

Я крикнул:

— Сережа... Перестань!

Но ярость, обида, боль уже вполне захватили его, и, не слыша ни меня, ни Олю Спирина, которая пыталась его успокоить, он говорил, срываясь на крик, и щеки его, только что белые, с особенно заметны-

ми красными пятнами бывших прыщей, багровели сильнее и сильнее:

— И ты на меня не смотри так... И вы все! Не смотрите на меня... Я вас видеть не хочу! Зачем... зачем я сюда пришел! Не смотри на меня! — бешено крикнул он Мартын Мартынычу. — Мильтон проклятый!

Блаженный Вася позвал умоляюще:

— Сережа!

Когда Кисельников, сразу умолкнув, повернул к нему пылающее, яростное лицо, слабым голосом сказал ему Блаженный:

— Прошу тебя... Не надо...

Павлова Наташа ошеломленно качала головой.

— Чудовищно... чудовищно... — повторила она, но затем, как бы собравшись и перейдя от состояния растерянности к состоянию, требующему незамедлительных действий, проговорила: — Каким-то образом надо кончать это все. И скорее... скорее! Мартынов! Что ты предлагаешь?

Мартын Мартыныч определенно сказал, что иного выхода как сейчас же, ни секунды не медля, всем вытряхнуть на стол содержимое своих карманов и сумок, у нас, очевидно, пока нет. При этом, добавил он, безусловно запрещается кому бы то ни было еще некоторое время выходить из комнаты, вставать из-за стола вообще. Нельзя! «Как же... Я чайник поставила», — едва слышно сказала Мэри, жена Пети, но никто, по-моему, на ее слова не обратил внимания, и только сам Петя с сердитым видом прошептал что-то ей на ухо.

Мне жаль вдруг стало его — потому хотя бы, что и следа не осталось на Петином лице от того чистого сияния, с которым встречал он всех на пороге своего дома. Слово другой человек сидел передо мной — с озабоченным, желтым, далеко не юным лицом — и тревожным, страдающим и как бы померкшим от внезапной заботы взглядом прикованно смотрел в сторону Мартын Мартыныча.

Петя Ким

Кража в его квартире! Огласка... крушение надежд... гражданская казнь, можно сказать! Зачем обзванивал... старался... стол накрывал... скликал их, почти как клуша — цыплят... В школьной дружбе, в не прервавшихся с годами связях, в не подвластном времени чувстве виделся словно бы залог прочности, достоверности, реальности жизни — оттого с тихим ликованием, с возросшим к самому себе уважением нетерпеливо ждал этого часа. Была еще, разумеется, некоторая доля тщеславия, ибо ведь наверняка не у каждого... далеко не у каждого из тех, с кем вместе начинал с букваря и кончил аттестатом зрелости, так хорошо, удачно и складно, подобно ступеням надежной лестницы, сложились прошедшие годы. Может быть, Смага... Гусев — те, может быть, вправе встать со мной вровень, но уж, конечно, далеко до меня и пьянчужке Кисельникову, и звонарю Белякову, и много о себе возомнившему Чернову, и Мартынову, и даже Васильеву при всем том, что когда-то где-то читала его статью и с почтением о ней отзывалась Мэри... Одна статья — еще не урожай. Терпеливо, безропотно, окроп-

ляя потом каждую пядь, — так надлежит вскапывать свою делянку (так трудился, не разгибая спины, дед, щедрым огородом которого вскормлены были и отец, и три его брата, и отчасти — и сам я). Столетними неустанными трудами приученная к смиренному прилежанию кровь — дар бесценный, если не больший, то по крайней мере надежней любого таланта.

И вот, когда на земле ухоженной, в свой час принявшей им брошенное семя, созрел... почти созрел плод самый сладкий, словно тайный недруг, изломав изгородь, пришел и погубил, вытоптал долгожданный побег. Бывало и прежде. Утерев редкие скорбные слезы, дед начинал заново — но мне повернуться вспять и повторить пройденное тысячекратно трудней. Да и как? Общественное мнение — ведь это зверь лютый, вечно голодный, готовый пожрать всякого, на кого жребий падет... Кража! Где кража? У Кима были гости, кто-то у кого-то что-то украл... И сразу, в момент, переплетается кража с Кимом, Ким с кражей, и вот уже получается, что Ким если не сам украл, то, наверное, подстроил так, что можно было украсть, оказался соучастником... Его судить будут, он срок получит, и такому, с головы до ног запятнанному, — премию? Начнется, конечно, с перешептываний по закоулкам и коридорам, перекинется затем в кабинеты и на кафедры, завистники и недруги разнесут и раздуют, приятели и доброхоты на всякий случай, до выяснения — крал или не крал, соучаствовал или не соучаствовал, — храня безмолвие, отступят в тень, некоторое время спустя достигнет самых верхов и воплотится в короткое движение руки, этого Кима перед самым последним туром из списка кандидатов вычеркивающей вон!

Была в детстве любимая игра: из кубиков строить дом. Прилежно, осторожно ставил кубик на кубик и с совсем уже замирающим от восторга и смятенного предчувствия сердцем, задержав в груди дыхание, чтобы нечаянное дуновение не причинило ущерб моему произведению, на самый верх водружал шпиль. Но едва отнимал от него бережную руку, как он принимался опасно колебаться, расшатывая и без того непрочный дом, и чаще всего, к моему отчаянию, дом разваливался, кубики сыпались на пол, и я, глотая слезы, подбирал их, готовый начать все сначала. Блаженны детские игры, ибо их можно повторять сколько угодно — вплоть до поры, когда теряешь к ним всякий интерес. Блаженны детские игры, ибо убитый в них — жив, раненый — невредим, больной — здоров, рухнувший дом можно тут же отстроить заново, и, с легкой душой отрехшись от неудачного исхода, можно вымыслить новый порядок действий, обеспечивающий счастливый конец. Блаженны детские игры, ибо быстро высыхают и сменяются смехом пролитые во время них слезы!

Но тут не игра, нет. Тут премия всесоюзная, и для всякого понимающего человека совершенно ясно, что означает она. Деньги — ладно, не в них, вернее, не столько в них дело... дело в докторской, которая становится ближе, и существенно, лет, примерно, на пять ближе... дело в известности, которая, как помещенный в банк капитал, будет исправно приносить проценты... дело в благополучном решении многих существенных для меня вопросов... Конечно, научная польза работы не

станет больше или меньше от того, дадут или не дадут мне премию. Но, откровенно говоря, она не столь уж значительна, эта научная польза, и удовлетворение, которое она принесла, никогда не сможет восполнить ущерб от ускользнувшей прямо из рук премии. Нет, нет... Я чувствую: будет милиция, скандал, огласка, будет конец надеждам. Что ж, пусть. Я почти смирился, я готов. А для того чтобы спокойствие овладело мной полностью, я снова вспоминаю деда — сухого, смуглого, с длинной редкой седой бородой, в синем старом халате и сапогах, с неизменной мотыгой в руках...

«Но, может быть, именно Петя... проворной, маленькой, смуглой рукой...» — подумал я и в тот же миг, вдогонку мелькнувшей мысли, передернулся от внезапного отвращения к себе, в столь малое время переменившему природный свой взгляд на тяжелый служебный взгляд Мартын Мартыныча. Таким путем следуя, недолго и у Блаженного спросить: не вы ли, Василий Григорыч? Я посмотрел искоса на Блаженного Васю и с тягостным чувством собственной непоправимой вины ощутил терзающую его глухую муку. Был праздник, ликование сердца, счастливый итог — но все в одночасье рухнуло, он остался в прежнем своем старческом одиночестве.

Но притом, что кража есть кража, было бы ничего, терпимо... не так постыдно и страшно, если б не угрюмая ожесточенность, ясно выразившаяся на всех лицах. Эти люди, когда-то бывшие его учениками, могут быть безжалостными, уразумел вдруг он. Оправдывая их (и тем самым словно бы втайне от себя пытаясь облегчить и свою участь), он решил, склонив голову безропотно: это жизнь. И вслед за тем горько изумился собственной забывчивости: не на его ли долгой памяти угасали так много обещавшие? срывались и падали собравшиеся взлететь высоко? грязью покрывались чистые? Так чего же хотел, чего ждал от этих, с малым отличием повторивших всех прежних?

Блаженный Вася

Я и сейчас любил бы и страдал бы за них, и сейчас в их кругу спокойным счастьем наполнилось бы сердце, и сейчас нашел бы в себе силы все им простить, как за всякие вины миловал и тогда, если бы хоть на миг самый краткий проблеснул в них тот ничем не омраченный, чистейший свет, с которым явились они ко мне во времена, не столь уж далекие. Но где там! Не хранят — или сберечь не могут. И стало ясно, и от этой ясности надвинулся на сердце холод и пропало желание жить: это приговор мне, приговор, давно вынесенный и безжалостный, как сама справедливость. И я, не признающий над собой Бога, всю жизнь веровавший в целительную силу доброты, честности и знания, я готов здесь, за этим самым столом, вокруг которого сидят бывшие мои ученики, закричать из последних, оставшихся в моем теле сил: «Господи! Я хотел... я всегда стремился сделать их лучше! И разве же виноват я в том, что мои стремления оказались бесплодными!»

...Но обман, опять обман. Как странно и как жутко: из глубины моей выходит ложь. Мне стыдно, стыдно мучительно, потому что, зная

и признавая произнесенный надо мной приговор, я все же пытаюсь от него укрыться и прибегаю для этого к хитрости, лицемерию и фальши... Мысли мои мешаются, голова гудит, и слабеют руки, и я не могу, не в силах вполне ясно выразить то, что разрывает мне грудь! Дело, может быть, не в хитрости, не в лицемерии и фальши... Дело, скорее всего, в заблуждении, а если точнее — в самовнушении, к которому долгие годы был я привержен. Мне нужно... необходимо мне было оправдание... оправдать то, чем я занимаюсь... Нет-нет — математика, которой я учил, в оправдании не нуждается, она полезна. Но я вступил в класс с решительным намерением не замыкаться лишь в ней, лелеял сокровенную, горделивую надежду, что в моих учениках удастся мне пробудить благородное желание к бесконечному совершенствованию. Горьким смехом и глубоким рыданием отзываются во мне прошлые мои мечты — сеять разумное, доброе, вечное! Я сеял, это правда, но, как сказано в той удивительной книге, которую, к моему прискорбию, я прочел совсем недавно, иное упало при дороге и досталось птицам, иное попало на каменистое место, взошло, но вскоре увяло, иное упало в терние и было заглушено им, и лишь четвертая часть посеянного упала на добрую землю и принесла плод... Но я не могу порадоваться даже четвертой частью. С чрезвычайным, почти болезненным усилием напрягая память, я вспоминаю всего нескольких — а прошло их передо мной великое множество.

Отчего так? Я был плох? Они глухи? Одно время я так и думал: сначала о собственной беспомощности, потом об их невосприимчивости ко всему, что не осязаемо, не введено в границы безусловной определенности. Затем понял, что был неправ. Не так уж плох и беспомощен я, и уж, разумеется, совсем не глухи они. Сам того не ведая, я не вошел в лад с духом, нравами и обычаями времени и, конечно, оказался бит по всем статьям. Что бы я ни говорил, отвлекшись от математики, к чему бы ни вел, на какие бы образцы ни указывал, советуя взять их для примерного подражания, — всегда, во всякую минуту вполне явственно высылось за моими плечами время и, через мою голову обращаясь в класс, внушало другое. Я призывал к снисхождению — оно учило безжалостности; я зывал к доброте — оно воспитывало жестокость; я славил бескорыстие — оно толкало к потребительству; я заводил речь про совесть — оно объявляло главной мерой успех. Поколение за поколением доказывало мне тщету моих устремлений и усилий, они с топотом пробегали по мне, по моей душе, по моему сердцу... с веселым смехом посвященных в несложные мудрости времени и жизни, и некогда им было приостановиться и внять тому, что сердце и душа у меня кровоточат и что живого места не осталось во мне.

Я устал. Туманная пелена застилает мой взгляд, я не различаю прошлого, неясно вижу настоящее и как в ночь смотрю в будущее. Уже давно я учу только математике, и лишь изредка, когда, будто звездный свет, меня достигает чей-то требовательный, углубленный, вопрошающий взор, я срываюсь в прежнее... Вслед за тем я испытываю чувство крайней неловкости, будто я, весьма пожилой человек, учитель, допустил очевидную глупость. И я спешу с еще большим усердием толковать им про «а плюс б» и про другие совершенно необходимые для успешной

жизни истины — с тем чтобы, выплясывая перед доской, подтвердить, что я именно тот Блаженный, которому есть дело только до математики. Себе же внушаю, что делаю именно то, что нужно, к чему всегда стремился и чего хотел... Но странно: здесь, у Кима, десять лет спустя снова увидев бывших моих учеников, я вдруг поверил в доброту их сердец, прямоту души, в их честную основательность... вечно тлеющее во мне ожидание вспыхнуло восторгом: это я! Это же мое сбывшееся, осуществленное, воплотившееся! И, не лукавя, сказал, что теперь-то спокойно могу умереть. Однако вон как оно обернулось и окончательно решило мою участь: бесплодную смоковницу срубают и бросают в огонь.

Горячая волна плеснула ему в затылок, и вслед за тем, разламывая виски, оглушительно ударила кровь. Со странным звуком, вырвавшимся из горла, — не то стон, не то всхлип — он сжал виски руками, словно этим жестом — слабым давлением взмокших, вялых ладоней — мог защитить голову от боли.

— Что с вами, Василий Григорьевич? — спросил я, но он, скорее всего, не расслышал.

Мудрено было — такой шум стоял в доме Пети Кима. Вывернул свои карманы Мартын Мартыныч; Смага с брезгливой усмешкой выложил на стол ключи, прицепленные к брелочку, с которого зазывно улыббалась голая японка, записную книжку происхождения тоже зарубежного, горсть монет и, откинувшись на спинку стула, произнес: «Все»; резким движением опрокинул над столом свою сумочку Оля Спирина; положил носовой платок Петя Ким и, просительно глядя, пробормотал, что в карманах у него ничего больше нет, сумочка Мэри находится в другой комнате... если надо, он ее принесет...

— Пока не надо, — Мартын Мартыныч ему сказал и на меня посмотрел: «А ты чего? Тряси карманы».

— А мне... — срывающимся голосом, снова бледнея, проговорил Кисельников, — ...снова показывать?

— Что значит — снова? — все с той же брезгливой усмешкой повернулся в его сторону Смага. — Мы, например, не видели, что у тебя там...

— Я видел, — сказал Мартын Мартыныч — Васильев...

— Помимо тебя и Васильева... и, разумеется, Орловой, — в ее сторону чуть наклонил голову Гена Смага, — еще есть люди, заинтересованные в том, чтобы возможно скорее покончить с этой историей. И потом, все так все. Надо, как говорят ученые, соблюсти чистоту эксперимента.

— Пойдите... постой, Сережа... — прикрыв глаза ладонью, слабо выговорила Наташа Орлова. — Не надо... Ничего не надо. Я не хочу. Бог с ним, с этим перстнем, в конце концов...

Радостно вспыхнул и, не тая облегчения, зашепел Петя Ким:

— Да он найдется, Наташ... не сомневайся! Закатился куда-нибудь... Мы с Мэри квартиру будем убирать, мы найдем, непременно найдем! Хочешь — у нас сегодня ночуй, вместе искать будем...

— Да, — умоляюще произнесла Мэри, жена Пети, — оставайтесь.

Пожалуйста. — И прибавила, к Мартын Мартынычу обращаясь: — На кухне чайник кипит. Можно, я выйду?

— Воды в нем много? — опередив Мартынова, спросил Гусев.

— Полный...

— Тогда пусть кипит.

— Нет, милая, — говорила меж тем Павлова Наташа, и голос ее набирал силу и креп с каждым произнесенным словом. — Дело теперь совсем не в твоём перстне, как ты, наверное, считаешь. Дело в нас! — произнесла она, для вящей убедительности пристукнув по столешнице левой звериной своей лапкой. — Плохо ты о нас думаешь, если считаешь, что мы можем уйти отсюда с этим пятном... С этим чудовищным пятном! И ты, Петя, извини, и вы, Мэри, тоже. Мы понимаем, как вам неприятно, но войдите и в наше положение. Мы не можем, — сумела сказать она так, что обыкновеннейшее «не можем» тяжким камнем упало из ее скромно подкрашенных губ, — уйти отсюда, не выяснив все.

Павлова Наташа

Нет, думала я, они положительно не в состоянии под правильным углом взглянуть на случившееся. Их больше всего волнует вопрос, кто именно украл этот перстень. (Кстати, я совсем не уверена, что он стоит действительно четыре тысячи. Точно такой же, во всяком случае ничуть не хуже, я видела недавно в «Березке», он стоил тысячу четыреста двадцать. И, разумеется, — толпа! Я зарабатываю неплохо, приличный оклад у мужа, между тем единственное наше значительное приобретение за пять лет совместной жизни — это «Запорожец». Откуда у людей столько денег, чтобы стоять в очереди за перстнями? А еще жалуются... Я умею говорить с массажи, сама работала на заводе, но сейчас это стало положительно сверх всяких сил! Грубость, хамство, а то и мат — невозможно! И отвратительная трудовая дисциплина.) Так вот, я считаю иначе. Если будет открыт похититель — очень хорошо. Еще лучше, если милиция не примет в этом участия. Я не разделяю мнения Смаги, что наша милиция в своем большинстве состоит из грубых и тупых людей, но такие иногда встречаются в ее рядах, греха таить нечего. Окажись они здесь, это вряд ли способствовало бы благополучному разрешению... благополучному разрешению конфликта!

Какая все-таки ошибка, что я пришла сюда! Больше того — сама, собственными руками все организовала. Сколько сил, времени, сколько энергии затратила — это при моей-то загруженности! А главного не учла: никаких данных о каждом из них я не имела. Как они жили эти годы, все ли было нормально, не было ли нарушений, эксцессов, срывов — ничего этого я не знала. Тысячу раз прав мой муж, он предостерегал меня против излишних эмоций и говорил, что, по существу, я иду к совершенно незнакомым людям.

Конечно, меня успокаивала мысль, что в наше время, в нашем обществе, в нашем поколении процент дурных людей крайне незначите-

лен, и вряд ли эта закономерность, подтвержденная жизнью, окажется нарушенной для выпускников нашей школы, нашего класса. И, в общем, я не ошиблась в своих ожиданиях. При некоторых недостатках, несомненно имеющихся у каждого (да ведь всем известно, что людей без недостатков нет! надо работать над их устранением, вот в чем суть!), при известной самоуверенности у Смаги, чрезмерной резкости у Васильева, какой-то неуравновешенности у Белякова... все в целом показали мне людьми вполне достойными. (Кроме, может быть, Сергея Кисельникова. Запущенный случай, но не безнадежный, далеко не безнадежный. Хороший коллектив наверняка бы помог ему.)

И такое глубоко огорчительное событие, зачеркивающее все значение нашей встречи! Все, буквально все впустую! Причем я даже не успела высказать той мысли, с которой сюда шла. Я хотела сказать, что жизнь, особенно наша жизнь, предоставляет каждому их нас поистине неисчерпаемое количество возможностей с пользой для общества проявить себя. Главная трудность — в точной самооценке, в правильном выборе одной из множества дорог. Вероятно, это прозвучало бы нескольких нескромно, но среди прочих примеров я намеревалась привести и себя. Не так уж часто представляется нам возможность в кругу людей, выросших вместе с тобой, рассказывать, каким образом удалось тебе стать тем, кто ты есть: человеком прилежного, честного ну и, будем говорить прямо, ответственного труда. Не получилось! Огорчительно, но вместе с тем и справедливо. Нечто подобное, вероятно, и должно было произойти при отсутствии четкого представления, кто есть кто. Любое общество нуждается в собственном отделе кадров. Замечательно все-таки сформулировал мой муж! И хотя сказано это было в упрек мне, я не обиделась, напротив — признала его правоту и дала слово, что такой ошибки впредь не допущу.

А теперь... что ж, теперь надо спокойно и твердо ликвидировать последствия этого события... этой несчастной кражи... Обратить их внимание, что следует принять все возможные меры, чтобы сведения о случившемся не распространились дальше этой квартиры. Слухи неминуемо сделают каждого из нас в той или иной степени участниками... похищения. Это первое. И второе: принять необходимые меры, чтобы выяснить все.

— Мы не можем уйти отсюда, — непререкаемым тоном произнесла Павлова Наташа, — не выяснив все. Не поставив последнюю точку над «и».

— Если ты имеешь в виду «и» латинское, то над ним всего одна точка, — заметил Сева Чернов.

— Н-да, — вздохнул Смага. — Просто замечательно, что из наших рядов вышел такой образованный токарь...

Презрительно усмехнулся Сева, а Смага, в его сторону мельком взглянув, продолжал:

— ...но Павлова права. Надо выяснить. Я бы с большим удоволь-

ствии сию же минуту покинул это общество, но теперь я чувствую себя морально обязанным остаться здесь до конца.

— И не только морально, — уточнил Мартын Мартыныч.

— Не надо, Мартынов, — поморщился Смага, — мы ведь не в отделении.

— Я вас прошу... всех прошу! — умоляюще произнесла вдруг Оля Спирина. — Достоинство сохранить... И его пощадить... — движением головы указала она на Блаженного, который сидел понуро, с видом человека, утратившего представление о том, где он и что происходит вокруг.

Он, вероятно, и не понял вполне, что именно сказала Оля, ибо ответил ей так:

— Да... да... Ничего, Оленька. Спасибо.

Но сознание его, на время как бы затмившееся, постепенно усвоило смысл ее слов, и Блаженный неожиданно твердым голосом проговорил:

— Внимания на меня обращать не следует.

Смага кивнул:

— Прекрасно. Теперь к делу. Сережа, мы ждем.

Губы сжав, выгреб из карманов Сережа Кисельников свои бумажки, ключи, монеты и, поднявшись, швырнул все это в сторону Смаги.

— На! Жри!

Связка ключей на излете угодила Смаге в плечо, никакой боли, разумеется, ему не причинив. Но, вероятно, одно то, что Кисельников осмелился и некоторым образом поднял на него руку, вывело Гену из обычного его ровного состояния.

— Ну, ты... — брезгливо и в то же время злобно проговорил он. — Недоносок...

— Сережа! — крикнула отчаянно Оля Спирина, но мимо нее, опрокинув стул, кинулся к Смаге Сережа, но был перехвачен Мартыновым.

— Пусти! Пусти меня! — хрипел и рвался из его рук Кисельников. — Он же... он враг мой! Враг!

Смага сидел не шелохнувшись. Затем, когда с немалым трудом Мартын Мартыныч водворил Сережу на место, двумя пальцами, морщась, поднял с пола ключи и, положив их на стол, сказал совершенно спокойно:

— У нашего друга шалют нервы. Это бывает.

— Деньги... Деньги подобрать надо, — с болезненным выражением произнес вдруг Блаженный Вася, указывая на рассыпавшиеся повсюду монеты.

И странно: пока бросался к Смаге Сережа, пока, багровея от натуги, удерживал его Мартынов, пока Сережа, сломленный и отступивший, вытирал взмокший лоб и бормотал нечто угрожающее, все мы сидели молча, словно в оцепенении. Стоило, однако, Блаженному сказать про Сережины деньги (в большинстве, я заметил, достоинством не более пятака), как тут же заговорили и закричали все разом, и каждый, разумеется, свое. Орал, надсаживаясь, Боб Беляков, что много на себя берет Асуан Евфратыч; Гусев, ему отвечая, вопил, что

он, Боб, как был в школе придурком, так им и остался; кричала Павлова Наташа, что всю эту мерзость у нее нет больше сил терпеть; Мэри, жена Пети, пыталась привлечь всеобщее внимание к чайнику, который, наверное, уже залил газ; сам Петя, стирая руки, умолял всех говорить тише и не тревожить враждебно настроенных к нему соседей; с бешенством закричал и я, что надо вызвать милицию и дело с концом; и Сева Чернов с презрением в темных глазах произнес отчетливо и громко: «Вечер встречи в разгаре».

— Телефон! — отвлекся вдруг Гусев.

И точно: в коридоре во всю заливался телефон.

Гусев вскочил:

— Это мне... это меня...

Он шагнул к двери, но тотчас остановил его Мартын Мартыныч:

— Сказано было — не выходить!

— Это по делу... мне надо!

— Какие твои дела! — закричал Беляков. — Бабы! Перебьешься!

Телефон все звонил, и Гусев, решительно махнув рукой, двинулся в коридор.

— Что ж, — с подчеркнутым спокойствием ему вслед сказал Мартын Мартыныч, — будем тогда считать, что ты.

— Я?! — дернулся, как от удара, и резко обернулся Гусев. — Да ты... — даже задохнулся он, с ненавистью глядя на Мартынова, который, разумеется, голубеньких своих глаз не отвел и смотрел на Гусева с холодным любопытством. — Мелкий сыщик... тупица... Топтун!

— А в рожу? — Мартын Мартыныч спросил и уже руками о столешницу оперся, как бы собираясь подняться и сокрушить.

— Это все, что ты можешь! — сохраняя достоинство, но в то же время с очевидной опаской: а вдруг, в самом деле, подойдет и врежет? — крикнул Володя Гусев.

На свое место он тем не менее вернулся. Телефон, на минуту прервавшись, зазвонил снова. Гусев, полуобернув к коридору голову, внимал резким его переливам и, словно подстегиваемый ими, говорил быстро, ни к кому не обращаясь, но целя именно в Наташу Орлову:

— Это все ерунда... нет на свете такого перстня, чтобы из-за него так унижать людей... я бы, например, постыдился причинять столько неудобств... Он, может, гроша ломаного не стоит, побрякушка, подделка... бижутерия! а из-за него истерика, вопль, стоны, слезы... Мартынов — сыщик, а не ювелир... откуда ему цену знать? Гипноз какой-то... массовое самовнушение... Ну вот! — зло крикнул он сразу после последнего телефонного вздоха и, уже не таясь, прямо высказал Наташе Орловой: — Заварила ты кашу, а мы тут расхлебывай.

Первым на его слова отозвался Сева Чернов:

— Всякий Гусь неизбежно становится скотиной.

— Я, по-моему, ясно сказала... — ровным голосом произнесла Наташа Орлова. — Мне ничего не нужно. Мы совершенно спокойно можем разойтись.

— Ага... — сказала Евдокимова, совиные свои, круглые глаза ус-

тавив в Орлову, — разойтись... Не нужно ей стало. Не нужно, так и молчала бы...

— Сама помолчи, дурища! — заорал на нее Боб Беляков.

— Я-то, может, и дура... и какие-нибудь там задачки, может и не все решала...

— Задачки! — Боб захохотал. — Таблицу умножения едва вызубрила!

— ...но в жизни понимаю побольше других. Я знаю, как эти дела делаются.

— Какие дела? Ты о чем? — Мартын Мартыныч спросил.

— А вот какие. Перстень-то, может, и не пропал куда. У нее остался, а она говорит — пропал.

— Мозги куриные! — совсем уже вышел из себя Беляков. — Для чего?

— Сам ты дурак, — снизошла наконец до него Евдокимова и продолжала с торжествующей ноткой в голосе: — А для того, чтобы мы складчину между собой устроили, деньги ей дали — вот для чего! И перстень при ней, и денежки — ясно? Только я сразу говорю: у меня семья, денег нет.

В тишине, вслед за ее словами над нашим столом вмиг сгустившейся, слышно было одно только тяжелое сопение Кисельникова.

— Ты что... что ты несешь... опомнись! — крикнул я.

Сказал, поморщившись, Смага:

— Все-таки головой думать надо, а не седалищем.

— Подлость! — звенящим голосом выкрикнула Спирина и повторила, встав из-за стола: — Подлость! Я не могу больше... Я уйду!!

Мартын Мартыныч мягко остановил ее:

— Погоди, Оль...

— Но так же нельзя! Нельзя!! — прижав к груди стиснутые побелевшие кулачки, кричала она. — Я видеть... слышать это не могу! Считайте, что я украла... Я... я! черт подери! Что хотите считайте, только кончим... кончим все это!

Закрыв ладонями лицо, молча сидела Наташа Орлова, и только плечи ее вздрагивали все сильнее.

— Воды... — С ней рядом суетилась Павлова Наташа. — На, выпей воды. И успокойся, пожалуйста, успокойся. Никто из нас так не думает, уверяю тебя.

Не отнимая от лица ладоней, глухо проговорила Орлова:

— Все равно...

Глубочайшее равнодушие овладело вдруг мной: не жаль мне было Орлову, не восставал, негодуя, вместе со Спириной против пакостной догадки Лены Евдокимовой, и даже вид изумленного, понурого Блаженного Васи (у которого не сходили с лица и худой шеи багровые пятна — особенно заметные на посеревшем лице) ничуть не трогал меня. Казалось, что все это уже случалось, что когда-то и где-то уже был я свидетелем подобной истории и что ничего сверхъестественного не представляет она собой — заурядное явление обыденной жизни. Ну, украли... и что? Знаток человек, Мартын Марты-

ныч, много глубже всех нас знакомый с греховной стороной мира, все и не удивился, узнав. И прав, ей-Богу, он прав! Да кто же из нас — если, разумеется, хватит почти преступной решимости до сокровенных глубин разъять собственную душу — не отыщет в себе сумрачной радости при виде несчастья ближнего своего? кто из нас не пытался (от самого себя тая и мысль о подобном поползновении!) хоть малую толику от этого несчастья выгадать? и кого из нас не язвила зависть к успеху, доставшемуся другому?

— Боб, — сказал я, — дай сигаретку.

Из кармана замшевого своего пиджака Боб вытащил пачку «Примы».

— А где твои американские? — я спросил.

— Одна пачка была... кончилась, — с непонятым смущением объяснил он.

— Боже мой... — вздохнул, словно вспомнив что-то, Блаженный Вася. — Как это все... — он замолчал, не договорив, но взглянул затем на Мартынова и спохватился. — Да... я забыл. Мои карманы...

И торопливо, с виноватой улыбкой, произнося при этом: «Сейчас... я сейчас все покажу», сунул руку в правый карман пиджака и, пошарив там, сказал растерянно:

— Здесь пусто...

— Не надо, Василий Григорьевич! — с отчаянием крикнула Спирина. — Не смейте! Валера, — вцепилась она в плечо Мартын Мартыныча и трясла его, — скажи... да скажи наконец, что не надо! Мы тут все хоть разденемся... нам все равно теперь друг друга стесняться нечего! Но не ему, не ему! Слышишь?! Он не карманы — он мне душу выворачивает!

— В самом деле, Василий Григорьевич, — глядя в стол, проговорил Мартынов и на Олю прикрикнул: — Да отцепись! И не тряска меня, я не груша. Вас это все не касается.

— Видите ли... — со школы всем нам памятными словами начал Блаженный Вася («Видите ли...» — говорил он, стоя у доски, приподнимаясь на цыпочках и изо всех сил вытягивая худую шею: словно стремился заглянуть в наше будущее, чтобы затем предостеречь нас от ложных шагов и постыдных поступков; «Видите ли...» — говорил он, приступая к объяснению какой-нибудь теоремы, и сиял при этом неподдельным восторгом, и был истинно счастлив.)

Но уверенным голосом перебил его Смага:

— Минуточку, Василий Григорьевич...

Гена Смага

Зрелище было передо мной убогое. Был человек... весьма пожилой и довольной жалкий («поношенный» — определил я и внутренне усмехнулся точному слову), когда-то учивший математике, и учивший неплохо, что, судя по всему, было его единственной, крайне ограниченной способностью, какую ему в утешение можно назвать призванием.

По моим наблюдениям, призвание у человека, если оно есть, то

лишь одно: взять, выхватить, вырвать у жизни возможно больше из того, чем она бесконечно богата, — от первых, низших радостей, к которым в первую очередь следует причислить радости любви, и до радостей высших, среди которых надо выделить совершенно головокружительную... пьянящую возможность чувствовать себя — и тайно, как бы исподтишка, в одной только горячечной своей мечте продляющей бессонницу до самого рассвета, а на вполне реальном, твердом, законном, так сказать, основании — чувствовать себя некоторым образом возвышенным над всеми... ну, не над всеми, это, разумеется, чересчур, а над многими... ну, хотя бы над теми, кто составляет ближайшее твое окружение... Ощущать свою свободу, сладость которой возрастает от сознания их несвободы и зависимости — в том числе и от тебя. Та же «Волга», к примеру, дает мне временами — особенно в ненастье — упоительное чувство превосходства над всеми, кто мокнет на остановках, кто перескакивает с кочки на кочку в тщетной надежде по самую щиколотку не увязнуть в грязь, кто морозным зимним вечером топчется на обочине, напрасно вздевая руку перед пролетающими мимо машинами... передо мной...

Стоит лишь вообразить нынешнее существование этого поношенного человека: как возвращается он в свой дом, где в тоскливой старческой немощи ждут его скрипучие стулья, диван с выпирающими пружинами, где в коммунальной кухне под желтым светом тусклой лампочки кипит на плите его чайник, ручка которого наверняка примотана медной проволокой... как, томясь обделенным, но уже навсегда угасшим телом, он долго ворочается и день за днем, год за годом припоминает ускользнувшую от него жизнь, последним отчаянным усилием пытаюсь внушить себе, что она оправданна и вознаграждена в его учениках... Между тем ничего нет более жалкого и никчемного, чем его ученики.

Сам я не причисляю себя к ним, ибо, по счастью, довольно рано осознал, что никогда и ни в чем не стану следовать ему, и был спасительно глух ко всем его нематематическим воплям о сугубой честности, твердой убежденности и тому подобной дребедени, иногда подкрепляемой примерами из его собственной жизни: какой-то рабфак, какие-то кипящие энтузиазмом стройки, какие-то выпавшие на его долю испытания, в которых он якобы закалился, как сталь... и апофеоз нравов — война.

Каждый из них неполноценен. Тот же Ким, угоревший от одной только возможности получить премию, — чего бы достиг, не будь за спиной папы-профессора и роскошной мамы, являвшейся в школу в соболиных мехах? (Моя мать годами не вылезала из пальто с воротником из драной кошки, и я, едва это ее пальто и воротник вспомню, леденею от бешенства.) И Гусь — ничтожество и тупица, и Кисельников, дурную кровь унаследовавший от пропойцы-отца, и несостоявшийся гений Чернов, и Васильев, погрязший в неудачах, и третьестепенный сыщик Мартынов, и мелкий лгун Беляков — все они словно пустым шумом младенческих погремушек отвлекли себя от голосов, хрипов и воплей истинной жизни. («Иллюзии», — так, матерясь и сплевывая, с глубочайшим презрением бормотал мой пер-

вый начальник, царство ему небесное, вечный покой.) Но между тем я доволен, что повидал их всех, — надеюсь, правда, что в последний раз.

— Так вот, — удовлетворенно вздохнув, продолжал Смага, и я ощутил, как жестокой, ликующей уверенностью повеяло от него. — Без всякого сомнения, при всей своей эмоциональности Оля права. Никто из нас, я уверен, — тут он бросил строгий взгляд в сторону Евдокимовой и повторил с некоторым нажимом, — я абсолютно уверен, даже и мысли не допускает, что Василий Григорьевич замешан в этой... в этом, так сказать, случае. Древние говорили, что жена Цезаря вне подозрений, мы скажем, — улыбнулся Гена, — что наш любимый и уважаемый учитель выше... именно выше любых подозрений. И главный его, неоспоримый довод — его жизнь. Есть, однако, обстоятельства... и Василий Григорьевич, неизмеримо больше каждого из нас умудренный опытом... он знает их слепую силу, с которой, как ни прискорбно, необходимо считаться. Но именно слепота этой силы... ее нерассуждающее принуждение, совершенно не оставляющее и малейшей возможности выбора, она, хоть это на первый взгляд может показаться несколько странным, одновременно облегчает нам наши поступки и в принципе делает бессмысленной любую их оценку. Магометане, среди которых я прожил почти четыре года, вообще считают, что нет действий и событий, не предопределенных Аллахом. Это, разумеется, чистейшей воды идеализм, но если на место Аллаха поставить известные обстоятельства, то ситуация приобретает определенную жизненную основу. Говорю же все это, Оля, к тому, что для Василия Григорьевича решительно нет ни малейшего унижения, если он исследует содержимое своих карманов.

— Ты... ты... — задыхаясь, вымолвила Спирина, но Смага движением руки остановил ее.

— Погоди, я сказал не все. Я хотел бы внести некоторые уточнения в метод Мартынова. Ему, конечно, видней, это его специальность, но выворачивание карманов мне представляется совершенно пустой затеей. Есть всякие потаенные места... у мужчин, например, так называемые «пистоны», куда они прячут от жен утаенные от полочки рубли... Есть верхняя одежда... Словом, — твердо сказал Смага, — нужен обыск.

— Я... я, пожалуйста... я готов... — все с той же виноватой, болезненной улыбкой проговорил Блаженный Вася и даже движение сделал, намереваясь тотчас же снять с плеч пиджак и предоставить его в чужие руки.

— А заняться обыском по справедливости должна Орлова, — прибавил Смага и откинулся на спинку стула.

— Никогда!! — вскрикнула Наташа Орлова и, уронив на стол голову, уже не пыталась сдерживать слезы.

— Ну и гад же ты, Асуан Евфратыч, — врястяжку, ошеломленно произнес Боб Беляков.

Недобрым взглядом окинул его Гена Смага и как бы вскользь, нехотя сказал:

— Могу сообщить любопытную подробность из жизни нашего общего друга, товарища Белякова.

Однажды, с усмешечкой рассказывал Гена, в жаркий летний день, будучи по служебной необходимости в Сокольниках, на выставке «Интерэнергомаш», он зашел в пивной бар пропустить кружечку-другую. Пиво было отвратительное, отметил Смага, сверх всяких допустимых даже у нас пределов разбавленное водой. Наглость наших официантов в последнее время переступила всякие границы, сказал он, еще раз, но теперь с некоторой брезгливостью взглянув на Белякова. Тот сидел, понунив голову, с погасшей сигаретой в руке. И вот там-то, в этом баре, в толчее и табачном дыму, продолжал Смага, мелькнула передо мной с детства знакомая фигура, весьма профессионально несущая поднос, уставленный кружками. Я глазам своим вначале не поверил, столь поразительно и внезапно было открывшееся мне превращение. Но тут освободилось место, с которого открывался довольно широкий обзор, я пересел, всмотрелся — и сомнений теперь быть не могло. Наш общий друг, Боб Беляков, уверявший всех нас, что он без пяти минут кандидат наук, с замечательной бойкостью исправлял обязанности официанта, доставлял кружки с опадающей пеной (очевидно, не доливая пиво после отстоя), уносил пустые, очень быстро, чиркая карандашиком в узком блокноте, подбивал итоги (несомненная польза ваших уроков, Василий Григорьевич) и, я бы сказал, с некоторой небрежностью благодарил за чаевые. Не желая предстать нечаянным и, думаю, нежелательным свидетелем коренных изменений его юношеских планов, я удалился, не пожав ему руку. И если б не его несколько вызывающее по отношению ко мне поведение за нашим прекрасным столом, я, разумеется, промолчал бы об этом маленьком открытии.

— Так что, Боря, — прямо обратился к Белякову Гена Смага, — пеняй исключительно на себя.

Молча выслушали мы эту историю, напоминавшую отчасти сказку Андерсена — с той только разницей, что начало и конец в ней переместились: лебедь терял оперение и превращался в гадкого утенка, восходящий к высотам науки Боб свержался вниз, становясь прислужником пивного бара, собирателем чаевых (в виде монет различного достоинства, но непременно мокрых и скользких), ловкачом и шустрилой. Конечно, само по себе его занятие было несколько не зазорней прочих. Я и сам, в иные минуты до истинного отчаяния доведенный безденежьем и расчетливыми обмолвками жены, что тот не мужчина, кто не в состоянии обеспечить семью, готов был к ядрене фене послать нищенку-историю и наняться либо официантом, либо шофером такси с твердым намерением не то что брать, а прямо-таки вымогать чаевые! А сертификаты, чьей всепокупающей силой оплатил свое благополучие Смага? Чистой воды чаевые, правда, гораздо более крупные и лишь потому не вызывающие того несколько брезгливого отношения, как та мелочь, которую с безучастным лицом принимал и опускал в карман Беляков. И если я некоторое время не решался взглянуть в его сторону, то исключительно оттого, что был олухом царя небесного, на четвертом десятке лет сохранившим пер-

вородную глупость... или (что, впрочем, почти одно) Блаженным Васей, мутным взором горестно, как на покойника, посматривавшим на Боба и сухими губами взывавшим к несправедливой судьбе, что ведь способный был мальчик... Мудрее всех рассудил Сева Чернов, хлопнувший униженного Боба по плечу и громогласно сказавший:

— Что ж ты раньше-то молчал, дурила! Кандидат... кандидат... Да какой в них прок, в кандидатах? Я бы к тебе пиво ходил бы пить. Летом, знаешь, как хочется. А не найдешь нигде, хоть тресни! Или очередь, как в мавзолее...

Боб воспрянул.

— Приходи, — сказал он и осторожно, словно из-за укрытия, поглядел вокруг.

— А Смага, — прибавил Сева, придвинувшись к Белякову и говоря как бы на ухо ему, но голоса не снижая, — говно. И не обращай внимания.

Не дрогнув, проговорил Смага, что ничего иного в подобном обществе ждать не приходится.

— Но поскольку я уже целый час нахожусь здесь исключительно из-за кражи, — сказал он, постаравшись, чтобы с особенной отчетливостью прозвучала «кража», — то давайте все-таки решим: будет обыск или будет милиция?

— Простите... — едва слышно сказала Мэри, жена Пети. — Там чайник... Я боюсь, что выкипел... Можно, я выйду на кухню? Со мной может пойти кто-нибудь... Ваш учитель... Василий Григорьевич...

— Да, да... — кивнул с готовностью Блаженный Вася. — Я пойду...

Он встал, но тотчас после первого шага его шатнуло, и Блаженный, дрожащей рукой нашарив позади себя стул, грузно опустился на место.

— Голова... — нетвердым голосом вымолвил он, — кружится...

А Мэри уже стояла в дверях и оглядывалась с вопросительным выражением в раскосых глазах.

— Не выходи! — с прорвавшимся вдруг бешенством крикнул Смага и кулаком по столу ударил. — Никто не смеет!!

И сразу же после его крика крупные слезы полились по щекам Мэри, жены Пети Кима, — настолько крупные, что даже странно было, как вмещают их ее маленькие глаза.

— Ты что, ты что... — забормотал ошеломленно Петя и непонятно для чего указывал на Смагу пальцем. — Какое право...

— Я не думала, — захлебывалась слезами Мэри, — я подумать не могла, что у Пети такие товарищи...

— Они не товарищи мне!! — надрывно завопил Петя. — Все! Все!

Отшвырнув стул, молча встал Мартын Мартыныч, так же молча вышел из комнаты и, вернувшись, сказал:

— Погасил.

— Что ж, — овладев собой, с прежней быстрой своей усмешечкой произнес Смага, — дело идет к концу. Дальнейшее выяснение бессмысленно. У вас у всех не нашлось мужества принять мое пред-

ложение и узнать, кто совершил кражу. Я мог бы, как говорится, умыть руки и с облегчением с вами распрощаться. Надеюсь, — он прибавил, — что навсегда...

— Насчет навсегда это ты верно, — подал голос угрюмо молчавший до сей поры Гусев.

— Но чтобы избавиться от подозрения порядочных людей, которые среди нас все-таки имеются, — продолжал Гена Смага, — чтобы оно не марало их репутацию, я позволю себе высказать одну догадку... Если хотите — почти уверенность. Основа ее — чисто психологическая, но достаточно твердая, и Мартынов, я думаю, со мной согласится.

— Валяй, — Мартын Мартыныч сказал.

— Суть рассуждений проста. Если некоторое время назад... пусть даже и довольно длительное время... человек совершил кражу...

При этих словах — я заметил — вздрогнул и, как бы очнувшись, вскинул голову Сережа Кисельников.

— ...и если слабость воли по-прежнему является его самым сильным качеством, — сплетал Гена, — то, по-моему, есть все основания считать, что он не удержится от повторения.

— В кого метишь? — спросил Чернов.

— Не волнуйся, не в тебя. В восьмом классе, если помните, у Мордвиновой украли деньги — триста рублей. Украл их Кисельников, и я думаю...

Но что именно он по этому поводу думает (хотя дальнейшие разъяснения были уже совершенно излишни), сообщить Смага не успел. С нутряным, яростным ревом, сбив по пути любовно прикрепленный к стене горшочек с кактусом, ринулся к нему Сережа. (Мартын Мартыныч на сей раз и не пытался перехватить его — напротив, даже к столу поспешно придвинулся, освобождая Сереже дорогу и тем самым откровенно ему попустительствуя.) Не лицо — маска с грубо вырезанным на ней ликом безумия: отверстый, вопящий рот, слепые, страшные глаза — были в тот миг у Сережи. «Убьет!» — взвизгнула Евдокимова. И я не выдержал — подставил свою руку под летящую в аккуратную голову Смаги руку Сережи Кисельникова, удар его потерял силу и направление и, миновав Смагу, угодил в плечо Павловой Наташи.левой своей, звериной лапкой схватилась она за плечо, и на ясных, голубых ее глазах выступили слезы. А Сережа, будто вепрь, в которого без передышки всадили в упор по меньшей мере целую обойму, несясь дальше, вон из комнаты — и мы услышали только, как где-то возле кухни захлопнулась за ним дверь, щелкнула задвижка — и все стихло.

Сережа Кисельников

Некоторое время я стоял с закрытыми глазами, спиной прислонившись к двери. Что мне делать, я знал. Я открыл глаза — ярко горела лампа, ванна у Кима была чистая, белая. У него жена хорошая, добрая, ему повезло. Полнейшее спокойствие нашло на меня.

Только что я готов был убить... смять... растоптать эту гадину... этого Смагу, мучителя. Он в школе мучил меня! В институте... Кровь из меня пил! Васильев помешал, но я не жалею, нет, я знаю, что надо мне делать. Руки трясутся. Странно: я спокоен, а они трясутся. Не надо, чтоб они тряслись, это помешает. Не тряситесь, мои руки! Прошу вас... Но какие же они некрасивые... толстые, грубые... почему-то красные... Ногти выросли, я так спешил сюда, даже домой не заехал, не переоделся... ногти не подстриг. Я в детстве долго не мог научиться ногти стричь, все боялся, что пальцы отрежу. Мама стригла. У меня и дома-то нет, куда ехать? Жена вряд ли пустит, она меня выгнала, хотя я там прописан и вообще квартира моя, я ее получал. Пусть живут. К матери, конечно, больше некуда, но она мне тоже не рада. Пить надо меньше, руки не будут трястись. Отец пил, и я пью — может, это наследственное? Отец лег пьяный во дворе... на лавке возле помойки, заснул и не проснулся. Нам его хоронить было не на что. Младший брат, Олесик, гонял голубей, сейчас в лагере, третий срок. У него припадки. Когда последний раз судили, прямо в суде свалился, и пена изо рта. Маму на «скорой помощи» увезли. У Володи всех лучше, у среднего брата, он не пьет, у него семья... Он скупой, Володя, он матери денег почти не дает. Маму жалко. Она больная, старая, и денег нет. Если бы у меня по-другому сложилось, я бы ее к себе взял. Но по-другому уже не будет. Мне надо уйти, я не хочу больше, не могу. Нет, я не боюсь, не боюсь... Что я должен сделать? Я должен взять эту бритву... Ну вот, уже почти не трясутся. Надо же! Хорошими лезвиями Кимм бреется, английскими... «Жилетт»... Или это французские? Их достать трудно, я знаю. Я бреюсь «Невой», плохие бритвы, тупятся скоро и дерут. Боже милосердный, как страшно! Но я не боюсь, не боюсь... Теперь рукава засучить. Рубашка грязная, все увидят... Когда жили вместе, Валя сначала стирала, хорошо стирала, чисто. Потом велела, чтоб я свое белье в прачечную сдавал. Все — и калсоны, и рубашки, и простыни. Рук о тебя пачкать не хочу... А свое дома стирала, и Оленькино тоже. За что она ненавидит меня?! За что научила ненависти ко мне мою дочь?! А говорила, что любит... Девять лет назад возвращались в Москву на электричке, стояли в тамбуре, я помню, это был лучший день моей жизни. Я помню, шел дождь, очень сильный, майский, внезапный... Я прикасался губами к ее мокрым спутанным волосам, вдыхал их запах, и сердце разрывало мне грудь восторгом и нежностью. Потом все кончилось, больше никогда не повторилось. Отвращение в каждом взгляде, каждом движении... Почему?! Я не понимаю... я ей плохого не делал... пить стал только из-за этого... из-за того, что у меня ничего вокруг не осталось. Тоска душит. Я один такой или еще есть? Несправедливо поступили со мной, неправильно! В горле трудно, не глотается. А-а... это я плачу. Нет, не буду плакать, хватит! Как они сразу подумали, что украл я! Я Васильеву уроки носил, когда он болел, а он решил, что я... И Мартын... Мартын — сыщик, ему положено... Но ведь не я! Это Смага-мучитель говорит, что я, но не я! Убить его... Он мучитель мой, я его ненавижу. Ну?! Больно будет. Сначала больно, а потом ничего, не больно.

Говорят, надо в ванну лечь... в теплую воду... Так Есенин сделал. Он стих кровью написал. Я его помнил, теперь забыл. До свидания... до свидания... а что дальше — не помню. Ну!! Не бойся... Я не боюсь, не боюсь... В ванну нельзя, долго. Вода зашумит, услышат. Вот она, голубая... У меня вены хорошие, мне в больнице говорили, когда кровь брали. Там не больно, там секундное дело — укол и все. Еще когда иглу выдергивают, неприятно. Надо быстрее... быстрее... Им не до меня, но все равно быстрее надо. Быстрее! Сначала левую. Вытяни. Кулак сожми. Крепче! Ногти в ладонь впиваются, стричь надо ногти... Кричать нельзя, я губу закушу. Ну!! Господи, помоги! И резче, самое главное — резче... Ы-м-м-м... Бо-о-льно-о... Пот выступил. Уже все, не больно. Не больно, уже все. Кровь пошла. У меня голова кружится. Сяду на край ванны, а руку над раковиной. Пол не запачкать. Вот так... в раковину... вода смоеет... Сердце бьется, и кровь вытекает. Глубоко порезал. Сейчас кончится. Жизнь кончится. Она не нужна, я от нее сам отказываюсь. Голова кружится, можно в ванну упасть. Я лучше на пол сяду, вот так, и спиной к стене. Кровь на полу. Я запачкаю. Смысла никакого нет... Что будет дальше, я знаю... Чтобы как отец... возле помойки, пьяным... Нет, я сам. Вот этой бритвой ниточку обрежу и провалюсь, и прощайте... Крови как натекло много. Теперь вторую... вторую... правую теперь... А левая болит, трудно. Стучат!! Это Мартын стучит... Быстрее! Боже милосердный! Несправедливо со мной поступили!

— Ребята... он в ванную зачем-то пошел, — растерянно озираясь, произнес Ким.

— Руки помыть, вот зачем, — безмятежно объяснил Чернов.

— Кошмар какой-то, всхлипывала Павлова Наташа. — Он ударил меня! Меня никто никогда не бил!

— И совершенно напрасно, — немедленно заявил ей Гусев, а Спирина без тени жалости в голосе прибавила:

— Не ваза, не расколешься.

— Я все-таки взгляну, что он там делает. — Мартын Мартыныч вышел из комнаты и стукнул в дверь ванной. — Кисельников! Открой!

Сережа не отвечал.

Мартын Мартыныч грохнул еще:

— Открой, тебе говорят!

Упорно молчал Сережа, и Смага, прислушавшись, снова обрел свое прежнее уверенное выражение, и презрительно-торжествующая улыбка снова появилась на его лице. В самом деле — ничем иным, как только поспешной и неуклюжей попыткой замести следы, сунув украденный перстень в какую-нибудь мыльницу... в какой-нибудь футляр для зубной щетки, можно было объяснить Сережино глухое затворничество. И, разумеется, страхом — страхом застигнутого и корчащегося в ожидании постыдного разоблачения и неминуемой кары преступника.

Но нимало не облегчало мне душу сознание, что сейчас наконец и уже совершенно точно перст указующий упрется в потертый

форменный китель Кисельникова с тусклой позолотой на обшлагах и, его падением успокоив себя, мы разойдемся, незапятнанные и безгрешные. Одно воспоминание... затуманенная прошедшим временем картинка школьных лет встала передо мной. Я болею. И, лежа в постели, гляжу в окно — жду, когда после уроков появится во дворе Сережа и, махнув набитым портфелем, крикнет: «Вечером приду-у!» «Приду-у-у...» — явственно слышал я доносящийся с улицы его голос, видел улыбку на добродушном прыщавом лице и готов был разрыдаться от ощущения собственного бессилия перед тем неотвратимым, не ведающим сострадания, что коржило, гнуло и мяло нас едва ли не с самого рождения.

А из ванной, в которой замкнул себя Сережа, по-прежнему не доносилось ни звука, и тогда Мартын Мартыныч чуть навалился, нажал — слабые винты вылетели, защелка отскочила, дверь распахнулась.

— Ты что делаешь, кретин! — во всю ночь грянул Мартынов, и я вскочил, с головы до пят охваченный знобящим предчувствием случившегося несчастья.

Мартын Мартыныч явился в комнату, волоча за собой Кисельникова. Форменный китель свисал с одного плеча Сережи, на рукаве рубашки, возле локтевого сгиба, расплылось бурое пятно.

— Вены резал, — тяжело дыша, объяснил Валера Мартынов. — Одну успел полоснуть. Оль, перетяни ему руку.

И, усадив безмолвного, посеревшего Кисельникова, Мартын Мартыныч набычил голову и шагнул к Смаге.

— А ну, встань! Встань, сучий потрох!

— Не вздумай... Мартынов... тебе так не пройдет... — бледнея, быстро говорил и приподнимался Смага. — Ты свои полицейские замашки оставь...

Дважды ударил его Мартын Мартыныч: первый удар пришелся, как говорили мы в школе, точно в поддых и согнул Смагу, второй свалил его с ног.

— Сережа... Валера... Зачем! — слабым голосом вскрикнул Блаженный Вася и, оперевшись о стол, попытался подняться, но лицо его сделалось вдруг совершенно багровым, голова упала на грудь, и, словно человек, которому не по силам стало нести собственное свое тело, с коротким младенческим всхлипом он медленно и страшно осел вниз. Метнувшись к Блаженному, успел подхватить его Петя Ким и крикнул Мэри, своей жене:

— Звони в «скорую»!

Василий Григорьевич Мухин был без сознания. Из правой, одевшей его руки ушла жизнь, она висела, как плеть, и с пристальным мертвым вниманием смотрел в потолок незакрывающийся правый глаз Блаженного Васи, из которого выкатилась и поползла по щеке мутная мелкая слеза.

— У него инсульт, — сухим голосом сказала Спирина.

Короткий резкий звонок всех нас заставил вздрогнуть.

— Рановато для «скорой», — проговорил Сева Чернов и пошел открывать.

— Это... это милиция!! — панически крикнула Евдокимова.

Лена Евдокимова

Поймают они меня, поймают! Обыск будет... непременно найдут... Мне бы, дура, его получше припрятать... мне бы его туда запихать... да понадеялась, что не хватятся... Это как же... что же будет, если найдут... поймают? Господи! Да ведь это суд... тюрьма. А я-то при чем?! Ничего не знаю и знать не хочу, не мое это дело — за чужими перстнями следить. Пропал и все тут. Найдется когда-нибудь. Живот как схватило, господи! И ни вздохнуть, ни выйти. Хоть караул кричи. Я ни при чем. Взяла, чтоб посмотреть получше. А когда шум поднялся, то и неловко как-то стало, еще подумают — украла. Как расходиться стали бы, тут бы я его ей и отдала. Да! И вовсе никакая не кража. В голове у меня не было его красть! Да у меня дети, у меня детей трое, как я могу о них забыть и на чужое польститься! Не надо, нет, мне чужого не надо. Но этот-то, сыщик-то наш, чего он на меня так уставился?

Тяжелым долгим взглядом смотрел на нее Мартын Мартыныч. Но то была не «скорая» и не милиция — вслед за Севою переступил порог и вошел в комнату очень худой, среднего роста, в сером свитере, воротник которого был слишком свободен для тонкой шеи, и с лицом совсем юным и чистым и с сияющими, словно омытыми выражением счастливого изумления, глазами...

— Здравствуйте, ребята. Мне Оля сказала, что вы собираетесь, и я пришел.

— Валька! Куницын! — крикнул радостно Петя, но тут же осекся и, показывая на лежащего Василия Григорьевича, на Кисельникова, беспрестанно вытиравшего здоровой левой рукой льющийся со лба пот, прибавил: — У нас тут, видишь...

Что случилось у нас, Петя не договорил, но Куницын, кивнув, сказал, как бы все сразу для себя уяснив:

— Да-да. Я понимаю. У вас невесело. Но это ничего. Это пройдет.

— Ну, спасибо, — усмехнулся Гусев, — утешил.

— Что ты, Володя, — сияющий свой взгляд обратил на него Куницын. — Я никогда не утешаю. Я всегда говорю правду.

Я смотрел на него и со щемящим, тревожным чувством думал, что, в отличие от всех нас, совсем не изменился Валя Куницын. Конечно, никогда в школе не был он таким худым (я помню! отчетливо помню, что форма всегда словно была мала ему, и Боб Беляков любил со всего маха стукнуть Валу по широкой спине и затем, напоказ тряся ушибленной ладонью, сказать жалостно: «Истошилось бедное дитятко!»), и никогда так прозрачно-бледны не были щеки и так болезненно-тонка не была шея... Но ни внешние, любому глазу доступные перемены, ни утрата прежнего облика, ни разительное несоответствие этого, под занавес нашей встречи к нам явившегося Вали Куницына с тем, слышшим некогда надеждой и гордостью, любимейшим учеником Блаженного Васи, лелеявшим и пестовавшим в нем сокровенные свои упования, — ничто не могло затенить того главного, что

сквозь пелену лет, толчею событий и шум времен прозревал в нем я. И то, что с крайним напряжением зора мне удавалось различить, светило откуда-то издалека... из той невозвратной дали, из которой едва доносились до меня скрип и стук с трудом нами открываемой школьной двери. И рядом с этой дверью, видел я, стоял мальчик... младше и меньше всех нас... с небесным, сияющим и словно омытым выражением счастливого изумления взором...

Молча подошел Валя Куницын к лежащему Василию Григорьевичу и обеими руками бережно взял правую его, повисшую руку.

Валя Куницын

Ледяной, смертный холод этой руки, в школе всегда выпачканной мелом, а теперь усеянной коричневыми пятнами старости... с такой нежностью гладившей меня по голове... с таким отчаянием воздевавшейся, когда в девятом классе отвратительна стала мне школа... тяжесть этой покинутой жизнью руки булыжным гнетом придавила мне сердце. Я сразу понял, едва взглянув, и увидел полуоткрытый его рот со стальными зубами... глаз его, с мертвой важностью уставленный в потолок, закрывший ему и небо и звезды... влажный след, оставленный на щеке последней слезой, что он, как и огромное большинство населяющих землю людей, давно, сам того не сознавая, задыхается в своем одиночестве. Но одиночество и отчаяние не истребили в нем еще возможности грядущего счастья — я понял и это.

С некоторых пор дана мне сила, очевидно заповедная для прочих (и оттого, с горьким чувством сознаю я, вызывающая ко мне отношение как к человеку с поврежденным рассудком), — первым же взглядом свободно проникать сквозь ту окаменевшую накипь, которой прожитые годы слой за слоем покрывают всякую душу. И я вижу: способна ли эта душа к избавлению от нажитого ею зла? не убита ли в ней изначальная тяга к возрождению? не опустошено ли, не изъедено тлей давнее ей жизнь семья? и, наконец, — не мертворождена ли она?

В каждом встреченном мной человеке определяю я это и, возвратившись домой, к той несчастной женщине, которая с двумя детьми... беременная третьим... прилепилась ко мне, когда однажды ночью, зимой я бежал из Москвы и неожиданно для себя, словно по чьей-то непостижимой для меня воле, очнулся вдруг в каком-то поселке... в Горной Шории... и которая подобрала, отогрела и спасла меня, — я передаю ей итоги своих наблюдений и все более укрепляюсь в мысли, что надвинулись времена бесповоротного, последнего решения. Она согласна со мной — и лишь изредка, при внезапном, врасплох ее застающем взгляде я вижу слезы у нее на глазах и сознаю, что согласие ее еще не обрело необходимой для нашего общего дела твердости. Мне трудно осуждать ее, ибо и сам я не так давно до конца проникся непоколебимой уверенностью и только ею теперь и живу.

Я помню... я лежал на койке — как лежит сейчас Василий Григорьевич, мой учитель, с той лишь разницей, что его сковала болезнь (вызванная, я совершенно уверен, главным образом одиночеством и

отчаянием), меня же лишила движения унизительнейшая вязка: мои ноги и руки накрепко были примотаны к железному остову больничной койки, и я едва мог поднять голову, чтобы взглянуть, что делается вокруг. Чувство крайней скорби владело мной, я чувствовал себя раздавленным, беспомощным, всецело зависящим от настроений и прихотей тупых, озлобленных людей... Один из них — он был, кажется, болен, но почему-то носил белый халат... — с крошечным, узким лбом, сутулый... гориллообразный... при малейшем моем движении подходил и бил меня в печень. От боли я терял сознание, а приходя в себя, скорбел, что замысел мой остался неисполненным и я не ушел из этого мира (не по моей вине: когда умереть мне было неизмеримо легче, чем жить... я, как бедный Кисельников, уединился в ванной и, лежа в горячей воде, с чувством громадного облегчения полоснул себя по обеим венам. Я уже засыпал — но сквозь сон, сквозь наполнивший мою голову приятный гул услышал как бы издали доносящиеся крики... стук...). После одного из ударов боль оказалась особенно сильна... внутри у меня все как бы запылало... Но сознания на сей раз я не потерял; я лежал, как лежит сейчас Василий Григорьевич, мрак постепенно уходил из моих глаз, и они обрели способность видеть. Надо мной должен был быть отвратительный белый потолок, с которого словно нисходила и пожирала меня страшная в своей безысходности тоска. Но вместо него я увидел черное, сверкающее, осыпанное звездами небо, медленно поворачивающееся вокруг одной точки (где-то между Кассиопеей и Жирафом), в которой красноватым горячим пламенем только что выпавшего из костра уголька горела крохотная, удивительно яркая звезда... От нее исходили и достигали меня лучи, и свет их доносил до моего слуха шепот, совершенно явственный... «Так надо, — слышал я, — это — испытание, выпавшее тебе... Ты пройдешь его и обретешь силу, которую дам тебе я... Больше не будет страданий, унижений и боли. Будет покой, радость и сила, превышающая силу разъединившего людей зла. Я всегда пребуду с тобой. И только я скажу тебе, когда наступит для тебя время последнего... главного... окончательного решения...» Я плакал, слушая ее; слезы текли по моему лицу, и я не мог поднять руки, чтобы отереть их. Но на душе у меня становилось все легче... все светлей...

Все на себя возьму я — все зло и все страдания, как некогда взял Тот, который говорил, что пришел спасти погибшее и отдать душу свою для искупления... Он в жертву принес себя, и Его сначала били плетью с несколькими концами, к каждому из которых прикреплена была свинцовая гирька... потом венец терновый надели на голову — с шипами, глубоко поранившими Ему затылок и лоб, а потом распяли на кресте, и Он провисел три часа с пронзенными руками и ногами и умер... Вот и я... Я знаю, что скоро... очень скоро... И тогда и они, бывшие мои одноклассники, прозреют, поймут и устыдятся и в следующий раз, освобожденные мной от снedaющего их зла и несчастья, встретятся уже иными людьми.

— Да-да, — отвечая каким-то своим мыслям, проговорил Валя Куницын. — Так будет!

И взглянул на меня сияющим, полным непреходящего изумления взглядом.

Меж тем, вспомнив, что ослушался приказа Мартын Мартыныча и не представил еще содержимого моих карманов на всеобщее обозрение, я полез во внутренний карман пиджака. Какой-то пакет, на ощупь твердый, лежал там, я вытащил — в нем оказались школьные фотографии, которые взял я с собой и о которых совершенно забыл.

Вот стоим мы у школы, все вместе — безмятежные в своем неведении, самонадеянные и бестрепетные, горячими жадными ртами готовые припасть к чаше, которую уже наполнила для каждого его судьба. Вот сидим на лавочке в Георгиевском сквере, зимой, и Гусев склоняет набок голову, и Беляков потрясает сжатым кулаком, и в мрачной задумчивости глядит на Наташу Орлову Сева Чернов. Вот...

С застенчивой и нежной улыбкой взглянул на меня единственный друг мой Слава Аксенов. Немой вопрос угадал я во взгляде его: «Ребята... Ну как вы там?»

В дверь позвонили. Вошел мужчина в белом халате, с красными кистями больших рук и сизым носом пьяницы.

— Ну-ну, — отдуваясь, вымолвил он, — что тут у вас стряслось?

1979—1980

Пятнадцать стихотворений

* * *

Не надо чрезвычайных мер,
Когда «закручивают гайки», —
Мы убедительный пример
Почти столетней чрезвычайки.

Вся напрочь сорвана резьба —
И нет простой регулировки.
Мы доказали, что борьба
Убойной требует сноровки.

Иная смысла лишена
Для тех, кто был «инога склада», —
Им не страшны виденья ада
И жизнь пустая не страшна...

1989

* * *

Все территории поделены —
Все на своей живут земле,
Лишь те, что сверхсамонадеянны,
На супермощном корабле,
На супердури,
Суперглупости,
С ума не сдвинувшись едва,
В сердечной смуте — суперглухости! —
Всё открывают острова,
Как и тогда — давно открытые,
И, в гурт согнав туземный люд,
Самодовольно-плодовитые,
Как гниль,
Как ржавчина, живут...

1989

По чистой...

По чистой иду на гражданку,
Меня собирает народ:
Кто банку тушенки, кто банку
Английского джема сует,
Бредовый табак «филичевый»,
Что мог заменить анашу.

— Пиши!

Отвечаю:

— Еще бы!.. —

Хоть знаю, что не напишу.

Я (это уж точно!) не годен
Счастливые слезы скрывать:
Я, может, впервые свободен
На все и на всех наплевать.
Прощай, астраханское* ханство —
Моя Золотая Орда!
Сержантско-майорского хамства
Не видеть бы мне никогда...

1945

* * *

— Скажи-ка, дядя, —

спросишь ты меня, —

Какой бедой так источило нервы?

— Когда мы выходили из огня,

Год сорок пятый был, как сорок первый.

Мы были снова разоружены.

Мы истекли наичестнейшей кровью.

Без промаха нас били по межбровью,

На всех дорогах выставив рожны.

Страна — лесоповал,

сплошной штрафбат,

Где щепки

Во все стороны летели.

А прямо — нет дороги,

а назад,

На Запад, мы и сами не хотели.

1953—1962

* Место формирования полка.

* * *

Заборы понастроив до небес,
Сидит дурак с двустволкой у забора.
И каждый — вор,
И каждый — ловит вора,
Имея свой особый интерес.

О, Господи, когда бы был «особый»!
А то забор у каждого тесовый,
И за забором все одно и то ж —
Немного правды,
Остальное — ложь.

И каждый ложь свою оберегает
И правдою не очень дорожит.
И уж никто не знает, где лежит
Простая укротительница споров,
Нагая истина —
там нет заборов,
Там никого никто не сторожит.

1989

* * *

Сладкий дух бездарной прозы,
Серых дней солдатский строй.
То ли возраст,
то ли воздух
Нездоровый и сырой?
То ли нудная работа —
Дым отечества горчит.
То ли рыло пулемета
Из транзистора торчит?
Поторчит оно и хрюкнет,
Как заране решено.
И который прежде рухнет —
Знать, как прежде, не дано...

1980

* * *

Ну что ты скажешь мне? Ну что ты?!
Опять: «До смерти заживет!» —
Когда стрелок особой роты
Упорно целится в живот.

Но расстоянья между этим
Предошущеньем и бедой
Мы просто даже не заметим,
Взойдя над лугом лебедой.

Кругом все те же будут травы,
Как мы, и вечный шорох строф.
И там, где слово, не до славы.
И там, где слава, не до слов.

1971—1981

* * *

От отечества лишь отчество
Мне останется пока.
Остальное — одиночество
И валянье дурака.

Поезда. Колеса крутятся.
Чтобы дальше без дорог:
Бездорожие,
Распутица,
Над болотцем костерок.

Руки, сидючи на корточках,
Отогрею: подышу.
Карандашиком на корочке
Полсловечка запишу.

Гляну в небо, где Медведица
Да отважный Водопас.
Хорошо, куда едет
И живет про запас.

Хорошо, куда пишется:
Полсловечка — полглотка.
Время движется — не движется.
Жизнь немного коротка.

1978

* * *

Не на груди металл —
В груди мы привозили.
Кто это испытал,
Тому и водрузили,
Как знамя на рейхстаг,
Под сбивчивые речи,
Как памятник, на плечи
Двадцатый склочный век.

Тяжелый желтый снег
Все сыплется, все сыплет.
Болит моя душа,

И как всегда, права:
Ей снова горевать,
Нам снова не насытить
Той печки, где сгорим
Глупее, чем дрова.

Что бомба!..
Ерунда —
Мы кончимся без бомбы,
Под музыку и плач,
Едва ли не гуртом.
О чем вы, мудрецы?!
Мудрите не о том вы,
Скорбите не о том,
Живете не о том...

1984

* * *

Наполеон не может быть Сократом,
Учеником Сократа,
Младшим братом,
С ним схожим хоть одною из сторон,
Поскольку он, увы, Наполеон.

Как плохо, право, быть Наполеоном
Не с палкой — с современным полигоном,
С БОЕголовкой (детской, как на грех, —
Как грецкий неподатливый орех).

Его колоть — погнешь щипцы:
он крепок,
Лицо мертво и слепо, словно слепок,
Обглодано едва не до костей.
Он слаб,
Он раб, коварен, как Иуда.
И только чудо
Может,
Только чудо
Сей дивный мир от гибели спасти.

1986

* * *

— Неужели я выгорел весь изнутри
До последней звезды,
До последней зари?
И не синее — серое небо во мне,
Мой костяк догорает в последнем огне.

Неужели я выгорел весь изнутри?

— И снаружи...

Да ты на себя посмотри —

На холодное кружево пепла

Над костром сатанинского пекла...

1989

* * *

Снова жарко.

Снова жалко

В шестьдесят который раз,

Что желтеют молча липы,

Что кончается июль.

Август — это две недели,

А потом — и ветер, и хлад.

Смотришь, вётлы поредели —

Их прошил каленый град.

Свет осенний очень грустный.

Даже поздние цветы

Ко всему, как вздох изустный,

Добавляют пустоты.

Цвет лиловый, отсвет мела,

Черно-белое клише —

То ли в мире поредело,

То ли только на душе?

1989

* * *

Едва усну — и вновь живу.

И много тише наяву.

А ведь когда-то было

И дешево, и мило,

И так была недорогога

Мне жизнь —

хоть черту на рога,

И на рогах бывало

Занятого немало.

А на воде, а на траве,

С гремучей дурью в голове

Все б кубарем катился,

Пока не поплатился

За всё, за всё,

За всех, за всех.

Еще сквозь сон, бывает, смех

Свой слышу...

Но утроба

Уже черна.

Страх

В Георгиевскую пересыльную тюрьму прибыл судья. Слово «прибыл» не совсем точно в данном случае. Судья не собирался выполнять в этой огромной пересылке свои прямые судебские обязанности. И в тюрьму он не прибыл, а его привезли — этапировали. И был он уже не судьей, а нормальным заключенным, которого из пересылки отправят отбывать десятилетний срок, данный ему другим его коллегой.

Георгиевская пересылка — типовая. Она рассчитана на 25 тысяч заключенных и должна обслуживать весь большой Ставропольский край. И хотя она была либеральнее многих других однотипных учреждений, но правила в ней соблюдались строго и никаких отношений между камерами не допускалось. Тем не менее любое событие в любой камере немедленно делалось достоянием всей тюрьмы. Поэтому весть о том, что среди эков появился живой судья, мгновенно облетела все камеры. В первой же камере, куда посадили бывшего судью, его, натурально, стали бить. Будь администрация поумнее, оставили бы его: побили, побили да и попривыкли... Но, откликаясь на судебские вопли, арестанта перевели в другую камеру, где его, конечно, немедленно начали лупить. И так бедного судью переводили из камеры в камеру, и в каждой ему доставалось, ибо кто же из арестантов удержится от соблазна врезать не кому-нибудь из своих, а судье — пусть и бывшему!..

И так было до самого этапа. Главтюремщики, решающие все тюремные вопросы в своих московских кабинетах, решили, что в этапном эшелоне эков надобно делить по срокам. Я был «малосрочник» — у меня было только 10 лет. И поэтому меня сунули в вагон малосрочников, где находились осужденные на 10 и 15 лет. Прошли первые часы предварительного сидения на коленях перед вагонами, перекличка, усаживание в вагоны, запираение и пломбирование теплушки, устройство и обживание нашего нового «дома», где нам суждено прожить не менее месяца, а то и более... Теплушка обыкновенная: по обеим сторонам нары — на 20 человек каждые, посередине в полу дырка, окованная жостью, — вместо параша. Маленькая железная печурка. Каждый день во время переклички распломбировываются и открываются двери и начинают перегонять 40 арестантов из одного конца вагона в другой, почему-то сопровождая каждого переходящего арестанта ударом деревянного молотка. Молоток — оперативный. Им простукивают дно и стены вагона в поисках трещин, пустот и других примет возможного побега. После проверки наличия приносят ведро воды и сухой паек на сутки: каждому по 600-граммовой пайке хлеба, несколько селедков и по крошечному куску сахара. Затем тюремный вагон запирают, и он на сутки становится совершенно

самостоятельной организацией со своими обычаями, иерархией и нравами. И с первых же километров длинного пути мы начинаем осматриваться и узнавать «кто есть кто».

И в нашем вагоне оказывается судья! Тот самый. Ведь он тоже малосрочник — ему сунули всего 10 лет. Обнаружение судьи вызывает в вагоне невероятное оживление, всеобщий интерес и надежду на то, что всем предстоит развлечение. Из 40 эзков, находящихся в вагоне, — 38 уголовников. Есть среди них и осужденные за хищения, но большинство — настоящие воры, насильники, грабители, не однажды уже побывавшие в лагерях и воспринимающие будущее вовсе не трагически. 58-я статья представлена в вагоне только мною и совсем молодым солдатиком, только что демобилизованным из армии. Парень год назад получил письмо из родного колхоза, в котором простодушно описывались все реалии колхозного строя. Солдатик не только вздыхал, но и наивно читал это письмо некоторым товарищам по взводу. Чтобы не портить статистику, не допускать, что в армии могут быть антисоветчики, парня не трогали целый год. Благополучно демобилизовали, выпустили за ограду части и тут же арестовали. Теперь он был штатский, к армии касательства не имел, ну а для миллионов штатских эзков один человек не мог никак отразиться на статистике.

Наше с солдатиком положение в вагоне было особое. К солдатiku относились насмешливо и даже с сочувствием. Что же касается меня, то я был «пахан». Человек, обладающий наибольшим тюремным стажем. Их все же несколько потрясло то, что, когда они были еще совершенными пацанами, я уже сидел в тюрьме. Да еще в какой — в Бутырках! И о лагерях знал больше, чем кто бы то ни было. Поэтому ко мне они относились с надлежащим почтением, я занимал законное лучшее место на нарах под окошком и даже выступал третьей стороной в спорах, естественно возникших между людьми не самых высоких нравственных принципов, запертых в тесном вагоне.

И вот — среди нас судья! Уже паровоз отстукал первую сотню километров, прошла поверка, наступила ночь, и в вагоне, освещенном лампой «летучая мышь», начинается всех взбудораживающее судилище. Что делать с судьей? Наиболее авторитетные, пребывающие в законе воры, не колеблясь, говорят — давить! Никого это не удивляет — сводятся счеты, увечат, убивают, и, вероятно, это входит в законный процент этапной «утруски». Судилище происходит по всем отработанным правилам. Каждый может сказать свое мнение. Оно почти всеобщее: «Нам, гад, срока дрюкал, а сам в лапу брал, освобождал тех, у кого бобики были, кто ему в лапу давал! Задавить гада!»

Судья стоял на коленях, плакал и убеждал, что он в лапу не брал, что у него на руках есть приговор, он вытаскивал его и совал своим судьям. Читайте! Действительно, из приговора было видно, что судья взяток не брал. Просто он вместе с судебным исполнителем присваивал себе все деньги, приходящие по исполнительным листам за алименты и прочее. Но и это обстоятельство, которое бывший судья считал смягчающим, не облегчало его участи. Все же этот суд, вынесение приговора, приведение его в исполне-

ние было для жителей вагона большим культурным развлечением, от которого они отказаться не могли.

— А, гад! Нам срока ни за что, а сам последнее отымал у детишек! Задавить его, сволоту, да и все! Конвою скажем, что сам задохся...

Я хорошо знал этих людей, знал, как легко они возбуждаются и как способны они к самым непредсказуемым действиям. Я покривил бы душой, сказав, что мне было жалко этого субъекта, внушавшего мне отвращение. Но не мог же я присутствовать при убийстве! Убийстве беззащитного человека толпой, где каждый — палач.

Я наклонился к рыдающему, стоящему на коленях человеку:

— Вы книги читали когда-нибудь?

— Да-да! У меня была большая библиотека, я много, много читал. — Судья захлебывался от страха, от слез, от веры в возможное чудо.

— Ребята! — В вагоне все затихли и повернулись в мою сторону. — Судья умеет романы толкать! Нас, говорят, везут на Урал. Ехать нам месяц, а то и побольше. Задавить судью можно всегда, а пусть он нам пока романы толкает. И два раза в день. Один раз утром, а второй — после проверки.

«Толкать романы» значило пересказывать когда-то прочитанное. В тюрьме и лагере умение такого рассказа ценится необыкновенно высоко и служит еще одним доказательством, что даже самые отчаянные уголовники — люди...

Настроение в вагоне сразу же переменялось. В конце концов, судилище и убийство займет не так много времени, а тут два «романа» в день — это, пожалуй, выгоднее. Так началось это своеобразное повторение знаменитой истории с Шахерезадой, рассказанной в «Тысяче и одной ночи». Судья оказался не только прохвостом, но и способным человеком. Литературно способным. Начал он с «Острова доктора Моро», а дальше перешел ко всем романам Уэллса, Жюль Верна, Дюма, Конан Дойля. Приговоренный к смерти, тюремный аналог сказочной принцессы обладал не только прекрасной памятью, но и несомненным литературным даром. Он рассказывал эмоционально, динамично, выделяя наиболее выигрышные эпизоды. Мало того: так как я сам довольно хорошо знал пересказываемые книги, то с удивлением убедился, что судья самостоятельно придумывает новые захватывающие эпизоды и весьма искусно монтирует их в содержание книги.

Через неделю-две «толкание романов» превратилось в излюбленное занятие всего населения вагона. И вечером нетерпеливо ждали проверки, чтобы посадить в центре нар тюремную Шахерезаду и начать слушать продолжение захватывающего романа. Ибо, по примеру Шахерезады, наш рассказчик прерывал свой рассказ на самом захватывающе-интригующем месте. Конечно, за это время смягчились сердца эзков, никто уже не напоминал о постановлении толковища «задавить гада», напротив — к нему стали относиться несколько бережно и даже премировать куском чего-то съестного за наиболее удачный рассказ. И судья утратил свой страх, он не только приободрился, но и начал понимать свою общественную цен-

ность, требовать местечка получше, дабы не простудиться и не по-
пасть, следовательно, в «простой».

Однажды я его спросил:

— А вам не бывает стыдно?

— За что?

— За то, что отнимали у детей и стариков деньги на жизнь?

— Все так делали, все друг у друга отнимали, почему же только
мне должно быть стыдно?

— А срока людям вы давали всегда справедливо?

— Я же работал судьей, при чем же тут справедливость? Давал
срока, как сказано в законе, по инструкции, по указанию начальства,
по поведению: смотрю — тихий, в глаза мне засматривает — дам по-
меньше, а если нахал — то и на всю катушку...

— А вы никогда не думали, что можете очутиться на их месте,
в тюрьме, среди тех, кого судили? Вас же хотели убить. И убили бы.

— Спасибо вам. Век не забуду. Если еще придется работать
судьей, да попадете ко мне — отплачу добром.

— А вы еще думаете быть судьей?

— А чего же! С такими, конечно, как я, и бывают неприят-
ности. Но наверху нас никогда не забывают. Вот этап уж, почитай,
пережил, а в лагере к законникам да шобле не попаду — там знают,
кого и куда направлять.

И точно! Когда наш эшелон втянулся на запасные пути станции
Соликамск и нас начали выводить из вагонов, судью после первой же
переклички как будто смыли из общего этапа. Он куда-то исчез.
И опытные лагерники мне объяснили, что «они, суки, своим пропадать
не дают. Либо дневальным в хитрый домик устроят, либо куда.
В лес не погонят, там же ему не повезет так, как у нас в вагоне: спу-
стят на него дерево — и с концами!..»

* * *

Это было осенью 1951 года. А намного раньше, в сороковом
году, на 1-й лагпункт Устьвымлага прибыл новый этап, и когда
заклученных рассортировывали, Степа Горшков показал мне на вы-
сокого, еще нестарого мужчину в галифе и выцветшей гимнастерке.
Степан Горшков при всем том, что был заключенным, занимал
на лагпункте самый высокий пост, до которого может дойти зэк:
незадолго до этого уволился начальник работ, и, пока не прислали
нового, обязанности начальника работ исполнял заключенный Степан
Горшков. Личность это была чрезвычайно интересная, достойная
отдельного рассказа.

— Вот что значит — у нас никого почти москвичей не осталось:
никто его не вспомнит.

— А кто он такой? Я москвич, а не знаю, кто такой.

— Ты проходил по центру, а поэтому не имел с ним дела. Его
фамилия Купчинский. Он не пешка, нет — заместитель начальника
Управления НКВД по Москве и Московской области. Кровавая
собака! Я о нем наслышался. Смотри, дьявол, — сколько их постре-

ляли, а он живой в лагерь попал. Да еще жив останется из-за таких хлюпиков, как ты да я.

— А что же нам надо делать?

— Слушай, в последней твоей посылке была кременчугская махорка. Дай мне две пачки. Я их дам одному хитровану, но опытнейшему лесорубу. На втором выходе в лес он на него пустит дерево. И пустит точно — он на это большой специалист.

Было это не в пятьдесят первом, а в сороковом. И тогда никакой жалости у меня к таким не было. Сам никогда никого в жизни не убивал, но тогда был уверен, что смог бы... Но вот так, попасть сразу же под дерево и умереть, не узнав, что такое подъем в 6 утра; развод на морозе при пронизывающем ветре; долгая мучительная дорога до лесосеки; эта страшная работа по пояс в снегу — пилить, нагнувшись, двуручной пилой дерево, надрываться, вытаскивая баланы из снега; мокрым и замученным брести в зону и там, похлебая неутоляющей голод баланды, залечь на жесткие нары в ожидании нового подъема... Как же это несправедливо!

— Степа, давай сделаем иначе. Их сейчас поведут на комиссовку, я поговорю с Македоньчем, устроим ему «тяжелый труд»! Пусть он всего, сволочь, понюхает, прежде чем сдохнет!

— Да не сдыхают такие! Ну ладно, действуй.

План был несложный. К этому времени уже стал намечаться дефицит в рабочей силе. Не просто в арестантах, а в таких, которые могли бы пилить лес и выполнять главный закон страны — план. Поэтому было строжайше запрещено эков с категорией «тяжелый труд» использовать на любой нелесопопальной работе, если только он не был совершенно необходимым специалистом. За всякого ээка с «тяжелой» категорией, обнаруженного не на лесоповале, у начальника лагпункта вычитали штраф из зарплаты — мера очень чувствительная. У Купчинского был весьма истощенный вид, и на «тяжелый труд» он явно не тянул.

Но! Но я объяснил нашему милому врачу мой жестокий план, и его сердце не дрогнуло. Да и с чего ему было дрожать? Его самого, его жену и двух сыновей взяли сразу, в одну ночь... Да и медицинскую этику ему не надо было нарушать, никто от него не требовал, чтобы он злодейски умерщвил злодея. Напротив. Купчинский как ослабевший был немедленно положен в стационар. И там по приказанию главного врача его откармливали, как сказочная жена людоеда откармливала Мальчика-с-пальчик. Через месяц бывший заместитель начальника УНКВД был вполне годный для нашего плана: толстенький, розовенький и абсолютно здоровый. Каждый при выходе из стационара проходит комиссовку и получает новую категорию труда. Нисколько не покривив душой, медицинская комиссия определила Купчинскому «тяжелый труд», закрыв этим ему дорогу к любой придурочной работе. Ибо никакой профессии у этого палача не было, кроме умения выбивать нужные показания у врагов народа.

Через какое-то время начальника работ вызвали в «хитрый домик». Около оперуполномоченного Чугунова стоял заключенный Куп-

чинский. Стоял почтительно, но чем-то оттеняя, что он здесь не совсем чужой.

— Горшков! Вот этого заключенного назначишь бригадиром.

— Нет, гражданин старший лейтенант, не назначу. Это ваш человек, а не мой. Мне нужны бригадиры, которые будут пользоваться авторитетом в бригаде и вместе с ней давать план. А этого заключенного в бригаде не слушаться будут, а бить. Каждый ведь помнит, как Купчинский бил таких, как они. Нет, Купчинский будет работягой. Как все.

— Слушай, Горшков! Если ты этого зэка будешь доводить, ты мне ответишь как человек, обкрадывающий заключенных. Я не посмотрю на то, что ты начальник работ, и заведу на тебя дело. Попробуй только обсчитать его!

Горшков позвал дневального «хитрого домика» и приказал ему вызвать бригадира бригады, работающей на раскорчевке трассы. Тот, вострепанный, прибежал. Не повышая голоса, начальник работ ему сказал:

— Вот этого заключенного возьмешь в свою бригаду. Выделишь ему отдельный участок и работу будешь принимать сам. Я пошлю контрольного десятника проверять приемку. Если ты его обсчитаешь на полпроцента, я сниму тебя с работы и ты пойдешь пилить лес. А если ты ему прибавишь полпроцента, то, пока я на лагпункте, ты будешь упираться рогами в самой последней бригаде на самой доходной работе. Понял меня?

— Понял, начальник.

И пошел Купчинский корчевать сосновые пни, получая за свою работу штрафную пайку. Ибо без обычной туфты даже такой здоровый жлоб, как бывший заместитель начальника УНКВД, выполнить нормы не мог. И я имел удовольствие видеть, как в колонне арестантов возвращается с работы Купчинский, и становится в очередь за пайкой, и получает, в отличие от других, крошечный, в 200 граммов, кусок хлеба. Впрочем, я скоро заметил, что время от времени дневальный «хитрого домика» сует ему здоровенный кус хлеба да еще чего-то. А вечерами, после отбоя, штрафной арестант тихонько выходил из барака и направлялся в «хитрый домик», где его несомненно подкармливали. И, наверное, не только за прошлые заслуги.

Недолго мне пришлось мстительно наслаждаться, видя Купчинского на разводе. Меньше чем через месяц вдруг его взяли на этап. На «спецэтап», по наряду. А еще через какое-то время приехавший из Вожаеля, где он был на совещании, Степан Горшков мне сказал:

— Видел Купчинского на комендантском. В белом халате. Спрашиваю: кто такой? Говорят, новый лепила. Назначен фельдшером. Ну, теперь он свой срок будет отбывать, как барин. И сыт, и пьян, и нос в табаке, и в лапу будет брать за освобождение. Эх, зря ты тогда пожалел две пачки кременчугской махорки!..

* * *

Да не жалел я махорки! Да и ничего бы не пожалел, чтобы хоть чем-нибудь, пусть таким низменным, мстительным образом, успо-

коить огонь ненависти, отвращения и стыда, грызущего душу. Ну, ненависти — понятно. К ней было более чем нужно оснований. Отвращения — также можно объяснить. Отвращение ко всему этому порядку жизни, ко всем этим правилам, собственно говоря, принципиально одинаковым что на воле, что здесь. А стыда? Стыда за страх, который тогда — на воле — калечил меня, превращал из человека в «тварь дрожащую», как говорил герой романа Достоевского. А ведь как старался я этот страх унять, преодолеть иронией, смехом над анекдотами, водкой, наслаждением от наблюдения за тем, как растет мой ребенок, как превращается этот комочек плоти в осмысленного маленького человека. И иногда это удавалось. На время.

Лето 1937 года. Прошла опустошающая волна урагана. Арестованы родители моей жены, мой родной брат, мои двоюродные братья, мои многочисленные друзья, уже меня выселили из элитного дома в огромную коммунальную квартиру, и уже я без работы. Пришел в «Детгиз» и по взглядам окружающих — жалостливым, стыдливым, сочувствующим — понял, что уволен. Подошел к Доске приказов и прочитал об увольнении (даже не помню сейчас, с какой формулировкой) директора издательства Цыпина, зав. дошкольной редакцией Екатерины Михайловны Оболенской и моем.

И стал я безработный. Сначала ходил по разным издательствам — искал работу. Некоторые директора издательств меня знали, хорошо относились. И откровенно говорили:

— Сам понимаешь, как я к тебе отношусь и как ты был бы мне нужен. Но тебя арестовать могут?

— Могут.

— Так что же со мной тогда сделают!

— Но ведь и тебя могут! И тогда, когда я у тебя работать не буду.

— Могут. Но тогда мне уже будет все равно. А тебя я возьму и буду дрожать от страха. Ну что это за жизнь у меня будет?

Что мы только ни делали, чтобы избавиться от этого всеобщего, давящего страха! Иногда Цыпину и мне это на время удавалось.

Григорий Евгеньевич Цыпин был любопытнейшим и приятным человеком. Великолепным организатором, таким, каким был, наверное, Сыгин в свое время. Собственно, он и превратил «Детгиз» из карликового лоскутного издательства в огромное издательство, широко и щедро начавшее выпускать классику и старые любимые детские книги. С иллюстрациями лучших мастеров, в великолепных переплетах, украшенных золотом. В них не было, может, большого вкуса, но было все, что обожают дети. «Цыпинское золото», — иронически говорили любители изысканных книг. Но старомодные вкусы Цыпина вполне соответствовали той жажде красивой толстой книги, которая возникла у читателей после чахлахых брошюр и тоненьких книг о великих стройках пятилетки. И вот сейчас Цыпин — безработный. Как и я.

Стояло жаркое, безоблачное, с синим небом лето 1937 года. У нас с Цыпиным было почти всегда одинаковое расписание. Мы встречались у Пречистенских ворот. Цыпин с корзинкой, я с бидоном.

Сначала мы шли на Пречистенку, в Музей новой западной живописи. Оставляли в гардеробе свои пожитки, а потом шли в музей. Почти всегда в одни и те же залы, к одним и тем же любимым картинам. Сидели на банкетках против Ренуара или Гогена и молча наслаждались. Потом уходили из музея, шли в магазин на углу Пречистенки и бульвара, покупали пива и раков и шли домой к Цыпину. Григорий Евгеньевич жил рядом, на Сивцевом Вражке, в новом большом доме, построенном для старых большевиков, но уже наполовину пустом, а наполовину заселенном «руководящими».

У Цыпина была потрясающая библиотека. Когда-то он был директором издательства «Советский писатель», которому принадлежали крупнейшие букинистические магазины. А толк в книгах Григорий Евгеньевич понимал. И у него были собрания сочинений из великокняжеских библиотек, редчайшие книги, когда-то собранные московскими книжниками. Помню полное собрание сочинений Достоевского в переплетах уникальной работы. И на титуле каждого тома надпись через всю страницу: «Из книг Федора Шалапина». И — размашистая подпись великого артиста.

Пока хозяин варил раков по какому-то изысканному рецепту — с травами, в пиве, — я рассматривал книги, какое-то мирное, спокойное чувство находило на меня, и напрочь забывалось, откуда я пришел, куда я уйду и что наступит ночь с ее неотступными тревогами. Потом приходил Григорий Евгеньевич, мы начинали вкусную трапезу. Он мне рассказывал истории многих книг, сложные пути, которыми он их доставал, мы вспоминали библиотеки Демьяна Бедного и других замечательных книжных собирателей, и в этой беседе забывалось время, исчезал страх за будущий день, за будущий час... И вдруг эту такую мирную, докатастрофическую беседу прерывал ужаснейший крик: не человеческий, не звериный — какого-то неведомого существа. Это кричал на балконе в квартире на верхнем этаже попугай. Квартира принадлежала Бетте Глан — организатору и директору Московского парка имени Горького. Арестовали хозяйку, запечатали квартиру и забыли, что на балконе висит в клетке большой попугай. И сейчас он умирает от голода и кричал хриплым голосом, каким, вероятно, должны кричать великие грешники на Страшном суде. И весь дом, вернее, все те, кто еще в этом доме оставался, замирали от жалости, ужаса и страха. И никто, никто не решался позвонить «туда» и сказать об участии бывлой красивой и веселой птицы. Никто не решался напомнить о себе...

И этот крик сразу же ломал нашу беседу, она мгновенно теряла свой мирный и отвлекающий от настоящего характер, она снова возвращалась к тому, о чем мы думали постоянно, почти в течение всех суток. И Цыпин начал:

— Лева! Вот подумайте: нас было одиннадцать человек на курсе в Институте красной профессуры — девять взяли, а меня не тронули. Нас было шесть помощников у Кагановича — пять взяли, а меня даже не вызывали. Нас было пять заместителей у редактора «Известий» Бухарина, вместе с Бухариным взяли четырех — меня не тронули. Значит, не всех же берет! Значит, есть же какие-то

причины, по которым одних берут, а других не трогают. И раз меня раньше не взяли, чего же им сейчас меня трогать — после работы в Детгизе? Мне уже обещают какую-то издательскую работу. Конечно, поменьше, да кто об этом думает! Но ведь не трогают! А значит, могут и не тронуть! А? Как вы думаете?

И я, думающий все о том же, все о том же, жестоко вдруг проговаривался:

— Книги жалко. Они же их не возвращают. И девают неизвестно куда.

К концу года нас все же «трудоустроили». Цыпин начал работать средним клерком в каком-то ведомственном издательстве, а я стал секретарем Московского общества друзей зеленых насаждений. Когда я туда пришел, мне показалось, что я попал в рай, ничего общего не имеющий с действительностью. Учреждение, где есть «Секция роз», «Секция хризантем», «Отдел комнатных растений»... Вот где можно отдохнуть душой, забыть и забиться. Но очень скоро выяснилось, что «всюду страсти роковые и от судеб защиты нет»... Я получил должность секретаря, потому что моего предшественника посадили; незадолго до моего прихода посадили председателя «Секции роз»; на председателя «Секции цитрусовых» поступил компрометирующий материал, и он ходил по комнатам белый от страха, и все старались на него не глядеть...

Почти каждый вечер мы перезванивались с Цыпиным. Не то что у нас были какие-то дела, а так — для проверки... Утром 1 января 1938 года я позвонил ему, чтобы поздравить с Новым годом. И впервые телефон не ответил. И я сразу же понял: дошло до него. Цыпина арестовали в самую новогоднюю ночь, 31 декабря. Вернее — уже в Новом году. Когда вернулся каким-то чудом выживший после 10 лет бывший директор Ленинградского отделения Детгиза Лебедев, то рассказал, что он обвинялся в том, что состоял в контрреволюционной вредительской организации в детской литературе, руководимой Самуилом Яковлевичем Маршаком. И среди членов этой организации был и Григорий Евгеньевич Цыпин. В моих частых встречах с Самуилом Яковлевичем я никогда ему об этом не рассказывал. Зачем старику напоминать о страхе, постыдном и жалком страхе, в котором он — как и все прочие — жил. А Григорий Евгеньевич пропал. Кажется, его не расстреляли. Значит, погиб в этапе или же «дошел» в каком-нибудь лагере.

Да, конечно, мы прибегали ко всяким способам, маскирующим страх, загонявшим его внутрь. Мы шутили над ним, рассказывали анекдоты, в наших откровенных домашних разговорах «они» представлялись не только жестокими, но и глупыми, лишенными признаков, отличающих наш вид как «человека разумного». Но все равно — страх сидел в нас глубоко внутри, и даже если удавалось преодолеть страх за себя, то совершенно неодолимым был страх за близких.

1948 год был наиболее благополучным в моей тюремно-лагерной биографии. Этот год я прожил на воле. По-настоящему. Жил с женой в южном и красивом Ставрополе. Жил совершенно легально,

имел прописку, снимал комнату и даже состоял на государственной (правда, других и не было!) службе. Я был методистом в методическом кабинете краевого отдела культпросветработы. Задачей этого странного учреждения было «изучать и обобщать» опыт работы сельских культпросветучреждений. Для этого я довольно часто ездил по району большого края. Ездил с удовольствием. После многих лет жизни в местах, где только лес, лес, лес, мне нравились большие степные просторы без единого деревца, нравились огромные поля, большие станицы, где жили приветливые, не замордованные — как в городе — интересные мне и симпатичные люди.

В конце августа 1948 года я странствовал по Благодатненскому району. Старая казачья станица, превращенная в районный центр. Старые каменные дома богатых купцов и скотоводов заняты множеством учреждений, чьи названия начинаются со слова «рай». В просторной бывшей церкви — Дом культуры. Словом, все как у всех. Очень мне понравился человек, чей опыт я должен был изучать и обобщать, — заведующий районным отделом культпросветработы. Это был совсем молоденький солдат, начавший воевать в 17 лет и только два года назад демобилизовавшийся. Он прибыл в свою станицу не только живой и здоровый, но и увешанный множеством орденов, среди которых была самая-самая главная — Звезда Героя Советского Союза. Солдат был разведчиком. Если на войне разведчику везет, то у него есть шансы не только остаться целым и невредимым, но и захватить орденов полную колодку. Это мне потом объяснял со своим обычным смешком Казакевич, который имел этот опыт. Благодатненский заведующий сельской культурой был очень здоровым и очень бесстрашным. Угощая меня дома обедом, он рассказывал о том, как он таскал языков, с простодушием, без всякой рисовки. И я ему верил, когда он, отвечая на мой вопрос, широко открывал глаза и говорил, что нет — страха не испытывал. «Если идешь на поиск со страхом — лучше не ходить: провалишься. Я немца не боялся, нет!..»

И вот такого героя надо было устраивать на работу, соответствующую его высокому и редкому званию. Образования у него было не больше семи классов, но не это было препятствием к тому, чтобы плотно сесть в районную номенклатуру. Но все же очевидно было, что нет у него необходимых для этого данных, и поэтому назначили его на самую незавидную в этой номенклатуре должность — руководить культурой. Действительно, работа была не пыльной... В селах маленькие библиотечки из двух-трех десятков брошюр и обязательно книга ставропольской гордости — роман Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». Да еще бывшая церковь в станице, где проводились раз в год смотры самодеятельности и всякие официальные мероприятия районного масштаба.

Первого или второго сентября я из села приехал в Благодатненское и застал в райцентре траурное оживление. Страна лишилась Андрея Александровича Жданова. На домах висели траурные флаги, в Доме культуры шла внеочередная уборка и подновление лозунгов — вечером в нем должно было состояться траурное заседание всех вышестоящих и нижестоящих организаций. Мой герой вместе с

директором Дома культуры бегал, устраивал, прибывал, красил — я его увидел только вечером на торжественном траурном мероприятии. Все было «как в лучших домах»... На сцене стоял обвитый траурными лентами, среди цветов, портрет покойного вождя. За длинным столом сидело все районное начальство — от секретаря райкома до начальника райотдела МГБ. Начальник культуры в эту обойму не входил, и за стол президиума его не посадили. Он сидел рядом со мной во втором ряду и внимательно и серьезно — как всегда в своей немудрящей работе — слушал оратора. Стоя за фанерной трибуной, оратор — заведующий отделом народного образования, — иногда запинаясь (очевидно, не им было написано), но со слезой в голосе читал о том, каким великим гуманистом и просветителем был покойный, как он сгорел на работе, в своих трудных заботах о развитии родной культуры, литературы, искусства... Слушать это мне было интересно, я даже чувствовал какое-то радостное щекотание от мысли, что этот толстый хам оказался бессильным против смерти. В этом было что-то обнадеживающее...

Но, взглядевшись в траурный президиум, я почувствовал, что я сейчас могу неприлично хихикнуть. На сцене в траурном обрамлении был портрет не Жданова, а Шверника... Как это произошло — черт его знает! У всех у них похожие лица, и усы такие же. Я дернул за рукав своего соседа:

— Ты посмотри, посмотри, чей это портрет?

— То есть как — чей?

— Да это же портрет не Жданова, а Шверника!

Никогда я больше не встречал такой реакции. Завкультпросветотделом стал бледен, как его парадная рубашка, с лица полились потоки пота. Он, задыхаясь, начал подыматься со скамейки.

— Куда ты?

— Надо же пойти, надо...

Он не знал, что надо делать, он умирал от страха, этот герой, этот разведчик, таскавший немцев, как сосиски... Я силой усадил его на место:

— Сиди! Тебя-то просто выгонят, а ведь директору Дома культуры не меньше десяти лет обломится!

— Так что же делать?!

— Сиди спокойно. А когда кончится заседание, пойдешь на сцену, заберешь портрет и спрячешь. А главное — не говори об этом ни слова никому! Ни директору, ни своей жене, никому на свете!

Народ весело расходился с траурного заседания, я стоял и ждал своего героя. Уже потушили огни, закрыли церковные двери, когда из-за старой церкви показался бывший разведчик. Теперь он был относительно спокойный, только тяжелое и прерывистое дыхание говорило о перенесенном.

— Ну, что сделал с портретом?

— Рамку сломал и выбросил, портрет изорвал в клочки и разбросал по разным местам.

— Никому ничего?

— Да что вы! Но неужели, кроме вас, никто не заметил?

— Ну, значит, никто. А то бы уж крику было бы навалом...

— Это-то да. А вдруг? А вдруг после вашего отъезда меня вызовут... Кто-нибудь скажет...

— Да никто не будет говорить. Меня ведь не боишься, не думаешь, что я тебя заложу.

— Так то вы...

Заведующий районным отделом ничего не знал о моей предчиновой биографии. Но вот как-то верил мне — чужому для него, мало-знакомому человеку. А своим одностаничникам, с кем играл мальчишкой, с кем работал теперь, — им не верил и испытывал невероятный страх при мысли, что его «позовут»...

Хотел я его расспросить: неужели страх быть «вызванным» сильнее, нежели чувство, с которым он — без документов, без погон — уходил ночью за линию фронта в поисках языка? Но не решился. Пожалел его. Мог бы этот храбрый, хороший парень объяснить мне то, что я и сам не очень отчетливо понимал: природу этого страшного, давящего страха, в котором мы все жили. Мы все жили в зыбком мире, в утлой лодчонке, раскачиваемой страхом. Я — понятно. Но этот Герой Советского Союза, защищенный вроде славой и мелкой должностью, на которую никто не зарился, — почему он так боялся? А что же испытывают другие — более крупные? Не всем так повезло, как погоревшему судье и недобитому палачу.

Ну хорошо. Уцелел судья, уцелел (наверняка потом стал пенсионером) Купчинский, уцелели и до сих пор еще живут, притворяясь людьми, убийцы самых разных рангов и специальностей. Но те — самые-самые главные, — неужто они верили, что они навсегда останутся, что они могут жить вне этого страха и идущего вслед этому страху конца?

Наш московский этап сгрузили у Центральной Котласской пересылки Ухтпечлага в сентябре 1938 года. Пока мы сидели на корточках около вагонов, дожидаясь команды встать и построиться, мы разглядывали парадные ворота этой огромной, знакомой миллионам людей пересылки. Эти ворота напоминали почти Триумфальную арку, поперек которой висел огромный плакат, на котором вместо иронического «Добро пожаловать!» было начертано яснее и проще: «Смерть врагам народа!» И над аркой висел огромный поясной портрет Генерального комиссара государственной безопасности Николая Ивановича Ежова. Портрет был в красках, тщательно выписаны детали мундира: ремни, выпушки, знаки высокого чина, ордена. Скрестив руки, страшный карлик смотрел на вводимых в ворота пересылки людей и ничем не напоминал того тихонького человека в сатиновой косоворотке, которого я года четыре назад знал...

Но — удивительное дело! — он нам уже никакого страха не внушал. От страха мы избавлялись, собственно, в тот самый миг, когда раздавался звонок в ночи и тебе совали под нос бумажку, на которой глаза сразу же выделяли главное слово «и ареста»... Здесь, в Котласе, мы распрощались со всеми видами страха. Нас больше не арестуют, не будут допрашивать, у всех у нас есть уже сроки — с нами все яс-

но. Зато нас необыкновенно интересовала судьба «их». И — в первую голову — судьба этого человека с портрета.

Ежов тогда был в зените своей кровавой карьеры: всесильный и могучий. Но в той небольшой, но тесной компании, которая сразу же сложилась в нашем этапе, почти никто не сомневался в том, что ждет Ежова. Он уже свое дело сделал, и тот, кто его породил, так же спокойно, как он всегда делал, уберет его туда, куда он убирал всех. Не помню, кто из нас знал наизусть знаменитую поэму о Цезаре Борджиа в переводе Мережковского. «Цезаре был великий государь, такого мы не видели и встарь». И вскоре ему понадобилось то, что необходимо всем тиранам. «Лишь слабый ищет помощи закона. А он призвал Витторе де Коллона». И дальше рассказывалось, что этот Витторе «верил только в длинный нож, он презирал закон и уважал грабеж... Он создал столько страшных дел, что не хватало рек для утопления тел». А дальше, когда Витторе сделал свое дело, Цезаре его арестовал, объявил, что он по заданию иностранных злодеев убивал невинных людей, за что понесет достойную кару. Каковую и получил по всем средневековым правилам.

Все мы видели в этой поэтической истории изложение прошлого и будущего Генерального комиссара государственной безопасности. И даже спорили — через какое время это случится. Те, которые заключали пари, что года через полтора, — проиграли. Ежову остался лишь один год. Некоторые, прошедшие через страшную «Сухановку», рассказывали, что именно там сидел Ежов. Его — в грязной, пропывшей гимнастерке — приводили на очную ставку с каким-нибудь очень несчастливым арестантом, и Ежов — как Вий — указывал на него своим железным перстом (уже без «ежовых рукавиц») и говорил: «Да, я его завербовал». Конечно, он-то знал все им же установленные правила игры и действовал по ним. Но знал ли он неизбежность своего конца? Ну да оставим это для беллетристов...

Летом 1953 года на новой командировке Кушмангорта не было уже такой избранной компании людей, изощренных в истории и даже знающих наизусть поэму Макиавелли. Но было несколько человек, с которыми можно было откровенно разговаривать, и я их убеждал, что Берия ждет участь Ежова. Мне не очень верили, но слушали с надеждой. А я был убежден, что Берия, представляющий смертельную опасность для всей пришедшей к власти компании «тонкошеих вождей», будет убран. Туда же... И даже азартно приглашал заключать пари, что это случится через год. Хорошо, что никто со мной не решился поспорить. Я же проиграл!

Командировка наша была новая. Радио постоянно работало только за зоной — в казарме. И единственная телефонная линия, соединяющая командировку с головным лагпунктом, имела два спаренных аппарата: в ВОХРе и на вахте. Каждое утро после развода я шел на вахту, вызывал плановую часть и передавал сводки о выполнении норм за вчерашний день. Эта идиотская отчетность почему-то требовалась именно утром — очевидно, чтобы к середине дня доложить генералу Тимофееву на Кузнецком мосту, как прошел производст-

венный день в бесчисленных подведомственных ему лесных лагерях. Вертухай на вахте давал мне трубку, и если я слышал разговор между головным и ВОХРОм, то клал трубку и ждал окончания разговора.

На этот раз я услышал (я уже хорошо знал их голоса), что разговаривают начальник отделения и командир нашей охраны. Но разговор был такой, что я не положил трубку, а какое-то мгновение продолжал держать ее у уха. Начальник отделения говорил:

— Радио утром слышал?

— Слышал.

— Значит, так: немедленно снять все портреты в штабе и казарме, изъять все книги и брошюры в красном уголке казармы и в КВЧ в зоне...

Я больше не мог слушать этот необыкновенный разговор: дежурный подозрительно смотрел на меня и тянулся за трубкой. Я медленно положил телефонную трубку и вышел с вахты. В голове у меня все кружилось, но мысли были совершенно отчетливые. Раз портреты и книги — значит, член Политбюро. Какие портреты членов Политбюро могут быть в штабе и казарме? У меня не было сомнений, что я проиграл, и на полгода раньше, чем я думал, Берия пошел вслед за Ежовым.

Знакомо ли вам ощущение, когда узнаешь что-то необыкновенное, такое, что невозможно держать про себя?

Уже собрали и увели с «доводом» отказников и просто мелкую шоблу, прятавшуюся от развода. Посередине зоны на бревне сидел вспотевший от усердия младший лейтенант, начальник КВЧ (культурно-воспитательной части). Он тяжело вздыхал, бедняга, наверное, вытаскивал из-под нар спрятавшихся лодырей, не желающих «жарким трудом растапливать свой срок». Я присел рядом с ним. Лейтенант в поисках сочувствия сказал мне:

— Ох, Разгон! Ну и сукины же сыны, просто негодяи есть среди вашего брата зэка!

— Конечно, есть, гражданин начальник. Так ведь и среди вольных какие негодяи встречаются!

— Это кто же? — с подозрением посмотрел на меня младший лейтенант.

— А вот Берия, например...

Реакция начальника КВЧ была очень странной. Он вскочил, посмотрел на меня помутневшими глазами, взвизгнул и побежал на вахту... Через полчаса он, как теленок, ходил за мной по зоне и ныл:

— Разгон, ну скажи: ты знал, да? Ты знал, а?

Конечно, вся эта история слегка напоминала знаменитую «русскую рулетку», когда в револьвере оставляют один патрон, вертят наугад барабан и стреляют себе в висок... А вдруг это был не Берия, а Маленков, Молотов, Булганин — да мало ли их было, кого Берия сцапал бы первым, устроив свой переворот! Но сейчас, когда я читаю воспоминания Хрущева о том, как совершилось неизбежное, я понимаю, что был прав во всех своих предположениях. И не от «большого ума», а от опыта и понимания нехитрой, в общем-то, механики массового террора. Господи! Да я же про это читал у Тэна, Мишле,

Жореса. Так было уже полтора века назад в одной из самых цивилизованных стран мира.

Ну а дальше? С Ежовым и Берией все было ясно. А что же будет дальше? С «главным»?

С «главным» дело обстояло несколько хуже. Как заканчивал Наум Коржавин одно из своих стихотворений, где героем был Сталин, «к стыду народа своего, он умер собственной смертью». Конечно, можно удовлетвориться и его посмертной судьбой: всеобщим поношением, презрением, ненавистью, тем, что он стал предметом заработка у мелких журналистов и ничтожных писателей, выворачивающих наизнанку всю его личную жизнь, все его грязные привычки, поливающих его помоями на каждом углу. Все так. Но умер он «собственной смертью», убив, замучив миллионы людей — взрослых, стариков, женщин, детей. И мне это до сих пор кажется дикой несправедливостью. Не хочу ни судить, ни убивать таких, как Купчинский, и палачей с более счастливой судьбой, спокойно доживающих свой век, и даже как пострадавших приглашаемых на собрания «Мемориала». Черт с ними, дьявол их возьми! Не хочу, чтобы мной владела унижающая нас мстительность. Но Сталин! Ах, Сталин! С ним ни мне, ни кому другому не повезло. Уж тут я бы не пожалел кременчугской махорки!

* * *

Какая огромная дистанция отделяет нас сейчас от того времени. Не временная только дистанция, а политическая, нравственная. Читаете газеты и журналы — и хочется верить, что наконец-то настало время, когда навсегда кончилась безнаказанность, когда напроочь исчезло наглое и подлое сознание своей безнаказанности. И что каждый должен помнить грозный и страшный смысл пушкинских строк: «И не уйдешь ты от суда людского, как не уйдешь от Божьего суда!»

И все же... И все же... Как часто в жизни, в печати сталкиваешься с отвратительными, безнравственными и противозаконными действиями сатрапов маленьких, средних, больших, совсем больших... Неужто они — как и те — верят в то, что за это им не придется ответить? Ну пусть не головой и даже не утратой выгодной должности, а хоть только стыдом, позором перед собственными детьми и внуками, перед знакомыми и незнакомыми, перед людьми...

Неужто история действительно никого не учит?

Белый свет

В полутемном кабинете
конопатый потолок,
не берет его побелка:
мел воруют, белят мелко,
скуден свет и низколоб.
Ванька-Каин на паркете —
ворошиловский стрелок.
Вон и красный уголок,
там не дерево, а кафель...
Он ученый, Ванька-Каин,
он уважит и усадит,
по волосикам погладит,
для начала вырвет клочок...
Ходит мягко, смотрит глухо,
призасунул пятерню.
Ну-ка я тебя, Ванюха,
к той картине применю:
под фуражкой человек,
он закутанный во френчик,
он со спрятанной рукой —
знать не знаем, кто такой.
Он плывет в дубовой раме
в полумраке над столом...
Поделом — над всеми нами,
вахлаками — поделом!
Как я Ваньку обелю?
Как я губы разлеплю?
Где я зубы соберу?
Я забылся в кабинете —
пробудился на рассвете
над оврагом на юру
во березовом бору...
И кидают нас в известку —
кто убит, кто не убит —
всех дотла сожжет карбид,
выбелит мою березку.
Тонкий выступит мелок.
Заровняют братский лог.
Были косточки — и нет.
Только в роще белый свет,
только слабое сиянье
возле каждого ствола
вам напомнит, россияне,
про великие дела.

Могучий поздний возраст

Через туристскую толпу
к Александрийскому столпу
скользнул прерывисто-волнисто —
ну, наконец! — Мулат, Сверчок —
и черный в талию фрачок...
На мальчика, на фигуриста
медлительностью быстроты
мучительно походишь ты.
Как пламя обрывая фалды,
как страсть безбожную иль гнев,
едва привиделся — пропал ты,
на пестром летнем прочернев.
И запоздало на плите
гранит свободный покачнулся,
чугунный ангел востепенулся
и замирает в высоте...

Но отчего столь беглый облик?
Так налегке — как на коньке?
Уж, верно, оттого, что отрок
еще очнется в старике.
Прерывисто струится через
благоразумные лета
святыня отрочества — та,
что отоляется в старость — в ересь.
И тут провал: глубится твердь —
небывшей старости зиянье,
изъятие из предписанья:
СЕМЬЯ. РЕЛИГИЯ. СТАРОСТЬ. СМЕРТЬ.
Побег замысленный? Деянье,
отложенное до поры?
Неправой жизни воздаянье?
Потемки каторжной норы?
Как вихорь, волен, страшен, нищ...

Кругом пророчества и пробы
и тайна все, что быть могло бы,
что — е с т ь, как этот вихорь-свищ!
Читай — читай и слушай в оба.

Памяти Дмитрия Голубкова

Ты был...
Ты рыцарь был,
все отрок был — за сорок —
твой самый чистый пыл
вмиг вспыхивал, как порох.
Твой декабрист — старик,
как старчище бодливый,

столь одинок и дик
на площади пустынной,
где конного царя
с прибавкой пьедестала
фигура Кобзаря
уже перерастала...
И бунтовщик умрет
от счастья речи вольной,
и тело приберет
квартальный сердобольный.
И все — и ничего
от грозного восторга?!

...Я вытащил его
из мерзостного морга.
Для беспризорных тел
есть под Загорском яма —
ты э т о г о хотел
так долго и упрямо?

Единственный исход
и все-таки не выход.
Прости, мой Дон-Кихот,
ты сделал ложный выпад.

В кухтиной лахте

Выкашиваю свой лужок
в счет продовольственной программы,
а кто скирду сгноил и сжег,
никого не имеют сраму.

Они всегда отрапортуют,
мол, сено сортное сдают,
начальство местное надуют,
да с ним и премию пропьют.

С утра уже гудит бригада,
начальство в городе; оно
само обманываться радо,
как Пушкин замечает, но
обманутым еще повадней
и лгать и пить — уже коньяк, —
но тут и закусь деликатней,
и все совсем уже не так,
уже коври и полумрак...
А ты вздохни, душа коровья,
отведай моего сенца:
тут шелковое разнотравье,
и земляничка, и сольца —

И пот лица, и труд поклонный,
и даже славы нимб районный:
попал-таки на карандаш —
мол, сено в Кухтиной убрали...
Фамилию, правда, переврали,
но ведь без этого — куда ж?

* * *

Ж. Г.

Что женщина не виновата
и вне закона и суда,
я уяснил себе когда-то
и повторяю — как тогда.

Грома гремят, и хлещут ливни.
Сейчас звонок: «Вы жизнь спасли мне...
Алло... Благословляю Вас...»
Стихами — я — кого-то спас?

...Со мной мой многолетний ужас:
«Я погубил тебя» — и вот...
На черную брусчатку рушась,
расплескивается небосвод!

Так мне — возмездие?.. И тайна,
и милость велика сия...
Душа моя сентиментальна:
О, Господи! В Одессе я

Спас женщину и вижу в том
прямое назначенье жанра.
Звонок был, голос, имя: Жанна.
Потом...

Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала

Отрывки из третьей части романа

Леонид Лиходеев закончил роман-эпопею, которую писал 20 лет. Это история четырех поколений одной семьи, это осмысление почти столетней истории государства.

В интервью «Московским новостям» Леонид Лиходеев, которого мы многие годы знали как блистательного фельетониста, так объяснил свой переход в романисты: «...Мои фельетоны показали мне описанием следствия, и мне захотелось добраться до причин».

И причины эти он ищет в будничных взаимоотношениях каждодневной жизни как вымышленных, так и исторических личностей. Его роман — это новая неожиданная точка зрения на нашу историю. И интересно, что огромный поток сегодняшней информации не только не опровергает догадок писателя, но и удивительно подтверждает написанное автором десять, пятнадцать, двадцать лет назад. Мне хочется сказать о мужестве писателя, который не остановился на уже завоеванном успехе и начал работу над романом без надежды на публикацию его при жизни.

Существует преданность профессии — это категория нравственная, когда художник выполняет свой профессиональный долг, не считывая на благо, а, наоборот, рискуя благополучием.

Назвать пороки прошедшего семидесятилетия, назвать беды, злоупотребления нужно, но это еще полдела. Главное — это осмысление того, почему мы стали такими, какими стали. Это дело не одного-двух исследователей. Общество, литература должны осмыслить то, что произошло со страной.

Заслуга Лиходеева состоит в том, что он начал размышлять над нашей историей в те времена, когда это считалось преступлением. Годы, которые сейчас называют застойными, в сущности, не были годами полного застоя, если были такие писатели, историки, экономисты, которые думали, искали причины того, что с нами произошло.

Здесь уместно вспомнить слова безвременно ушедшего от нас Натана Эйдельмана: «Пессимистом быть легко, оптимистом трудно. Но пессимистом быть пошло».

В журнале «Звезда» опубликована первая часть романа Л. Лиходеева «Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала». Полностью роман будет напечатан в издательстве «Московский рабочий».

«Апрель» публикует сегодня отрывки из третьей части романа, в которой завершается осуществление идей, овладевших героиней в начале ее жизни.

А. Борин

Николка молчал до трех с половиною лет.

Юлия Семеновна не любила Макарова и, разумеется, считала, что несчастье внука — от отца. Иногда Юлия Семеновна (гоня, впрочем, от себя эту мысль) думала, что мальчик несчастен от того, что Лаура была семь лет и три месяца — «там». Лаура вернулась «оттуда» взрослой женщиной. Что и как «там» было? Лаура как-то проговорила, что «там» насильовали. Юлия Семеновна не понимала смысла и цели этого. Она не могла вообразить, что можно достичь близости мимо воли женщины. По крайней мере она не допускала даже мысли о том, что так поступить можно с нею. Когда-то она приставила пистолет к животу Малиновского, навалившегося на нее.

А может быть, Лаура делала аборт «там». Юлия Семеновна дважды испытала это мерзкое, унижительное ощущение. Но ею занимался врач, в клинике. А «там», разумеется, таких клиник не было. Бедная девочка!

Не это ли отразилось на малыше? Нет, скорее всего (ей было легче так думать), какая-то неполноценность отца. А впрочем, его ли это сын?

Юлия Семеновна относилась к Лауре с запоздалой материнской тревогой. Она вдруг начинала волноваться, если Лаура не приезжала.

Она иногда сомневалась в глубине души: любовь ли это или страх за дочь? Может быть, это — просто оберегание собственного покоя, который нарушен?

И чтобы восстановить этот покой, она готова была звонить в милицию, в «скорую помощь». Но звонила — Павлу.

Однажды, когда Лаура по дороге к ней задержалась, Юлия Семеновна хотела звонить дежурному по городу. Но вспомнила, что не знает, в каком Лаура пальто.

Иногда на нее наваливалось нетерпеливое желание, чтобы все дети были в сборе. И первой среди всех возникала в воображении Лаура.

Лаура страдала от того, что мальчик не говорил, и никого не винила в своем несчастье, никого не просила о помощи.

И отдалялась, отдалялась от мужа.

Даже обыкновенные наезды к Юлии Семеновне становились в тягость. Лауре казалось: мать жалеет ее и не смеет сказать о своей жалости, чтобы не огорчить.

Кроме красоты матери, которая всегда удивляла Лауру, ее также всегда удивляла полная беспомощность Юлии Семеновны. Мать не умела ничего, что было, с точки зрения Лауры, врожденным умением бабы.

Мать жарила плохие котлеты, варила компот из свежих яблок и стирала свои блузки. Все это она делала долго, бестолково, соря и брызгая, после ее домашних трудов нужно было прибираться.

Недавно Лаура встретила Настю.

— Ну, как мама? — спросила Настя.

— По-прежнему, — ответила Лаура.

— Надо бы к ней зайти... Наверно, заросла?

Настя говорила дружелюбно, заботливо, как о ребенке.

— Ты давно у нее не была? — спросила Лаура.

— Да уже с месяц...

К матери все относились, как к ребенку, Лаура не могла понять — почему.

«За красоту или за доброту? — думала Лаура. — Доброта... Да, мать была добра... Они ничего не жалела и никогда не скупилась... Если дело не касалось классовой борьбы...»

Настя считала, что Лаурочкин сыночек — калека, шмыгала носом, вздыхала. Как-то она повезла Николку в свою поликлинику — недостижимую для простых смертных. В поликлинике этой осмотрели мальчика, но ничего определенного не сказали. Впрочем, какая-то прикрепленная, узнав, в чем дело, горячо посоветовала, как бы потребовала, везти ребенка в Ростов-на-Дону и даже дала адрес целителя, настоящего волшебника.

Настя сказала Лауре, что какой-то полуврач-полузнахарь в Ростове-на-Дону делает пересадку ткани.

— Зашивает в животик кусочек кожи — и организм выпрямляется... Ты слушай! У этой женщины внучек. Вылечился! У него был паралич ножки! К нему такие люди ездят! Скажу — ахнешь! Одному из Политбюро он пересадку делал!

И тихо назвала, кому именно.

— То-то он такой умный, — сказала Лаура.

— Дуреха ты, дуреха, — обиделась Настя.

Лаура поплакала, позвонила Анне, спросила, что она думает о пересадке.

— Нельзя лечить от всех болезней сразу, — осторожно сказала Анна, — это дикость.

Лаура и сама понимала, что дикость. Но про ростовского волшебника рассказывали чудеса. И не только Настя.

— Жена, — вздохнул Макаров, — подумай сама: какие могут быть чудеса в Ростове-на-Дону?

Лаура возмущалась. Она безотчетно как будто искала повод ненавидеть мужа.

В яслях, в детском саду Николка устраивал нянек. Он был тих и послушен. Няньки сердобольно называли его дурачком. Лаура как-то услышала простодушную жалость, когда пришла брать мальчика:

— За дурачком пришли.

Нужно было все бросать! Ребенок должен жить дома, пока не искалечили его психику. Но как жить? Бросать работу? Лаура ни за что не хотела существовать на содержании мужа. Для этого были причины.

Анна приходила, делая вид, что невзначай, поднимала тяжеленького племянника, восклицала, чересчур натурально радуясь:

— Смотри, как он вырос! Ужас! Возьмешь на руки — руки-ноги торчат со всех сторон!

Лаура появлялась у Юлии Семеновны беспокойная, придирчивая, делала все резко, угловато.

Вдруг ни с того ни с сего возмутилась:

— Мама! Почему ты не умеешь чистить картошку? Чем ты занималась всю жизнь?

— Ты знаешь, что у меня были занятия поважнее.

— Что может быть для бабы важнее умения варить суп? Твой суп нельзя есть, мама! Слушай! Ты хоть кашу мне сама варила? А грудью ты меня кормила?

— И варила, и кормила — пыталась развеселиться Юлия Семеновна, — нет, вру! Кашу варил папа, у меня она всегда подгорала.

— Так, может быть, он меня и грудью кормил?

— Не говори глупостей!

— Кто меня кормил грудью — ты или папа?

— Ох, Лаурочка! Ты совершенно права! Когда тебе было пять месяцев, у меня пропало молоко! Папа тогда с ног сбился! Докармливали тебя коровьим. Ужас! Я просто танцевала от счастья, что ты будешь жить!

— Спасибо!

— Ну не сердись! Смотри, какая ты выросла!

— Положим, с коровьего молока я могла бы вырасти еще больше. Может быть, это было не коровье? Ты хорошо помнишь?

— Что ты меня всегда за дурочку держишь?

— Слушай, мать! За что тебя любили мужики? — вдруг спросила Лаура.

— Какие мужики?

— Ну извини, пожалуйста! Мужчины! Кавалеры! Джентльмены!

Юлия Семеновна вспыхнула:

— Во-первых, это не твое дело. А во-вторых, у нас были другие взгляды на чувства. Мы были прежде всего товарищами...

— Но жрать они хотели, эти твои товарищи, или они были ангелы? Неужели они лопали твою стряпню?

— Не знаю! Не помню! И прекрати это! Не нравится — иди в столовку!

— Мамочка! Не нравится — это не то слово! Твой супец, конечно, сноснее баланды, но исполнен в том же роде. Для людей так не готовят, это оскорбительно! Ну ладно, ладно! В конце концов, ты не кухарка!

Лаура поздно спохватилась. Вспомнив про баланду, она нарушила их молчаливый многолетний уговор. Юлия Семеновна вышла из кухни.

Все понимали Николкино несчастье. Даже Анна колебалась: нормален ли? И только Павел с вечным своим спокойствием твердил: — Заговорит. Придет пора — заговорит.

Юлия Семеновна почему-то считала, что Иван должен сказать о Николке своему Каблукову. Настину заботу она считала недостаточной. Ей почему-то казалось, что Каблуков найдет способ вылечить мальчика.

Но сказать об этом детям она не решалась, сама понимая, как это все нелепо...

Она вернулась на кухню. С дочерью что-то происходило, Лаура

что-то скрывала. Соучастливая женская догадливость в последнее время не давала Юлии Семеновне покоя.

Дело было не только в Николке. Была в несчастье этом какая-то нервическая неуместность.

Юлия Семеновна пристально посмотрела на Лауру:

— Лаурочка... Ты меня извини... У тебя есть кто-нибудь?

— А тебе что? — пожалла плечами Лаура, не оборачиваясь.

— Нет-нет, Лаурочка... Мне ничего...

Лаура присела на табуретку:

— Ну, допустим, есть. Дальше что?

— Нет-нет... Ничего... Но это серьезно?

— Что — это?

— Чувство...

— Ах, чувство? Очень серьезно. Особенно — в постели.

На глазах Юлии Семеновны показались слезы.

— Девочка моя... Почему ты так агрессивна? Я же могу спросить... Николка...

— Мать, — строго перебила Лаура, — Николку это совершенно не касается.

Слезы просохли на продолговатых очах Юлии Семеновны.

— Почему? Если ты любишь этого человека и он любит тебя — он должен любить и твоего ребенка...

— Он его любит, мать, не волнуйся. Тем более, он никогда его не видел.

— Но так же нельзя, дочурочка!

— Как нельзя? Почему это нельзя? Я тоже не видела его детей.

— Как? Он женат?

— И еще как!

— Так на чем же строится ваш союз?

— Мама! Если я когда-нибудь помру — так от твоих формулировок. Какой союз? У меня, как мне кажется, нет мужа, а у него есть жена, которая ему осточертела. По крайней мере я хочу в это верить. Я вкальваю на своей проклятой работе, вожусь с Николкой, беру работу на дом, бегаю по магазинам и иногда вспоминаю, что я еще — баба. Вот тебе и весь союз!

— Лаура, — немедленно возмутилась Юлия Семеновна, — ты унижаешь свое чувство!

Лаура улыбнулась и обняла Юлию Семеновну:

— Ну хорошо, хорошо... Я тебе буду рассказывать утешительные сказки... Когда у меня будет время. Ну пока! Супу я тебе сварила на три дня! Иван давно у тебя не был?

— Ты же знаешь, он — занят...

С самого начала Лауре казалось, что она не любит своего Макарова. С самого начала ей казалось, что профессору нужна вовсе не такая жена. Какая — она сама не знала.

Макаров долго разводился с прежней женой, у него был уже взрослый сын. Лауру в той семье не признавали.

Макаров исключал, отсекал, как не существовавшее, прошлое Лауры. И это ее настораживало: если отсекает — значит, помнит. Он

был старше ее — лет на двенадцать. Всю свою жизнь он копался в своих книгах. Оставив прежней семье все, включая библиотеку, Макаров не подавал виду, что страдает. Лауру раздражало неподдавание вида, в чем бы оно ни выражалось. Она чувствовала облегчение, когда он вдруг открыто тосковал о каком-нибудь раритете.

Лауре казалось, что Макаров совершил резкий поворот в жизни из-за нее, и это тоже ее удручало.

Постепенно библиотека восполнялась, накапливалась, повзрослевший сын отдавал отцу книги, и каждая связка делала Макарова счастливым.

Он любил Лауру сильно, а ей казалось — терпеливо. Она никогда не могла сказать ему ничего такого, чего бы он не знал и до чего бы не догадался. Он думал о ней всегда.

Николка был сын Макарова.

Лаура знала подозрения Юлии Семеновны, возмущалась ими про себя, но все-таки не отводила их.

А Павел Кордин сказал Юлии Семеновне:

— Мне кажется, у Лауры — роман.

Роман, который Лаура завела, Макаров распознал тотчас. Лауре казалось, что муж сам придумывает, как ей скрываться от него. И это ее тоже раздражало. Макаров был надо всем, больше всего, шире всего и, что оказывалось вовсе невыносимым, — умнее всего. Лаура не понимала, что нужно просто принять это и она будет счастлива. Но принять это она не умела.

Впрочем, когда ее любовник попытался подтрунить над Макаровым, она оттолкнула его, оделась, вышла, и они не виделись несколько недель.

Макаров делал вид, что ничего не происходит. Даже не делал вида, а у него само собою так получалось, будто ничего не происходит.

Лаура ничего не могла с собою поделать. Собственно, даже и не хотела. Может быть, это была страсть, которая вспыхнула неуместно, после многих лет, как бы восполняя предназначенное, но так и не совершенное.

Лаура молилась.

Макаров знал, о чем она молится, и поэтому сама молитва делалась ее тайной.

Она решила ехать в Ростов, но прежде хотела отправиться в Загорск, в Лавру, вымолить у мощей святого Сергия исцеление безвinnому малышу.

Но вдруг, с какого-то отчаянья, она, как в наваждении, собираясь на свидание, взяла с собою мальчика. Она не знала — зачем. Показать его «дяде» или показать «дядю» ему?

Она должна была приехать поездом в Лесной городок. Почему она поехала с Николкой, Лаура не думала.

Она вела мальчика за руку по обочине узкой загородной дороги. Обочина, высокая, как насыпь, поросла желтыми лютиками. Николка старался, не отпуская руки, сорвать цветок, Лаура приостанавливалась, чтобы не мешать ему. Он слышал хорошо, в этом Лаура уже убедилась.

В конце концов, слух у него нормальный. Значит, он сможет учиться. Лаура старалась гнать от себя мысли об ужасных звуках, которые ей приходилось слышать от немых. Она молилась Богу, не спрашивая у Него — за что. И не потому, что ей казалось — она знает, за что, а потому, что у Бога не спрашивают отчета и с Ним не торгуются. Она поедет в Ростов. Конечно, это — дикость. Чудодей, наверное, безграмотная скотина, тупая сила, какой-нибудь вахлак, скобарь. Но она сможет не упрекать себя потом. Как не упрекать? Неужели она позволит резать мальчика?

Но сейчас она идет к тому, из-за кого ее несчастье. Нет, несчастье ее не из-за него. Из-за нее! Ведь она могла бы и не идти. Ведь она могла бы быть верной женой. Нет, нет! Вина только на ней! Она никого не винит! Томление разлилось в ней, как из опрокинутого ковша. Нет! Николка будет им мешать. «Он», разумеется, будет недоволен. «Он» фальшиво, глупо, якобы обрадуется и суетливо подумает, куда бы спровадить Николку на эти поспешные полчаса. И она тоже об этом подумает! Так зачем она привезла мальчика?

— Трансформаторная будка, — сказал Николка.

— Как?! — зашаталась Лаура.

— Трансформаторная будка! — чисто выговорил все звуки мальчика.

Лаура в изнеможении (будто долго били палками по ногам) опустилась на высокий бруствер кювета, поросший желтыми лютиками. Она не испытывала ни радости, ни горя. Слезы текли из широко раскрытых глаз, подбородок отвис, она боялась вздохнуть: ей казалось, она умрет, если вздохнет глубоко. Впрочем, радость шевельнулась в горле — радость оттого, что над опустевшей головою тянулись провода, а за спиною торчала облупленная, давно не крашенная трансформаторная будка.

Лаура сидела долго.

Наконец поднялась, поправила на мальчике куртку, взяла его за руку и твердо пошла назад, к станции.

Макаров тоскливо смотрел в окно, в летнее утро. Он знал, куда поехала жена, знал, что — за город, знал даже куда, но не хотел и про себя называть место.

Лаура исчезала на свидания, как на сверхурочную работу, и встречи ее унижали Макарова еще и тем, что были быстрыми, как прием лекарства. Несколько раз, стараясь казаться ничего не знающим, он говорил ей, что она может не торопиться домой. Но ее это бесило.

Он знал расписание Лауриных уходов и готовился к ним, как умел, то есть загромождал стол книгами, чтобы писать, размышлять о чьей-то чужой, давно ушедшей жизни, которая уже не может быть измененной.

Лаура возилась дома, готовила обед, следила за всем домашним, ничего не запускала и — ни в коем случае — не позволяла Макарову помогать ей. Даже мальчика брала сама из детского сада.

Стараясь не думать ни о Лауре, ни о сыне, Макаров писал:

«Сразу же после падения ошеломительного Наполеона Шопенгауэр возвестил единственную реальность бытия — исконную силу.

Наполеона оплакивали в стихах и в прозе, его увековечивали ваятели и граверы. Все — и те, кто проклинал его, и те, кто возвеличивал, и те, кто высокомерно глумился над ним, и те, кто снисходительно разъяснял его суть, — были поражены на целое столетие небольшим человечком с локоном на лбу и брюшком под камзолом.

Плач по Наполеону сотрясал неутешную Европу. Она рыдала, отвергнув причину, но причина была единой — жажда разумного насилия.

Год за годом, десятилетие за десятилетием оснащенное Гегелем, взбодренное Гёте европейское сознание искало не истину, но — победу. Сверхчеловек, закотившийся в начале века, растоптанный старым миром, который он озарил как вспышка молнии, ждал отмщения. Сверхчеловек маячил перед взором девятнадцатого столетия.

Кто он был? Прудоновский анархист? Геббелевский Олоферн или библейская Юдифь с чертами суфражистки?»

Макаров отложил ручку, сдвинул голову руками. Он подумал о теще (Юдифь) и стал гнать от себя то, что особенно терзало сегодня: зачем Лаура повезла мальчика? Может быть, знакомить с новым папой? Макарова угнетало еще и то, что Лаура упрямо молчала о том, что с нею происходит. Это никак не соответствовало ее характеру.

Он перечел написанное и удивился, что только сегодня записал о сверхчеловеке. Лаура поехала к сверхчеловеку. Смешно, забавно, горько. Как интересно размышлять о сверхчеловеке и как неприятно воображать его вживе.

Макаров взял перо. Итак, сверхчеловек.

«Кто он был? Европа торопилась рассмотреть его черты, ибо пора объяснения мира кончилась и наступало победное время — переделывать мир. Кто же не поступится ничем для победы?»

Мир был нагляден, как таблица умножения. Маркс синтезировал Гегеля с Мальтусом, Энгельс предъявил Европе препарат ее политической экономии. Желанный, беспощадный, торжествующий материализм уже бродил призраком, оставляя тяжелые следы сверхчеловека.

Кто же он был, этот сверхчеловек? Вагнеровский Зигфрид? Нибелунг? Тристан? Пролетарий?»

А и в самом деле — как же его зовут? Кто он, чем занимается? Нет, не тот сверхчеловек, о котором он пишет, а другой — к которому Лаура повезла малыша. Ну и пусть повезла, в конце концов! Она же ничего не говорит, и это на нее не похоже. Нет-нет, этот сегодняшний — не в счет. Надо о том, который был рожден безнаказанным воображением прошлого века.

Макаров писал быстро, догоняя руку:

«Сверхчеловек стряхнул с себя вычурные одежды социальной этики. Только польза, только способность этого мира подчиняться была его стихией, только отрешение от слабых было средою его воли. Он разгадал тайну природы и выяснил, что эта тайна — всего лишь

обезьянье повторение его сверхчеловеческой победительной сути. Происхождение видов путем естественного отбора — вот нехитрый смысл этой тайны».

Что же будет с мальчиком?

Макаров почему-то не думал о том, что сам расстался с прежней семьей.

«„Ценность жизни” Дюринга, „Капитал” Маркса, „Персифаль», Вагнера неумолимо влекли Европу от Шопенгауэра к Дарвину. И Ницше объявил мораль биологическим феноменом.

Кто он был, сверхчеловек? Романтизированный Заратустра? Белокурая бестия? Пролетарий, которому нечего терять?

Девятнадцатый век подходил к концу. А сверхчеловек все еще не ясно маячил перед воспаленным взором. Он еще не очистился по Гегелю и не произошел по Дарвину. Он был где-то — везде и нигде. Он был сладостной целью, которой век не достиг. Век угасал, оставляя достижение возвышенной цели своему преемнику. Девятнадцатый век уходил бурно, гремя симфониями надежд. Он не знал, не мог знать и не должен был знать, что цель его превратится в бесконечное средство ее достижения...»

Макаров чувствовал, что силы его уходят. Зачем это все, кому это все, если Лаура повезла мальчика?

Дверной звонок вверг его в беспомощное недоумение. Почему она звонит? У нее же — ключ.

Он встал и медленно, оттягивая развязку, пошел открывать. Это была не Лаура. Это был Иванов. Макаров рассмеялся громко, болезненно.

— Что с вами? — удивился Иванов.

— Чем вам не угодил этот век? — набросился на него Макаров, едва дав войти. — Век этот сколочен в девятнадцатом, из хороших досок!.. Как гроб!..

— Идите к черту, — сказал Иванов, — вы одурели от своих лекций! Где Лаура?

Макаров взял его под локоть, повел к себе.

— Людвиг Фейербах — конец немецкой философии... Отчего конец? Ответ на вопрос дал, как ни странно, Ницше. Бог умер, сказал Ницше, ждите сверхчеловека. Заратустра знал, что говорил... К тому же Штирнер обрадовал: я — сам Бог! Бог внутри нас. Но радость была призрачна — стали искать, не нашли...

— Да отстаньте вы от меня! — дернулся Иванов. — Вы похожи на пифию, бормочете сквозь дым пророчества...

— А? Верно, верно... Это я — так просто... Я не пророчу — бессмысленно... Бог не умер, Иван Егорович, нет, не умер. Садитесь. Бог уехал. И оставил за себя шутов гороховых... Помните — Грозный оставлял на троне какого-нибудь Бекбулатовича? В шутку. А сам — на охоту или в монастырь — помолиться... Бог уехал в начале девятнадцатого века. Наш век сколачивали материалисты — славные плотники... Сколачивали — радовались.

— Слушайте, по-моему, вы сошли с ума...

— Нет-нет, Иван Егорович! Это очень интересно! Девятнадцатый

век создал теории, которые растлили человечество своей популярной понятностью! Смотрите! Человек — от обезьяны! (Загнул мизинец.) Ясно! Бога нет — все химия! (Загнул безымянный.) Ясно! Собственность — воровство! (Загнул средний.) Ясно! Обнищание пролетариата! (Загнул указательный.) Ясно! Для России это был клад! — закричал Макаров, размахивая перед Ивановым кулаком с отставленным большим пальцем. — И вы знаете почему?

— Ну почему? — спросил Иванов, стараясь понять причину истерики Макарова.

— Это — от постоянной привычки ведать добро и зло, — неожиданно тихо сказал Макаров и, охватив голову руками, упер локти в стол. — Мы всегда судили всех и никогда не оглядывались на самих себя... Толстой, например, объяснял американские недостатки тем, что у них — представительная система... И мы тоже возмущаемся, что в самом центре Чикаго — бойни! Почему нас тревожит расположение чикагских боен и не тревожат собственные очереди за колбасою — это историческая загадка... Мы требуем, чтобы другие жили лучше, чем живут, иначе, чем живут... Мы не обращаем внимания на то, как живем сами... Как будто все вокруг в чем-то обязались перед нами и не выполняют своих обещаний... Мистика!..

— А когда был Бог, — усмехнулся Иванов, — не было мистики? Макаров улыбнулся робко.

— Мистика без Бога самоцельна, Иван Егорович. Она сама себя держит, мы не сверхчеловеки, мы — Бекбулатовичи, царствие наше с утра до вечера...

— А вдруг вернется и — на кол?

— Бог? Бог — нет... не Его методология... Не опасайтесь...

Лаура появилась внезапно — ни Макаров, ни Иванов не услышали даже шороха, когда она отпирала дверь.

Она бросилась к мужу, но вдруг, увидав брата, резко повернулась, скользнула ковром по паркету — Иван сам не понял, как успел вскочить и подхватить ее, чтоб она не упала.

— Ва-не-чка! — затряслась рыданием Лаура, обхватив брата сильно, непривычно. — Ва-не-чка! Он за-го-во-рил!

Иванов вмиг почувствовал легкость, сообразив, что говорить с Каблуковым о немоте племянника не надо будет.

— Кто заговорил? — спросил он машинально, радуясь облегчению.

— Ты дурак! — брызгала счастливыми слезами Лаура. — Боже мой! Он заговорил!

Иванов, собственно, прибыл, чтобы, как стали говорить, «быть готовым к беседе», когда высокопоставленный кореш вдруг призовет его. Анна сказала: «Поговори о Николке, если мать настаивает». Все это было глупо, все знали, что — глупо, но — надежда окрыляет и глупость.

Лаура, отпрянув от брата, обнимала Макарова нежно, тихо, как будто вмиг переменялась.

— Василий... Дорогой мой... Он заговорил... Все — в прошлом... Все...

Макаров гладил ее по спине. Нижняя губа его дрожала. Иванов подумал: надо уходить. У них было что-то еще, о чем он не знает и не должен знать.

Мальчик смотрел на все спокойно и грыз ноготь мизинца.

— Будешь грызть ногти, — сказал ему Иванов, — оторву уши.

— Не оторвешь, — сказал мальчик.

— Смотри на него! А ты, действительно, оратор! А ну, скажи еще что-нибудь!

— Не хочу, — сказал мальчик и ушел.

* * *

Суровцевы, Анастасия Романовна и Сергей, вернулись из Ленинграда. Поездка была печальной: скончалась прабабка Сергея Суровцева — Евдокия Филипповна.

Первый раз Настя (Сергей смутно помнил, было ему тогда года три) возила Сереженьку показать прабабушке и заодно познакомиться. Наверное (это Сергей Суровцев понял, когда повзрослел), старуха приняла нечаянную свою внучку холодно. Они ездили в Ленинград несколько раз, а в Калинин, в суворовское училище, прабабушка приехала к правнуку сама. Она сидела в кабинете начальника, и все почему-то стояли перед нею, не садясь. Второй роты солдат Суровцев Сергей уже умел щелкать задниками ботинок. Он вошел, вытянулся, щелкнул, и старуха улыбнулась, сказав тяжелым голосом:

— Подойди-ка... — И — начальнику:

— Хорош? Послушен?

Мальчик Сережа подумал, что прабабушке здесь нравится.

После этого командир, выговаривая ему за шалости, непременно говорил:

— Твоя прабабушка, жена боевого русского офицера, пережила блокаду. А ты — балуешься...

Суровцам полагалось говорить «вы», но это выдерживали немногие, и — странное дело — тех офицеров, кто говорил «ты», любили больше.

Суровцевы ездили в Ленинград раз в году непременно. Евдокия Филипповна привыкла к Насте. Увидав на ней геройскую звезду, Евдокия Филипповна сказала:

— Вижу — служишь хорошо.

Правнука она поцеловала (насколько помнил Сергей Суровцев) два раза. Один — когда впервые увидела (это Настя ему рассказывала), и другой — когда он явился представляться уже офицером, перед академией.

В марте Настя получила телеграмму от старухиной соседки: Евдокия Филипповна желает видеть напоследок правнука. О Насте в телеграмме не было ни слова.

Евдокия Филипповна лежала под клетчатым пледом и смотрела в окно, будто видя в нем что-то. В ушах ее горели маленькие

бриллиантовые серьги. Сергей Суровцев только сейчас рассмотрел их.

— Жене отдашь, — вдруг сказала она, подняв тяжелую деревянную руку к уху.

— Я — холостой, — с поспешностью сказал Сергей Суровцев, как чужой старухе, которая могла не знать его семейного положения.

— Женишься, — строго сказала Евдокия Филипповна, так и не сняв серьги.

Она лежала молча, спокойно глядя в окно, и Сергей Суровцев не чувствовал страха. Посмотрев на правнука, Евдокия Филипповна слабо, жалостливо улыбнулась (едва дрогнули сухие темные губы) и стала выбирать из мочки серьгу.

— Бабушка, — испугался Сергей Суровцев, — не надо...

— Как не надо? — возразила старуха. — Потом — хуже будет...

Сергей Суровцев вздрогнул: потом — это когда она будет мертва. Он вообразил, как станет вынимать эти серьги, и подумал: не надо! Пусть так, с серьгами. И вдруг ощутил облегчение: снимать их будет мать, не он...

А Евдокия Филипповна выбирала из дряблой желтой мочки как будто вросший золотой крючок. Рука ее действовала плохо, неточно. Сергей Суровцев боялся помочь.

— Не надо, бабушка, — бормотал он, — не надо.

Но она расстегнула замочек и вынула серьги.

Сергей Суровцев вздохнул — будто старухе стало легче. Она подержала брильянты в руке и — не глядя, куда кладет, — положила на тумбочку:

— Жену возьми — девицу...

Сергей Суровцев порозовел.

— И еще... Суровцевы своей смертью не умирали... Никто... Всегда служили прямо... Не бойся...

Сергей Суровцев робко, боязливо, стараясь не шевелиться, осматривал маленькую комнату — непомерно высокую для своих размеров. Комнатка была отделена от большого просторного зала, отделена впритык к огромному окну, оконный проем, крашенный когда-то и облупившийся, показывал метровую толщину стены старого дома.

На широченном подоконнике стояли шкатулочки, футляр швейной машинки с вытесненным потертым названием — Зингерь — и лежала небольшая красная сафьяновая тетрадка — должно быть, извлеченная откуда-то, где бережно хранилась.

— Там все написано, — сказала Евдокия Филипповна, и Сергей Суровцев вмиг догадался, что говорит она об этой тетрадке.

— Бабушка, что там написано?

Евдокия Филипповна слегка растянула сухие темные губы, облизнула их, сказала:

— На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся... Это Пушкину сказал Михаил Иванович, Семеновского полка... А Пушкин написал где-то... Они друзья были — Михаил Иванович

и Пушкин... (Подумала, что-то подсчитывая). Михаил Иванович... Прадед, стало быть, твоего прадеда... Михаила Сергеевича...

Сергею Суровцеву почему-то показалось, что прабабка разговаривалась, освободившись от серег. Он не помнил, чтобы она когда-нибудь произносила больше двух фраз кряду. Он посмотрел на серьги, на тетрадку, понимая, что должен взять их, но не знал, когда.

Прабабка как будто ощутила его замешательство. Повернувшись слегка, она посмотрела в глаза правнука чуть-чуть улыбнувшимися темными глазами.

— Ты уж не обессудь... Я Михаила Сергеевича из Кореи везла... Рядом положишь...

Едва обозначившаяся улыбка, сопровождаемая естественной просьбой, свергла Сергея Суровцева в отчаяние. Он не знал, что сказать. Он не хотел о гробе.

— Бабушка, — забормотал он, — бабушка... — И вдруг — бодро: — А вы были вместе с прадедушкой в Корее?

— С ним... А то с кем же? — все еще слабо улыбалась Евдокия Филипповна.

Сергей Суровцев ничего не знал о своем прадеде. Он вообще ничего не знал о Суровцевых. Знал, что отец погиб под Курском, а дедушка был комкором. А, оказывается, был еще друг Пушкина и, наверное, еще кто-то! Неожиданный жадный интерес обжег грудь, запершил в горле:

— Бабушка! Бабушка! А они... (и внезапно осекся: не «они», не «они»! Мы — Суровцевы!)... а мы — давно?

— Да-а-авно! — протянула Евдокия Филипповна. — Да-а-вно... Первый был Иван Иванович... Преображенского полка... Пожалован за Нарву дворянством... Из рук Петра Великого...

— Бабушка! Почему же я ничего этого не знаю?!

Она не ответила. Полежала, подумала, сказала:

— На похоронах не причитайте, я пожила вволю... Долго я жила... А выходит, все пролетело в один миг... (Опять подумала, глядя перед собою в окно.) И Миша, и Сережа, и паки Миша... Ты разыщи все же, где он зарыт... Отец твой...

— Бабушка! В братской могиле... Под Курском... Мама знает... Она же с ним была!

— Ну да... В братской... Мать слушай, не огорчай... Она Мишеньку любила... (Подумала над сказанным и повернула голову.) Иначе б ты не мальчик был, а девочка... А нужно, чтоб мальчик... (Снова странная улыбка шевельнула темные губы.) У Суровцевых... чтоб служить... мальчик нужен... Вот ты и родился... (Повернула лицо к потолку.) Иван Иванович женился на своей крепостной... Полюбил... Без того Суровцевы не женились... И ты — не женись... (И неожиданно легко протянула руку.) На! Целуй...

Сергей Суровцев немедленно, мгновенно вскочил, привалился на колени возле постели и взял обеими руками старую сморщенную с закривленными пальцами руку. Рука была мягкой и прохладной. Он увидел кольцо, вдавившееся за узловатым суставом... «Ни за

что не сниму! — мелькнуло в нем. — Пусть так!» И приложился губами к дряблой коже. От руки пахло только что стиранным бельем.

— Встань, — сказала Евдокия Филипповна, — дай лоб...

Сергей Суровцев выпрямился, она поцелованной рукою наклонила его голову с затылка к своему рту и шевельнула по лбу губами.

— Встань, — приказала она, — возьми свое-то...

Сергей Суровцев послушно выпрямился. Послушно, как будто был он — не он, взял с подоконника сафьяновую тетрадку, осторожно собрал с тумбочки серьги, зажав в горсти.

Старуха смотрела одобрительно.

— Подойди, благословлю...

И вдруг туго сняла кольцо.

— Храни... Жене не давай — другое купишь... Кольцо — судьба... Каждому свое...

Он почему-то снова встал на колени. Евдокия Филипповна перекрестила его правой рукою, лежавшей неподвижно у стенки.

— Благослови тебя Господь... Ступай... Собороваться хочу... Батюшка там у Кузьминичны дожидается... Прощай, внучек... Яблонь между лесными деревьями...

Сергей Суровцев поднялся все с тем же безвольным, неощущаемым послушанием.

И только выйдя в коридор и увидав Настю, бросился к ней как в детстве, сжимая горсть, сжимая тетрадку, раздираемый рыданиями. Настя подхватила его, они прижались и плакали сильно, сладко, освобождаящим душу плачем.

В Ленинграде Сергей Суровцев удивлялся Настинной способности переходить от искренних слез к деловому, строгому тону. Она то плакала в номере, то мгновенно преображалась, когда звонил телефон или когда ей самой нужно было звонить.

Стояли они в «Европейской». Настя перед отъездом звонила в Смольный, чтобы заказали номер. В Ленинграде она ходила в Смольный, чтобы разрешили похоронить старуху рядом с мужем — подполковником Михаилом Сергеевичем Суровцевым, павшим в девятьсот четвертом году в Корею и привезенным в Санкт-Петербург. Должно быть, перевезти прах героя в свинцовом гробу через всю империю было легче, чем добыть на кладбище место рядом с ним его супруге. Но Настя, где надо, ругалась, где надо, просила — и добилась. В Смольном уважили просьбу Героя Социалистического Труда, заместителя начальника главка товарища Суровцевой Анастасии Романовны. Заодно договорились о том, что министерство рассмотрит внеочередной вопрос о начале строительства ткацкого комбината в Луге, включенного в план еще седьмой пятилетки, но все никак не попадающего в титул.

Анастасия Романовна сказала сыну, что задержится по делам, но вдруг, немного подумав, обняла его, шмыгнула носом.

— Жалко бабушку... — И тут же заявила: — Ладно. Приеду еще раз.

Евдокию Филипповну похоронили утром. На кладбище были только соседки по квартире и священник отец Василий — старый-престарый, вот-вот сам свалится.

Сергей Суровцев смотрел на священника и почему-то чувствовал свою необъяснимую причастность к старику, исповедавшему прабабу.

Поминки Настя устроила в прабабкиной комнате, собрав пятерых старух — соседок Евдокии Филипповны.

Поминки эти были первыми в жизни Сергея Суровцева. Он никогда не придавал значения ни слову этому, ни сути. И вот на старом, тяжелом, каком-то неподвижном столе, на собранной со всех комнат посуде — старой, пощербленной, разномастной — возлежала пышная еда, доставленная Анастасией Романовной из смолянского буфета. Стояла икра в открытых жестянках, серебрились, как позолоченные, ломти рыбы, розовела ветчина, и стояли тяжелые важные бутылки с заповедным питьем. Старухи поглядывали на еду эту пугливо.

И среди всего этого хвостоватого добра, красующегося в обертках, в цветастых пакетах, в конфетных бумажках, находилось нипричемно старое фаянсовое блюдо с отбитым на углу лепестком, а в нем, в блюде этом, робко, убого томился рис, сваренный с изюмом.

Самая шустрая из соседок внесла на противне горку горячих блинов. Внесла, поставила с краю и поклонилась Сергею Суровцеву.

— Первое слово — родичу... Кровному... Тебе, стало быть... Роднее тебя никого у ней не было.

Настя прослезилась.

— Встань, Сереженька... Скажи слово... Единственная бабушка твоя...

— Теперь у тебя — кроме матери — никого, — кивнула старуха, сидевшая рядом.

Жалость, на которую тянули Сергея Суровцева, казалась ему нарочитой, но была она искренней, и он это понимал. Он встал.

— Я плохо знал прабабушку... Теперь — жалею... Я всегда ее буду помнить...

— Наливайте, — сказала Настя, — наливайте, люди добрые. Спасибо вам за память... Я как Сереженьку ей привезла — она признала, приняла его... Садись, сынок.

Настя приложила платочек к лицу, сморкнулась тихо, вздрогнула плечом.

Соседка, которая пекла блины, стала наливать.

Сергей Суровцев сидел среди незнакомых старух в черных платках. Старухи щепотно брали с тарелок хорошую колбасу, какие-то особенные кулебяки и пили мелкими серебряными стаканчиками-наперстками водку из больших бутылок с ненашими названиями.

Одна старуха сказала:

— Порадовалась бы покойница... Такого не едала...

— Радуетя, — сказала другая старуха и перекрестилась.

Священник тоже находился за столом, молчал, ел аккуратно, должно быть, не хватало зубов.

— В блокаду такого не было, — сказала третья старуха.

Четвертая кивнула.

— В блокаду — нет...

Они ели, а Сергей Суровцев думал, что они всегда жили впроголодь. И прабабушка, наверно, тоже.

— Вещи забирать когда? — спросила третья старуха.

«Что тут забирать?» — подумала Настя и сказала:

— Возьмем на память...

— Шкатулочку возьмите, машинку...

— Машинку — на память вам, — поклонилась Настя.

— Спасибо тебе... А шкатулочка — что теперь в ней... Было, конечно... В блокаду ушло... Люди такие были в блокаду — за золото хлеб давали... Иногда — холодец... Но она холодец не брала, опасалась...

«Почему — опасалась?» — подумал Сергей Суровцев.

— А помнишь — колечко у ней было? С лалом. Фунт масла стоило. Уж мы-то масло ой берегли! У нас только трое померли в квартире. Из двенадцати человек. Остальные потом уж, после блокады. Мы с той шкатулки и выжили...

Священник вдруг сказал:

— Духом сильна была...

Старухи, разморенные водкой, едою, повеселели.

— Старше всех нас была, а видишь, как обошлось... Жила и жила...

— На Евдокию, семнадцатого мая (посмотрела на Сергея Суровцева) — по-новому, значит, тридцатого — девяносто четыре года было бы... Не дождала... Она и родилась на Евдокию.

— Она бы дождала, — сказал священник, — духом сильна была... Видение было: сын (посмотрел на Сергея), дедушка ваш, как раз привиделся... И позвал... Вы бумаги-то возьмите... Вы теперь naslednik...

Кроме сафьяновой тетрадки были еще альбомы, папки какие-то со старинными документами. И все эти, в общем, никому не нужные бумаги, о которых Сергей Суровцев и не подозревал, принадлежат теперь ему по какому-то неписаному праву, и все признают за ним это право и готовы помочь ему воспользоваться этим странным правом. Он подумал: зачем ему все это, — но вдруг устыдился своего легкомыслия. Он не знал, как обратиться к священнику, и обратился, как все эти старухи:

— Батюшка, а какие это бумаги?

Священник невидимо улыбнулся старыми прозрачными светлыми глазами.

— Дипломы, реляции, Сергей Михайлович...

Теперь Сергей Суровцев будет рассматривать старинные бумаги, в которых остались следы Суровцевых, следы, о которых он никогда не думал.

Но вот — тетрадка.

Все они погибали — Суровцевы!

В семьсот восьмом году — Иван Иванович. Написано: от Мазепиных людей. Значит, это — Полтава...

Когда-то давно, лет десять назад, Сергею подарили на выпуске тяжёлый матерчатый том Пушкина. Шутники называли подарок этот «полной выкладкой». А он читал этот том и почему-то запомнил иллюстрацию к «Полтаве». Он взял книжищу, нашел рисунок и удивился, что вдруг почувствовал себя своим далеким предком. Он увидел себя, именно себя, а не кого-нибудь другого (даже похож!), неподалеку от царя и вздрогнул реальностью. Художник Серов изобразил его в глубине шатра, где пировал царь Петр. Сергей Суровцев знал свое место: не рядом, не в первом за царем ряду, а в глубине, едва видимое лицо похожее, нет, не похожее — писанное с него! Вот он сидит за поднявшимся в рост царем, выглянув из-за кого-то, чтобы и его увидел художник. Был он в парике, как все? Неясно. Кажется, не был. Не гвардии Преображенского полка подполковник Иван Иванов Суровцев, а капитан Сергей Михайлов, адъютант ордена Ленина Военно-инженерной академии! Он, адъютант Сергей Михайлов, еще жив, но должен погибнуть от Мазепиных людей! А когда? Ни у Пушкина, ни тем более в учебнике истории этого не сказано. Он сам, Сергей Суровцев, только сейчас узнал об этом, не понимая, как художник мог его изобразить так похоже...

Вероятно, прабабушка переписала про первого Суровцева откуда-то. А откуда? Где же те древние, первые записи? Погибли в блокаду? Сгорели? А почему она не брала холодца? И вдруг ему стало не по себе. Он слышал, но не придавал значения слухам, гнал их от себя, не хотел знать. Теперь он был в этом убежден. Кто? Кто менял хлеб и масло на золото? Где он брал хлеб и масло? Сергей Суровцев никогда не узнает кто, но навсегда его запомнит. Что он сделал бы с ним?

Суровцевы своей смертью не умирали. Они погибали. От кого же они погибали? Разумеется, от врагов. А кто были враги?

В семьсот восьмом году — от Мазепиных людей.

В семьсот семьдесят четвертом, под Казанью, — от Пугачева.

В семьсот девяносто девятом, под Цюрихом, — от итальянцев.

В восемьсот тринадцатом, под Лейпцигом, — от французов.

В восемьсот тридцать первом, под Варшавой, — от поляков.

В восемьсот пятьдесят четвертом, под Севастополем, — от англичан.

В восемьсот семьдесят восьмом, под Шипкой, — от турок.

В девятьсот четвертом, под Чемульпо, — от японцев.

Суровцевы погибли на поле брани. И только один, указанный в сафьяновой тетрадке, — не на поле брани, а в своем кабинете, при чистке оружия. Это был дед Сергея Суровцева — комкор Сергей Михайлович Суровцев. Он чистил оружие в девятьсот тридцать седьмом году.

Но смерть не отступалась. Следующий Суровцев, Михаил Сергеевич, пал на поле брани. В Великую Отечественную войну.

Сергей Суровцев листнул тетрадку и удивился: через десяток

чистых листов находился новый список — иногда без имен, иногда без отчеств. Должно быть, это были Суровцевы не прямой линии. Один погиб в Омске в восемнадцатом году, другой — в Архангельске в девятнадцатом, третий — в двадцатом году в Крыму.

Сергей Суровцев понимал, что эти погибли от русских.

«От кого же мы еще не погибали?» — подумал он.

Он взял шариковую ручку и написал под комкором Сергеем Михайловичем Суровцевым: «Майор Суровцев Михаил Сергеевич. Погиб смертью храбрых 6 июля 1943 г. под Поньрями».

Это он знал наизусть с самого раннего детства от матери — Анастасии Романовны Суровцевой.

Он почувствовал, что прабабка, может быть, своей смертью, а может быть, этой тетрадкой зарядила его неведомым доселе ощущением странной причастности ко всему, что было до него. Это ощущение уже не оставляло его впредь...

* * *

Лаура смотрела на Юлию Семеновну с некоторой долей участливой насмешки во взгляде. Так бывало всегда, когда она хотела что-нибудь сказать матери, но размышляла — говорить ли. Юлия Семеновна чувствовала ее взгляд тревожно, она его всегда понимала и боялась: Лаура в таких случаях сообщала всегда что-нибудь неприятное, что-нибудь такое, чего могла бы не говорить.

— Мама, — небрежно сказала Лаура, и Юлия Семеновна вздрогнула, — ты знаешь, кого я встретила?

— Откуда же мне знать, Лаурочка? — насторожилась Юлия Семеновна.

— Сядь, мама...

— Ну, села.

— Мама, я встретила Спенсера.

Юлия Семеновна сразу поняла, о ком идет речь, но переспросила, чтобы отдалить подробности:

— Какого Спенсера, Лаурочка?

— Лорда Спенсера, мама, — улынулась Лаура. — Помнишь?

Юлия Семеновна помнила лорда Спенсера.

— Он, наверное, постарел? — спросила она.

— В какой-то мере... Но, представляешь, он меня узнал! Это меня удивило...

— Что же здесь удивительного? Ты мало изменилась с тех пор...

— Да? Спасибо. Думаю, что я все-таки изменилась... Почти за двадцать лет. Ты не находишь?

Юлия Семеновна поднялась, открыла буфет, прикупленный Настей в комиссионном за бесценок, маленький буфет красного дерева или даже розового, достала чашки.

— Чай будешь?

Лаура подошла к буфету, погладила полировку, рассматривая рисунок дерева, и снова улыбнулась:

— Он приехал с дочкой.

— Да? — оживилась Юлия Семеновна. — Большая девочка?

— Семь лет.

— Вот видишь! Он женился!

Лаура улыбалась.

— Помнишь, как он к нам приходил? Еще на ту квартиру?.. Этого серванта еще не было...

Юлия Семеновна поставила чашки.

— Этот человек принес тебе столько горя, что я не хочу о нем говорить. Если бы не он — все было бы иначе...

— Да? Возможно...

Лаура села к столу, подвинула к себе пустую чашку и стала рассматривать ее. Юлия Семеновна стояла над ней, ожидая, что она скажет. Лаура молчала.

— Надеюсь, ты не сказала ему?

Лаура поняла.

— Нет.

— Ну и правильно, — оживилась Юлия Семеновна. — В конце концов, это — наше дело. Не хватает еще, чтобы чужие люди — чужие по образу мыслей и жизни — злорадствовали или...

— Он овдовел, — мягко перебила Лаура. — Три года назад.

Юлия Семеновна села.

— Лаура! Что за глупости? Какое это имеет к тебе отношение?

— Никакого, мама... В том-то и дело, что уже никакого...

— Но ты действительно ему ничего не говорила?

— Не бойся. Я советский человек, — усмехнулась Лаура.

— Перестань паясничать! Где вы встретились?

— На улице. Он меня узнал. Понимаешь, мама? Узнал!

— Ты была у него?

— Ну конечно! Он живет в «Национале».

— Ты поступила неразумно. Зачем ты к нему пошла?

— Мама, но он же — не прокаженный!

— Но ты понимаешь, что он — причина того, что вся твоя жизнь пошла не так, как должна была!

— Я это уже слышала, — сказала Лаура. — Лорд Спенсер — ужасный негодяй. Он завербовал меня в английские шпионки и диверсантки. Так по крайней мере мне говорили следователи. И даже показывали его письмо.

— Какое письмо?

— Его письмо. Которое не дошло до меня.

— Вот видишь!

— Вижу. Жаль, мне не дали его прочесть... А впрочем... Одну фразу мне показали. Не по-английски. Перевод. «Если вы живы — откликнитесь». Мама, оказывается, у них есть переводчики! Интересно, как им платят? С письма? С головы? Или с разбитой жизни?

Юлия Семеновна не хотела продолжать разговор в таком роде. Она сказала, делая вид, что не понимает Лауриного сарказма:

— Наверное, они на твердой зарплате...

— Да... Наверное... «Если вы живы — откликнитесь»... Мама, я была мертва и поэтому не откликнулась. А они считали, что это —

шифр... Не бойся, я ему ничего не сказала, он все сказал мне сам. Неужели ты думаешь, что это было для кого-нибудь тайной?

— И ты подтвердила его предположения?

Лаура вдруг вспыхнула.

— Не я! Жизнь! Он был тактичнее тебя, мама! Он не посыпал меня солью!

Юлия Семеновна опустила голову и вдруг, как бы найдя довод, сказала негромко:

— Ты же сама рассказывала, что встречала там... у себя... этих несчастных казаков, которых выдали англичане... Как знать, может быть, и твой Спенсер имел отношение к этому...

Лаура всплеснула руками.

— Мама! Что ты говоришь?! Там... у себя... Ты хоть понимаешь сама — что ты говоришь?.. Я должна ненавидеть Генри Спенсера за то, что Черчилль выдал Усатому невинных людей, и при этом любить Усатого? Я ничего не понимаю, мама!

Лаура не была у Спенсера в «Национале». Она соврала Юлии Семеновне, сама не зная почему. Соврала она и про его вдовство.

Спенсер остановился перед нею возле телеграфа, как вкопанный, и прижал ладони к груди.

— Лаура! Вы — живы?

Она узнала его сразу, будто не было никаких двадцати лет.

— Генри! Боже мой. Это вы?

— Вы живы? — бормотал Спенсер. — Вы живы...

Она смотрела на него и чувствовала, что глаза ее влажнеют. Высокая девочка с распущенными волосами, в клетчатой мини-юбке стояла у стены, глядя на них с несмелой улыбкой.

— Эн! — крикнул ей Спенсер. — Это мисс Лаура! Эн! Она жива!

Девочка потеплела взором и едва присела, поклонившись.

— Моя дочь, — сказал Спенсер Лауре.

Лаура взяла голову девочки, посмотрела в удивленные глаза.

— Здравствуйте, юная леди... Как вы поживаете?

Девочка положила ладошки на Лаурины руки, улыбнулась:

— Спасибо. Вы очень добры.

Лаура приобняла ее, как свою, и девочка поддалась, глянув на отца вопросительно.

— Лаура, — пробормотал Спенсер, — я потерял дар слова...

— Напрасно! Вы были всегда так красноречивы...

— Ну, положим, я никогда не был красноречив...

— Эн! Ваш отец всегда был красноречив, он недооценивает себя!

Девочка подняла голову к Лауре и увидела на косоватых глазах ее слезу.

— Я не надеялся вас найти, — бормотал Спенсер, — я боялся услышать...

— Но я жива, Генри! Я жива! Я жива, и это все, что у нас осталось...

Слеза просохла, и Спенсер увидел наконец, что лицо Лауры

потяжелело и сама она была грузновата, и оттого, что все это произошло с ней без него, как будто сам он оставался по-прежнему молод, даже юн, вывело его из растерянности.

— Ну, — спросила Лаура, рассматривая его лицо, — теперь вы меня узнаете?

Спенсер приложил руку к щеке, будто у него заболел зуб.

— Я очень постарел, Лаура...

— Ну, я бы не сказала...

Девочка отступила от Лауры и смотрела то на нее, то на отца. Лаура погладила девочку по плечу, как бы провожая ее.

— Вы надолго?

— Мы будем здесь еще три дня. А потом собираемся в Ленинград, а потом на Кавказ... Никак не могу выговорить — Пи-цун-да... Что это означает?

— Не знаю.

— Лаура...

— Генри! Я замужем. Мой муж — профессор. У нас — сын (посмотрела на девочку) намного моложе Эн...

— Я так рад вас видеть, Лаура.

— И я, Генри.

— Как же это все было, Лаура?.. Я ведь ничего не знаю... То есть я знаю об этом кошмаре... Вообще...

— Генри... Если вы хотите знать... Впишите в этот кошмар меня... Не нужно об этом...

— Но я...

— Генри, дорогой мой... Я рада вас видеть... Подойдите ко мне, малышка... Вы очень похожи на своего отца...

— Но позвонить я вам хотя бы могу?

— Конечно!

И она назвала выдуманный номер телефона.

— Я позвоню вам! Я непременно вам позвоню! Вот, возьмите!

Он судорожно, не попадая рукой, достал карточку, перо и, держа карточку на ладони, стал писать цифры.

— Наш телефон в отеле... Лаура... Я позвоню...

Она приняла карточку и, не соображая, что делает, наклонилась к девочке, поцеловала, потом выпрямилась, обняла Спенсера и быстро зашагала прочь...

— Мама, — тихо сказал Николка, — ты все время плачешь... Я смотрю, а ты плачешь, плачешь...

Она прикрыла лицо.

— У меня болит голова.

Мальчик подошел ближе, приложился щекою к ее плечу.

— Мама... Тебе обидно?

Лаура удивилась неожиданному вопросу.

— Почему ты так думаешь?

— Когда болит голова, — сказал мальчик, — плачется совсем иначе... Я знаю... Когда я был маленький, я тоже так плакал, когда мне бывало обидно...

Лаура повернула его к себе.

— А тебе бывало обидно?

Николка рассматривал ее мокрое лицо.

— Бывало... Только я вам не говорил...

— Когда же ты плакал? — улыбнулась Лаура. — Я не видела...

— Когда ложился спать... Я просыпался, немножко плакал и опять засыпал...

Слезы вновь застеклили Лаурины глаза.

— Николка... Мне так хочется плакать... Так хочется...

— Тогда плачь... Папа придет еще через (посмотрел на висячие часы)... через... раз, два... через три часа... Плачь, мама... Я тоже не буду смотреть...

— Нет! Не уходи! — закричала Лаура и прижала к себе мальчика. — Не уходи!

Она целовала его, брызгая слезами, как будто прощалась навеки или — наоборот — как будто дождалась через сто лет.

— Николка... Николка... Ты меня люби, ладно?

— Ладно. Я тебя всегда люблю... Каждый день... Но ты не плачь... А то у меня сразу все болит... И мне становится обидно... У меня горло болит...

Лаура вмиг очнулась.

— Открой рот! Скажи: а-а-а-а...

— Нет, мама, у меня не так болит горло... Не как ангина... Оттого, что ты плачешь...

Макаров пришел, когда Лаура успокоилась и зашивала рукав на Николкиной курточке.

— Василий, — сказала она, перекусывая нитку, — я встретила Спенсера.

Макаров ответил тотчас:

— Позови его, жена...

— Зачем? — Задержав зубами нитку, ясно, чисто посмотрела в глаза Макарова Лаура.

Макаров не ответил, подумал немного и сказал:

— Мне кажется, пора уже учить его по-английски.

Это относилось к Николке.

* * *

— Сколько тебе лет, Павел Михайлович? — негромко спросил Баранов, укладываясь на матрасе, и Павел Кордин почувствовал в словах его зависть больного старика к здоровому старику.

— Восемьдесят, — виновато сказал Кордин.

Баранов попытался свистнуть слабыми, непослушными губами. Свист не получился. В чистых поголубевших глазах Баранова Павел Кордин увидел робкую ревнивую надежду. Баранов встретился взглядом.

— Старый какой... А мне — семьдесят шесть только... Лановой звонил... В Кремлевку будут класть...

Знаменитый Баранов лежал на матрасе, к которому сам приделал ножки. Он лежал в однокомнатной квартире, которую получил двенадцать лет назад как реабилитированный враг народа. Он лежал один потому, что у Баранова на этом свете не было никого.

Жилище его было бивачным, как бы временным. Баранов всегда так жил — даже в годы своей славы. Он не признавал барахла. Над несвежей подушкой его, над желтой одутловатой головой висела старая фотография. В серой степи возле тригонометрической вышки стояли Баранов, Орджоникидзе, еще кто-то. Павел Кордин узнал и себя.

— Никого уже нет, — сказал Баранов, заметив, как Павел Кордин в который раз рассматривает фотографию. — Возьмешь себе, ежели помру...

— Куда там — помру! — возразил Павел Кордин.

— Туда, куда все помирают, Павел Михайлович...

Павел Кордин не ответил. Баранов был плох. Они молчали некоторое время. Павел Кордин слушал свистящее с прихлупыванием дыхание.

— Жизнь вспоминаю, — прохлюпал Баранов, — помнишь, как мы от махновцев драпали?.. В Крым попали... к Волошину... Я еще тебя шлепнуть хотел...

— Помню... Патроны у тебя отсырели.

— Насмехаешься? Чудной он был, Волошин... Никакой классовой борьбы...

— Ты помолчи... Полежи тихо...

— А все же я тебя всю жизнь уважал, Павел Михайлович... Как вы меня с Лановым выручали...

Баранов умолк, закрыл глаза. Павел Кордин подумал: заснул.

— Павел Михалыч, а почему ты не сидел? — вдруг спросил Баранов.

— Николай Степанович, откуда же я знаю? Не все же сидели...

— Не все, — медленно закивал на подушке Баранов, — не все... Только враги народа... А ты — не враг...

— Так и ты — не враг.

— Тогда не разбিরались, это — потом разобрались... Меня Сталин не любил.

— Почему ж он тебя не любил? Говорил он тебе?

— Насмехаешься?.. Я еще ничего... В шарашке кантовался... А другие — сгнили... Да-а-а... Лановой... Вот кого Сталин любил... (Усмехнулся слабо, как от отпустившей боли.) Писатель... Ты мемуары его читал?

— Нет.

— Из середняцкой семьи... Брешет... Кулак он.

— Нет, он из промышленников. Он из Лановых — контрагентов Коршунова. Вейлки собирали...

— Все равно — кулак... Эксплуататор.

Лановой прибыл, как обещал.

Павел Кордин открыл Лановому.

Лановой присмотрелся с порога, узнал.

— Давненько, давненько, — проговорил Лановой и вдруг приобнял. — Давненько, говорю, мы... не того... А?

Прошел в комнату тяжело, косолапо, морщась от запаха стариковской нищеты. Обрюзг, отяжелел. Посмотрел на Баранова угрюмо, не бодря взглядом, сразу определил: не жилец. Сказал одышливо:

— Да, Николай... Плоховат ты... Но — чего не бывает... Кунцево все-таки...

— Кунцево, — хлопнул Баранов, — врачи там — хоть сейчас — в органы... Анкеты чистые, как...

Лановой сел неудобно: был грузен, тяжел. Перебил, хлопнув по колену:

— В органы их сватать не приходится... Вылечат авось, Николай...

— Чего тут лечить, Лановой? Тут уже — все... Тут, брат, одна радость — легкие не болят... Выпил бы я, ребята...

— Это ты — зря...

— Не зря... Там у меня в холодильнике лежит заветная... По млости, а? На прощанье...

— Почему же на прощанье, Николай Степанович? — виновато возразил Павел Кордин.

— Вот за что я тебя всегда сторонился, Павел Михайлович, так это — за брехню... Ну зачем ты меня утешаешь? Ты думаешь, мне легче от твоей брехни?... Поди-ка, не поленись, принеси... Сухарик, что ли, найди, загрызть... Там у меня галеты...

Лановой сидел перед Барановым, пересиливая брезгливость. Такое чувство испытывал он в давние времена (вспомнил — удивился), когда забегал бывало в барак, к умирающему передовику, ударнику, надорвавшемуся или насмерть простуженному на ветру безбрежных строительных площадок, неохватных развороченных котлованов, где люди — одинаковые, как бесчисленные муравьи, в муравьиной одежде, с муравьиными лицами — копошились по-муравьиному, с муравьиной настырностью перетаскивая непосильный груз. Ударник умирал, хлюпя дыханием — тоже, как Баранов. Лановой — здоровый, в теплых бурках, в горячем кожухе, под которым френч с орденом, — сидел нетерпеливо, отбывая политическое мероприятие. Сидел, думал, как похоронить, чтобы не нарушать графика. Кладбища у него лежали неподалеку, чтоб не вольнить. Речь над ударниками говорил сам — надежнее, чтобы коротко и ясно. Оркестр (на всех стройках были у него оркестры) держал трубы наготове. Похоронный марш и «Интернационал» полагалось переждать ради ударника. Тогда, в те далекие времена, завел он ручные часы вместо карманных. Удобно было: как бы невзначай, как бы поправляя рукав, посматривал на стрелки. Пятнадцать минут полагалось на ударника. Капельмейстеры знали это шкурою, страхом: вместо консерваторской палочки — тачку давал в музыкальные пальцы Лановой, когда серчал...

А Баранов хлюпал, как ударник давних лет, и не было у Ланового ни кладбища рядом, ни оркестра, ни надобности в речах. Одно

осталось — часы на руке, да не карманный «мозерок» в кожаном кругляшке на ремешке, а золотая «сейка» на золотом же браслете. И одно — посматривал он на стрелки так же тайно, как в ушедшие времена. Хотя спешить было уже некуда.

Павел Кордин возился на кухне (чего там возиться?), Лановой изредка хлопал тяжелой ладонью по колену, осматривал пустые обои, должно быть, клеенные самодельно, самодельную полку с книжками, траченный временем рябенький коврик, приколоченный вдоль умирающего. И вдруг заинтересовался — увидел фотографию, узнал Серго, Баранова, Павла Кордина:

— Смотри-ка... Как же ты ее сохранил?

— Люди добрые сохранили, — прохлюпал Баранов.

Лановой встал, присмотрелся:

— Николай, это Саркис! А это кто?

— Холохолоenko... Там еще корреспондент какой-то, не помню...

Все — там...

Вошел Павел Кордин.

— Я тебе тарелки помыл...

— Выкинул бы — кому они теперь?

Лановой присел.

— Ты бы, Баранов, не налегал — мало ли...

— Ладно... Наливай, Павел Михайлович...

Граненые стаканчики — граммов на сто — Павел Кордин держал в ладони. На тарелке (в другой руке) стояла «Столичная», обложенная темными квадратными галетами. Лановой огляделся: даже столика у постели не было. Помог Павлу Кордину: взял бутылку, стаканчик, налил до полна, протянул Баранову:

— Может, не надо?

Баранов держал стаканчик жадно. Лановой разлил в остальные.

— Да-а... За что только мы не пили... И за здоровье, и за упокой...

Павел Кордин с галетами присел возле больного.

— Выздоровливай, Николай, — потянулся чокаться Лановой, чокнулся в оба стаканчика, влил в себя водку. Баранов выпил насильно, но — всю, как пивал в прежние времена. Павел Кордин тоже выпил, роздал по галетине, сам откусил.

— Да, — пожевал Лановой, — за все пили: за перекрытие проранов, за первый металл, за первый танк... За победу, за Родину, за Сталина... Много выпили... А вот за Ленина — не пили!

— Время другое было, — хрупал галетиной Баранов.

— Время? Может быть...

— А за что тебя Сталин любил? — спросил Баранов.

— Сталин? — удивился Лановой. — Он никого не любил... Он себя раз в году любил. И то — навряд ли...

— А тебя любил.

— Не любил, Баранов, — мягко поправил Лановой. — Совпадал я с ним. Он был упрямый, и я — упрямый. — И вдруг снисходительно: — Тебе что — плохо было?

— Да нет, спасибо, не плохо...

— Сталин... Под Сталиным тогда все ходили в придурках, кто жить хотел... А хочешь, Николай, я тебе расскажу, что мне за тебя было?

— Как было?.. Так вроде бы...

— Вот. Вроде! Вроде Володи... Чудак ты, Баранов! Помните, Павел Михайлович, я приказал не возить больше Баранова?

— Конечно.

Баранов с удивлением посмотрел на Павла Кордина.

— Это в декабре сорок третьего?

— Сталин про тебя со мною говорил.

Баранов оживился, даже взбодрился.

— Как?! Неужели помнил меня?

Лановой, опустив голову, рассказывал, как бы с акцентом:

— «Баранова пригрел, Лановой?» Использую, как специалиста, товарищ Сталин. «Какой, — говорит, — из него специалист? Сколько ты врагов народа при себе кормишь?» Я, говорю (поднял голову), Баранова знаю по Югостали. «Ну и что?» — говорит. Хороший товарищ, говорю. «Тогда, — говорит, — переселяйся к своему товарищу, живите вместе».

— Не может быть! — слабо вскрикнул Баранов. — Как же ты выкрутился?

— «Выкрутился», — передразнил Лановой. — Я первым делом подумал, кому завод передавать. Я говорю: «Кому прикажете передать завод?» Он на меня посмотрел: «А не боишься?» Боюсь, говорю. «Не бойся, — говорит, — шуток не понимаешь?»

Баранов засмеялся с облегчением, будто гора с плеч, сказал восхищенно:

— Человек был! Значит, помнил меня?

Лановой кивнул.

— В сорок пятом, перед победой спрашивает (опять с акцентом): «Как здоровье вашего друга Баранова?»

— На вы спросил или на ты? — уточнил Баранов.

— В том-то и дело, что на вы! Я говорю: «Давно не видел, товарищ Сталин!» — «Скоро увидите», — говорит. А сам смотрит в глаза. Думаю: отведу глаза — пропал. Посмотрел, усмехнулся в усы: «Не долго осталось, победа не за горами». Вот поди разбери: то ли он всех выпустит после победы, то ли всех посадит. Я, конечно, думал: посадит.

— Ну да, — кивнул Баранов, — на вы говорил...

— А со мною — на ты, — вдруг сказал Павел Кордин.

— С тобою? — удивился Баранов. — Когда?!

— В двенадцатом году, в Кракове. Я ему остался должен двадцать пять рублей.

— В подполье, что ли? — насторожился Лановой.

Павел Кордин улыбался, не уточнял.

— И больше не виделись? — спросил Баранов.

— Нет, — улыбался Павел Кордин. — Может быть, их Светлане послать? Долг все-таки.

— Вот эти твои смехульки, — обиделся Баранов, — тебе обо-

шлись недорого... Другие — ни за что, а ты всегда был контрреволюционером! И — цел!

Лановой заинтересовался:

— Как — двадцать пять рублей?

— Бумажкой. Чтоб номер ему снял. Я тогда прирабатывал как гид. Студентом.

— А вы знали, что это — Сталин? — спросил Лановой.

— Нет, конечно. Он назвался князем каким-то.

— Конспирация, — пояснил Баранов.

— Сын говорит, — осторожно посмотрел на Кордина Лановой, — не знаю, верить, нет, — что он сам в полиции работал...

— Это и я слышал, — кивнул Баранов.

— Не знаю, — сказал Павел Кордин, — да и какое значение имеет эта подробность после того, что он сделал...

— Сверхдержаву он сделал, — прикрыл глаза Баранов, вминаясь в подушку.

— Конечно, — согласился Павел Кордин, — меня только смущает цена.

— Ты, что ли, платил? — спросил Баранов, не открывая глаз. — Ты, если хочешь знать, легче всех отделался! Смотри! (Открыл глаза, глянул на Павла Кордина.) Я сидел, Лановой всю жизнь помирал от страха, а тебе он еще и четвертной дал! А ты — обижаешься.

— Нет, Николай, — возразил Лановой, — я не помирал от страха... Бывало, конечно, не без того, в рабочем порядке... Я его уважал без страха... А как вы уцелели, Павел Михайлович?

— Не знаю. Думаю, повезло.

Баранов, сникший было, вновь оживился.

— Ну что ж ты — ни разу ему на глаза не попался? Чудно. ВСНХ, Госплан и — мимо... Может, ты стучал? Не обижайся, конечно.

Павел Кордин не обиделся:

— Ты же меня знаешь всю жизнь...

— Знаю... А может, ты тогда, тоже в полиции служил?

— Глупость из тебя лезет на старости лет, Николай, — сказал Лановой. — Стучал! Первым делом стукачей и брали... Он их не уважал.

— Да-а, — мечтательно протянул Баранов, — такого уже в России не будет, не-ет... Этот (махнул рукою) политрук он и есть... Затеяник... Борьба за мир, борьба за мир... Нашел себе дело...

— Это продолжение политики мирного сосуществования, — примирительно вставил Павел Кордин.

— Да брось ты! Дурак твой Хрущев!

— Он же выпустил тебя, — снова улыбнулся Павел Кордин.

— Да меня и Берия выпустил бы! Сталин умер, надо что-то делать! Вот тебе и весь Хрущев! Мирное сосуществование... Венгры клюнули — думали, действительно с человеческим лицом... Ну и что?

— Видишь, политрук, политрук, а сообразил, что делать: танки и все! — хлопнул себя по колену Лановой.

Баранов сказал устало:

— Мы без войны не можем! Он как учил? Держать народ в состоянии постоянной боевой готовности! И держал! Лагеря зачем были? Чтоб народ постоянно чувствовал врагов! Что, не так? Факт — так!

— Да, — вздохнул Лановой, — не можем... Пока при деле был — не замечал... Хвастали победами... Везде побеждали... Каждый чих — победа... А теперь — хоккеем смотрю и думаю: ну хоть бы чехам проиграли, бляди! Ну хоть что-нибудь!..

— Кто? — не понял Баранов.

— Наши! — рявкнул Лановой.

— Ты что — не болеешь?

Лановой хмыкнул:

— Болею... Полиартрит у меня! А ты — пень! Обапол! Восемнадцать лет и — ни хера...

— А хоть сто раз по восемнадцать! — страшно закричал Баранов, рвя хлюпающее горло. — Большевик я или нет?!

Лановой на крик не повел ухом — вроде не было. Павел Кордин взял из дрожащей барановской руки пустой стаканчик.

— А я что — не большевик? — неясно улыбнулся Лановой. — И я — большевик.

— Большевики бывают разные, — устало просипел Баранов. Должно быть, длинная речь недешево обошлась ему.

— Да, — вздохнул Лановой, все так же неясно улыбаясь, — жалко мне бывало большевиков. Работники с них — как с пальца тяжь... Политики... Самые лучшие работяги были бытовые. Семь восьмых. За жменьку овса. У них одна политика была — детишек прокормить... Был у меня нормировщик... Посадили за ведро кукурузы, припаяли вышку, потом десятку, потом четвертной. (Покрутил головою.) Судили за подрыв социалистической экономики! Объявили кукурузу эту посевной, подсчитали — что выросло бы, если бы да кабы. Много бы выросло! И по новой — что из тех бы зерен выросло. И вышло, что украл он два вагона зерна! Стали было дальше считать — что из тех вагонов вышло бы... Ты мне лучше скажи, Коля Баранов, отчего мы такие злые друг на друга? Отчего мы забиваем насмерть один другого?

— Я не забивал! — отвернулся Баранов.

— Я забивал! — зычно напрягся горлом Лановой. — Из-за чего? Павел Михайлович, а?

— Не знаю...

— А я знаю! Головы наши так устроены — мучать и придумывать мучения! Прокурор тот — недоносок! Я бы рассказал вам, что мои особисты придумывали, какие каверзы!

— Так надо было, — сказал Баранов.

— Кому?!

— Тебе!!! — заорал сквозь хлюпанье Баранов. — Ты кто? Ты разве пролетарий? Ты — кулак!

— Да, — снова пренебрег криком Лановой, — сколько ж вас, пролетариев, полегло... А знаешь, скажу тебе, кто был главный

в государстве? Вор! Социально близкий... Ты, пролетарий, был социально далекий, а бандюга был близкий. А я — понимал это лучше вас обоих! Потому-то не ты мне, а я тебе устраиваю сейчас Кремлевку!

Лановой отвечал на обиды сокрушительно, поддых.

Павел Кордин, как бы смягчая удар, спросил, переводя разговор:

— Сыну вашему лет сорок? Кто он теперь?

Лановой посмотрел на Павла Кордина, как сматривал двадцать пять лет назад: все ли сказал или таит что-нибудь?

— Сын мой — дурак.

— Это что — его профессия?

— Да-да, профессия. Евреев бить, Россию спасти! Революцию сделали евреи... Не евреи, Павел Михайлович, вы уж не обижайтесь, не евреи. Русские! Евреи только воду баламутили... Я ему говорю: дурак ты, дурак... Что ж они англичан не взбаламутили, или французов? Он говорит — русский народ святой, доверчивый... Вот такие книги пишет (показал руками), доктор наук!

— Твой сын — националист, — сказал Баранов.

— Я тебе сказал, кто он... Бетон мой на русских костях стоит, не на еврейских!

— На еврейских тоже, — сказал Павел Кордин.

Лановой не возражал.

— Это вроде как подбавка... Цимес... Без евреев Россия не жила и жить не будет.

— Жила, — поправил Павел Кордин.

— Когда это было! Нет, Павел Михайлович, горя вы наделали много, но вины вашей в том нет...

Они сошлись втроем — три старика, явившиеся сюда разными путями-дорогами, и каждое пересечение этих дорог угрожало гибелью любому из них. Но они обходили страшные пересечения, сами не зная как и ничего не предвидя. Они преодолели жизнь, которая, став их прошлым, утратила опасность и сделалась наконец тем, чем была изначально, — существованием на земле. Там, в преодоленной жизни, остались страсти, оказавшиеся теперь чужими. А между тем, страсти эти были их верою, их надеждою, их любовью. Странная удача охраняла их на пересечениях дорог ото всего на свете и прежде всего друг от друга. Странная удача, своенравная фортуна, которую теперь, когда все пройдено, можно было бы называть мудростью, ибо они остались живы...

Откуда это все теперь в народе

Что гордыня?
Пред кем мне гордиться?
Перед тем, кто в колымской земле?
Перед тем, кто сумел возвратиться,
По огню отшагав, по золе?

Перед тем, кто эпохой был выжжен?
Перед тем, кто был загнан в пути?
Перед очередью, где бесстыже
Со служебного входа идти?

Иль пред тем, кто, ловчить не умея,
Греет плечи худым пальтецом?
Иль пред бледною кухонной феей?
Иль пред старцем с землистым лицом?

Я родня им.
Того же я званья.
Ту же я составляю семью.
Это их оплатили страданья
Столбовую дорогу мою.

Потому и гляжусь непарадно,
Что, повергнута в общий уклад,
Я усвоила горькую правду:
Тот, кто совестлив, —
Тот виноват.

* * *

И в той ночи, где дышится глубоко,
И в этом — задыхающемся — дне
Душа всегда и всюду одинока:
Ей горевать с судьбой наедине,

Стыть у постели смертного сиделкой,
Заступницей — для стариков и чад,
И пред любую властью — диссиденткой:
Они друг другу противостоят.

И средь событий славных и бесславных,
Не тормозя их и не торопя,
Ей оставаться с временем на равных,
Но строже во сто крат судить — себя.

Прощать обиды,
Забывать измены
И обитать с зари и до зари
Там, где любовь всеильна,
Смерть — мгновенна.
И только совесть брать в поводыри.

* * *

На пядь оттаянной земли —
Четыре пяди сном окутаны.
И так отчетливы вдали
Избушки с крышами лоскутными.

Неряшливых сараев ряд —
В покорности и безответности.
Какой хозяйственный подряд
Нас выведет из этой бедности?

Какой пророк укажет путь
К духовной и гражданской цельности?
Поймем ли мы когда-нибудь,
Как наша жизнь сегодня ценится?

Как, разобрав свое житье,
Я поняла — признаться совестно! —
Долготерпение мое —
Беда моя, а не достоинство.

* * *

Нелюбимые дети страны,
Мы с рожденья живем не по средствам,
Чувство долга и чувство вины
Испокон принимая в наследство.

Так и кружимся в этом кругу,
Только совесть бессонно взывает:
В чем повинны? Перед кем мы в долгу?
Долг растет -- и вина прибывает.

За спиною — война и Гулаг,
А дорога над бездной провисла.
Мы не можем решиться никак:
Жить по лозунгу или по смыслу?

А найдется разумник шепнуть:
— Ремешки затяните потуже! —
Мы в ответ:
— Проживем как-нибудь,
Перебьемся, бывало и хуже!

И опять потекут чередой
Золотые года, дорогие.
Сколько нам еще
Мерить нуждой
То, что мерят достатком другие?

Старики

В одежде ветхой, с темными кошелками,
Со мглою катаракт и глауком,
С отечными, сухими, серо-желтыми,
С одышкой, шажком, почти ползком.

Улыбчиво, отзывчиво, без вредности.
Обидчиво, сварливо. День за днем.
На пенсию, что за чертою бедности.
Перед чертой, где ни души кругом.

Изношены. Использованы. Выжаты.
Унижены. Забыты. Не нужны.
За прошлое своей страны — пристыжены.
За собственные беды — прощены.

Мешается с землей трава опавшая.
Все сызнава. Преемственность. Родство.
Великая, и горькая, и страшная
История народа моего.

* * *

Откуда это все теперь в народе,
Как он сложился, этот странный ряд:
Жить в рабстве, рассуждая о свободе,
Вперед стремиться, а сползть назад...

Откуда это все:
Высоты духа,
Там, где черта последняя видна,
И эта окаянная разруха,
В которой ныне мечется страна...

Откуда это все?
В тебе, в мужчине,
Ищу ответ я и не прячу глаз.
И в женщине, во мне, откуда ныне
Все то, что так разъединяет нас?

И кто еще — дотошно и оплошно —
В себе бы мог так распинать Христа,
Жить будущим,
И тосковать о прошлом,
И строить — в мыслях — лобные места...

* * *

Липовый цвет да мелиссу лимонную
На зиму я засушу.
(Где ты, страна моя многомиллионная —
Та, для которой пишу?)

Будет под белую марлей отчетливо
Нежная зелень видна.
(Нет от тебя ни привета, ни отклика,
Сколько пишу — тишина.)

Будут слышны в ароматах мелиссовых
Запахи знойного дня.
(Среди речистых своих и неистовых
Разве расслышишь меня?)

Иней на окнах цветами проглянется,
В комнате станет светлей...
(Может, хоть строчка моя да останется
В общей тетради твоей...)

* * *

Твои перекрестила плечи:
Иди,
Моя бессильна власть.
Другой бы, может, было легче —
Предать анафеме, проклясть.

А мне назначено иначе:
Прилюдно слез не выдавать,
Благословлять твои удачи
И промахи переживать.

И рваться каждое мгновенье
Туда, где быть запрещено.
И жить в достойном отдаленье,
Чего б не стоило оно.

Бутерброды с красной икрой

На подъездах к Останкинскому парку, если от Марьиной Рощи ехать по столбовой Ново-Московской улице, справа появлялся Пушкинский студгородок — скопление штукатуренных барачков, занимавших территорию хотя и обширную, но меньшую, чем другой студгородок — Алексеевский, расположенный ближе к Ростокину. Об Алексеевском обязательно вспоминали, если слово «студгородок» не уточнялось названием — Пушкинский, я же помянул его потому, что жизнь в тамошних бараках была другая, а какая — точно сказать не берусь.

Барак создается впопыхах и наспех. И всегда для решительных действий. Как баррикада, прямая его предшественница. Но баррикада может пасть, и тогда ее разберут, а барак никогда не падет, и никогда его не разберут, что и свидетельствовал наследник баррикад — Пушкинский студгородок.

Выполнив когда-то свою паническую миссию, сделавшись кровом неведомым рабфаковцам, он, исторгнув затем доучившихся в мир свершений и песен Дунаевского, не пал и не был разобран, а заселился: и недоучившимися, и всякой сволочью, и добрыми людьми. Причем несдвигаемо и навсегда.

Были у меня там разные знакомцы. Из первых, вторых и третьих. Взять, скажем, из третьих удивительного Семен Есеича! Но о нем — в свое время. О нем — не здесь. Зато о тете Дусе, ходившей за ним, расскажем. И не только о ней. Однако сперва воспоем барак. Причем не Алексеевского, а Пушкинского студгородка.

Барак есть продолговатое двухэтажное строение с двумя входами по фасадной стороне, двумя деревянными лестницами на второй этаж и низко сидящее на грунте. Это плохо выбеленная постройка под черного цвета толевым покровом, в которой ходят, сидят, лежат и из которой выглядывают люди.

Длину барака установить сейчас будет нелегко, а ширину вспомнить просто. Поскольку штукатуренные стены внутри себя всегонавсего сруб, то барачный торец не мог быть шире семи или восьми метров; верней сказать, ровно таким и был — это долгота строевого бревна. Значит, в сказанные метры укладывались длинные стенки двух комнат плюс ширина коридора. Кладем на последний полтора — и на каждую комнату остается по два с половиной. Все правильно! По ее длине сразу поместится рабфаковская койка — два метра, а в изножье или изголовье койки — тумбочка, в которой рабфаковец мог держать свой «Анти-Дюринг» или зачитанную до ветхости

книжонку с волнующим, но мелкотравчатым названием «Без черемухи».

Итак, на каждом этаже — полутораметровой ширины коридор, а по обе стороны — выходящие в этот коридор, протянувшиеся вдоль своих коек комнаты, а в комнатах людей, детей и пожитков — битком.

Коридор, он же кухня, совершенно бесконечен, ибо под потолком его, копя, как керосинки, горят одни только две желтые десяти-свечовые лампочки, а кошмарные, в чаду и стирочном пару, светотени от многих различных предметов создают без числа кулис и закутков, и все размыто сложного состава вонючим, мутным воздухом.

В общем, чад и смрад, а по стенам корыта, лохмотья на гвоздях, корзины из прута, двуручные пилы, завернутые в примотанные шпагатом желтые, пыльные и ломкие газеты, на полу — сундук на сундуке, крашенные белым столики с висячими замками, табуретки, волглые и отчего-то мыльные, на каковых тазы под рукомойниками. Нет ни складу ни ладу от тускнеющих повсюду ведер с водой, ведер мусорных и ведер с помоями для поросенка, которого откармливает крестная где-то в Марфине, от раскладушек старого народного типа — холст на крестовинах, от санок, кадок, бочек, бадеек, от лопат с присохшей к железу желтой глиной, вил и грабель, ибо у жильцов первого этажа под окнами грядки, а иногда — кролики или куры. Стоят там еще и детские лыжи, выцветшие и прямые, как доски, по бедности одна лыжина короче другой. Стоят там просто доски, тоже разномерные, с пригнутыми к их лесопилочной поверхности кривыми бурами гвоздями. Стоят принадлежавшие некогда правящему слою какие-то прекрасные, но непригодные в обиходе барачных трюмодитов вещи: сломанный стул со шнуром по бархату, подставка для тростей, а то и диванчик лицом к стене, округлая спинка которого вместе со стеной образует прекрасную емкость для хранения картошки.

Страшный коридор, поганый коридорчик, конца ему нету! Но бесконечность его все же не безупречна — ее пресекают или отворившиеся двери, или разговор, всегда похожий на скандал, или ум-па-ра-ум-па-ра на баяне, а в одной из комнат — удивительный голос патефона, доблестно прокрутившего на прошедшей всю войну тупой игле прекрасную пластинку «Так будьте здоровы, живите богато» (жаль вот, за последнее время пластиночка сильно треснула).

Тетя Дуся живет в комнате самой угловой и самой жалкой. Уже известные нам два с половиной погонных метра простым умножением на два превращаются в пять метров квадратных, а кто в такой комнате селился, тот знает, что напротив двери — окно, что слева спят и роются в сундуке, а справа — сидят за столом и содержат в шкафу моль. У окна может стоять ножная швейная машина, у кого она есть, а если ее нету, под окном можно поставить, допустим, табуретку.

Постель на койке у тети Дуси образует бугор, ибо под тюфяком хранятся несезонные вещи и большие связки коричневатых драных чулок, служащих исходным материалом для починки пяток. Чулки, как правило, сохраняют в себе шелуху эпидермиса молодой когда-

тошней тети Дуся; все они в резинку, однако попадают единицы хранения фильдекосовые и даже фильдеперсовые.

В высоту комната — два десятка, но это жить не мешает, потому что народ в то время был низкорослый и корявый, как орловские мужики во мнении Тургенева. Статные тургеневцы-калужцы тут не селились и начинали попадаться не ближе Грохольского переулка, а туда еще ехать и ехать...

Итак, на постели был бугор, и это причиняло нам — мне, принаквашему к моей подруге, чтобы умирать, и ей, принаквашей, чтобы возродить меня, ей, знавшей, в отличие от меня, постели широкие и очень хорошо умевшей ими пользоваться, — разные — впрочем, не будем обращать внимания! — неудобства, мешающие древнему и косноязычному обряду объятий.

Барак, коридор его, тетя Дуся... Ослепительная моя подруга, знавшая другие — о, Господи, опять я съехала! — широченные постели, я, знавший постели типа топчан — о, Господи, опять ты съехал! — но знавший также, что ко мне пришла ослепительная моя подруга, знавшая другие, широченные постели, — почему все это вместе? Почему все это сошлось, соединилось, соприкоснулось на первом барачном этаже, точнее — в его правом заднем углу, если глядеть на барак с фасада? — о, Господи, опять мы съехали! — а вот почему.

Тетя Дуся, сопатая маленькая старуха, ходила за моим старшим другом холостым учителем физики Семеном Есеичем, обитавшим в бараче через дорогу. Но о нем, как уже было сказано, в свое время и не здесь. Так вот, тетя Дуся, считая, что дружба со мной идет на пользу гениальному Семену Есеичу (о чем тоже в свое время и не здесь), а потому уважая меня, через посредство Семена же Есеича снабдила меня ключом от своей комнатенки. Она практиковала — за кое-какое поощрение или просто за спасибо — давать ключ знакомым физикам, а делала так, вероятно, потому, что чужое плотское житье вызывало в ней приятные мысли.

Люди памятьные не забудут, как безнадежно было в те времена найти угол, дабы завершить невыносимые полувстречи, затеянные в кустах, в подъездах, на скамейках или в общежитиях, когда подруги по комнате уснут, — уснут они, как же! — так что попасть на бугристое тетидусино ложе, пока сама тетя Дуся сходит прибраться к своему работодателю или просто умотает куда-нибудь, было редким и желанным счастьем.

Теперь о ней, ради которой я заимел тетидусин ключ.

...Мы тяжело, и давно уже досадуя, шли вверх по склону, и подъем по жесткой колеистой дороге, обильной морскими глыбами и галькой, на которых всякий раз подворачивалась стопа, был совсем плохо придуман мною, и, казалось, она, моя новая знакомая, похожая на Калипсо красавица со страхом в глазах, вот-вот возмутится и пожелает повернуть назад, ибо даже предлог нашего восхождения сюда был нечеток и неубедителен: то ли обозреть сверху море, то ли поглядеть, как выглядит на мандариновых деревьях завязь.

Но спутница моя не возмущалась, хотя могла бы и повернуть, а я в страхе ждал ее негодования, ждал, когда ее согласие кончится:

я тогда был очень молод и считал, что согласие может, очень даже может смениться негодованием. Ведь подозревала же она, верней, понимала тайное наше, верней, мое намерение — влажную и нестерпимую надежду. Конечно, и она тоже была вовлечена в обоюдный наш необъявленный сговор. Однако знойный подьем! Ну, сперва согласилась поглядеть на завязь, а потом раздумала...

Мы уселись под мандариновым деревом на сухую, состоявшую из сухих горячих комочков землю, и моя рука стала протискиваться между мягковатых, чуть-чуть прохладных, но и чуть-чуть разгоряченных бедер. Пятипалое мое осязание обретало вожделенный мир, сомкнутый меж этих ошеломительных прикасаемостей; запястье ни с того ни с сего ползло по сухим горячим комочкам обработанной под мандариновым комлем земли, а пальцы проридались сквозь то разжимавшиеся, то смыкавшиеся бедра и утыкались, словно щенки, во влажную — обширную после стиснутости бедер — путаницу достигнутых зарослей. И подруга моя от прикосновения вздрагивала, дергалась как-то и говорила: «Не надо, а то у меня голова заболит и будет сильно и долго болеть!», и сама стискивала длинными своими изукрашенными пальцами то, что хотела. «Ну давай отложим, — шептала она, — здесь не место. Все видно, и солнце... Ну давай же отложим!» — и дергалась, и колени ее были уже бесповоротно разомкнуты, но она была права: сухой склон под придорожным мандариновым деревом сам по себе и так сомлевал и умирал под солнцем...

Отложим до Москвы? Кто из нас уезжал в тот день, не помню... Отложим до Москвы!..

Мы шли к тете Дусе на исходе теплого летнего дня мимо барачков и паршивеньких палисадничков, огороженных — вернее, отгороженных друг от друга — всякой дрянью. В окнах низких первых этажей стояли люди и водянистые комнатные растения, произраставшие из консервных банок, или ржавых, или как бы золоченых, а теперь облезлых.

Напомню: русская консервная банка всегда была оловянного цвета, и только война вдобавок ко всем своим кашеевым чудесам явила чернобуквенные золоченые банки от спасительной свиной тушенки. И хотя кончилась война, и хотя она уже кончилась настолько, что немцам зачем-то отдавали Дрезденскую галерею, предварительно показывая ее всем желающим, банки эти догнивали в окошках Пушкинского студгородка, кое-где, правда, обернутые красиво вырезанной белой бумагой, пожухшей сейчас от подоконного солнца, ржавчины и потеков воды.

Мы шли к тете Дусе мимо строений, в окнах которых стояли люди, как бы не знавшие меня, хотя могли стоять и мои знакомые. Умело выбранная дорога позволяла избежать нежелательных встреч, так как рядом со мною, во-первых, шла женщина, а во-вторых, невиданная и неслышанная в этих краях женщина.

Первое и самое правильное — было подумать, что она — шпионка, ибо одета и украшена была она так, как до сих пор была одета и украшена только героиня обожаемого всеми кино «Девушка моей мечты». Даже я, сохранивший в пальцах воспоминание о ее удивитель-

ном по тем временам купальнике, тяжело на ощупь, как портьера, и фосфоресцировавшем под звездами нашего ночного купания, когда все начиналось и когда она поцеловала меня небывалым в моей прошлой и предстоящей жизни поцелуем, так вот — даже я, знавший ее гардеробные возможности, был ошеломлен тем, что увидел.

Как я сказал, война уже закончилась настолько, что представлялась голодом, но с тушенкой в сравнении с последовавшим после войны голодом без тушенки. Кончились военные моды, отличавшиеся полевым шиком, разнообразными американскими подарками (у кого они были), кончились уже и сносились трофейные тряпки, небывалые по изощренности, по мерцающим подкладкам, по аккуратности шва, по бесстыдному дамскому белью и по возможности носить все это при желании даже наизнанку. Кончились для всех, и все облачились в наше, свое, пошивочное. Но не она, моя знакомая. Она пришла ко мне в виде фантастическом, а в каком, уже не помню, причем для внешности этой у моей знакомой были особые — основательные причины.

Дыша духами и туманами, приходили женщины к Блоку. Об этом я узнал позже. Она пришла, сверкая кольцами, серьгами, ожерельями. Все это станут потом называть бижутерией и за годы, но привыкнут, через стыд и предрассудки, но привыкнут носить, видоизменяя баб в как-никак, а женщин.

Откуда же это могло появиться тогда, когда еще не должно было появиться? Откуда она все это взяла: платье странной ткани, туфли, усаженные золотыми пряжками со сверкающими стекляшечными камнями? Откуда? Оттуда, вот откуда! — она работала в оккупационных войсках в Восточной зоне, долго жила в Восточной Германии, недавно оттуда приехала, а там состояла штабной переводчицей и жила с мужем, работником особого отдела.

Особиста своего она боялась панически. Скрытным образом жизни и всеведением он заставил страдать ее душу и плоть, а к последней вообще относился с нестерпимой суховатостью.

Плоть эта не отбушевала ни у теплого моря, ни под коглем мандаринового дерева из опасений быть разоблаченной какими-то знакомыми, а может быть, откомандированными особистом нижними чинами.

Свидание невозможно было устроить и в Москве. Долго было невозможно. Но вот тетя Дуся дала мне ключ, сама куда-то ушла, и я иду с моей подругой, чуть сбоку и на шаг как бы впереди, а можно сказать, и позади, по тропинкам и задкам Пушкинского студгородка к тетидусиному бараку, стоящему на главной улице. Это очень закаляет и полирует кровь — пройти со сверкающей женщиной в дверь барака, расположенного на главной улице, так, чтобы тебя никто не заметил.

Все равно во всех окошках торчат изумленные люди, бабки на завалинках вычесывают седые клоки частыми гребнями, могут попасться однокашники, а один человек возле сарая уже который год изобретает велосипед.

Летняя улица светла и солнечна, а за другим сараем мальчишки

спаривают кроликов. Девочки нарочито толпятся вдаль, но всё же видят, как кролик, сосредоточенно щипавший травку рядом с крольчихой, в какую-то секунду на крольчиху воздвигается, кто-то из ушастых зверьков резко взвизгивает, и оба, пошевелив носами, тотчас принимаются кормиться. Мальчишки то и дело констатируют, что кролики е б у т с я. Девочки, поглядывающие издали, тоже знают, чем занимаются кролики, но слово е б у т с я не употребляют. Наглые мальчишки, желая обратить внимание девочек, делают из двух пальцев левой руки кольцо и, просунув в это кольцо указательный палец правой руки, двигают им взад-вперед. Девочки уходят.

Таким образом, я веду свою подругу через мое детство, но она его не видит и не замечает, а молча идет рядом, думая лишь о возможной слежке особиста.

Она идет на удивление невозмутимо. Ее просто оцепенил и ослепил страх. Ее страх. Меня же м о й страх сделал зорким чудовищно, и, когда мы входим со света в крошечный коридор барака, я умудряюсь разглядеть трущобную стирку в дальнем его конце и человека, сортирующего в консервной банке червей-опарышей.

Возня с тегидусиным ключом — и мы в комнате. У меня с собой бутерброды. С красной икрой. Пять штук. Копеечные дела по тем временам. А она достает вино! Она достает — вино... Такого я сроду не мог предположить. Она достает незнакомое мне вино, а знаком я — да и то понаслышке — только с кагором и портвейном «три семерки», каковые очень ценятся окружающими меня знатоками чего угодно, но не этого дела.

— Погоди! — говорит она, когда, выпив немного и съев полбутерброда, я дрожа начинаю обнимать ее, беспрепятственно касаясь тяжелой и теплой материи мягкого платья, и ощущение это само по себе уже сладостно. — Погоди! — говорит она. — Мне сперва нужно выйти!

— Выйти?

— Обязательно! Я иначе не могу...

Я убит. Выходят в Пушкинском студгородке вот куда: среди барakov на все про все имеются два сарая, по виду как бы деревенские амбары. Каждый сарай высок и светел из-за щелей и одного оконца слухового типа. Сарай выбелены известкой прямо по дереву, и сползшая с плохих и старых досок известка создает уникальный колорит неопрятности и неприкасаемости. Амбар перегорожен стенкой, которая упиралась бы в потолок, если бы таковой был, но над стенкой пусто, а дальше виднеется изнутри конек двускатной крыши.

По обе стороны стенки — на мужской и женской половине — помосты из толстенных досок с выдолбленными в ряд восемью дырками. Эффект присутствия — полный. Во-первых, из-за низкой перегородки, во-вторых, из-за того, что, если стоишь, не доходя до помоста, в яме виден окончательный результат совершаемого за перегородкой.

Те, кому этого мало, пробрили в стене на разной высоте очень большие дырки. Дырки эти кое-где чем попало заколочены. Но только кое-где. Я тоже родился не во дворце, тоже посещал нужник на задворках, и о том, что на сиденье садятся, а не встают ногами,

догадался сам в двадцать три года, но в чудовищные сортиры студгородка (Пушкинского, не Алексеевского) заглядывал только при крайних обстоятельствах, хотя в знойные дни вонь в их прогретом полумраке почему-то делалась томительной, а сквозь бреши в перегородке можно было понаблюдать решительные приседания и послушать интересные разговоры забравших подруг. Но это — летом.

Как известно, народ наш обращается с отхожими местами на редкость небрежно и неопрятно. Ему, народу то есть, ничего не стоит, пренебрегая элементарными навыками прицельности, загадить края отверстия, измочить пол, оставить на стене отпечаток пальца. Доски всё впитывают, все присыхает к ним, намеренная неопрятность порождает неопрятность вынужденную, и расположиться над очком становится все труднее и труднее. К наклонному сивому желобу тоже мешаю подойти лужи, особенно если ты на кожмитовой подошве или в тапочках.

А тут — холода на носу. Все, что впитывалось, начинает заледеневать, наслаиваться. О том, чтобы пройти по наледи к очку, не может быть речи уже в канун января. Тактическое пространство уменьшается. Захожий народ отступает в своих действиях ближе к входной двери, беспорядочно гадя на пол. На стенах (пока еще изнутри) высокие наледи сывороточного цвета, они, достигая полутораметровой высоты, сталагмитами высятся из пола, перемежаясь окаменевшими бурыми кочками. Иней на досках, желтые, вмержшие в лед газеты, уже и на изнанке кровли желтые кристаллы, — а народ не унимается, — куда же денешься? И вот к середине февраля, стоя только в проеме дверей, можно справиться малую нужду во тьму мира окаменелостей.

Это обстоятельство решительно меняет суточные ритмы Пушкинского студгородка. Теперь сюда подгадывают прийти в сумерки или ночью. И вот уже стены в мутных наледях — снаружи, и вот уже пространство вокруг стен, если не засыплет снегом, делается сами понимаете каким...

Но тут наступает весна. Кто-то, матерясь, чистит все это. Кто — не знаю. Полчаса, омытый водой из шланга, амбар похож на человека, а потом начинается все сначала, а к вечеру входит в него онанист Митрохин и быстрыми движениями расщепляет долотом горбылину на самой перспективной дырке. Потом совсем недолго ждет и вот уже содрогается в углу, слыша шуршание за перегородкой.

В этот вот амбар невозмутимо отправляется моя подруга. Я второпях кое-как объясняю ей неблизкую дорогу, совершенно не представляя, как она доберется, — а если доберется, — как воспримет, дыша духами и туманами, эту срамоту, как изловчится пройти в своих бархатных туфлях по набухшему полу?

Я провожу ее не могу, ибо просто не представляю, как вообще можно провожать женщин в одно место, становясь ненамеренно посвященным в эту совершенно скрытную необходимость, в этот апофеоз неуклюжести и обескураженного достоинства.

Она уходит. Я жду. Я понял! Пройдя сквозь слободу, униженная дорогой к тете Дусе, ошеломленная пятиметровой тетидусиной но-

рой, — я-то привык, а она видит ее впервые, — прелой горбообразной постелью, столом с бутербродами, бело-красными и сверкающими возле мутного граненого стакана, где в гнилой воде раскисла и растопырилась грязная разбухшая луковица, выставившая изнутри себя отвратительный зеленоватый зародыш лукового пера... — увидя все это, она передумала. Ушла! Просто взяла и ушла! Вот и сумочку взяла же! Правда, вино оставила... Принесла вино... Ни за что в жизни не мог бы предположить, что ради меня принесут вино. Ушла! А если не ушла, то заблудилась, а если не заблудилась, то кто-нибудь привязался к ней — здешние обитатели, как было сказано, запросто могут подумать, что она шпионка. Недавно вот в Марьиной Роше небезразличные к судьбам Родины люди поймали шпиона, похоже — американского. Или даже двух...

— Что ж ты, Калиныч, в рот нехороший, велосипедом мои дрова загородил? Неужели не доделал еще? — слышится за окошком бодрое начало добрососедского разговора у сарая. От неожиданности я дергаюсь, замираю, подбираюсь к окошку и заглядываю в щель между марлевой занавеской и облупленной доской проема...

Возле моего глаза, огибая каменный желвак масляной краски на тетидусиной раме, ползет ручеек мелких муравьев. Выползают они из одной щелки, а спустя сантиметра три уходят в другую... Что муравьи! Мое зрение способно сейчас разглядеть амёбу... Мои уши способны уловить ультразвук...

— Калиныч, бля... — раздается у сарая звук обычный, и сердце во мне, заколотившись, проваливается, потому что за спиной, трясясь, отворяется дверь. Я рывком поворачиваюсь и обалдело удостоверяюсь, что в дверь тихо проскальзывает моя подруга.

— А вот и я, — говорит она, а я своим обостренным зрением немедленно и тщательно впиваюсь в ее бархатные туфли и особенно в тоненькую линию красиво зачерненной подошвы.

— А умыться тут можно?

Мама дорога! Это никогда не кончится! Я же не знаю, где в коридоре тетидусин ручноймойник и какой обмылок на какой из тридцати трех полочек ей принадлежит и какого мыла? — может, развесного мраморного, которое варит мыловар Ружанский, а из чего варит, об этом в свое время. А вдруг таз под умывальником полон и его надо вынести?.. А если полон, то чем?..

— Унмёглих! — говорю я по-немецки, потому что моя подруга этот язык прекрасно знает, а я в то время тоже неплохо болтал, что, кстати, в немалой степени расположило ее ко мне там, где мандариновые деревья дают завязь.

— Унмёглих, вайль их вайс ниخت, во ист дер тетидусин ручноймойник унд зайфе! — начинаю я валять дурака, а она, улыбнувшись, достает из сумочки сверкающий флакончик, потом ватку и аккуратно протирает пальцы со множеством поразительных колец, среди которых — толстое, сковавшее ее с особистом, — непринятая тогда в обиходе и тоже внезапная вещь.

Она подошла к окну, глянула в щель сбоку занавески, подвинула занавеску, потом повернулась, расстегнула платье, сняла его, потом

сняла еще какую-то непостижимую одежду, потом сняла все остальное, и я впервые увидел женщину, раздевшуюся для меня.

— И ты все снимай! — сказала это чудо, когда я подошел, обнял ее и растерянно вжался в эту невыносимо разнообразную наготу, столь отличающуюся от моего однообразия.

— Погоди же! Постой! Металл мещает любви! — И она стала снимать с шеи, с запястьев, с пальцев, вытаскивать из ушей сверкающие предметики, складывая их на клеенке, где вскоре получилась кучка из часиков, сережек, браслетов, перстней — один вдруг покатился под кровать, и возле прекрасных ног я, словно юноша Актеон, но чудесно избежавший всех псов окраины, в подкроватном запустенье нашел легчайшее колечко, а когда вытаскивал из-под кровати голову, увидел, не вставая с колен, что прекрасные ноги, чтобы не мешать мне, поджались вверх — оторвались от пола: это она села на горбатую постель, а потом легла. Я тихо-тихо положил на клеенку колечко, и оно сразу же доверчиво приткнулось к остальным, а я так же доверчиво вошел в страну, где пришельцев сладко целуют, ласкают, заморочивают и почему-то при этом всхлипывают, прилепляясь к этим пришельцам, — в страну мандариновых завязей и сухой горячей земли, в страну двоих, по влажным отмелям которой странник Улисс направляет строгие свои стопы к слабеющей в спутанных зарослях волос Калипсо.

Это была свободная я любовь. Все мои прежние достижения, поспешные, хватательные, жадные и жалкие, были недолюбовью по сравнению с тем, что происходило в стране мандаринового солнца. На улице темнело, в комнате смеркалось, и сумрак этот все больше отстранял и выключал из пространства страну, куда я уже неоднократно вступал, всякий раз слыша тихий смех, тихие всхлипывания, тихие слова, и где ни с того ни с сего ощутил вдруг влажные губы, послушно поцеловавшие мою царственную руку...

Это была встреча двоих, по разным причинам, но очень тогда необходимых друг другу. Это была встреча женщины, которой был нужен я, и это была встреча меня с единственной, самой нужной женщиной. Встреча без стыда, лучше сказать — вне стыда, праздновавшая своими тихими всхлипываниями победу над паршивой окраиной и героем этих задворок — особистом; соединившая опыт широких померанских постелей и занимательную эротику предместий, утолившая нестерпимую грезу Митрохина и освятившая древний жест, нахально производимый мальчишками при девочках на кроличьей свадьбе.

Мандариновое солнце устало окуналось уже, когда за дверью послышалось вежливое покашливание.

— Бабка твоя! По-моему, она давно там сидит!

Мы выходили из комнаты, оставив в благодарность тете Дусе два бутерброда целых и один — почти целый, а также полбутылки вина, и увидели самоё тетю Дусю, сидевшую возле двери на мешке с отрубями в пустом уже коридоре. Тетя Дуся дремала, слабо похрюкивая в легком сне.

Я коснулся ее телогрейки, надо было отдать ключ. Она вскину-

лась, хитро ухмыльнулась и сказала поразительную, почти сумаровскую фразу:

— Любовь — по естеству людям присуща!

На повечеревшей улице мы с моей подругой сразу же разошлись в разные стороны, потому что у Останкинского трамвайного круга могут встретиться нежелательные знакомые, сказала она, соскребая присохшую к зубам икринку.

Я же пошел прочь из студгородка (Пушкинского, не Алексеевского) и у последнего барака встретил Насибуллина, застенчивого и очень скромного паренька, который после школы охотно пошел в какое-то спецучилище.

— Доброго вечера! — сказал он вежливо, потому что всегда очень хотел сблизить свою старательно завоевываемую благодаря заботе общества интеллигентность с моей — врожденной, и, продолжая это сближение, застенчиво спросил:

— В Дрезденку ходил уже?

— Не-а!

— Сходи, не пропускай! — И, чтобы приохотить меня, поглядел по сумеречным сторонам, смутился-смутился и сказал: — Там голышей много!

1979

Одинокая душа, Семен

Семен уже второй раз с тех пор, как зажил в Москве, направился стричься в эту парикмахерскую. Тридцать девятый, помотавшись от вокзалов по хорошим улицам, за Ржевским мостом зазвонил и вкатился в деревянную трухлявую окраину, конца которой не было. На остановке «Ново-Алексеевская» в него сел Семен. По пути к парикмахерской три больших дома все-таки попались — два справа, один слева, — и Семен, на этот раз тоже, отметил их как предвестников нового.

Ближе к парикмахерской, слева от разогнавшегося трамвая, появились пустые пространства, среди которых — на холме не на холме — росла прекрасная сосна. Тридцать девятый, грохоча, миновал одинокое, как душа Семена, дерево и остановился. Когда Семен сошел, трамвай укатил в сторону какого-то Останкина, и у Семена снова, как в прошлый раз, заколотилось сердце: прямо перед ним стояла гора с церковью на макушке, а по всей горе, от подножья до церкви, толпились бурые домишки. Семен в смятении рванулся направиться к крайнему возле церкви дому, где его, Семена, заждались, но спохватился. Церковь была непохожа на ту, возле которой его заждались, а все остальное хоть и было похоже, но не было т е м, а т о г о, похоже, уже и в помине не было.

Т о г о не было точно, — не было т о г о больше! — но Семену по молодости пока еще не удалось удостовериться, как что-то берет

и исчезает, и, хотя Семен мыслил вообще-то здраво, в данном случае он обольщался, на что-то надеясь, хотя правильно делал, надеясь на что-то. Пока то существовало в нем, пока Семен не стал покойником, то исчезнуть не могло, только Семен по простоте своей не знал, что с этим поделаться. Семен не знал, а один человек знал. Но Семен человека этого не знал и никогда не слышал о нем. Да и не услышит.

Семен постригся «под польку», но одеколониться не стал, чтоб не срамиться и людей не смешить. Потом он прошел по хрустящим под подошвами черным клочкам собственных волос — взять на вешалке кепку — и встретился с очень внимательным взглядом, создаваемым с помощью тревожных, но все постигших глаз низенького гардеробщика, который очень внимательно спросил:

— У молодого человека еще нет жены? Что ему это мешает? Хватит уже, прекратите ваши случайные встречи!

Откуда знал гардеробщик, что случайная встреча у Семена была, — непонятно!

...Вот Семен идет вдоль картофельного поля, далеко уже ушел, а идет к оврагу накопать глины, чтобы печку в сушилке переложить, которая кирпичами из дымохода завалилась и уже год не топится. Идет Семен давно, устал даже. Места пустые — люди не встречаются. Видит, на меже сидят две девушки; они бесконвойные и до вечера привезены картошку окучивать. И одна говорит, когда он подходит:

— Погоди, парнек! Сядь-ка с нами, парнек!

А когда он садится, начинают зубоскалить, смеяться и подталкивать его плечами. Он тоже смеется и возится с ними, но девки смеяться перестают, начинают сопеть, щипаться и прижимать его к своим кофтам.

— Чего ж ты? Чего ж ты? Шворь давай скорей! — сопя, бормочут они непонятные слова. — Ну отшворь ты нас, сучонок! Ну!

Потом, поняв что-то и хрипло захохотав, одна опрокидывает его, грузно наваливается сбоку и всасывается в его рот, а вторая шарит по Семеновым штанам.

— Погоди, черняшка, погоди, не вертись! — дышит первая, слюнявя Семена мокрыми губами, а вторая, не найдя пуговиц, рвет высохшую резинку, на которой держатся его шаровары, и пристраивается, как верхом.

— Держи его теперь, Варя, держи! — сдавленно сопит она и начинает сильно вихляться, а Варя держит, как гиря наваливаясь на грудь Семену, и тоже сопит:

— Потом меня! Меня, сучонок, тоже... после подружки!.. — И вдвигает свой толстый язык в разинутый рот Семена...

— Пора уже, молодой человек! Что это вам мешает? — говорит гардеробщик доверительно и доверительно рассказывает, что у него самого нету желудка, который ему вырезал один профессор, что такое пищеварение пусть имеют враги, но жить все-таки можно, и слава Богу за это.

Семен, по просьбе человека без желудка, тоже кое-что сообщает о себе, а тот, неодобрительно вертя Семенову кепку-восьмиклинку,

выслушивает все внимательнейшим образом, однако сообщение о том, что на предприятии Семена работает знатный мастер товарищ Российский, чем Семен справедливо гордится, почему-то пропускает мимо ушей, зато спрашивает:

— Какую же вам там дали службу?

Услыхав, что Семен — токарь-модельщик, новый знакомый говорит:

— А Фаина Токарь, что живет при почте, не ваша родня? Нет? Я на вас удивляюсь, но пусть будет как будет! И, чтоб я так имел свой желудок обратно, у меня есть для вас невеста!

Затем он достает толстую тетрадь в клеточку, о каких там, где образовывался Семен, только мечтали, и, заглядывая в нее, начинает бормотать:

— Видите, я, слава Богу, до сих пор смотрю без очков... Но что здесь?.. Два института, у него магазин... это не для вас... А здесь?.. Дают пианино... тоже не для вас; они хотят Мишу Фихтенгольца... Пара глаз... живут и с сестрой, не гарантируют взять в дом... Ха!.. А что это?.. Девушка честная, мать — учительница на немецкий язык... сюда я знаю, кому сказать... Она врач, мужа убили... это я должен подумать... Здесь не дадут ни гроша... В Первомайке пискатая мать, а вам не надо пискатая мать, вы — сирота... От!.. Это, я думаю, для вас!.. Вы сказали — токарь? Там будут рады иметь токаря!..

Человек без желудка знал свое дело, и Семен переселился в Останкино, чуть левее тех мест, куда после парикмахерской укатывал тридцать девятый.

Семена женили на Еве, перезрелой и топорной. Странное даже для травяной улицы имя еще в раннем Евином девичестве породило прибаутку «Ева — старая дева», со временем сбывшуюся.

Разные обстоятельства сработали на женитьбу Семена, и среди прочих такое, казалось бы, второстепенное, что семья невесты происходила из тех же улетевших с дымом мест, куда рванулся было Семен, сойдя на остановке у парикмахерской.

Семья эта была очень непривлекательна. Мама, Созильвовна, с насморчным голосом и в клопиного цвета шали, хорошего впечатления не производила. Младшая сестра, Поля, не будучи горбатой, все же на горбунью смахивала — отсутствие шеи, маленький рост, короткое туловище при длинных ногах, выпирающая вперед уже большая женская грудь сильно отклоняли ее от привычных пропорций. Виноват был, конечно, отец. Это он первый получился низеньким, с очень коротким туловищем и длинными ногами в синих галифе, уходящих в узкие хромовые сапоги с галошами.

Работал он в керосиновой лавке. Разливал черпаком керосин и продавал москательные товары: фитили, стеариновые свечи, когда они бывали, а их почти никогда не бывало, гуталин, нафталин, персидский порошок, веревки, когда они бывали, дратву, сарайные петли и гвозди.

У всей семьи была странная кожа: чуть-чуть сальная, она словно была налита тоненьким слоем болотной водицы, просвечивавшим под тоненькой пленкой, и это производило прозрачный коричневатый

лоск, переходящий в блеск, когда кто-нибудь из них потел. А они были потливы.

Еще в керосиновой лавке продавалась замазка, а замазка — товар тяжелый, и нужно хорошо уметь ее развешивать. С пользой для всех и для себя тоже. Поэтому финансовых затруднений при выдаче замуж дочерей у Евниного отца не предвиделось. Были бы охотники. Поэтому Семен, женившись на Еве, сразу же переехал с ней в купленную для молодых, стоившую значительных денег комнату.

Евина семья жила в мезонине у домовладелицы Дариванны. По правде сказать, ни Ева, ни ее близкие, ни, наконец, остальные обитатели травяной улицы понятия не имели, что верхнее помещение в обширном доме Дариванны называется мезонином, и называли его словом «наверху»; а если бы и узнали, то не придали бы этому ни смысла, ни значения и наверняка забыли бы непригодное для жизни слово.

Хотя Евин папа деньги имел, многого из этих денег выжать было нельзя — ну, трельяж, ну, зеркальный шкаф, ну, пару отрезков! Покупать семье другую квартиру не имело смысла — «наверху» было тепло, даже если внизу у Дариванны было холодно. Ее дымоход проходил по их стене. На двор же — внизу ты живешь или наверху — в большой мороз или ночью не пойдешь, для этого есть горшок. Зато «наверху» не обкрадут — вся же улица увидит...

Девочки росли и выросли. Обeim нужны были мужья. Ева просто сильно пересидела. Выдавать ее нужно было во что бы то ни стало — на травяной улице сколько хочешь других девочек и девушек. Правда, улица всегда знала, что землестокожую Еву — кто ее возьмет, да и капитал папин был даже не двадцатый в округе.

Но есть все-таки Бог, и есть человек без желудка. Первый захотел, а второй похвально постарался и вознагражден был за это шестьдесятью рублями по нынешним деньгам.

В доме напротив, где молодым купили комнату у Клюковых, сильно заплошавших после революции, а прежде состоятельных мещан, остальные помещения были давно уже распроданы. Наверху, например, — тут было тоже свое «наверху», — жила Татьяна Туркина с маленьким сыном, но без мужа. Это была птица залетная. Она по-особенному одевалась, не опасалась ходить в манто и даже красила губы, хотя продажной не была, а работала в наркомате.

Еще жила там с мамой и бабушкой нежная девочка-старшеклассница. Стоило ей выйти на травяную улицу и направиться куда-нибудь, как из прекрасного дома на другой стороне улицы появлялся мальчик с голубым аккордеоном, садился на скамейку и, не обращая на девочку внимания, играл что-нибудь.

Левую — тыльную — часть жилья занимали замкнутая мать и замкнутая дочь Богдановы. Им принадлежал задний двор с небольшим вишневым садом.

...На ветках вишен бывают такие зевобразные трещины — у них вывернутые края, как, скажем, у раковины, и виднеется желтоватая интимная полоска изнанки. Из этих трещин появляются выпльвы, прозрачные и темноватые, похожие на смолу, — своеобразная вишен-

ная камедь. Когда такой выплыв попадает, его очень приятно отлепить от сизо-черной вишенной коры. Его можно и нужно жевать. Особенно в детстве, потому что слабый и странный вкус этой древесной капли только и можно счесть ощутимым и обильным в нежном возрасте. Семен помнил этот вкус и один раз принес Еве мутную вишенную мармеладку, но Ева сказала:

— Я не беру в рот неизвестно чего!

Семен не ожидал, что на этой улице почему-то съединится разорванная связь времен. Правда, он не знал такой категории, ее знаем мы, повествующие об одинокой Семеновой душе, но на травяной улице Семен почувствовал себя как дома. Вернее, почти как дома.

Поясним это: гармонический мир Семена прекраснейшим образом не удивился козе, привязанной к колышку в конце улицы; это было нормально — на травяной улице должна быть коза, но две коровы со своими хозяйками или мальчишки, поливавшие друг друга из оставшихся от «студебеккеров» насосов-огнетушителей, — эти оказались для Семенова инстинкта чем-то беспокойным. И подобные мелочи, совершенно не конкретизируемые его восприятием, самовольно подвигали Семена сохранять себя в одиночестве.

Каким вообще образом Семен получился Семеном? Трудно сказать. Это был очень редкий молодой человек. Он не только не умел отличить добро от зла, он просто не знал об их существовании, ибо не имел ни малейшей склонности к анализу событий или чьих-либо (включая свои) поступков. Ему повезло — его почти никогда всерьез не обижали, а те небольшие обиды, попользоваться которыми посчастливилось, не стали поводом для опыта, осторожности или осмотрительности.

Нельзя сказать, чтобы Семен легко сближался с людьми или, будучи благодушным, стал добродушным. Он был сам по себе. Но не от озлобления, не от желания уберечься, не от дурного характера. Он был одинок генетически да плюс к тому обречен на одиночество, силою обстоятельств оказавшись в заброшенном монастырьке под Пензой, где было ремесленное училище всего с десятью учениками и четырьмя взрослыми.

Монастырек располагался далеко от самой Пензы — ни страсти, ни влияния этого городишки до ребят, каких-то одинаковых по вялому темпераменту, не доходили; а учили их ремеслу люди тихие и добрые.

Вот почему Семен прожил детство и юность хоть и скудно, хоть и замкнуто, но зато безмятежно. Тощая еда, учение, самостоятельный ремонт ветхих помещений, огород для самопропитания, заготовка дров на долгую зиму — всем этим притормозилось даже возмужание мальчиков, и дьяволу в ремесленном училище, то есть в стенах монастырька, делать было нечего, а сладострастия и похоти негде да и не у кого было научиться. Шли, правда, кое-какие разговоры: например, если девушка позволит поцеловать себя в часы — значит, она согласна обниматься и прочее. Кое-что подросткам снилось, но все это было нормально, как дыхание.

Итак, Семен, не обученный почти никаким страстям, движущим

общество то ли вперед, то ли назад, что пока неясно, Богом все же кое на что был наставлен. Семен был расположен к красивому. Это не значит, что красивое он распознавал вопреки некрасивому. Не обученный предпочитать, он не предпочитал и первое второму, хотя все пять его чувств воспринимали из окружающего мира в первую очередь что по красивей.

Вот почему он не понял, что был куплен в мужья, вот почему совершенно не был обескуражен Евиной внешностью, вот почему не был осчастливлен мягкими стульями, трельяжем и диваном с полочкой, которые заимел в придачу к Еве. Вот почему не почувствовал изумления и осуждения, вызванных таким корыстным даже с точки зрения травяной улицы браком, и не расслышал, как однажды Ревекка Марковна сказала: «Примак с дырявой шляпой!» Ева, она-то расслышала.

Но, что ни говори, а он, что ни говорите, женился и стал жить вместе с женщиной, которая неделю в каждый месяц говорила: «Ко мне подходить сейчас нельзя!», и Семен не подходил. Зато в первый раз, когда они после свадьбы остались с Евой одни, он поцеловал Еву в часы ЗИФ, и это подействовало — подойти было можно.

Он женился и стал жить в одной комнате с другим человеком. Это ему совсем не мешало, потому что Семен, как оно и положено в общежитиях, сроду жил в комнатах с другими людьми, так что, заживши с Евой, особой перемены не заметил, как не заметил и отсутствовавшего девичества Евы, ибо просто не осведомлен о столь важном для человеческого самоощущения предмете, а если что и слышал, то пропустил мимо ушей или ничего не понял.

Не заметил он и Евиной злобы, хотя Ева была близка к отчаянию, не зная, как провести Семена. Она что-то там придумала, что-то очень древнее, как ее имя, и очень наивное, как наивность Семена, не обратившего на щепетильные подробности внимания, что еще больше остервенило Еву, расценившую это как безразличие к ней и к ее пусть поддельному, но целомудрию. Что же касается утраты истинного целомудрия, об этом Ева старалась не вспоминать.

Вот почему такое счастье, как покупка комнаты, раздражает и взвинчивает Еву — ведь комната куплена у Клюковых! — вот почему заботливые советы матери перед брачным жертвенником и неясность впечатлений Семена в ходе самого свершения бесят ее и делают все угрюмее, а выжидательное и ехидное поведение травяной улицы, которое Ева видит и чувствует, тоже радости не прибавляет.

И жизнь с мужем, который и моложе ее, и, как она считает, глупее, а так считают даже мать и сестра, начинается, в общем-то, сумеречно. Правда, травяная улица могла бы притерпеться к этому браку, забеременей Ева и роди ребенка, но Ева вдобавок и не беременеет, а это уже тридцать три несчастья.

А муж ее, частично обретя утраченную связь времен, по простодушию своему не замечает Евиных терзаний, однако замечает, что, когда Ева появляется в комнате, воздух без причины начинает пахнуть нашатырем, да и сама Ева так пахнет, а когда она при-

ходит из бани, куда отправляется с тазиком раз в месяц, то нашатырем пахнет слабее, хотя начинает шибать мочалом.

Семен живет спокойно. Ходит на предприятие. Носит воду из колонки к себе с Евой и «наверх». Носит дрова и к себе, и «наверх», а печку топит только у себя с Евой. По вечерам он вычитывает Еве из отрывного календаря разные важные вещи, а из двух оторванных уже листков, двух уплывших дней своей жизни, вырезает маленькими ножничками портреты Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, потом берет два блюда, кладет лицом на дно каждого блюда по портрету, а сверху заливает гипсом, который заранее принес с предприятия. А в гипсе пристраивает еще и петельки, сплетенные из ниток сорокового номера. Когда гипс затвердевает, Семен переворачивает блюда и, сперва постучав по их донышкам, открывает. Получается очень красивая вещь — с белых выпуклых кружков ласково смотрят вожди, и сразу уже петельки есть.

Еве тоже это нравится, и она позволяет Семену повесить красивые вещи возле трельяжа. И кто ни заходит — все удивляются.

Еще Семен читает Еве вырезку из газеты про великого одного артиста, который хотел от других артистов, чтобы на представлении все было, как настоящее; даже если понадобится, чтобы сапоги были хромовые — пусть шьют хромовые! Даже если надо, чтобы светила луна в небе, ее привозят из планетария.

Еще Семен уговаривает Еву поглядеть на сосну, одиноко стоящую на взгорке, мимо которого он два раза когда-то проезжал в парикмахерскую. Ева пошла, но всю дорогу была недовольна, потому что новые «лодочки» натерли ей кусок ноги, да и сосна — дерево как дерево.

Семен, любивший свою сосну, не огорчился, как не огорчался ни по какому поводу. Ему еще только предстояло привыкать огорчаться.

К сосне они с Евой ходили уже почти летом, а зимой ходили только в гости, да еще бывали «наверху» у родителей.

Каждый раз, собираясь в гости, Ева дожидалась темноты, потому что не стбит, чтобы вся улица видела ее котиковое манто, а в темноте можно пробраться незамеченной. Так поступали многие на этой улице — пробираясь по вечерам в гости в дорогих манто, чтобы те, у кого не было дорогих манто, не раздражались. Разумеется, конечно, если на дворе стояла зима.

В гостях у родителей было неплохо. Семен всякий раз смятенно терял голову, переступив порог комнаты, где сидели люди и на столе стояла красивая еда. Он, как тогда с церковью на горе, решал на мгновение, что пришел наконец в крайний от церкви дом, где его заждались, но сразу спохватывался, хотя в течение вечера что-то опять начинало щемить, возникая то ли в янтарных глазках бульона с вареной фасолью, то ли в серебряной покосившейся чарке, пахнувшей, если пить из нее, как сроду пахли рюмки из потемневшего серебра, а раз сроду — значит, и там, там — в крайнем доме...

Хотя Семен по несколько раз в день бывал «наверху», приходить в гости все же было чем-то совсем другим. Он заметил, что люди

в гостях требовательнее друг к другу, но по-особому, не по-каждодневному. Созильвовна снимала свою клопиного цвета шаль, но зато прицепляла брошку из слоновьего зуба — настоящего слоновьего! — на которой из настоящей золотой проволоки, на глаз — миллиметровой, были приклепаны две какие-то нерусские буквы.

Вообще вся семья сидела преображенная, и даже из-под пергаментной кожи их как бы уходила желтоватая водичка, зато лоснящиеся места после тарелки горячего бульона с мелкой белой фасолью, которая в зеленоватом бульоне была розоватой и легко выскакивала из своих скорлупок-рубашечек, отсвечивали сильнее.

Молчаливый отец наливал себе и Семену по чарке, они выпивали, а Созильвовна говорила дочери:

— Евка, если мы могли купить для тебя квартиру, то мы можем, чтобы ты хорошо питалась. Дай Семену тоже! Дай ему кныш...

А отец молчал, хотя, когда подносил к губам серебряную чарку, Семену казалось, что отец тоже слышит тот запах, а почему так казалось Семену, неясно.

Помалкивавший керосинщик, между прочим, раскладывал для сохранности мягких стульев на их сиденьях аккуратно вырезанные из оберточной бумаги квадраты. Бумаги такой в доме было полно, и Евина сестра Поля тоже не давала оберточной бумаге пропасть. Она складывала ее в длинные треугольники, а потом, вырезав ножницами несколько клочков в разных местах, разворачивала — и получались красивые, круглые, прямо кружевные салфетки. Семен всегда просил Полю вырезать что-нибудь и даже сам наладился было складывать и вырезать, но Ева вырвала у него из рук даже не начатую работу и крикнула: «Пусть это делают девочки!» — и ошеломленно замолчала, и побурела, и надулась.

...Вот сидит Ева с Райкой Клюковой лет двенадцать назад на пустой кухне. Они в последнее время очень задружили, тем более что в их подростковых жизнях одновременно появились женские новости. Вот сидят они с Райкой Клюковой, самостоятельной и решительной, выросшей в другом мире, хотя и на той же травяной улице, сидят и секретничают. Вдруг Райка краснеет как-то и не своим голосом предлагает Еве кое на что посмотреть. Потом берет кусок оберточной бумаги, в которой Евин отец принес из лавки свечи, берет кусок этой грубой волокнистой бумаги, быстро складывает в продолговатый треугольник, задрав юбку, садится на самый-самый уголок табуретки и на глазах тупо сосредоточившейся Евы засовывает странный треугольник куда-то меж покрытых гусиной кожей худых своих растопыренных ног...

С этого дня Ева начинает избегать Райку Клюкову, но уже через неделю осваивает манипуляции с оберточной бумагой, которые становятся тайным смыслом жизни и проклятием Евы. А с Райкой она старается не столкнуться на улице даже случайно...

В гостях было хорошо. Отец помалкивал, а Семен сообщал, что знаменитый человек Феррапонт Головатый, первым отдавший все свои сто тысяч государству, тоже вроде бы с тех же самых мест, чем

Семен очень гордился, но на керосинщика это никакого впечатления не производило. То ли разговор о больших деньгах, по той или иной причине переходящих в руки государства, казался ему неуместным, то ли еще что-нибудь, но он этой новостью не заинтересовывался.

Когда все, бывало, поедят, Семен брал скрипку — он ведь принес с собой скрипку! — и вставал, намереваясь поиграть.

Не будем бояться появления Семеновской скрипки — банального аксессуара в историях подобного рода. Ничего не поделаешь — Семен тоже играл на скрипке. Причем неумело и неуверенно, но играл. В основном — разные песни. Скрипка его откопалась в том же монастырьке среди недограбленного в свое время хлама. Откопалась вдруг скрипка, неизвестно кому принадлежавшая — может, регенту, а может, кому еще. Была она, конечно, не в порядке: что-то треснуло, что-то отклеилось, но Семен же недаром был модельщик — с фанерой и долбленным деревом работу знал, — он дал скрипке ремонт, и она, сперва дребезжавшая, заиграла, а Семен стал упражняться.

Семен играл, а Созильвовна тихо говорила:

— Ты, Евка, могла бы иметь принца или фотографа, но разве ты виновата, что не красила губы и не давала к себе притронуться?..

— Ти-и-ш-ша! — шипит Поля, а Семен играет...

Мы уже сказали, что Семенова эстетика охотнее избирала для неизощренных его чувств что получше. Семен не понимал, что своими инстинктивными пристрастиями, хотя и очень непривередливыми, разрушает свою безмятежность, как не знал и того, что в счастливой безмятежности находится. Взявшись когда-то за скрипку, он очень удивился возникновению звука: ведь это он, Семен, помог появиться этому звуку! Выучившись играть разные песни, Семен кроме факта звучания стал удивляться еще и факту мелодии, и тому, что он эту мелодию может сделать тихой и похожей на то, что возникает в нем от запаха потемневшей чарки, и позорно-громкой, словно смех девок на меже, когда он повязывал порванную веревкообразную сухую резинку поверх шаровар, чтобы не упали.

Семен играл для своих родственников недолго и немного — песни две, а потом пора было уходить, потому что у Евиного отца был геморрой и керосинщику предстоял мучительный процесс опорожнения, совершаемый над горшком с горячей водой.

Нужно было еще согреть воду на керосинке, потом остудить, потом подогреть на потом, прежде чем вечерняя жертва отчаянно застонет за занавеской в углу кухни, там, где доски пола неуместно и неудобно для ног покаты, — а что поделаешь, другого места нет, приходится упираться ступнями.

Семен с Евой уходили, а Ева на узкой, почти вертикальной лестнице, а потом, когда переходили улицу, а потом еще и дома вспоминала Семену разные примеры его неотесанного поведения в гостях.

Уже была в полном разгаре весна, даже, можно сказать, раннее лето. Семен пошел позавчера в отпуск и сидел дома у открытого

окна и глядел на травяную улицу, которую видел во всем ее летнем блеске, в общем-то, впервые.

Ева с утра ушла на работу. Между прочим, два ее института оказались курсами для счетоводов, и по окончании их она в какой-то промартели сортировала квитанции — вероятно, липовые. Евино недообразование, к слову сказать, считалось на травяной улице невозможным простолудинством, потому что второе поколение травяной улицы или вообще ничему не училось, или радовало своих родителей улучшением породы в высших учебных заведениях.

Итак, Семен сидел у окна и глядел на половину травяной улицы, слева, там, где колонка, отсекаемую от второй своей половины булыжным трактом, по краям которого к иколю образуется по щиколотку мягкой пыли. Справа улица утыкалась в бессмысленные угодыя колхоза имени Сталина, почему-то существовавшего тут.

Противоположную от Семена сторону улицы занимали семь домов со своими семью дворами; на Семеновой стороне дворов и домов было шесть. Напротив — у самого левого дома — забор был глухой и хороший; у следующего — забора не было, зато росли березы, обводимые вокруг двора большим, но еще молодым тополем; дальше — у дома Дариванны, где «наверху» жили Евины родители, забор был тоже хороший, сплошной, но сейчас он был в виде нехорошем — некому было дать ему ремонт; дальше — снова стоял дом без забора; потом хороший дом с кованой прямой оградой вместо забора; потом — без забора — барак; а дальше — отвратительное на вид жилище с поганым, сколоченным из горбыля штакетником, или, как говорили на травяной улице, «штахетами», на которых мелом было написано БОЛЯВЫЙ.

Вчера было воскресенье, и они с Евой ездили в гости в Малаховку, где Семен опозорил Еву, попросив добавку. Рассвирепевшая Ева за всю обратную дорогу не сказала ни слова, а поскольку к Еве уже пять дней все равно подходить было нельзя, Семен, не почитавши вслух перед сном отрывной календарь, так и заснул, давно уже привычный к телесному запаху Евиного нашатыря.

Сегодня Ева должна была еще пойти в баню, что делала, как известно, ежемесячно и всегда после того, как к ней нельзя было подходить. Она взяла с собой тазик, белье и поехала с работы на Ново-Алексеевскую, потому что ближайшая баня находилась именно там, возле кинотеатра «Диск».

Итак, Семен глядел на травяную улицу и видел траву, березы, небо над березами, белую козу возле кованого забора, взошедшую картошку на раскопанной уличной середке, верхушки яблонь за хорошим забором самого левого дома, людей в том же конце, подходивших к колонке и наполнявших ведра замечательной ее водой, холодной, шумящей и белой. Потом люди свои ведра уносили — некоторые женщины, чтобы не расплескать, медленно на коромыслах, прочие, если по одному ведру, покосившись набок, а если по два — осев и удлинив руки.

Была вторая половина дня. Коров, своей неуместностью несколько нарушавших Семеновы аналогии, с улицы увели, шел кое-какой

народ, в глубине четвертого, считая слева, двора два здоровенных парня играли в летнюю уже игру «расшибалку», которая доживала первую неделю своего сезона, а их младший брат увеличительным стеклом что-то выжигал на стене.

...В эту пору дня выжигается хуже, чем с утра, — солнце слабее. Но все равно под увеличительным стеклом, словно ослепительный, заселяется деталями кусок разогретой солнцем доски, когда-то давно крашенной жидкой краской за один раз, теперь обшарпанный, но все еще красноватый. Под наведенной линзой он сияюще освещается, становятся видны чешуйки краски в поперечных трещинах, заусенцы, на которых застряли или махрина, или прошлогодняя пушинка одуванчика, или нога косиножки, а то и совершенно целый, но сухой травяной комар. Отсветы от покачивающейся линзы ходят по этому миру туда-сюда, углубляя и уточняя его, а затем эти круглые отсветы равно распределяются в поле зрения, — рука берет расстояние, и на сухом, как сухарь, поле доски появляется крошечное ослепительное солнце; через две секунды из блистающей точки вытекает тонюсенький дымок, и пахнет — совсем недолго — разогретой краской. Хотите снова почувствовать этот запах? Подожгите спичкой краску на обычном карандаше... Но вот точечное солнце словно меркнет в дыму, и получается на доске выжженная точка, а на ней иногда — если передержать — крошечный язычок пламени. Дыму становится больше, он теперь синее, и струйка его шире; но тут, не дрожа рукой, надо медленно повести крошечное солнце дальше и, если хватит терпения, что-нибудь написать на горячее, с виду паршивой и старой доске халупки или сарая на задах крайнего от церкви дома...

Еще видит Семен голубей на голубятне, и хотя его пока что сбивают с толку прямизна короткой травяной улицы, непривычный барак, кованный забор, неправильно одетые люди, колонка с замечательной водой, однако, белая коза, однако угадываемая под рукой у мальчишки струйка дыма, одинокий пузатый человек, стоящий в свободное время на углу, сложа на верху своего округлого живота руки, — все это обременяет душу Семена не скажем, что тоской, но одиночеством.

Как же так получилось, что он попал именно сюда, а между тем словно бы попал туда, хотя туда не попасть? И почему так получилось, что он попал почти туда? Почти...

Мимо окна проходит нежная старшеклассница, его соседка, направляясь к подруге в крайний справа дом с паршивым штакетником, и — сразу же — из дома напротив появляется мальчик с голубым аккордеоном и пренебрежительно принимается играть песню «Темная ночь». Воодушевленный знакомой музыкой, Семен берет свою скрипку и, встав у открытого окна, начинает подыгрывать мальчику с голубым аккордеоном. Услышав благородные звуки, каких никогда на травяной улице не слыхали, удивленный и уязвленный мальчик замирает, потом сдавливает растянутые мехи, отчего из выпускного клапана и прорванного уголка мехов шумно выходит воздух, и уходит в дом — потому что он очень самолюбивый мальчик.

А Семен, с самолюбием дела не имевший, играет еще два куплета, а потом начинает играть «Марш Буденного». Он не замечает, что травяная улица быстро преобразуется, ибо сроду не видала и не слыхала, чтобы человек стоял в окне и играл на скрипке.

Люди, какие были, как бы расходятся по домам или просто куда-то деваются, игравшие в «расшибалку» садятся в глубине своего двора на скамейку, и все вокруг словно бы конфузится, словно бы испытывает неловкость за такое нелепое поведение человека. В домах за занавесками, повернувшись ухом к окну, стоят женщины и удивляются: вот как успела эта Ева — он еще и на скрипке играет, но дурак есть дурак, стоит у открытого окна и играет.

Семен доигрывает «Марш Буденного», а потом начинает свою самую любимую, которую играет очень редко, потому что песня эта невыносима, нестерпима даже для его безмятежного сердца. Он начинает, и песня получается как никогда хорошо-хорошо. Как раз из-за угла дома появляется собравшаяся куда-то, похожая на артистку Татьяна Туркина. Она останавливается перед стоящим в окне Семеном и спрашивает:

— Что это вы играете, такое приятное?

— «Ой-ой, купите папиросы!» — говорит Семен и, глядя в красивые глаза Татьяны Туркиной, добавляет: — Песню такую одну...

А песня эта, такая одна, захватывает Семена настолько, что горло ему вдруг стискивает страшная сила, а ровная линия домов перед глазами изламывается, земля под домами вздувается горой, и наверху этой горы из материализовавшейся струйки дыма вот-вот возникнет церковь. Вот-вот и домики столбятся по склону, березы исчезнут, а домики побуреют, а воротца их посереют, а пузатый человек, стоящий на углу, вытянется в черного, бородатого и тощего.

«Поглядите — ноги мои босы...» — играет Семен, и возникшее видение чуть-чуть тускнеет, потому что здравый смысл Семена быстро учитывает требования великого артиста, желавшего, чтобы все было взаправду; и Семен, уже изъездивший смычком свою одинокую невинную душу, зачем-то скидывает, продолжая играть, обувь и продолжает играть босиком, и на снова определившейся горе возникает не только церковь, но — Господи! — и крайний дом, крайний дом — ну, Господи Боже ты мой! ну, Боже ты мой! — ну ждут же, ждут же, давно его ждут! И стоит босиком, и играет — поглядите — ноги мои босы — Господи Боже ты мой...

Татьяна Туркина, положив со стороны улицы руки на подоконник, слушает, закрыв прекрасные глаза, а со стороны колхоза имени Сталина на улицу входит усталая после бани Ева. Она видит у своего окна Татьяну Туркину, она видит стоящего в проеме этого окна и не замечающего ничего в своем визионерском забытии Семени. Ева идет с тазиком из бани. Ева уже понимает, какую глупость делает этот идиот, играя в открытом окне на всю улицу; и дело даже не в этой цыпе-дрипе из наркомата, хотя и в ней тоже дело.

Ева переходит травяную улицу напротив своего дома... Ой-ой, купите папиросы, подходи, солдаты и матросы... Ева не солдат и не матрос, но она подходит к своему дому, всходит на крыльцо... Ой, купите, не жалейте, сироту меня согрейте... Ева входит в дверь, неповоротливо протискиваясь с банной котомкой и эмалированным тазом за спиной Семена...

— Здравствуй, Ева! Спасибо, Семен. До свидания! — говорит Татьяна, и голова ее исчезает за подоконником, где в то же мгновение улетает с дымом гора, так и не закаятая Семеном остаться стоять и стоять.

— Почему это? — говорит Ева, увидев, что Семен стоит босиком возле своих полботинок. Водичка под ее кожей то сереет, то буреет. — Босый перед всей улицей? — шепчет она скомканным горлом. — Зачем? — Потом берет с трельяжа кусок бесценной канифоли и, когда он разлетается у ног Семена в сахарные брызги, говорит, хрипя:

— И такое габдо мы пустили в дом! Уходи отсюда вон!

И вот Семен видит, как за Евой захлопывается дверь, но, потрясенный ее словами, за ней не идет, а начинает собирать с пола сахарные брызги и желтоватые крошки в пустую коробочку из-под гуталина. Потом искать становится труднее, начинаются сумерки, и Семен на спичке сплавляет в коробочке янтарную слезу; затем, опомнившись, отправляется к родителям «наверх», но там двери заперты, и вода у дверей кем-то принесена, и он идет по траве обратно, и он — уходи отсюда вон! — не знает, что делать, и ложится лицом вниз — уходи отсюда вон! — а диван клеенчатый и скользкий — уходи! — куда уходить?.. И он не знает, что делать со своей обидой — вон! — потому что, потому что это первая его обида — они пустили в дом! — а что такое первая обида, знают все, кроме него, а он узнал только что — уходи отсюда! как это? — он же вот-вот и превратил бы травяную улицу в горбатую гору с домиками, а теперь — уходи отсюда! — он бы оставил эту гору стоять... стоять... стоять... и крайний от церкви дом, где его давно ждут... И он начинает плакать в этих сумерках. Плакать он начинает, вот что. Плачет наш Семен, плачет наш Семенчик. Не плачь, Семенчик, а то коза забодает! Забодает коза тебя, Семенчик, мальчик мой...

И не знает он, что сиротский плач его, что его непоправимая наивность и ненужность, его чудеса в коробочке, его красоты безобразного, его смычок — кривая сабля народа, которая не только не способна с широких плеч отсечь голову татарину, но за пару тысячелетий так и не смогла перепилить свои жалкие скрипочки, всегда оставаясь на первом же стоне своей жертвы, недоубивая ее, зато истязая и доводя до плача; не знает он, что сиротский плач его уже остановлен в пространстве и во времени, зафиксированы банальные скрипачи, химерические невесты и травяные улицы. Не знает он о сиротских плачах полубанального творца этих чудес, о котором здесь, на здешней травяной улице, никто даже слыхом не слы-

хивал, а услышит разве что когда-нибудь только мальчик с голубым аккордеоном и то, если не помрет в своих больницах и не зачитается химерами из жития Феропонта Головатого; не знает он, что этот художник уже исторг из себя все, что неисторжимо и нерасторжимо, плюс себя самого и его самого, и по-сиротски плакал этот художник, каждый раз плакал и не мог заплакаться, пока не уложил на травяной улице меж домов покойника, и тогда сразу же отрывал по всему. А Семен наш плачет и не знает, что покойник уже провиден, проречен художником, победоносно шлифующим эспланады черт его знает где.

1979

Надежда ГРИГОРЬЕВА

Фарисеи

Фарисеи правду говорят.
Новое доходное занятие.
Дни и ночи говорят подряд
И друг другу падают в объятья.

От своих речей пьяным-пьяны
Слаще, чем от вин и революций,
Пропивают заново сыны
Родины последнюю валюту.

В правде ездят, как в ночном такси,
Из нее едят на кухнях модных,
В ней фигуру кажут, как в джерси,
Как со шлюхой, спят поочередно.

А она слабеет с каждым днем,
Все короче юбочка из ситца.
И уже чахоточным огнем
Начинает личико светиться.

* * *

Я суетности больше не боюсь.
Что мне ее лавсановые сети?
Как в гамаках, качаются в них дети —
Я к ним охотно присоединюсь.
Как не постигнуть истины простой —
Что суетны сраженья с суетой?!

* * *

Наши мальчики сходят с ума.
Наши реки встают на дыбы.
Снег в живые влетает дома..
Нам ни выбора нет, ни судьбы.
Отражается снег в зеркалах,
Как сугробы, подушки белы.
Сколько каждым наставлено плах.
Как ничтожны они и малы.
Ходим в гости мы, ходим в дома,
Где нам чай подают ледяной.

Наши мальчики сходят с ума.
Все им чудится снег за спиной.

Неосторожный шепот

Утром слегка задымленным
Чутко ли спится?
Где ты машину оставил,
Длинноресничный?

Курточка не «Москвошвея»
Джинсами смята.
Ты и во сне, все бледнея,
Гонишь куда-то.

Мимо так быстро мелькают
Площади, лица.
Бедный мой, надо на время
Остановиться.

Зренья во тьме не жалея,
Может быть, зорко
Кто-то следит за твоею
Красной «шестеркой».

Шинами резво оставишь
Ветреный вензель
И унесешься по трассе,
Бешено весел.

Скоро придет пробужденье,
Только на грани
Света и ночи прошедшей
Нет расставанья.

Слабо скользнула по скулам
Нежная тайна.
Спи, уже утро блеснуло,
Брат мой случайный.

Будут глаза на рассвете
Трезвы и строги.
И на работу подбросишь —
Ведь по дороге.

Руку потреплешь ладонью,
Чуть улыбнешься.
Выжмешь педаль и на взгляд мой
Не обернешься.

* * *

Мы говорим с тобой на разных,
На чуждых языках,
Друг другу, в общем-то, неясных,
Как будто день впотьмах.
Мне нравится лихой и юный
Жаргон веселый твой.
Он бойкий друг твоей фортуны,
А для меня — чужой.
Как резкие удары света,
Твои слова смелы.
Но натыкаюсь на предметы
И острые углы.
Пусть говорю о том впустую,
И даром всё, и зря.
Сквозь день к тебе бреду вслепую,
И нет поводыря.

* * *

Эти дни идут на слом,
Ведь в наплыве снеговом
Там, за Киевским вокзалом,
Возвышается твой дом.

В час, когда луна горит,
Комната твоя — магнит,
В ней коллекция машинок,
Собранных тобой, стоит.

Верно, нет меня странней,
Если нежность даже к ней,
Оттого, что ты касался
Их не раз рукой своей.

Не велик он и не мал
Комнаты твоей пенал,
На столе кривой будильник,
Чтобы утром не проспал.

На проспект глядит окно,
Не зашторено оно.
Здесь меня все вещи помнят,
Шепчутся о нас давно.

Злой, упрямый и шальной,
Ветреный ребенок мой,
Высвечен сияньем звездным
Твой беспечный путь ночной.

Этот редкий твой ночлег,
Не приподнимая век,
Сквозь пространство городское
Вижу, вижу через снег.

Там, где была война

(из записок корреспондента)

В 1943 году в селе Красное наша дивизия — не вся, конечно, а только батальон капитана Даниленкова — держала оборону. Я вернулся сюда через четырнадцать лет — в пятьдесят седьмом, по командировке «Нового мира». Тогда еще часто писали очерки на тему «Там, где была война».

Секретарь райкома, узнав, что я собираюсь в Красное, раздраженно спросил:

— На перевыборное? Не советую. Не типично для района. — Не дав мне ответить, повысил голос: — Я вам категорически не советую туда ехать! — И тут осекся, понял, что перебрал, махнул рукой и заключил: — Езжайте, куда хотите!

В Москве я понятия не имел о перевыборном. О нем обмолвились вчера вечером в Доме колхозника представители министерства сельского хозяйства. Их было трое, они прибыли на своем автобусе, чтобы сегодня отправиться в Красное, и обещали захватить меня с собой. Когда я вернулся из райкома, двое уже были при параде: в высоких белых бурках, отороченных коричневой кожей, в белых полушубках и пушистых шапках-ушанках. На дворе завывал и пронизывал до костей сырой февраль, ну а в такой экипировке не страшно податься и к белым медведям. Третий представитель замешкался, обвязывая поясницу шерстяным платком, чтобы не схватить радикулит. Из-за платка никак не сходились брюки, и он жаловался:

— Напрасно Никита Сергеевич так обращается с кадрами. Разогнал нас по всей стране. Подумаешь, невидаль какая — перевыборное! — Наконец он управился с брюками, сунул ноги в бурки, влез в полушубок, нахлобучил шапку и предложил: — Посидим на дорожку.

Все трое опустили на свои койки, будто и впрямь предстояла дальняя дорога, а ехать всего было двадцать пять километров по большаку и в сторону километра полтора.

У подъезда нас ждал автобус. Там к нам присоединился секретарь райкома. Кто-то сунулся было к шоферу спросить, куда едем, не подвезем ли, но тот даже ответом не удостоил, рванул автобус. Знакомая картина: одни безропотно отступают, другие проклинают вслед.

Большак раскис, встречные машины немилосердно выстреливали в нас зарядами грязи. По стеклу, как шрапнель, стучали брызги; невольно отваливаешься от стекла. Никогда так шикарно, с комфортом, не добирался на передовую. Да и надобности не было. Наша редакция дивизионки «Под знаменем Сталина» находилась в трех километрах от всех трех полков, в деревне Дубки. Деревня эта от боль-

шака по правую руку, а село Красное по левую. Там церковь, ее с большака будет видно, если еще цела. Уже в войну в ней не оставалось никакого церковного убранства: голые закопченные стены, замызганный пол. Немцы, отступая, обезглавили ее, чтобы наши не устроили на колокольне наблюдательный пункт. Сама церковь устояла. Капитан Даниленков расположил там свой штаб, решив перехитрить немцев. В самом деле, какой чудак будет жить в пристрелянном объекте? Похоже, Даниленков и вправду перехитрил: первые дни немцы еще шарахали по церкви, но не больно-то прицельно, а больше для порядка, потом и вовсе забыли о ней. Замполит Андриасов проводил там политзанятия, дивизионный ансамбль песни пел и танцевал. Медсестра Аня Солуянова кружила солдатские головы томным романсом: «Я понял все — я был не нужен...» Лейтенант-артиллерист Безносик заливался тенором: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы женьбы...» И не дожил — убили. И Аню убили. У меня хранится ее записка со словами романса: «...остались в сердце хлад и стужа...» Отдавая записку, Аня сказала: «Возьми на память мой почерк».

Капитана Даниленкова тоже убили. Его первым опустили в братскую могилу на сельском кладбище возле церкви. Последний раз я видел его живым накануне боя. Застал не в настроении: кружил по церкви — благо не блиндаж, есть где разгуляться — и дымил самокруткой. Высокий, тощий, с аккуратными рыжеватыми усиками. Он рассказал, что звонил старший лейтенант из особого отдела и велел не отлучаться — разговор есть. Фамилию его я не помню, а может, и не знал никогда. Его иначе как особистом не величали. Даниленков ненавидел особиста, казалось, больше немцев, за то, что тот убил пожилого солдата Петровичева (его усеченно звали Петрович) на десять лет в лагеря «за антисоветскую агитацию». А сказал Петровичев всего-то, что у них в колхозе жилось плохо, копейки получали на трудодень... Он начинал войну под Смоленском, был ранен, вернулся в строй под Москвой, дошел до села Красное, откуда был родом, — и такое бывало. И надо же, именно здесь попал в руки особиста и под трибунал.

Даниленков ходил, упрасивал отпустить солдата, убеждал, что Петрович хороший, надежный боец, награжден медалью «За отвагу» и что он, Даниленков, ручается за него. В ответ старший лейтенант накричал на капитана:

— Контра твой Петрович, и не суйся не в свое дело!

Я был на том трибунале. У них сократили двух штатных заседателей, и теперь приходилось приглашать заседать кого-нибудь из тыловых служб дивизии.

— Иди, — сказал мне редактор. — Там все по-быстрому. Скоро вернешься?

Я спросил, почему именно мне идти.

— Председатель просил тебя прислать. Его и спрашивай.

Там, и верно, все было по-быстрому.

Председатель разъяснил нам, новичкам-заседателям, наши права: имеем право задавать подсудимому вопросы, а если не будем согласны с приговором, можем воспользоваться правом на особое мнение.

Его ввели без ремня и хлястика. Я пытался вспомнить, видел ли я его прежде? Может, и видел, и даже разговаривал. Всех не помнишь.

Председатель зачитал обвинительное заключение. Оно было кратким: вел антисоветские разговоры — говорил, что в колхозе жилось плохо... Статья 58, пункт 10.

На вопрос, признает ли подсудимый себя виновным, Петрович ответил:

— Нет.

— Как нет? Говорил, что в колхозе жилось плохо?

— Говорил.

— Говорил, что копейки платили на трудовень?

— Говорил.

— Значит, вел антисоветскую агитацию, да еще в боевой обстановке, а говоришь — не виноват.

— Не виноват, — повторил Петровичев. — Я правду говорил... платили копейки.

Председатель повернул голову ко мне, потом ко второму заседателю, осведомился, есть ли у нас вопросы к подсудимому, и сам же ответил за нас: «Нет, нет». И объявил, что суд удаляется для вынесения приговора.

Удалили Петровича, а мы остались.

Председатель вынул из «дела» заготовленный машинописный приговор: десять лет тюремного заключения с пребыванием в лагере.

Снова голова председателя повернулась ко мне, потом ко второму заседателю с вопросом: есть ли другое мнение, и опять он сам же и ответил за нас: «Нет, нет». И тогда я сказал, что не могу согласиться со столь тяжким наказанием — человек просто поделился житембытьем. Напомнил о медали «За отвагу», которой солдат был награжден.

Председатель с удивлением смотрел на меня. И чем больше смотрел, тем больше удивлялся.

— Да ладно тебе, — сказал второй заседатель. — Мало ли как жилось. На войне о другом думать надо.

— Совершенно справедливо, — согласился с ним председатель. — Мы судим его не за житембытье в колхозе, как ты изволил выразиться, а за то, что он об этом житембытье говорил в боевой обстановке.

— А может, и клепал, — сказал второй заседатель.

— Может, и клепал, хотя я допускаю, что хозяйство могло быть нерадивым.

Я понял, что судьба Петровичева решена, и все-таки сказал, что хочу воспользоваться правом на особое мнение.

Председатель не на шутку рассердился:

— Считай, что ты им уже воспользовался, — и, пресекая дальнейшую дискуссию, протянул мне ручку, предварительно обмакнув перо в чернильницу, пальцем указал, где надо расписаться.

Ручку я взял, но расписываться медлил.

— Расписывайся! — повторил он. — Не дури!

Я расписался.

Все было кончено: Петровича привели, зачитали приговор, увели. Председатель попросил меня задержаться. Мы остались вдвоем.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Какое это имеет значение? Двадцать четыре.

— Пора повзрослеть... Не моя инициатива была звать тебя. Один человек присоветовал. — Он дружелюбно хлопнул меня по плечу. — Даю слово, больше не позову.

Я ушел, не спросив, кто ему «присоветовал». Пропавши все пропадом! Зачем дал себя уговорить? Зачем сдался? Пусть бы солдату не помогло, а написать надо было, что не согласен. А вот не решился.

Слово председатель сдержал: больше не звал. И на том спасибо.

Я рассказал Даниленкову и Андриасову про трибунал, пожаловался на себя, что не воспользовался правом на особое мнение. Дал, мол, уговорить себя.

— Сказать — сказал, а настоять на своем не сумел. Не решился.

На это Андриасов ответил:

— Как мертвому припарки помогло бы Петровичу твое особое мнение. Особисту бы работенку подкинул — подбирать на тебя материалчик.

Даниленков махнул рукой и проворчал:

— Не решился... скажи — струсил.

В этот последний вечер его жизни особист явился с разносом. Прямо с порога начал:

— Это что ж такое? У вас тут предсказатели объявились. Одному солдату предсказали, что его наверняка убьют.

Капитану бы смолчать, а он в открытую:

— На передовой свои законы.

— Ты на что намекаешь?

— Распознали твоего стукача.

— Думай, что говоришь!

— Может, опять кого выхватить пришел? Не отдам. У меня каждый человек на вес золота.

— Я не меньше твоего отвечаю за успех боя. — Он повернулся к Андриасову: — Ты что молчишь, замполит? Что думаешь?

— Я, дорогой, думаю, как бы завтра у немцев высотку отбить.

Примирительный тон его не остановил Даниленкова. Он сказал особисту:

— У нас во второй роте молоденький, необстрелянный взводный. Помогли ему завтра людей в атаку поднять. Личный счет по настоящему врагу откроешь.

— Ты на что намекаешь?

— Тебе даже Бог не простит Петровича.

— Ты что, в Бога веришь?

— А как же, живу в церкви. Божья обитель.

Прежде чем уйти, старший лейтенант просверлил Даниленкова долгим злым взглядом и сказал:

— Ненашенские у тебя усики. — И ушел.

Замполит налетел на капитана:

— И чего ты с ним в полемику вступаешь? Для него Петрович был находкой. Он мне сообщил, что пришел арестовать его, а сам улыбается.

— Сволочь.

— Инструкцию выполняет.

— Я знаю, что там вон, на высотке, враг. Знаю, что с ним надо делать. А как с этой сволочью быть? Вроде бы свой.

Андриасов сокрушался:

— Упечет он тебя. Таких еще статей навешает.

Может, так бы оно и случилось. Не успел. Хоронили Даниленкова и солдат его батальона, когда уже смеркалось. Хоронили без гробов, в плащ-палатках. Могилу вырыли большую, чтоб всем свободно лежать. Целое отделение отрядили копать. Андриасов сказал прощальное слово. Первым опустили в могилу капитана. Потом его солдат. Бросили по горсти земли. Отгремел ружейный залп. В ход пошли лопаты. И вот уже вырос холмик. Поставили столб со звездочкой. На столбе имена похороненных.

Мы с Андриасовым побрели в церковь.

Невесть откуда появился особист. Пошел рядом.

— А все-таки у Даниленкова ненашенские были усики, — сказал он.

Андриасов остановился, с испугом уставился на него.

— Ты чего смотришь?

— Я очень тебя прошу, дорогой, уходи отсюда.

— Легче на поворотах.

— Ты прости меня, но чтоб глаза мои тебя здесь больше не видели. И запомни, повторять не стану.

— Ладно, потом поговорим, — струхнул старший лейтенант и пошел прочь.

Слово «ненашенские» я услышал и от своего редактора дивизионки. В моем вещмешке лежал сборник стихов Пастернака — подарок погибшего друга. Однажды сборник пропал.

— Не ищи, — сказал редактор, — я им печку растопил. Полистал, смотрю — ненашенские, ни черта не понять, а я за твой моральный облик отвечаю. Работаешь в газете «Под знаменем Сталина». Сам-то чего стихи не пишешь? Говорил, учился в Литературном институте?

Я ответил, что учился на отделении прозы.

— Прозу мы все можем.

Вскоре после этого разговора я встретил особиста.

— Стой, спросить хочу, — остановил он меня. — Я слышал, редактор пожег твою книгу. Какого-то Пастера.

— Пастернака, — поправил я.

— Редактор говорит — ненашенская. Откуда она у тебя?

— Приятель подарил.

— Какой приятель? Фамилия?

— Погиб он.

— Зря пожег редактор, дал бы мне ознакомиться... Между прочим, это я сказал в трибунале, чтобы тебя позвали. Теперь сам уви-

дел, какого гада Даниленков защищал. Ему, гаду, еще повезло. Другие в атаку пойдут, а он в лагере отсидится... Так что привыкай. За тобой тоже кой-какие грешки числятся... Шагай, еще поговорим.

«Грешки» за мной, и верно, числились. Меня прислали в дивизионную газету из армейской перевоспитываться, поближе к передовой. Началось все с комсомольского собрания. Двое наших сотрудников ушли в самоволку. С одним из них я учился в Литературном институте, мы с ним добровольцами вступили в истребительный батальон, потом попали в армейскую газету. До Москвы было рукой подать, вот и рванул — так хотелось побывать дома. Я тоже собирался в эту самоволку, да Бог уберег. Словом, я голосовал против исключения своего товарища из комсомола. Я говорил, что на фронт мы ушли добровольцами, толком не знали устав; мы не знали, что три дня в бегах на войне приравниваются к дезертирству. Потом был трибунал и высшая мера, но Москва не утвердила приговор, заменила десятью годами с пребыванием на передовой. Я не называю фамилию своего товарища. Он дважды был ранен, один раз тяжело, награжден орденами и медалями. Он и поныне здравствует и, если захочет, пусть сам расскажет о своих злоключениях. Я же попал в дивизионку перевоспитываться.

Начальник политотдела дивизии, к которому я пришел представляться, сначала напомнил мне о комсомольском собрании, затем сказал:

— Постарайся осознать свой поступок. Меняй облик.

Вот я и осознал: расписался под приговором ни в чем не повинному Петровичу.

О своем «моральном облике» я и потом слышал. В сорок восьмом году критика обвинила меня в том, что в своей повести «Редакция», опубликованной в журнале «Знамя», я исказил облик советского человека на войне. Тогда я не был еще членом Союза писателей, и такие, как я, бедолаги, кормившиеся литературным трудом, состояли (и иные состоят) в профкомах литераторов, где выдавались справки для милиции, что ты не тунеядец. На одном из собраний профкома мне вынесли выговор за то, что я отошел от соцреализма. Тем временем критика нарастала. Подоспело постановление ЦК о журнале «Знамя» (январь 1949 г.). В нем говорилось:

«Крупной ошибкой журнала является опубликование повести Н. Мельникова (Мельмана) «Редакция», в которой работники нашей фронтовой печати изображены либо тупицами и чванливыми самодурами, либо серенькими, неприметными людьми, совершенно равнодушными к своему делу. Вместе с тем в повести возвеличен образ военного преступника. Изобразив понесенное им справедливое наказание как незаслуженную кару, автор окружает его ореолом героизма».

Досталось в этом постановлении и Э. Казакевичу: «В повести Э. Казакевича «Двое в степи» подробно расписываются переживания человека, приговоренного к расстрелу за нарушение воинского долга...» Снова собрание профкома. Теперь уже шел разговор о моем исключении. Один мой сокурсник по Литинституту сказал, что еще до

войны мой моральный облик был не на высоте, потому как я находился под влиянием Пруста.

— Я не читал Пруста, — отбивался я.

— Все равно находился!

— Он еще и врет!

Другой мой сокурсник обвинил меня в том, что я обучал его «подтексту». Тут уж поднялся настоящий ор:

— Иуда!

— Гнать его!

Поднялся лес рук, изгонявших меня из профсоюза. Иные прятались за спины других, чтобы не встретиться со мной глазами.

Я решил ехать перевоспитываться в газету на остров Диксон. Медкомиссия признала годным, а политуправление Главсевморпути не пропустило. Там сказали:

— Какая гарантия, что вы не исказите облик советского человека на острове Диксон?..

Вскоре после смерти Сталина меня восстановили в профкоме литераторов. Одна дама возмущалась: чьи грязные руки изгнали молодого писателя из профсоюза? Я бы мог сказать ей: и ваша рука в том числе, — но ничего не сказал. Уже тогда я понял, что несколько не лучше тех, кто изгонял меня из профсоюза. Поставил же я свою подпись под приговором, отсылавшим человека на десять лет в лагерь. Это куда страшнее, чем быть изгнанным из профсоюза.

Совесть изворотлива и снисходительна, я и сам себе подкидывал оправдания: сопротивляться, мол, было бесполезно, таковы, мол, были обстоятельства. Обстоятельства действительно были плохие, но ведь они не вечная данность, как небо или земля. Обстоятельства не от Бога, а от людей.

По прошествии лет мне даже стало казаться, что тогда, в трибунале, я все-таки воспользовался правом на особое мнение. Человеку свойственно казаться себе лучше, чем он есть, хотя бы для того, чтобы иметь право осуждать других. Я настолько уверовал в свое особое мнение, что, рассказывая разным людям о трибунале, не забывал упомянуть об этом. Не сомневаюсь, что из вежливости, но никто меня особенно и не спрашивал, что да как было, а кто-то, может, думал, что я присочинил свое особое мнение задним числом.

На XX съезд партии приехал старый большевик С. И. Кавтарадзе. Он прошел тюремные мытарства, но ему повезло: остался жив. Мы были хорошо знакомы, и я спросил его, не помнит ли он, когда впервые он поднял руку «за», а был против.

— Уже не помню, — признался он. — По-видимому, это был невинный компромисс. — И, подумав, добавил: — А кончилось трагедией...

Наш автобус проскочил поворот на Красное, и я остановил шофера.

— Вы что, бывали здесь? — спросил секретарь.

— На войне.

— Вот оно что... А я задумался и не заметил поворота.

Шофер, прежде чем подать автобус назад, пошел поглядеть до-рогу. Мог бы и не глядеть: ее перепахали трактора, сплошное меси-во — рыжая глина вперемешку со снегом.

Шофер потоптался у дороги и вернулся.

— Не проедем.

— Может, проскочим? Попробуй.

Шофер пожал плечами, подал автобус назад, съехал с большака и поплыл.

— Прижимайся к стерне, — сказал секретарь шоферу.

— Да нешто разберешь, где что!

Недолго автобус плыл, переваливаясь с боку на бок, скоро сел по самое брюхо.

— Все, — сказал шофер и выключил двигатель.

Представители заскучали. Прощай, белые бурочки. Секретарь и я в кирзовых сапогах, нам сам черт не страшен.

— Пошли, товарищи, — сказал секретарь, — нас ждут. — И пер-вый шагнул в рыжую бездну.

— А мне что делать? — спросил шофер.

— Здесь трактора ходят, помогут, вытащат, — сказал секре-тарь. — Жди на большаке.

Ветер с изморозью резанул по глазам. Сапоги то хлюпали, то проваливались, того и гляди останешься без них. В войну за такую фронттовую дорожку проклинали Гитлера. Именно здесь, между боль-шаком и селом Красным, за мной гонялся немецкий истребитель, заставил плюхнуться в грязь, строчил из пулемета, а улетаая, по-махал крыльями, каналья. На мне была плащ-палатка, с нее лило в три рыжих ручья. Тут как раз «эмка» комдива остановилась.

— Кто такой?

Я ответил.

— Ты в каком виде ходишь? Передай редактору, что я дал те-бе трое суток.

Я не стал оправдываться, докладывать о своем унижительном «единоборстве» с немецким истребителем. Повторил приказание, взял под козырек.

— Ну и вид, — подхалимски поддакнул адъютант комдива.

«Эмка» укатила.

Ничего я не передал редактору. Пронесло.

Страсть как любят у нас проявлять власть. Сдалась комдиву моя плащ-палатка, ведь не нарочно я вывалялся в грязи. На что редакто-ру сдался мой сборник стихов Пастернака? Так нет, раз ни черта не понял в этих стихах — значит, ненашенские. Кто посмел говорить вслух, что в колхозе копейки платили на трудовень? Ну и пошел по этапу в лагерь на десять лет...

Не ждал, не гадал, не думал, что сегодня увижу Петровича...

У первого дома стайка мальчишек — дозорных. Завидев началь-ство, мальчишки кинулись по улице, оставив одного проводить нас до места. А место это — все та же обезглавленная церковь. Жива. С большака я не углядел ее за пеленой снега с дождем. У входа топтался, покуривал народ. Поглазели на нас, побросали папироски,

подались внутрь. Над дверью прибита фанера, на ней большими черными буквами выведено: КЛУБ. Возле входа кадушка с водой, дырявое корыто, тощий веник. Представители министерства посбивали комки глины с бывших белых, ставших грязно-коричневыми бурок и пошли дальше. Мы же с секретарем потрудились веником на совесть.

На встретил монотонный гул голосов. Под сводом прибита доска, с которой спускался шнур с лампочкой. Почти все церковное пространство занимали ряды скамеек с узким проходом к столу президиума. Еще проход у стены слева, по нему я пробрался в угол, там потеснились, дав и мне сесть.

Секретарь с представителями прошли за стол президиума. Позади него, как громадная черная птица, распластался рояль. Как он залетел сюда? Впрочем, клуб. Положено.

Стол президиума покрыт кумачовой скатертью. Графин с водой, граненый стакан.

Люди, видать, давно собралась, разомлели, снимали ватники, пальто. Было от чего разомлеть — кирпичная печурка натоплена докрасна. При печурке старичок в ватнике облокотился на кочергу. Жара ему нипочем. У стены поленница из мелких дровишек.

Ко мне протянулась ладонь со словами:

— Будем знакомы — Силантьев Иван Тимофеевич.

Иван Тимофеевич пожилой, крепенький, с седыми жидковатыми волосами, выбритый до синего глянца. Ватник скинул, на лацкане пиджака орден Трудового Красного Знамени. Он оказался бывшим председателем колхоза, «отлученным» за отсутствие образования. Сказал Иван Тимофеевич про это, посмеиваясь не то над собой, не то над теми, кто его «отлучил». Осведомился и обо мне: откуда и зачем прибыл.

За столом президиума на отшибе сидел молодой мужчина в темной пиджачной паре, в белой рубашке, с распаренным красным лицом. Как из бани вышел. Иван Тимофеевич, указав на него, не без злорадства информировал:

— Теперешний председатель. Васьков. Всего год как привезли из района.

Наконец секретарь решил, что пора начинать.

— Ты отчетный доклад подготовил? — спросил он Васькова.

— Не успел.

— Чего ему отчитываться? — съязвил чей-то бабий голос. — Он в городе жил, к нам приезжал гулять.

Другой женский голос добавил:

— Он, как его выбрали, так на другой день по селу в одном исподнем ползал. С тех пор и не прыскает.

Иван Тимофеевич не упустил и свое слово вставить:

— Рожденный ползать летать не может!

Секретарь постучал карандашом по графину.

— Товарищи, объявляю собрание открытым... Всю ответственность за Васькова я беру на себя. Это я его привез к вам. Это я всучил вам этот облик.

Господи, опять облик!.. А облик не мог рук удержать — дрожали. Выпить до собрания не решился, а страсть как требовалось.

— Дорогие товарищи! — продолжал секретарь, но его перебили:

— Какие мы тебе дорогие? Не хотели твоего алкаша выбирать, а ты заставил. Пять раз заставлял голосовать.

— Я же говорю, что виноват перед вами!

Я спросил Ивана Тимофеевича, откуда выкопал секретарь Васькова.

— Его отец в городе директором госбанка, попросил за сыночка. Вот и посадили на нашу голову.

К столу президиума выскочила баба в ватнике, в темной юбке и в валенках.

— Хочешь глянуть, до чего нас довел твой председатель? Нечем задницу прикрыть! — В доказательство она собралась было задрать юбку, но секретарь взмолился:

— Верю, не показывай! — закричал он.

Она пощадила его, одернула юбку, продолжала:

— К поездам хожу семечками торговать. На хлеб денег нет! — Заплакала и села.

Представители министерства окаменели.

Иван Тимофеевич зашептал мне:

— Это Нюрка. Бедовая. Еще война шла. У них в дому раненый солдат прижился. Потом, смотрим, нет его. Вместо себя трофейный аккордеон оставил. И дочку. Наташкой назвали. Вон рядом с Нюркой сидит, аккордеон держит. Выучилась играть на нем.

Голос секретаря вернул нас с Иваном Тимофеевичем на собрание.

— Товарищи, — говорил он. — Прошу потише... В вашем селе зажглась лампочка Ильича. Так неужели мы дадим ей потухнуть?

Он коснулся культа личности, потом завел разговор о кукурузе. Сегодня утром, когда я пришел к нему в райком, он достал из ящика своего стола и демонстративно положил на стол початок кукурузы. Хотел, наверно, сказать, что и он не отстает от жизни.

Раздались голоса:

— Мы ее сроду не сеяли!

— Зачем она нам? У нас испокон века лен сеяли.

Секретарь настаивал:

— Это, товарищи, наипрекраснейший корм. Надои молока повысятся вдвое, а то и втрое.

На это ему ответили:

— Скоро доить некого будет. Скотина в грязи стоит, в холоде, некормленная.

— Нашему председателю что человеку, что скотине не стыдно в глаза смотреть!

— А где кормов взять? — проклюнулся наконец и сам председатель. — Всю осень дожди шли.

Старушечий голос пропел:

— Что в народе, то в природе.

Это был сигнал к новой атаке на Васькова.

— Ему, кроме водки, в башку ничего не идет!

С разных мест на него посыпались одна за другой обиды: кому-то не дал лошадей дров привезти, куда-то угнал полуторку, и целую неделю хлеб не подвозили, а главное — не утеплил ферму на зиму.

— На какие шиши я бы ее утеплял? — отбивался председатель.

— А на какие шиши агрегат купил?

— Какой агрегат? — спросил секретарь.

— Позади тебя стоит. Рояля.

Председатель опять подал голос:

— Культурные мероприятия проводить.

Под общий гогот секретарь резонно напомнил председателю поговорку:

— Вот и получается у тебя: без порток, а в шляпе.

Секретарь по совокупности явно намекал и на голый Нюркин зад.

— Так что, товарищи, — продолжал он, — с кукурузой, будем считать, вопрос решен, потому как решен он на самом высоком уровне.

Разговор зашел о новом председателе.

— Какие будут предложения? — спросил секретарь.

— Вовку Князева. Тракториста.

— Молод еще.

— Встань, Вовка, покажись.

— Нет его.

— Это почему же нет?

— В район уехал. Запчасти выбивать.

— Он что, не знал, что собрание будет?

— Запчасти нужны.

Вчера вечером в Доме колхозника, оформляя ночевку, я познакомился с молодым парнем по фамилии Князев. Администратор не оставляла его на ночь, потому что у него не было паспорта. По справке из колхоза не разрешалось. Парень упрашивал, говорил, что ему позарез нужно утром в Сельхозтехнику. Администратор и слушать не хотела.

— Что же мне — на вокзал идти? В сидячем виде ночь коротать?

— Иди куда хочешь.

Я вмешался: ведь человек по делу приехал, он не виноват, что у него нет паспорта. Есть же справка, удостоверяющая личность.

— А если ревизия? Вы отвечать будете?

— Отвечу.

Авторитет столичного корреспондента подействовал. Парня пустили переночевать. Так мы познакомились.

— Товарищи, может еще кандидатуры есть? — спросил секретарь.

— Силантьева возвратить!

— Был Силантьев, да весь вышел, — отозвался Иван Тимофеевич. — Говорят вам: образования у меня нет.

— Нагляделись мы на образованного!

Кто-то посоветовал сбежать за Князевым, вдруг на печке спит.

Я встал и подтвердил, что видел вчера его в Доме колхозника.

Все повернулись в мою сторону: кто такой?

Секретарь дал справку:

— Товарищ корреспондент из Москвы. Кстати, в наших краях воевал.

Бабы не удержались от балагурства.

— Вроде еще молодой, а волос седой.

— Спроси, женат он?

— Сама спрашивай.

— Ну что привязались к человеку?

— Наш Петрович тоже здесь воевал.

— Гора с горой не сходится... Петрович, узнаешь земляка?

Петровичем оказался старичок у печки. Он пожал плечами и ничего не ответил, сидел, облокотясь на кочергу. Четырнадцать лет назад в трибунал привели пожилого солдата, а сейчас это был старичок, будто явленный из облака: пушистые белые волосы, белые пушистые брови и усы, белая пушистая борода. Если бы не фамилия, никогда не поверил бы, что перед трибуналом стоял и здесь у печурки сидит один и тот же человек.

Секретарь постучал карандашом по графину.

— Почему, собственно, вы настаиваете на товарище Князеве? Какое у него образование?

— Техникум кончил... Самостоятельный. Васьков давеча хотел погнать его на тракторе за водкой, а он отказался. Васьков на него с кулаками, а он все равно не поехал.

Иван Тимофеевич зашептал мне:

— Хитрит секретарь. В райкоме уже подработали кандидатуру. Сейчас услышите.

И мы услышали.

— Почему бы, — начал секретарь, — не выбрать товарища Костикова? Фронтовик. Член партии. Досконально знает колхозное дело. До войны и сейчас работает бухгалтером.

Женский голос на высокой ноте заявил:

— Я ему пойду в председатели! — Четыре года без мужика дом был, а пойдет в председатели — только я его и видела.

Встал сам Костиков в поношенной военной форме. На гимнастерке скромная орденская колодка, пустой левый рукав заправлен под ремень.

— Я на войне отвоёвался, а воевать с бабоньками — нет, пусть воюют те, у кого две руки есть. Предлагаю агронома нашего Василия Тихоновича.

Василий Тихонович запротестовал:

— Я беспартийный — раз, с кукурузой никогда дела не имел — два.

Вопрос о председателе оставался открытым. Секретарь сворачивал собрание.

— Отложим, товарищи, вопрос о председателе на завтра. Будем ждать Князева. Завтра-то он вернется?

— Куда ему деться?

Кто-то предположил:

— А если откажется? Сколько еще заседать будем?

Ему ответили:

— Не откажется. Комсомольский секретарь. Обяжут.

— Ну, так как? Договорились? До завтра.

— Договорились.

Народ стал расходиться.

Кто-то попросил дочку Нюры Наташку поиграть на аккордеоне. Уж так у нас заведено: после собрания или какого другого мероприятия кино показывать, а если нет кино, так что-нибудь самодеятельное... Наташка нажала на клавиши — раздался громкий вступительный аккорд, затем стала старательно выводить мелодию вальса «В лесу прифронтовом».

Я подошел к Петровичу. Он шуровал кочергой в печке, а когда управился, захлопнул дверцу, заулыбался. Мы разговорились.

— Вас не припомню, а газетку вашу помню. Почитаем и в дело пустим — на курево... Теперь вот при церкви состою. Клуб здесь. Роялю караулю. Иной день кино придет. Вон из той дырки показывают. На кладбище братских могил много. Там приберу.

Вспомнили Даниленкова.

— Как же, как же... Разве такого человека забудешь! Здесь, в церкви, сам медаль «За отвагу» вручал. Потом в арестантской землянке навестил. Держись, говорит, Петрович, держись. И узелок с харчем оставил. Часовой меня караулил, уж так упрашивал его: «Уходите, товарищ капитан, мне за эту голову оторвут», а капитан ему отвечает: «Ничего, другая вырастет...» Комиссар тоже хороший человек был. Вот только не помню, как его...

— Андриасов, — напомнил я.

— Вот-вот, Андриасов. Жив ли, убит, не знаю. На кладбище не значит. Меня перед самыми боями увели... Теперь все больше здесь живу. Пока в лагере был, хозяйка моя померла. Переживала. Детей не заимели. А здесь тепло, дрова казенные... Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь... На меня Клишкин донес. Я правду сказал, что в колхозе копейки платили, а он донес. Теперь сам в земле, скелет. Тоже здесь похоронен. Я вот все думаю, неужто с ним братва не рассчиталась за меня? А может, честно полег? Вот ведь как повернулось... Только никому не пожелаю увидеть, чего я там насмотрелся. Просился сюда, в окопы. Пусть штрафником, но сюда. Не положено, говорят, раз политический. А какой я политический?

Я рассказал Петровичу, что был в трибунале, когда его судили. Рассказал все, как было, и что чувствую себя виноватым перед ним.

Он поднял с пола железный чайник, заглянул в него — есть ли вода, поставил на печурку. Сел.

— Я толком и не помню, что там было на суде. Привели — увели. Как опер назначил десять лет, так и дали. Опера хорошо помню. Обзывал конторой, кулаком грозился, я думал, в зубы даст. Кричал: «Людам в бой идти, а ты против советской власти агитируешь... Тебя, гада, расстрелять надо, а не в лагерь посылать гнить!» Сорвал с меня медаль «За отвагу» и об пол шмякнул... Ездил я в военкомат. Сказали, вернут.

Скоро мы с Петровичем остались одни. Он принес со стола президиума стакан. На скамейке расстелил газету. На газету выложили ломтики черного хлеба, нарезанный лук, брусочек сала. Появилась четвертинка мутноватой жидкости, заткнутая пробкой, обернутой тряпчочкой. Для надежности. Вынул из кармана железную кружку, разлил по маленькой.

Чокнулись «со свиданьем», выпили, закусили.

Я вынул «Беломор», но Петрович остановил меня:

— Курнем моей фронтовой, — и протянул кисет с махоркой и нарезанную газетку.

Закурили, Петрович стал рассказывать:

— Еще в тридцать восьмом здесь служба шла. На Пасху куличики святили. Не шибко богатые, а все куличики. Теперь в город ходят полбатона святить. Это ж сколько ходу... Перед самой войной батюшку отца Дмитрия прогнали, колокол свалили. Одним словом, отменили церковку... — Он поглядел на меня, улыбнулся. — Добьем милую, — и разлил остаток первача. — За капитана, за всех, кто не вернулся.

Выпили, не чокаясь.

Утром я собрался в дорогу. Собрание откладывалось. Князев еще не вернулся из города. Не просто было выбить запчасти.

На улице ни снега с дождем, ни ветра. Чистое голубое небо. Только одно облачко белое, лохматенькое, как голова Петровича, скользнуло по солнцу.

Вокруг церкви сугробы чуть не в рост человека. За сугробами поле, летом оно голубое — льняное. Здесь и погиб капитан Даниленков. Во время атаки один из взводов замешкался, залег под огнем немцев. Капитан рванулся на поле помочь поднять солдат. Там и убили его.

— Вам летом приехать надо, — сказал Петрович. — Навестили бы могилки. Сейчас-то не пробраться. — Он поглядел на заснеженное поле. — Не пойму, зачем лен отменяют. Это ж красота, когда цветет. Да что я вам толкую, сами видели.

— Видел.

— Только всего-то не отменишь. — Он поглядел на солнце, сощурился. — Вот солнышко — на-ко отмени!

Мне рассказывали, как в юбилейные дни семидесятилетия Сталина на митинге в Баку, когда, казалось, все самое возвышенное уже было сказано об отце народов, последний оратор вознес руки к небу и воскликнул: «Солнышко, уйди, у нас есть свой солнышко!.. Великий Сталин!»

Петрович тронул меня за локоть и неожиданно сказал:

— А про трибунал и вспоминать нечего. Забудь, — перешел он на ты. — Привели — увели. Я и забыл, да ты напомнил. Клишкин и опер под статью подвели.

Может, и так: не вспоминал, забыл, но я помнил и никогда не забуду.

* * *

Записки эти (отчет мой за командировку) даже при безбожном их сокращении так и не были напечатаны, хотя уже ушел из жизни «свой солнышко» и состоялся XX съезд. Но до гласности еще было далеко. Старая мудрость гласит: возвращайся туда, где потерял. Я и вернулся.

Юрий КАМЕНЕЦКИЙ

Платан... А слышится — Платон!
Гол ствол его. Но листья, листья
Свежи и высоки, как мысли,
Метет он ими небосклон.

Кругом покой. И спит самшит,
Висят недвижно ветви кедра.
А он глаголет и шумит
И сам творит потоки ветра.

И в нем свои купает листья
И словно ищет забвения.
Ведет он поиск вечных истин
И ропщет, их не находя.

Ах, можно обойтись и без любви.
Совсем не то влечет, что любо-дорого.
Вот я земные странствия свои
Вогнал в нутро единственного города.

В его толпе почти что сбитый с ног,
Исчезнувший почти в его сиянии,
Любил ли я его? Терпеть не мог.
Я просто подышал на расстоянии.

И ничего не стоили слова,
Они следа на ветре не оставили,
Но жизнь моя, пока была жива,
Так и кружила с этими вот стаями.

...И видя все нелепости твои,
При злобе всей, при всей несовместимости,
Я понимаю: мне не до любви.
Судьбу не выбирают. Эту б вынести.

Выставка
«Удивительное в животном мире»
на улице Разина, дом №...

На Разина, в церквушке бывшей,
Животный мир на ладан дышит.

А представители его
Не дышат все до одного.

Витой моллюск, загнутый странно,
Худой медведь из ресторана.

Колючей близкие тоской
Еж неморской и еж морской.

Застыло чучело лисицы
Под чучелом повисшей птицы.

И что нас погружает в лед
Точней, чемдохлый тот полет?

Кто может быть смирней и тише,
Чем шкурка рыбки в темной нише?

И объявление говорит,
Что свет сегодня не горит.

Пусты и делаются шире
Глаза дежурной в этом «мире»,

Но что их, страх иль полумрак,
Преувеличивает так?

На Разина, вблизи от ГУМа,
Внутри огней, движенья, шума?

* * *

Если женщина поет
Про себя, тихонько, в кухне —
Этот дом сегодня рухнет.
Эта женщина уйдет.

Почему-то, почему
Вспоминается при этом
Черное, перед рассветом,
Море где-нибудь в Крыму.

Весь цветастый камуфляж —
Танцы, музыка, улыбки —
Только следствие ошибки:
Край земли — ничуть не пляж.

Безрассудно и темно,
Море ходит в тусклом свете
(Так же тусклы песни эти)...
Мы умрем,
 утонут дети —
Морю будет все равно.

Реплики

Это реплики, не произнесенные вслух. Это разговоры с самой собой, молча, в одиночестве. Это вопросы, на которые нет надежды получить ответ.

Во всяком случае, здесь мысли, которые приходили в голову сами и не отягощались какими бы то ни было посторонними соображениями.

Автор ушел из жизни, так и не услышав ответа.

На Хайгетском кладбище в Лондоне я вновь перечитал изречение Маркса, выбитое на его надгробном камне: «Философы только объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить». Мир изменили, и что же? Его стало невозможно объяснить.

Перекликаются два голоса: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». Это из «Коммунистического манифеста». А вот другой голос: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Это Новый завет, Евангелие от Матфея, глава 16, ст. 26.

Идет погоня за призраком... Отойди в сторону!

Говорили еще в прошлом веке: история повторяется — первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Но и фарс может оказаться кровавым.

Цели становятся все недостижимее, средства — все грязнее.

Сперва был социализм с нечеловеческим лицом. Потом началась борьба против социализма с человеческим лицом. В итоге возник социализм без всякого лица.

Когда все средства хороши, — все цели — отвратительны.

Наша система — самая замечательная, лучшая в мире. Но кто это говорит? Сама система о себе.

Однопартийная система может действовать лишь в обществе, где основная масса людей не осознала своих собственных, разнообразных, а главное — подлинных интересов.

Нас объявили верующими. Но во что мы обязаны верить? В непогрешимость и всемогущество нескольких случайно забравшихся

вверх, не очень грамотных и не слишком щепетильных существ, которые время от времени грызутся между собой из-за добычи — из-за власти?

Оказывается, можно и науку превратить в утопию.

Ты винтик! Крутят по часовой стрелке — послушно крутишься; крутят против часовой — то же самое. И так пока резьба не сотрется. А после — кому ты нужен?

Сколько категорических суждений, окончательных истин, крикливых, высокопарных лозунгов! Вся эта напыщенная, велеречивая галиматья нужна только для того, чтобы замаскировать нелепость, или неправду, или и то и другое вместе.

Казенно-бюрократический интернационализм. Государственно-монополистический социализм. Военно-полицейский коммунизм.

Хочешь жить — разучись думать.

Политик без совести. Это естественно. Но без разума? Это уж слишком.

Кто был ничем, тот стал никем.

Немногого стоит общество, которое не может терпеть человека, открыто утверждающего, что это общество ему не по вкусу.

Прежде имели место необоснованные репрессии. Теперь репрессии будут тщательно обосновываться.

Помесь гангстера и лавочника... Как легко такой человек приходит к власти!

Надсмотрщик и заключенный, работающий из-под палки, — вот два человеческих типа, с которыми сталкиваешься на каждом шагу. Даже если ты «на свободе». Самое страшное — что оба эти типа зачастую уживаются в одном и том же человеке.

Неужели именно мы и показываем всему миру путь, по которому не надо идти?

Все научились прикусывать язык, зажимать уши, зажмуривать глаза. Полезно бы еще научиться затыкать нос.

Общество, требующее, чтобы все стали героями, — по сути дела, самое запуганное.

Наша статистика слишком оптимистична, чтобы быть правдивой.

В старину орда кочующих бандитов, нападая на людей, увлакивала пленников за собой на аркане. Но этим жертвам никогда не внушали, что их волокут в светлое будущее, к сияющим вершинам, к счастью.

Официальная пропаганда взахлеб уговаривает всех хорошо работать. Все слушают и даже поддакивают, но даром работать хорошо не хотят.

Интернационализм у нас понимают лишь как вынужденное сотрудничество националистов разных наций.

Я люблю свою родину и ради нее готов угробить все остальное человечество — вот подлинный символ веры шовиниста.

Одни воюют против любого фашизма, потому что вся их жизнь с фашизмом несовместима. Другие вели войну только с иностранным фашизмом, только чтобы защитить и сохранить свой собственный.

Свою честь и доброе имя должны беречь не только люди, но и политические партии.

— Мы ставим величайший исторический эксперимент.

— Да, но вы его ставите на людях, он крайне опасен и уже привел к гибели миллионов ни в чем не повинных людей. Опасные эксперименты ставьте, пожалуйста, на самих себе.

Меня не удивляет, что вы лишили людей свободы говорить то, что они думают на самом деле, и заставляете их хором повторять нелепости, удобные и приятные только вам. Это не ново, так было не раз. Удивительно, что вы требуете от людей, лишенных свободы, искреннего ликования по этому поводу.

Националист, а тем более шовинист — совсем не патриот. Он охвачен не любовью, а страхом. Не любовью к родине, а боязнью за собственную шкуру. Не желанием принести пользу своей стране, а жадной поживиться за счет других народов.

Кладбище живых. Власть мертвых.

Как невыносимо трудно быть писателем без свободы слова, журналистом — без свободы печати, интеллигентом в стране, где интеллигенция — нечто вроде низшей касты, людей второго, а может быть, и третьего сорта.

Политический деятель, историческая личность... По большей части он кажется нам великим, потому что мы лежим перед ним на брюхе. А хорошо бы вместо того, чтобы сгибаться в три погибели, откнувшись носом в землю у его ног, разогнуться, встать и внима-

тельно, придирчивым взглядом посмотреть. Посмотреть так, как вы смотрите на рынке товар, который вам назойливо подсовывают и слишком усердно расхваливают. И вы сразу увидите, что у него полно всяких изъянов, что, как правило, великий не так уж велик и зачастую его отделяет один шаг от мелкого и смешного.

Люди ищут свободы и покоя... А мы нашли покой без свободы.

Люди, которые предали и предают всех и вся, обычно требуют от окружающих беззаветной верности и беспредельной преданности.

Чем слабее личность, тем сильнее власть государства.

Политических лидеров нужно часто менять, к ним надо редко прислушиваться, еще реже — окружать их почтением и уж, конечно, никогда не любить и не боготворить их.

Каждый раз, когда я избавляюсь от контакта с антисемитом, я чувствую снова, что я просто человек, а не еврей.

«Холодная война» уйдет в прошлое? Но ведь для этого мало растопить лед. Надо еще и рассеять мрак.

Современный рынок: люди продают себя, чтобы покупать вещи.

Сильные мира всегда виноваты перед рядовым человеком хотя бы потому, что их путь вверх всегда усеян телами и душами обычных людей, которых властолюбцы растоптали на пути к власти.

Миллионы одиноких людей. Одинаковых, но одиноких. Шагающих в ногу, но чужих друг другу. Поющих хором одну и ту же песню, но продолжающих думать о разном, каждый о своем. Идя вместе со всеми, каждый уходит в себя.

Некоторые центры в мозгу огорожены колючей проволокой.

Повсюду в мире самой назойливой и мощной рекламой сопро­вождаются самые неходовые товары. У нас такими товарами являются наша система и наша политика, а рекламой — наша пропаганда.

Есть такие страны, в которых демократизация похожа на превращение концлагеря в исправительно-трудовую колонию — сперва строгого, затем обычного режима.

Пока ты не научишься защищать права человека, ты не заслужи­ваешь ни одного из этих прав. Даже права называться человеком.

Вы говорите, что создан новый общественный строй. По-моему, вы всего лишь изобрели новый способ держать людей в узде.

Когда нет хлеба, нет и Бога. Но когда нет Бога, нет и человека.

Кто натравливает людей друг на друга, тот рано или поздно потеряет власть над людьми. Кто разделяет, тот недолго властвует. Подлинную власть обретает лишь тот, кто объединяет.

Врать устали, говорить правду разучились.

— Почему у нас так стремятся ездить за границу?

— А ты видел когда-нибудь заключенного, который не захотел бы хоть на время вырваться из тюрьмы?

— Силой можно захватить только имущество.

— А душу?

Наши достоинства — не от природы ли, которая нас создала? Наши пороки — не от общества ли, которое нас воспитало?

Страх перед будущим вызывает к жизни призраки прошлого.

Можно ли кнуту придать вид пряника?

Человека хотят сделать одновременно и средством производства, и предметом потребления.

У нас огромные успехи, мы выходим на большую дорогу... Только на нее надо выходить с кистенем.

Государство всегда умело делать только две вещи — грабить и убивать. Теперь оно, как никогда раньше, научилось лгать — всем и каждому, в гигантских масштабах. Обманывать всех, чтобы успешнее делать все то же — грабить и убивать.

Вы хотите создать нового человека по своему образу и подобию: рабом, зверем, винтиком, роботом... А ведь человек уже создан задолго до вас — по образу и подобию Божьему.

Тот, у кого неполноценная индивидуальность, утешается тем, что у него полноценная национальность.

Человек не должен быть придатком какой-либо машины, особенно государственной. Не надо быть придатком и винтиком машины общественной, даже самой что ни на есть прогрессивной.

Почему твоя бессмертная душа так легко и быстро уходит в пятки?

Как отважно человек принимает рабство и как панически боится свободы!

Как только все научились читать, настоящая литература стала реже издаваться.

Идеальное общество, видимо, невозможно. Возможны только мечты о нем. Возможны и дорого обходящиеся людям, но бесплодные попытки реализовать эти утопии. На самом же деле действителен лишь медленный общественный прогресс — путь от плохого к посредственному. Поэтому особенно противно, когда одна из общественных систем беззастенчиво провозглашает себя самой лучшей из всех, бесконечно близкой к идеалу и, наконец, попросту идеальной, абсолютно безупречной.

Не верь тем, кто обещает всеобщий земной рай. Это жулики, которые хотят, поманив надеждой на будущее, заставить людей работать на себя и чужим трудом обеспечить свое собственное сегодняшнее благополучие.

Ложь — коллективна, правда — одинока.

Старайся по мере своих сил не участвовать во всеобщей подлости и лжи. Твое неучастие — тоже важная вещь. Не только для тебя, но и для всех вокруг. Сходи с дистанции, где соревнуются негодяи и лжецы.

Нельзя жить во лжи и даже рядом с ложью. А ведь живешь...

Я мыслю, следовательно, еле-еле существую.

Поклоняющиеся мумиям терпеть не могут тех, кто поклоняется иконам.

В самом дурном государстве обычно строгие моральные нормы.

Быть патриотом — значит заботиться не о том престиже, влиянии и авторитете, которого добивается государство, а о чести, достоинстве и добром имени твоей родины в глазах всего остального человечества, в глазах твоих же собственных потомков.

Шовинист считает людьми только своих. А поскольку он подонок, своими он считает только подонков.

У нас невозможно ни одно открытое проявление мракобесия без государственной поддержки.

Вы знаете, что такое жизнь? Это промежуток между двумя програмами.

Рабочих и крестьян никогда еще за всю историю нашей страны не истребляли в таком количестве, как при правительстве рабочих и крестьян.

Странное проклятие тяготеет над человеческим родом! Пытаясь претворить в жизнь свою мечту о Золотом веке, люди приносят неисчислимые жертвы, убивают себе подобных и гибнут сами, а результат — убогий, несчастный, затхлый мирок, где воплощенная мечта оборачивается ничтожной, скучной и банальной реальностью, в которой на самом деле существуют лишь внешние знаки, ярлыки и символы Золотого века, а самого главного — свободы и покоя (я уж не говорю о счастье) — нет и не предвидится. И, пожалуй, одна из немногих радостей духа в таком мире — сентиментальные воспоминания о прошлом, которое было нещадно разрушено и которое теперь кажется тем самым Золотым веком, во имя которого оно уничтожалось.

Писатель, зачем тебе слава? Не нужна она тебе, потому что, кружа голову, она искажает твои представления о жизни и о самом себе. А нужна тебе и всем только правда, только способность открывать правду в окружающей жизни и в себе, никогда не задумываясь над тем, принесет ли это славу или нет.

Политик у нас — это тот, кто, ничего не умея делать, мешает жить тем, кто умеет делать хоть что-нибудь.

Истина всегда конкретна. Но это не значит, что абстракция всегда ложна.

Правда всегда прекрасна, даже самая страшная.

После неверного шага вперед самое верное — поскорее сделать шаг назад.

Сможем ли мы найти ответ на важнейшие вопросы, если мы боимся даже задать их самим себе?

У моей родины странный характер: она тает от незаслуженных комплиментов; не выносит истин; самозабвенно любит тех, кто не достоин любви; ищет счастья в самопожертвовании; не доверяет разуму; покоряется сильной руке; наслушавшись сказок, готова идти на край света за сказочником; верит в чудеса и ждет их; поспешна и безрассудна в решениях; умеет долго терпеть; склонна к вспышкам слепого гнева; ненавидит ложь и притворство, но заставляет себя лгать и притворяться; принимает красоту за истину; умирает от жалости к несчастным...

Ее можно понять умом, но от этого не становится легче. Ее нужно просто любить — такую, как она есть. И, как это ни странно, не любить ее невозможно.

Унизительнее всего жить под властью дураков.

В жизни всегда есть место для подвига, говорите вы. Это верно. Но, услышав эту мысль из ваших уст, я понимаю, что в жизни всегда есть место для властолюбивого эгоиста, который требует подвигов от других.

Единственный возможный героизм — продолжать жить в этом обществе, оставаясь честным и правдивым человеком. Все остальные разновидности героизма — лишь послушное и безоглядное исполнение чужих приказов, требующих подвигов и жертв, приказов, отданных людьми бесчеловечными, которые умеют неплохо жить, посылая других на гибель.

Человек творчества всегда антипатичен человеку власти.

Люди прошлого сломлены. Люди будущего обмануты.

Вы все еще даете указания, а вам пора давать показания.

Сколько честных и беззащитных людей вы обливали грязью еще не так давно! Можно ли после этого верить вашим нынешним восторженным оценкам — вашим обильным крокодиловым слезам!

Мы долго и трудно строим свой дом. Но, построив его, мы почему-то образовавшийся при этом мусор сложили в красном углу и сделали предметом поклонения. А мусору место только на свалке. И только после того, как это будет сделано — и не кем-то там, а нами, — мы с облегчением убедимся, что в нашем доме можно жить по-человечески.

Мы срубили лишь верхушку ядовитого дерева, отравлявшего нас. А надо выкорчевать корни.

Рябина

Опять красна рябина за окном.
Противишься, а думы об одном:
И это лето, точно камень в Лету —
Бултых! — и нету.

Опять зажглась рябина за окном.
Опять стучит в окно зеленый гном —
Осенний вестник — малая синица.
Красна девица.

А попросту — октябрьская заря.
Рябины гроздь, что грудка снегиря,
Горит над опустевшею землею.
Вот-вот зимую

Дохнет в лицо вечерняя заря.
И станешь, лишних слов не говоря,
Глядеть подолгу на тугое пламя,
Что, кладку плавя,

Лениво лижет закругленный свод.
Последний лебедь пролетит вот-вот,
И все — конец сезону перелета.
И станет кто-то

Ждать у огня, как ожидаем мы,
Прихода, а затем конца зимы,
Хотя зима — давай признаем это —
Не хуже лета.

* * *

Какая радость скрыта в тишине!
Заткнулся ветер, дувший иступленно.
Покой в душе, поскольку тишь вовне:
Отныне больше не плескать волне —
Все озеро застыло удивленно.
И лес, склонивший белые знамена,
Не шелохнется в ледяном окне.

Какая ясность скрыта в тишине!
За островами полынья дымится.
Пространство открывается вполне,
И всякий голос слышен в глубине,
И долго кружит над простором птица,
С которою не следует водиться, —
И вспыхивает в солнечном огне.

Какая нежность скрыта в тишине!
Рассветный пламень встал за окоемом
Сосною красной в светлой вышине.
Подумалось о дочке, о жене,
О том, что жить и вправду лучше домом.
И белый лист летит в корзину комом:
Побудь, заря, со мной наедине!

* * *

Терпенье людское и вера людская несомны.
Большак рассекает завалы морозного дыма.
Мгновенно уходят ближайšie, ближние сосны.
Чем дальше деревья, тем медленней кружатся мимо.

...Спит реактивный. Пространство огнистое длится.
Стотысячный город проходит мерцающей точкой.
И не осознать, что придется навек породниться
С каким-нибудь камнем, с какой-нибудь жухлою кочкой.

* * *

Подорожник вырос у порога:
Видно, ждет далекая дорога,
Верно, посох выбирать пора.
В чернолесье, где гнездятся совы,
Посох узловатый, вересовый
Дрогнет под ударом топора.

Ягода на посохе смолиста.
На осинах — жаркие мониста,
В перелесках — долгий перезвон.
Поросли ольшаником дороги.
Сроки накопившиеся строги:
Как в считалке, время выйти вон.

Уходить по гравию, по хвое,
Позабыв бывалое, бывое —
Свистопляску отлетевших лет,
Не терзаясь малостью и вздором,
Любоваться высью и простором:
Свет и темень, мрак — и снова свет...

Широка моя страна до безмерности.
Широта моей страны высока.
Только снег нас защищает от бедности,
Как от солнца берегут облака.

Можно выйти в два часа пополуночи
Из подъезда на проезжую часть:
Фонари уходят в небо по струночке,
Жидким светом на асфальт помочась.

Можно вовсе не ходить, коль не хочется.
Велика страна, и выбор велик:
Хоть до первых «маяков» проворочайся,
Если сыт и голова не болит.

Или встань на все четыре конечности
От избытка своей волчьей души...
Отсыпается страна до беспечности:
Разлеглась в снегах, луну потушив.

* * *

Еще во сне перескользнет
сиреневое в золотое.
и сердце спящее кольнет
цветное стеклышко простое.
И ты услышишь эту дрожь,
увидишь веер детских стекол.
Смотри — никто их не раскокал!
И в яви снова ты найдешь
их свет — волной каналов летних,
обрывком фразы из «Последних
известий»...

И вперед ли, вспять —
тебе водить. Твоя пора —
как в прятках — с заднего двора
идти искать.

* * *

Ничего тебе не будет...
Ну да будет тебе, будет! —
не уйти от сих
тонкокожих, пестрокрылых,
вдруг оброненных, немилых, —
кто тут, кроме них?
Кроме ниц упавших, кроме
них, забытых в детском доме
из коры и крон?
Кроме тех, чья кровь немая,
ничего не понимая,
катится в наклон?

*И воздух синь, как узелок с бельем
У вышедшего из больницы.*

Б. Пастернак

Чуть бледная, с каким-то узелком,
возможно, синим, но скорее — блеклым,
ты показалась из дверей, зевком
подобная отсвечивавшим стеклам.

Ты, может, показалась б им смешной,
когда б такую страшной не была ты,
когда бы роковые циферблаты
не бились над поверхностью земной,

когда бы не ломбард и не комок,
не детский вой за стенкою фанерной,
когда б толпе не скатывало нервы
в единый огнедышащий комок,

когда бы на болотах и холмах
родных столиц сердца бы уцелели,
когда б ко всем чертям перегорели
хлеба надежды в горних закромах,

когда б нам мама не желала зла
и школа б в нас не выпускала жала,
когда б нас породившая земля
хоть сколько-нибудь на себе держала...

Соловецкое лето

Пятнадцатилетним подростком попал Юрий Чирков, автор этой книги, на Соловки, обвиненный в подготовке покушения на жизнь первого секретаря ЦК КП(б) Украины Косиора, которого вскоре и самого расстреляли как врага народа, и даже на жизнь товарища Сталина. Юрий Чирков получил за такое «преступление» три года. Но, правда, тем, кто отсиживал этот срок, потом добавляли еще, так что на круг выходило и десять лет, и двадцать, и более, практически же — пожизненно, ибо тем счастливицам, кому удавалось выжить и вырваться из-за колючей проволоки, ненавистная статья (или «букет» статей) оставалась клеймом на всю оставшуюся жизнь: где пребывать, а где работать, где отмечаться и т. д.

Ничего об этом Юрий Чирков еще не знал. Ни он, ни другие, постарше и позрелее, даже из самых провидящих, не могли бы тогда предсказать, попав на Святой остров, что станут те Соловки судьбой не только каждого из них, но и общей, если хотите, судьбой, прообразом «светлого будущего» всей страны. Именно отсюда, от первого советского лагеря, как от злокачественной опухоли, пойдут ветвиться, по меткому определению Солженицына, метастазы лагерей будущего архипелага ГУЛАГа, перебросившись на континент и захватив сперва Север и Сибирь, а потом и Восток и далее, по всей необъятной стране, пронизав ее насквозь и охватив цепко каждого проживающего в ней человека — находился ли он за колючей проволокой или за ее пределами. В книге упоминается высказывание на этот счет наркома Ежова о том, что все население СССР делится на три категории: заключенные, подследственные и подозреваемые. Так, наверное, и было.

Но Соловки-то, так называемый СЛОН — Соловецкие Лагеря Особого Назначения, — были в этом ряду самыми первыми! Может, в этом и состояло их особое назначение?

С первых лет новой власти, с двадцатых годов, на прекрасной, на обетованной северной земле, издревле обжитой трудолюбивыми монахами, кощунственно опробовалась, испытывалась, отработывалась универсальная система борьбы с инакомыслием и свободой. Как это происходило, мы уже частью знаем из книги того же Солженицына, из романа Олега Волкова, из воспоминаний уцелевших чудом лагерников-соловчан, таких как академик Дмитрий Лихачев и других. Существует уже и документальный фильм, снятый талантливым режиссером Мариной Голдовской, — «Власть Соловецкая».

Весь цвет нации, ее совесть, ее надежда в лице виднейших представителей — историков, писателей, богословов, философов, военачальников, инженеров, дипломатов и так далее — перебивал здесь, здесь и остался навсегда, унеся с собой и свою культуру, завещанную нам от Золотого и Серебряного веков. С ними здесь, на Солов-

ках, похоронили мы и будущее наше, ибо уничтожили варварски бесценный генофонд, все наше духовное богатство, то, что каждая уважающая себя нация собирает по крупицам веками и хранит и бережет пуце золотого запаса.

Существует наука евгеника, и учит она о возможном ухудшении наследственных качеств человека. Мы же, вынув камни из основания нашей культуры, равные циклопическим глыбам, которые держали Соловецкий кремль, привели нацию, народ к моральной и нравственной деградации, отбросив его в духовном развитии к временам татарского ига.

Вот чем оказались Соловки в нашей, каждого из нас, судьбе.

Именно поэтому любой голос, донесший из дальнего небытия лагерей крупицы правды, но особенно из ПЕРВЫХ лагерей, нам особенно ценен — ведь мы должны знать, с чего началось то, что мы сегодня получили.

У автора поразительная память на лица, имена, факты да и возраст тот самый, когда все воспринимается особенно ярко и даже поначалу оптимистично. Попав в лагерь, он решает каждый день закладывать что-то «в голову и сердце» — то есть прочитать список книг и самообразоваться, тем более что вокруг полно таких гуманитариев, которыми не всякий столичный университет может похвалиться.

Постепенно Соловки заполняются и представителями революционных партий, «не поладивших с большевиками», а потом и самими большевиками, которые, попав в свои же собственные лагеря, ведут себя особенно трусливо и подло. Это еще отмечал Солженицын, произнеся замечательные слова про ящера, который, начав заглатывать себя с хвоста, в конце концов добрался до собственной головы... Вот и Юрий Чирков описывает бывшего члена ЦК КП Грузии Медзмарарашвили, комиссара Фугликова и других бывших представителей так называемой правящей партии — они особенно ничтожны и жалки здесь, в лагерях. А выше же всех именно беспартийная интеллигенция и, конечно, священники — что значит величественная фигура одного лишь Павла Флоренского, который даже тут, в условиях Соловков, успевает заниматься наукой, искусством, читать лекции и размышлять о бытии.

Духовность, причастность к искусству — вот что помогало им всем выживать. Им и прикоснувшемуся к ним пятнадцатилетнему Юре Чиркову. «В бригаде ягодников, — рассказывает он, — кроме меня, все были старики, в основном литераторы и священники».

Примечательно, что именно в эти годы организовывался наш сталинский Союз писателей с его жесточайшей системой отбора, названной социалистическим реализмом, и те из писателей, кто не умел или не хотел воспевать красоту новой жизни, то бишь самих большевиков с их системой насилия, попадали немедля сюда, на Соловки. Не известно, встречался ли с ними сам основоположник соцреализма Алексей Максимович Горький, побывавший в этих местах и не заметивший ничего такого, что бы противоречило его убеждениям. Во всяком случае, он не только воспел воспитательное значение

Первого Советского Лагеря, но и, проплыв потом с бригадой настоящих соцреалистов по Беломорско-Балтийскому каналу, выпустил целую книгу, восхваляющую рабский труд зэков.

Кстати, со времен детдома я помню бело-голубые пачки папирос, которые называются «Беломор», они и по сей день существуют, напоминая нам не только о трагических событиях, но и о том, что мы, хоть и исподволь, продолжаем воспевать этот проклятый канал, а заодно и тех, кто его придумал.

Поразительно: в книге Юрия Чиркова нет жалоб, быт зэков изображен в своей повседневности почти как нормальная жизнь. Автор не жалуется и не рассказывает, как им было плохо. Хотя было им плохо. Книга впечатляет сильнее оттого, что в ней чаще описаны дни «везучие», когда удавалось молодому зэку прочесть хорошую книгу, встретить интересного человека, получить из дома посылку. И тут в который раз вспоминается бессмертный «Иван Денисович» Солженицына, где описан тоже один из самых «удачных» дней героя.

Конечно, книга воспоминаний вовсе не роман, здесь нет психологически разработанных сцен, это скорее мгновенно наблюденные лица и факты, но иные главы, убежден, могут стать по своему уровню выше какого-нибудь романа. Невозможно забыть, например, крошечную сценку — описание встречи нашего героя с мамой на холодном берегу под надзором солдата... Как удар под сердце — это уже на всю жизнь.

Или другое наблюденное, касаемое, кстати, такой донныне злободневной темы, как «дружба народов». Стоило Красной Армии ступить на территорию то ли Польши, то ли Бессарабии, как в лагере появлялись «представители» из названных мест. «Лагерные остряки, — пишет автор, — предсказывали скорое появление прибалтов и молдаван... А руководитель самодеятельности уже планировал постановку в совхозном клубе народных танцев силами будущих заключенных из новых республик...»

Не удержусь хоть вкратце — эта тема мне особенно близка! — сказать и о самых молодых зэках, еще моложе самого Чиркова. Их он встречал во время пересылок — «дети врагов» или уже сами «враги», как те описанные в книге пионеры, что палили из мелкокалиберки в стенгазету и попали в портрет Сталина.

В одном месте автор с удивлением описывает невероятное количество лозунгов, которые он обнаружил в Соловках. Может быть, и нам стоило бы удивиться, если бы мы сами на опыте собственной жизни не знали, что те же самые лозунги и на свободе сопровождают нас всю жизнь. Не то что на домах или на учреждениях да на какой-нибудь вонючей огаде — вокруг помойки развешивали для нас призывы и цитаты. Но вот однажды случайно попал я в кунцевскую особую лечебницу, где власть имущие в просторных одиночках-комнатах подлечивают свои нервишки, а заодно и проводят заседания. Лежал там в это время Борис Полевой, и по соседству — министр электростанций Непорожний, и — случайно — председатель совхоза с Селигера, выбранный на партийный съезд, а потом попавший сюда.

Так вот, он, человек от земли, лечившийся доселе в районной клинике, где сутки стоили полтинник (а в Кунцеве — что-то около десяти рублей), обратил мое внимание на то, что на территории клиники не было ни одного лозунга! Себе самим они своих собственных цитат не вешали!

А в лагерях вешали! Потому именно, что лагеря — вернуть к собственной неотвязчивой мысли — были основой и мерилом новой, нарождающейся нравственности и морали. Их потом станут называть социалистической нравственностью и социалистической моралью. Чирков очень точно показывает, как именно там, в Соловках, и именно тогда, в двадцатые — тридцатые годы, закладывались основы сталинского социализма, а его принципы — от тех самых лозунгов до системы лагерных стукачей, до надгляда, насилия и прочего и прочего — отрабатывались на живом, на человеческом материале. В основном, конечно, на интеллигенции.

Однажды, сидя в карцере, автор задает себе странный вопрос. Уже не о своей собственной жизни или жизни сокамерников, а о том мире, который их окружает. Вот об уничтожении, например, настенной живописи в монастыре и снесенной чудесной мраморной часовне или соловецких чайках, которых столетиями здешние монахи приручали, а конвоиры изничтожали, раздавливая сапогами гнезда и маленьких птенцов... И молодой зэк сам себя спрашивает: «Проявление варварства по отношению к живой природе и искусству на Соловках — это частный случай, аномалия или норма нашего времени»? Он так и не находит ответа на мучивший его вопрос. Но мы-то, дожившие до сего времени, этот ответ знаем. Нет, не частный это случай и не аномалия, а закономерность: общая система гибели всего живого была в те годы зачата в Соловках.

Как это важно осознать нам сейчас, когда в мечтах о «сильной руке» еще пребывают многие из нас, а насилие как привычный и как единственный метод налаживания порядка сопровождает нашу жизнь. Только правда, явленная во всей своей беспощадности в таких произведениях, как книга Юрия Чиркова, как другие подобные произведения, узнанные нами в последнее время, способна, может быть, нас спасти.

А. Приставкин

Увы, что нашего незнания
И беспомощней и грустней?
Кто смеет молвить «до свиданья»
Чрез бездну двух или трех дней?

Лето 1936 года началось рано и сопровождалось усилением напряжения как во внутренней политике, так и в международных отношениях. Происходила поляризация сил. 7 марта Германия ввела войска в демилитаризованную Рейнскую зону вопреки Локарнскому договору, как бы в ответ в апреле во Франции на выборах одержал

победу Народный фронт. Австрия ввела всеобщую воинскую повинность и усилила сближение с Германией. Япония после февральского военного путча усиливала Квантунскую армию и т. п. Внутри страны ужесточался режим. Доходили слухи, что разогнали «Общество старых большевиков» и «Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев», закрыли их печатные органы и арестовали руководителей. Из писем, присланных с воли и написанных эзоповским языком, просачивались сведения об усилении арестов в Москве, Ленинграде, Киеве и многих других городах.

В июне умер Горький. На процессе 1936—1937 годов официально было объявлено, что он был отравлен, как Куйбышев и Орджоникидзе, троцкистско-зиновьевской бандой, а через 20 лет выяснится, что Орджоникидзе застрелился, как и вторая жена Сталина — Аллилуева, а Куйбышев и Горький умерли от болезней. В Соловках в связи со смертью Горького ожили воспоминания о его поездке на Соловецкие острова в 1929 году, которая была вызвана трагическими событиями в СЛОНе.

В 20-х годах в зарубежной прессе, особенно эмигрантской, нередко упоминали об ужасах в Соловецких лагерях. В 1928 году эта тема привлекла внимание международной общественности в связи с письмом, написанным кровью на досках, обнаруженных в штабелях пиломатериалов, привезенных английским лесовозом из Соловков. Писали о находке меж досок отрубленной кисти левой руки с оригинальной татуировкой, которая, как выяснилось при расследовании, принадлежала исчезнувшему несколько лет назад английскому моряку. Кровавые письма вещали об истязаниях и молили о спасении. Общественность ряда стран потребовала расследования. Были организованы комиссии. Для успокоения общественного мнения в 1929 году в Соловки был послан Горький. Говорили, что эту акцию предложил Сталин.

В Соловецком эпосе это событие излагалось примерно так.

К приезду высокого гостя Соловки привели в пристойный вид: побелили здания в порту и внутри кремля, обновили лозунги, насадили цветы, выдали новую одежду тем, кто был в состоянии работать, а «доходяг» перевезли в глухие лагпункты, скрытые в лесах большого острова или на других островах архипелага. Доходягами называли тех, кто был настолько изможден физически да и духовно, что дошел до предела расчеловечивания, или, как говорили лагерные юмористы, «дошел до социализма». Убирали с глаз и известных общественных деятелей, с которыми Горький мог встречаться в прошлые годы.

Вначале все шло гладко. Горький любовался Соловками:

«Словами трудно изобразить гармоническое, неуловимое сочетание прозрачных нежных красок Севера... Над морем густо-зеленые холмы, и на фоне холмов кремль монастыря... как постройка сказочных богатырей», — писал потом Горький. Ему показали электростанцию, док, мастерские, ботанический сад, систему каналов, соединяющих озера между собой и с морем, уникальную монастырскую библиотеку. Он, конечно, знал, что все это сотворено монахами,

как и чудесные постройки кремля, но делал вид, что верит в рассказы о преобразующей деятельности соловецкого начальства, и щедро хвалил: «Хорошо-то как! Молодцы, замечательное дело творите! Опишу, опишу!»

Потом Горький захотел посмотреть Секирную гору. Начальство не смело перечить и предоставило гостю экипаж, свита разместилась на дрожжах, и поехали. На Секирной горе Горький и церковь знаменитую посмотрел, и маяк, и пейзажами полюбовался, особенно серебряной гладью озера Красного, изукрашенного зелеными островками. И захотелось ему к этому озеру проехать, благо было до него всего километра два. Тут-то и произошла беда.

На перекрестке дорог Горький повстречал колонну лагерников-лесорубов. Они шли попарно. Каждая пара несла на плечах тяжелое бревно. Согнутые спины, опущенные головы, рваная одежда, лапти на ногах. Сбоку колонны шли стрелки. При виде начальства колонна остановилась, головы поднялись. Остановился и экипаж Горького. Он сидел, опираясь на трость, и растерянно смотрел на серые, истомленные лица.

— Алексей Максимович, здравствуйте! — закричал кто-то из колонны. Несколько пар бросили бревна и устремились к экипажу.

— Погоняй, что встал! — закричал начальник управления кучеру.

— Погодите, — сказал Горький, вставая в экипаже во весь рост.

— Это Горький, Горький! — кричали в колонне. — Горький! Спасите нас! Мы погибаем!

— Спокойно, товарищи. Говорите кто-нибудь один, — сказал глухо Горький. Стало тихо.

— Алексей Максимович, вы меня не узнаете? Мы с вами вместе сидели в тюрьме в 1905 году, — спокойно сказал, сняв шапку, седой иссохший старик. — А потом вы меня в своей газете печатали. Много нас здесь, прошедших через царские тюрьмы, а эту не переживем. — Он закашлялся, сплевывая кровь.

Горький стоял в экипаже и тихо плакал.

— Надо ехать, — прошептал начальник и толкнул кучера.

Экипаж рванул.

— Напишите заявление! — крикнул, оборачиваясь, Горький.

— Кому? На деревню дедушке? — крикнул старик и стал поднимать бревно.

Сытые лошади шустро везли экипаж, Горький вытер слезы и сказал:

— Светло-то как, а по часам-то в Москве уже ночь.

В очерках о Соловках все было в розовых и голубых тонах, о встрече у Секирной горы Алексеем Максимовичем не упоминалось.

Лето 1936 года в Соловках было очень теплое. Во время перерыва я уходил читать в сквер и садился на лафет пушки, стоявшей у часовни для водосвятия. Там красиво, спокойно, и хорошо заучивались немецкие стихи, запоминалась хронология исторических событий и с особенным вкусом читались «Пармская обитель» Стен-

даля и романы Гюго. К сожалению, из кремля выйти на природу было невозможно. Я с грустью смотрел на Святое озеро из окна кабинета и думал, что короткое лето пролетит незаметно и потянутся серые осенние дни, переходящие в зимнюю полярную беспросветность. Но грустить было некогда. План самообразования надо было выполнять.

Летом заключенные в кремле чувствовали себя свободнее. Прекращались тяжелые работы по очистке от снега дорог и заготовке дров. Больше было ненаряженных. Организовывались шахматные турниры (в Соловках было много ссыльных шахматистов: Бестужев-Рюмин, Ясенев-Круковский, Хабленко и др.), устраивались диспуты. Один из диспутов на тему «Теория омыления и диалектический материализм» пародировал широко известную в то время книгу Н. И. Бухарина «Теория отражения и диалектический материализм».

В кремле появился горный инженер Грицай, широко образованный специалист. Его отправили в Соловки за анализ рекорда Стаханова, в 1935 году выполнившего 1600 % нормы по добыче угля на шахте Центральная-Ирмино. Грицай доказывал, что сам факт перевыполнения нормы на 1600 % указывает на абсурдность этого рекорда. Если норму можно перевыполнить в 16 раз, то что это за норма? А если «норма» — это действительно большой объем тяжелой работы, выполняемой забойщиком, и она перевыполнена в 16 раз, то, значит, на рекордиста работали также и помощники. И Грицай приводил данные, сколько шахтеров работало «на подхвате» у рекордиста. Грицай рассказывал о многочисленных арестах среди горняков, критически относящихся к таким рекордам. Горный инженер с интересом просматривал статьи о стахановском движении, заполнявшие журналы того времени.

В библиотеке читатели неоднократно устраивали мне блиц-экзамены по любым вопросам. Как-то в кабинете научной литературы вечером, когда я заменял заболевшего Веригина, несколько читателей стали экзаменовывать меня по текущей политике. Называли фамилию политического деятеля, а я должен был сказать, из какой страны и кто он; если я правильно называл страну и должность деятеля, то получал 2 очка. Я набрал 88 очков из 100, назвав в том числе кардинала Пачелли — статс-секретаря Ватикана, Пьера Лаваля — французского премьера и Вильгельма Пика, ставшего в 1935 году председателем Коммунистической партии Германии.

Публике игра понравилась, мне стали задавать более сложные вопросы по оценке ситуации. Наконец, один весьма почтенный деятель спросил, что я думаю по поводу поездки Функа на Балканы. Я ответил немецкой половицей: «Feuer fängt von Funke an»*. Старички затрясли бородами, молодые аплодировали. «Словно Христос среди учителей», — раздался голос знаменитого соловецкого ученого профессора Павла Александровича Флоренского, который незаметно подошел и стоял, прислонившись к двери и слушая экзамен. Войдя

* «Огонь начинается с искры».

в кабинет, он пояснил, что есть известное полотно В. Д. Поленова* на сюжет из жизни Христа, где его, еще мальчика, экзаменуют в храме учителя и удивляются его знаниям. После этого экзаменаторы стали прогнозировать перспективы моей биографии, то нарекая мне блестящую ученую карьеру, то предсказывая пост министра иностранных дел. Тут вмешался профессор Яворский, известный украинский историк: «Все может быть, если он доживет до...» Все замолчали, а один деятель сказал: «Юра, я составлю вам гороскоп».

Гороскоп был действительно составлен. Для составления гороскопа я должен был сообщить только дату, день и час рождения, дату крещения и день именин, координаты места рождения. Гороскоп имел вид чертежа на ватмане (из ресурсов ПСБ), где в центре реконструировано положение звезд и планет в день моего рождения с поправкой на час суток и склонение, исходя из координат места рождения, в правом и левом верхних углах были еще какие-то чертежи и цифры, а внизу краткий текст, излагающий содержание гороскопа.

Согласно гороскопу, я родился под знаком Стрельца, следовательно — любомудр, в делах и науках удачлив, но вызываю зависть окружающих, что у меня будут две законные жены и т. п. Также указывалось, что жизнь моя разделена на две части и если не прекратится на 33-м году, то может продлиться до 88 лет, не то до 1988 года, но это было слишком далеко и, во всяком случае, обещало еще очень долгую жизнь, в чем я далеко не был уверен. Мне неблагоприятны числа 5 и 11 и соответственно эти даты. Были отмечены тяжелые годы, начиная с 38—39 и далее с интервалами в 6—7 лет, пик неприятностей наступает в пределах двух смежных лет. Было указано еще много деталей, в том числе такие приятные, как «любовь женщин будет вам сопутствовать» и «общее изменение фона вашей жизни произойдет в год, следующий за девятым високосным годом, считая от года рождения». Это опять указывало на 33-й год моей жизни. К сожалению, через полгода при обыске гороскоп был отобран как нечто непонятное, а следовательно, опасное для лагерного режима.

Из указанных в гороскопе чисел оба «работали». Обычно неприятности мои приходились на 5-е и 11-е числа. Так, например, арестован я был 5 мая 1935 г., то есть 5/V — 35. Налет на лазарет дежурного по управлению Михайлова был ночью 11 ноября, то есть 11/XI. Вспоминая прошлую жизнь, я нашел еще ряд случаев, происшедших 5-го и 11-го и стал относиться с почтением к моему гороскопу. Петр Иванович, посмотрев на чертеж гороскопа, произнес из Шиллера:

Und der Mensch versuche die Sotter nicht
Und degehre nimmer und nimmer zu schauen
Was sie gnüftdig bedeecken mit Nacht und erauen...

* Эта картина, как и многие другие работы Поленова, была продана в 20-е годы советским правительством на аукционе в Америке наряду со множеством других произведений искусства русских и иностранных мастеров.

(И человек не испытает богов и никогда не должен заглядывать на то, что милостивыми покрыто ночью и мраком...) и очень интересно изложил идею о непредвидении будущего, о непредсказуемости событий как величайшем благе, связанном с представлением о свободе воли — одним из важнейших положений теологии.

Второй человек, узревший гороскоп, был Георгий Лукашов, с которым я подружился в конце зимы. Он очень внимательно проанализировал гороскоп и отметил, что первый тяжелый год — 1938-й совпадает с годом окончания моего срока.

— Вот это будет генеральная проверка, — серьезно сказал Жоржик, — может быть, дадут второй срок или добавят?

— Но дважды за одно не отвечают. На этом стоит юстиция! — возразил я.

— Но юстиция по-русски значит справедливость, а где же у нас справедливость? Если подойти справедливо, то 70—80 % соловчан не должны быть даже арестованы, а не то что получать сроки!

Это было очевидно. Через 20 лет все те, кто остался в живых, были реабилитированы, и многие были реабилитированы посмертно.

* * *

Июль ознаменовался двумя событиями. Во-первых, началась гражданская война в Испании. Сигнал «по всей Испании безоблачное небо», переданный в эфир мятежными генералами, означал сгущение туч над Соловецким архипелагом. Опытные политики прогнозировали усиление режима и в лагерях, и в стране в целом. На этом тревожном фоне особенно поразительным было известие о разрешении свидания с мамой. Сначала мне об этом официально (под расписку) объявили в колонне, а через несколько дней я получил письмо, где мама писала, что при помощи Крупской ей разрешили свидание продолжительностью 10 часов с правом использовать все часы в одни сутки или растянуть на 5 дней по 2 часа в день. Мама, конечно, выбрала второй вариант.

Мои коллеги и знакомые очень удивлялись. Свидание в Соловках — событие небывалое. Я не мог удовлетворить их любопытство, так как мама не писала, каким путем она решила столь трудную задачу. Упоминание о Крупской ничего не проясняло, так как жена Ленина в то время не была в милости у Сталина и не имела веса ни в государственных, ни в партийных кругах.

За два дня до свидания мне объявили, что меня вывезут на Морсплав — базу Соловецкого лагеря на материке, где я буду находиться в изоляторе, в отдельной камере, все 5 дней. Из камеры под конвоем меня будут выводить на свидание к маме. С Морсплавом я был знаком, поскольку по пути в Соловки наш этап пробыл две недели в этом «благословенном» месте. На век запомнились серые голые гранитные глыбы, на которых стояли лагерные бараки, клумбы, где рос вместо цветов чахлый овес, двойное ограждение из колючей проволоки. Справа за проволокой виднелись причал и серое мрачное море. По сравнению с зелеными лесами и лугами, голубы-

ми озерами и бухтами Соловецких островов различие огромное. Мрачное место для свидания.

В день отплытия на свидание произошла заминка. В назначенный час я пришел в канцелярию колонны, но мне сказали, что конвоир за мной не пришел и они ничего не знают. Я в ужасе вернулся в библиотеку. Коллеги очень сочувствовали, но что они могли? Профессор Вангенгейм вдруг стал обувать «выходные» ботинки. «Иду к начальнику кремля, — пояснил он, — пусть обеспечит конвой сам или я от него позвоню в управление. Предупрежу, что они срывают мероприятие, разрешенное Москвой». Вангенгейм пошел к начальнику кремля, а я — в канцелярию колонны. Вскоре раздался первый гудок «Ударника» — того маленького пароходика, на котором я прибыл в Соловки.

Первый гудок пароход давал за час до отхода. Время шло, а никаких известий не было. Наконец в колонну позвонили, чтобы мне выписали пропуск на выход из кремля в порт, а сопроводительные документы уже давно на корабле. Раздался второй гудок. Я схватил пропуск и побежал к проходной. Выпустили меня без задержки, и я помчался в порт. Третий гудок застал меня уже в порту. У трапа снова задержка. Часовой не имеет указаний, а мой пропуск действителен только на вход в порт, а не на выезд из Соловков. Я стал кричать изо всех сил, зовя капитана, коменданта порта и всякое другое начальство. Но рабочий день кончился, все начальники отсутствовали, кроме дежурного по управлению, который услышал мои крики и вышел в порт. Им был, к счастью, Михайлов, тот самый грозный начальник, который обнаружил меня спящим на дежурстве в лазарете, бывший военный аташе в Париже. Выражение его лица показывало, что он узнал меня. Я объяснил ситуацию. Михайлов прошел на борт и через несколько минут вышел с капитаном. Раздалась команда: «Пропустить!» Я влетел на корабль, следом подняли трап. «Спасибо!» — крикнул я Михайлову. Он не ответил, но слегка улыбнулся и кивнул. Никто не знал, что пройдет немногим больше года — и все соловецкие начальники, в том числе и Михайлов, будут арестованы и расстреляны, как и многие ответственные работники НКВД.

«Ударник» медленно выходил из бухты. Солнце стояло низко и освещало кремль с северо-запада. Светло-голубое небо, отражаясь в почти такой же поверхности моря, смыкалось с ним незаметно, без линии горизонта. Был полный штиль. Я стоял на корме и не мог наглядеться на тающий в безгоризонтном просторе темнеющий силуэт монастыря.

* * *

Свидание с мамой, самым близким человеком, — что может быть радостнее?! Однако когда время встреч строго дозировано, когда за столом сидит тюремщик и вслушивается в разговор, когда с каждым днем приближается конец, тогда свидание превращается в болезненную нервотрепку.

В первый же день свидание состоялось с 2 до 4 часов. Мама

приехала накануне и устроилась на житье в поселке. Она выглядела очень похудевшей, и ее прекрасные густые волосы сильно поседели, но лицо было спокойным, добрым, только очень напряженный взгляд выдавал ее состояние. Меня привели в отведенное нам помещение из внутренней двери, через минуту мама вошла из внешней двери. Посредине комнаты стоял длинный тонконогий непокрытый стол. Нас посадили по концам стола примерно на расстоянии двух метров, тюремщик сел посредине и объявил: «Свидание начинается. Во время свидания запрещается передавать друг другу вещи, записки. Запрещается говорить на иностранных языках. Запрещается говорить о недозволенном. В случае недозволенных разговоров надзиратель имеет право прервать разговор. При нарушении правил свидание будет прекращено».

Мама привезла огромный шоколадный торт собственного изготовления. Самый любимый из всех тортов. И спросила, как можно его передать. Тюремщик задумался.

— После свидания его расковыряем. Если недозволенного в торте нет — отдадим ему, — наконец сказал он.

— Что же может быть в торте? — удивилась мама.

— Нож может быть, спирт, патроны, — стал перечислять страж, загибая грязные пальцы.

— Можно, я его сама здесь при вас разрежу?

— Не положено, — мрачно ответил стрелок.

— Тогда я на минуту выйду к начальнику, — сухо сказала мама и через несколько минут вернулась с начальником. — Вот, — указала мама на торт.

Начальник вынул нож и передал его маме. Мама достала из сумочки чистый платок, оберла нож и разрешила торт на четыре части.

— Порядок, — важно сказал начальник и передвинул торт на мою сторону.

Я начал рассказывать о здоровье, о климате, о получении посылок. Тюремщик, потерпевший поражение в борьбе за право «ковырять» торт, ослабел и не прерывал нас. Разговор все же был какой-то неживой. Мама тоже сухо и осторожно рассказывала о посещении Андрея Ягуаровича (так за глаза звали Вышинского). Вдруг тюремщик сказал, что осталось 5 минут. У мамы задрожали губы, но она справилась с болью, и мы простились.

Меня поместили в одиночной камере. Мне никто не мешал обдумывать ситуацию. Наконец я придумал несложный маневр. Я буду имитировать чтение стихов и в стихах расскажу больше, чем можно. Кроме того, монотонное чтение «стихов» вгонит в сон надзирателя. Приняв такое решение, я с удовольствием принялся за торт, который услаждал меня в продолжение 5 дней.

На другой день я сказал маме, что выучил много больших стихотворений Некрасова и хочу, чтобы она проверила, правильно ли я читаю.

— Это тот Некрасов, который написал «Полным полно коробушка», — пояснил я тюремщику. Тот важно кивнул:

— Знаю.

Я подмигнул маме и начал читать монотонно:
Старики преученные всюду
Обучают наукам меня,
Книги дивные я не забуду,
Их впервые увидел здесь я.

Мама вступила в игру и тоже стала читать:
Надя, Костина дочка, любезно
Приняла вашу бедную мать
И сказала: ее обижают
Заставляют с детьми лишь играть.

Я понял, что речь идет о Крупской, которой была оставлена незначительная должность председателя общества «Друг детей» (ОДД). Со стороны наше бормотание стихов походило на какой-то нудный бред, но мы, освоив «технику», передали друг другу много полезной информации. Надзиратель задремывал, просыпался и даже на 6 минут проспал конец тайма.

Остальные 3 дня свидания проходили с 10 до 12. Мама сказала, что, увидев меня своими глазами, поверила оптимистичному тону моих писем и ей стало несколько спокойнее. Я продолжал убедительно рассказывать о прелестях соловецкого быта, в особенности о замечательном театре. Чем бы еще убедить маму, что моя эпопея закончится хорошо? И тут мне пришел в голову простейший расчет: Сталин старше меня на 40 лет, следовательно, вряд ли этот гнет долго продлится. И я спросил маму:

— Сколько получится, если из 919 вычесть 879?

— Сорок, — сказала с недоумением мама.

Я скосил глаза на портрет Вождя. Мама побледнела, и я догадался, что она поняла.

Последний день свидания прошел очень тяжело. Мама заметно нервничала и сказала, что ей невыносимо ждать еще два года, что она продолжит хлопоты о сокращении срока хоть на год, хоть на полгода. Окончились последние два часа. Мы простились. Я уезжал на «Ударнике» в 20 часов, и мама хотела проводить меня, выйдя на мыс, который огибают корабли, берущие курс на Соловки. Она будет махать большим белым платком.

Примерно за полчаса до отхода конвой доставил меня на борт корабля. Капитан разрешил стоять на корме. Мама, очевидно, была уже на мысу, но мне из порта мыс был не виден. Наконец «Ударник» выполз из порта, взял курс на мыс, и я сразу же увидел маленькую фигурку, взмахивающую белым платком. Я тоже без усталости махал платком. Корабль прошел метрах в 30 от скалы, где стояла мама, развернулся на Соловки, и скоро мама исчезла на фоне скал. Я бросил свой платок в море и заплакал, чувствуя, что никогда не увижу маму.

* * *

На другой день я появился в библиотеке, но был в таком подавленном состоянии, что никто не стал расспрашивать меня о свидании.

В конце дня Котляревский, человек добрый и даже сентиментальный, повел меня в архив, куда я давно стремился, попросил поработать в архиве и отобрать материалы по списку для начальника управления. Он предупредил, что закроет меня на замок, а через час выпустит. Я понял эту добрую затею Григория Порфирьевича. Он хотел отвлечь меня от горьких мыслей раритетами архива.

Я быстро подобрал несколько старых номеров «Большевика» и «Коммунистического Интернационала» и стал смотреть книги из шкафа, на котором была наклеена надпись «Антиквариат». Вот там-то я и увидел роскошные редкие издания, которым и цены не было. Первым мне попался том «Божественной комедии», иллюстрированной Доре, затем «Орлеанская дева» Вольтера — прижизненное издание. Великолепное многотомное издание «Живописная Россия», но тут я вспомнил о журнале «Соловецкие острова» и сразу увидел их толстые погодичные сборники с Никольской башней на обложке.

Быстро пролистав подшивку за 1926 год, я нашел несколько интересных стихотворений и рассказов, в том числе о прибытии на Соловки полка охраны СОП (Соловецкий особый полк) в связи с попыткой вооруженного побега на захваченном заключенными пароходе. На другом стеллаже я нашел стенографические отчеты партийных съездов начиная с VI (в июле 1917 г.), раскрыл том со стенограммой X съезда (1921 г.) и был поражен резким тоном выступающих ораторов из различных фракций по вопросу о нэпе и критикой доклада Сталина по национальному вопросу. Это было поразительно. Не укладывалось в сознании, что Великих Вождей Ленина и Сталина могли запросто критиковать, да еще так резко. Заглянул я и в материалы II конгресса Коминтерна (июль — август 1920 г.) и ахнул, увидев на групповой фотографии нового состава ИККИ вместе с Лениным и Зиновьевым нашего Андрея Юльевича Руднянского — тогда секретаря Исполкома Коминтерна, а ныне сторожа маяка в Соловках и нашего активного читателя, помогающего Вангенгейму в иностранном отделе библиотеки. Да, в архиве много интересного, тут можно сидеть месяцами, а не какой-то час!

Когда Котляревский выпустил меня, оказалось, что я провел в архиве более двух часов. Я очень благодарил шефа за доставленное удовольствие. Он же просил об этом не распространяться и сказал, что допустил меня в эту обитель тайн для поднятия моего подавленного настроения. Григорий Порфирьевич придумал правильно. Это лекарство помогло войти в обычную колею: работа — учение.

Котляревский выхлопотал мне через Михайлова и начальника КВЧ разрешение на второе дополнительное письмо, и с августа я уже посылал домой три письма в месяц, радуя родных. Я закончил планиметрию и боролся со стереометрией и тригонометрией. Успешно прорабатывалась физика, заканчивался курс географии. По-немецки я уже довольно бегло беседовал с Учителем, с другими немцами, с Жоржиком Лукашовым. План подготовки за 8-й класс уже был выполнен, и заканчивалась по основным предметам подготовка за 9-й класс.

Среди читателей время от времени возникали новые «рарите-

ты», которые тоже вносили некий вклад в познание мира, особенно в познание добра и зла. В августе в библиотеку заявился невысокий чернявый, суетливый человечек средних лет, пытавшийся объяснить на какой-то многоязычной смеси, утяжеленной скверной дикцией и шепелявостью. Уловив в этой вавилонской смеси некоторые немецкие слова, я четко спросил: «Was wollen sie? Sprechen sie langsam und deutlich, bitte?» Человечек взмахнул руками и, как пулемет, затараторил по-немецки, брызжа слюной и отчаянно жестикулируя.

Это был член КПП и даже секретарь одного из берлинских райкомов, один из организаторов убийства Хорста Весселя — автора нацистского гимна. После 30 января 1933 г. Купферштейн и его жена Элиза, тоже активистка КПП, бежали во Францию, в Германии их заочно приговорили к смертной казни. Они были переправлены в СССР. Здесь супруги работали в Коминтерне, а потом Купферштейн съездил в АССР немцев Поволжья и вернулся, настроенный критически.

Вскоре Купферштейн, писатель-антифашист Георг Борн и кто-то из русских журналистов сидели в ресторане (очевидно, в «Национале»), и Купферштейн рассказывал антинацистский анекдот, сочиненный известным журналистом-антифашистом лауреатом Нобелевской премии мира Карлом фон Осецким. Сей журналист был убийственно остроумен, и анекдоты его приводили фюрера в ярость.

Упомянутый анекдот звучал так: «Как известно, Господь Бог очень любит немцев. Так вот, он решил осчастливить немецкую нацию, внедрив в немцев три прекрасных качества: честность, ум, членство в нацистской партии. Но Бог счел, что три качества на одного немца слишком много, и каждому из них подарил только два из трех. Таким образом, если человек — умный и нацист, то он — нечестный, а если честный и нацист, то — неумный. Когда же он — честный и умный, то он не член нацистской партии». Все посмеялись от души новому анекдоту Осецкого.

На другой же день Купферштейна арестовали и в числе многих обвинений предъявили «нацистскую пропаганду», убеждая, что Купферштейн хотел нацистский анекдот применить к нашей советской действительности. Купферштейн был очень оскорблен, что ему, антифашисту-еврею, инкриминируют «нацистскую пропаганду». Он не подписывал протоколы допросов, объявлял голодовки, требовал прокуроров и т. п. Наконец его послали в Соловки и посадили в СИЗО, Элиза — его супруга — начала искать мужа и, узнав причину ареста, развила такую деятельность, так надоела всем властям, что ее тоже отправили в Соловки, не указав ни статьи, ни срока. Когда супруги встретились, их, очевидно, за заслуги перед международным революционным движением перевели на открытый политрежим.

В кремле много было и других деятелей зарубежных компартий. Приходили часто в библиотеку два шахматиста-венгра — Шаш и Барно. Первый был секретарем ЦК КП Венгрии, другой — секретарем ЦК венгерского комсомола. Невзрачный щупленький секретарь ЦК Польской КП Бараба не общался с другими поляками, также и секретарь ЦК КП Западной Украины Корбутяк не общался со

своими земляками. Но они не общались и с Андреем Юльевичем Руднянским, одним из наиболее видных и образованных деятелей международного революционного движения, приземлившись в Соловках. Руднянский был секретарем Исполкома Коминтерна — высшей международной инстанции для всех компартий мира. Лет сорок спустя в музее Ленина в Ташкенте я видел в одной из витрин удостоверение члена Коминтерна из какой-то азиатской страны, подписанное Руднянским.

* * *

Украинское землячество значительно пополнилось в 1936 году. Кроме соловецких старожилов — украинского академика Рудницкого, профессора Матвея Яворского (историк), Грушевского (историк) и националистов разных оттенков от бывших коммунистов — последователей Скрыпника и Затонского до сторонников Петлюры и Коновальца — в последний год прибыло много украинской интеллигенции, в том числе группа неоклассиков. Неоклассицизм возник в начале XX века как художественное течение, противопоставлявшее декадентству строгость стиля античной литературы и искусства.

В начале 30-х годов в литературных кругах Киева были хорошо известны имена неоклассиков: Зерова, Лебедя, Филипповича, Рыльского. Наиболее маститым из них был профессор Зеров, великолепный латинист и поэт, переведший на украинский «Энеиду» и множество стихов Горация и Вергилия. Лебедь был весьма остроумный критик и теоретик украинского литературоведения. Третий неоклассик, Филиппович, был в большей мере профессор, чем поэт, а Рыльский, тогда еще не академик, не герой и не депутат, в силу ли широты мышления или, как говорил Лебедь, «гибкости спины» хотя и ходил в неоклассиках, но писал в разных жанрах, сочетая лиризм с социальными заказами.

В 1935 году всех неоклассиков посадили, обвинив в заговоре, терроризме, попытке отторжения Украины и т. д. Люди они были видные, обвинение — серьезное, дело шло под присмотром самого наркома внутренних дел Украины Валицкого. На первом этапе следователи установили общеизвестные истины, что обвиняемые знакомы и что они соглашаются с ярлыком «неоклассиков». Обвиняемые согласились с этим легко, а затем им было предложено признать и все остальное, тут-то и нашла коса на камень. Следователи считали, что согласие с неприличным ярлыком «неоклассики» — это уже есть признание в контрреволюционной деятельности, а признание общности взглядов — подтверждение существования заговорщической организации. «Нам все известно, — посмеивались следователи. — Неоклассики! В классики захотели при жизни, а какая инстанция это вам разрешила? «Энеиду» переводили, рабовладельческий Рим пропагандировали, от Муссолини задание получали?..»

Первым стал сдавать младший неоклассик — Максим Рыльский. Он признал, что пропагандировал в своих стихах буржуазный национализм и был уже готов согласиться на отторжение Украины и назначение себя и других неоклассиков в правительство самостий-

ной Украины, как вдруг его вызвал сам Валицкий, предложил ароматический чай и сообщил о прекращении дела, немедленном освобождении и направлении для отдыха на правительственную дачу. Мило пошутив на тему о сложности жизни и бдительности, нарком выразил надежду, что товарищ поэт и впредь будет писать такие же хорошие стихи.

Совершенно сбитый с толку, Рильский жил, как в тумане. Его моментально оформили, выдали вещи, побрили и вывели за заветные ворота. Но тут произошла неувязка: поэта выпустили из внутренней тюрьмы НКВД раньше, чем за ним приехала машина, чтобы отвезти на дачу, и он вышел в шумный жаркий город. Сил ему хватило только дойти до ближайшего столба. Голова кружилась, ноги не держали. Сердобольные киевляне окружили бледного человека, едва державшегося за столб. Посыпались вопросы, советы, предложения о помощи. Первым до его сознания дошел вопрос: откуда он? «Отсюда», — сказал он, показывая на известный дом. Добрых киевлян как ветром сдуло, но тут подъехала машина, и его забрали отдыхать на дачу.

На даче высокопоставленный руководитель украинской культуры поздравил его с высокой оценкой, которую дал тов. Сталин его последним стихам, одно из которых было посвящено ему. Просматривая, как обычно, по ночам новые книги, И. В. прочитал отмеченное секретарем стихотворение о Великом вожде и наложил резолюцию: «Автора поощрить, может быть, из него со временем выйдет новый классик украинской литературы».

Как известно, прогностические резолюции И. В. оправдывались полностью, и младший неоклассик стал не только классиком при жизни, а также и депутатом, академиком, Героем, а его коллеги, получив по 10 лет, прибыли в Соловки, где часто вечерами под монастырскими сводами звенела латынь Вергилия и Горация. Их реабилитировали посмертно.

В конце лета в библиотеке появился еще один интересный человек — Петр Семенович Арапов. Его выпустили из-за плохого здоровья из СИЗО, где он находился более двух лет, заработал цингу и потерял половину зубов. Политрежим и политпаек в лагере ему не полагались, так как Арапов не только не принадлежал к революционным партиям, но, наоборот, воевал в гражданскую войну на стороне белых и был адъютантом, а потом начальником конвоя у своего дяди барона Врангеля. Араповы — старинная русская фамилия, среди членов которой были и генералы, и сановники, и историки. В библиотеке была книга А. М. Арапова «Летопись русского театра». Родственные связи Араповых — пензенских помещиков были очень широки, включая Стольпиных, Римских-Корсаковых, Лермонтовых, Апраксиных и т. п. По врангелевской линии адмирал Врангель был прадедом Петра Семеновича.

Петр Семенович имел прекрасное образование: окончил Пажеский корпус, был выпущен корнетом в Конногвардейский полк перед мировой войной. В эмиграции он учился в Пражском и Венском университетах, слушал лекции в Сорбонне и Оксфорде, знал в совер-

шенстве русский и французский языки, а также итальянский, немецкий, английский.

В детстве в Италии, где его отец был послом, он подружился с Эдуардом — сыном герцога Виндзорского. Этот мальчик в 1936 году стал английским королем Эдуардом VIII. Перед революцией Арапов входил в окружение князя Феликса Юсупова и даже участвовал в подготовке покушения на Распутина, но в день убийства «старца» дежурил по полку. Великий князь Дмитрий Павлович хотел просить командира полка заменить Арапова, но Юсупов отклонил это предложение, и с Распутиным Юсупов, Пуришкевич и Дмитрий Павлович расправились втроем. Петр Семенович очень детально рассказывал об этом захватывающем происшествии.

Петр Семенович был прекрасный рассказчик. В процессе повествования он перевоплощался то в одного, то в другого персонажа. Его большие серые, необычайно выразительные глаза резко контрастировали с беззубым ртом и изможденным лицом, но когда оно освещалось мягкой сдержанной улыбкой, оно было одухотворенным и очень симпатичным. Все знавшие последнего главнокомандующего белыми армиями говорили, что Петр Семенович весьма похож на него, особенно в белградский период деятельности Петра Николаевича.

Я как-то спросил Арапова, похож ли самозванец на Николая II. Петр Семенович сдержанно улыбнулся и сказал: «Самозванец похож на плохой портрет государя, а это способствовало «узнаванию» его мужичками, но глаза, глаза Николая II, они несравнимы. В них обаяние, скорбь, обреченность».

Петр Семенович бывал в библиотеке ежедневно. Я очень хотел познакомить моего Учителя с Араповым и понемногу уговорил замкнутого патера. Петр Семенович согласился охотно, сказав, что с удовольствием поговорит с ним на всех языках. В назначенное время, после очередного урока, Арапов постучал в дверь кабинета и, получив приглашение, вошел, слегка поклонившись. Я представил их друг другу. Петр Семенович начал разговор по-немецки, а затем перешел на итальянский. У прелата сквозь обычную невозмутимость лица светилось удовольствие, и его бледные щеки даже чуть порозовели, а я наслаждался музыкальностью итальянского языка. Разговор закончился по-французски. Они понравились друг другу. Потом Учитель сказал с бледной улыбкой, что у них есть общие знакомые: кардиналы Ледоховский, Фаульгабер и поэт Вячеслав Иванов. Арапов же с большим уважением говорил, что хотел бы перед смертью исповедаться у моего Учителя.

Арапов сидел давно, кажется, с 1929 года. Он еще принимал участие в похоронах Врангеля в Белграде в 1928 году и рассказывал, как гроб с его прахом был замурован в стене русской церкви в Белграде и закрыт доской со скромной надписью: «Петр Николаевич Врангель». После смерти Врангеля главнокомандующим РОВС стал генерал Кутепов, который исчез в Париже в 1930 году. Я очень хорошо помню статьи в «Известиях», посвященные этому событию. На Западе господствовала версия о его похищении и тайной перебе-

роске в Москву, поскольку он энергично принялся укреплять РОВС и усиливать агрессивность этой еще очень опасной организации. Наша пресса отвергла эту версию. Так вот, Арапов утверждал, что видел в конце 1930 года Кутепова на Лубянке. Они по недосмотру тюремщиков встретились в коридоре, когда Петра Семеновича вели с допроса, и узнали друг друга. Арапова сразу поставили лицом к стене и завернули на лицо рубашку, а Кутепова моментально увели. На следующем допросе Арапова неожиданно спросили, с кем он встретился. Петр Семенович ответил недоуменно: «Не знаю». Больше следователь к этому не возвращался, но Арапов был уверен, так как лицо Александра Павловича было настолько характерно, что ошибиться было невозможно. Лишь два года спустя Арапову стало известно об исчезновении Кутепова.

Как-то уже осенью, обрабатывая новые книги вместе с Араповым, мы разговорились о Крымской эпопее, и он рассказал об эвакуации Севастополя, об отплытии на французском крейсере вместе с Врангелем, о Галлиполийском «сидении» белой армии, о перемещениях в Болгарию, а затем в Сербию, о царе Борисе болгарском и короле Александре I сербском (с 1929 г. короле Югославии), о трудном положении и распрях, разъедающих белую эмиграцию, о его участии в деятельности, как он говорил, самой активной части РОВС. Он несколько раз был в России как связник-инспектор. В последний раз под фамилией Семенова.

Я много думал о судьбе Арапова, и у меня возник деликатный вопрос, не дававший покоя. Однажды я спросил, надеется ли он получить освобождение после конца срока.

— Нет, меня не выпустят.

— Надеетесь ли вы на освобождение в результате войны?

— Нет, тогда меня заблаговременно расстреляют.

— Нравится ли вам жить в условиях лагеря?

— Ни в коей мере.

Тогда я задал тот деликатный вопрос, который хотел выяснить:

— Зачем же вы живете?

Петр Семенович рассмеялся и сказал, что он мне ответит, но, в свою очередь, задаст такой же вопрос. Я согласился, и тогда Арапов серьезно и грустно сказал:

— Я не могу покончить жизнь самоубийством. Это тяжкий грех, запрещенный церковью. Церковь предоставляет мне свободу воли в выборе: совершить грех или не совершить. Я дважды чуть не совершил этот грех: в первый раз, когда меня брали, я выстрелил в сердце, но пуля прошла левее, и меня вылечили в тюрьме; во второй раз я пытался повеситься на спинке кровати в камере на Лубянке, но и здесь мне помешали. После этого я долго размышлял и молился и принял твердое решение не выбирать легкого пути ценой тяжкого греха. Я религиозный человек, Юра!

Мой ответ на аналогичный вопрос Арапова был краток:

— Я моложе вождя на 40 лет, и это мой главный шанс.

— Юра, вспомните сиракузскую старуху, — возразил Петр Семенович.

К своему стыду, я, не зная о сиракузской старухе, попросил разъяснений и услышал о ней следующий рассказ.

— В Сиракузах долгое время правил тиран Дионисий. Когда он умер, все ликовали, и только одна очень старая женщина горько рыдала. Когда возмущенные граждане стали ее упрекать за скорбь о тиране, она объяснила, что пережила трех тиранов и каждый был хуже предыдущего, самый жестокий из них был Дионисий. «Поэтому я не его оплакиваю, а плачу от ужаса перед будущим тираном», — горестно заключила старуха.

Вот так мой шанс был разбит исторической аналогией. Я не согласился с Петром Семеновичем и был совершенно уверен, что режим ужесточается вопреки государственным и народным интересам. Об этом говорит прошедший процесс, когда по второму кругу судили Зиновьева, Каменева, добавив к ним других неугодных Вождю бывших деятелей революции. Очевидно, эта тенденция будет усиливаться до смерти Сталина, а его преемник может сильно ослабить взведенную до предела пружину как в интересах народа, так и в своих собственных.

Меня интересовали основные причины поражения белой армии, я спрашивал об этом многих военных специалистов и комиссаров. Об этом же я спросил и Арапова. Он задал контрвопрос:

— Сколько было под ружьем красноармейцев в 1919—1920 годах?

— Около 5 миллионов, — ответил я.

— А у Деникина в период наступления было 140 тысяч, а у Врангеля в Крыму — 60 тысяч. Следовательно, первая причина — соотношение сил было не в пользу белых. Вторая причина: крестьяне, разобрав помещичьи земли и разгромив усадьбы, боялись наказания и изъятия. Они не представляли, что потом даже их собственная земля отойдет к колхозам и совхозам. Третья причина: среди участников белого движения были большие разногласия, а кроме того, защита «единой, неделимой России», начертанная на белом знамени, не получила поддержки ни у поляков, ни у прибалтов, ни у пытающихся стать самостоятельными народов. В первую очередь у украинских самостийников. Ведь Деникин воевал на два фронта: против Красной Армии и против петлюровско-махновских отрядов.

Примерно так же мне отвечали и бывший комиссар Котляревский, и зам. начальника ПУРа солидный Дворжец, и профессор Вангенгейм, только они еще добавляли немаловажную деталь — надежду красноармейцев на скорейшую мировую революцию, о чем очень хорошо написал Бабель в знаменитой «Конармии» (в 1938 г. его арестовали и расстреляли).

Между Араповым и Вангенгеймом нередко возникали споры по двум темам. Первая тема была связана с различной трактовкой событий мировой и гражданской войн, вторая тема касалась будущего. Однажды разговор зашел о недавно введенных в армии званиях. Арапов сказал, что если ввели звания полковников и маршалов, то скоро введут и звания генералов. И будет вместо комбрига, комдива и комкора, как при царе, генерал-майор, генерал-лейте-

нант и т. п. Вангенгейм очень возмутился и стал доказывать ненужность и невозможность этого, ссылаясь в том числе и на «замаранность» слова «генерал», вызывающего у советских людей самые отрицательные ассоциации.

— Вы еще скажете, что могут ввести в армии погоны! — крикнул Вангенгейм.

— Думаю, что введут, — спокойно ответил Арапов.

В спор вмешался Котляревский и поддержал Вангенгейма, сказав, что погоны — ненавистный символ царского офицерства. Он рассказал, как во время революции солдаты срывали с офицеров погоны, а сопротивлявшихся убивали или им прибивали гвоздями погоны к плечам.

— Да и нет надобности менять знаки различия ни в армии, ни на флоте. Уже все давно привыкли к кубарям, шпалам и ромбам, — продолжал Котляревский.

— Погоны красивее, — смеялся Арапов, — а красивый мундир — большая приманка для юношества.

— Погоны в Красной Армии — это такой абсурд, что просто удивительно, что это стало темой спора, — сказал Вангенгейм сердито.

— Главное в том, что погоны — это традиционный знак офицерства, а традиции русской армии, патриотизм и другие аксессуары необходимы для поднятия духа армии, — доказывал Арапов.

— Поверьте старому комиссару, — завершил спор Котляревский, — погоны, аксельбанты и прочая мишура никогда не испоганят форму красного командира.

* * *

В конце августа произошло нечто необычайное: в Соловки приволокли баржу с арбузами! Их было так много, что не только вольнонаемные и стрелки охраны накупили их во множестве, но и нам их стали продавать в «неограниченном» количестве. Во второй двор кремля на площадку, где круглый цветник, между входом в столовую и входом в опергруппу, привезли две телеги арбузов, стол, весы и открыли торговлю по рублю за килограмм. За день все арбузы не распродали: дорого это было для заключенных. Во-первых, у большинства не было переводов, во-вторых, большинство были ненапряженные, а работающие на постоянной работе получали «премвознаграждение» в размере от 3 до 20 рублей. Через 2—3 дня цену на арбузы снизили до 50 копеек за килограмм. Я купил 2 арбуза накануне выходного дня и был счастлив.

Суеверные солдовчане шептали, что эта роскошь не к добру. Ночью непроданные арбузы лежали пирамидой и в лунном свете выглядели как отрубленные головы. Возрастающее напряжение ощущалось всеми, особенно после чтения центральных газет, обсуждавших реакцию народа на процесс и приговор к расстрелу бывших соратников Сталина. «Изверги, агенты империализма, продались фашистам, хотели распродать родину, разоблачить их, уничтожить» — таковы были отклики. Мудрые солдовчане видели за этими эмоциями подъем но-

вой большой волны арестов: сначала родных и близких осужденных, затем их знакомых, потом знакомых их знакомых и т. д. Развертывание гражданской войны в Испании тоже усиливало напряженность. Казалось, что это уже прелюдия мировой войны.

В библиотеке появилась еще одна дама — Варвара Ивановна Брусилова. Знаменитая Варенька — невестка генерала Брусилова — героя мировой войны. Варвара Ивановна находилась в заключении уже давно. В Соловках она была с 1934 года. В кремле сблизилась с доктором Гинзбургом, очень шустрым эсером, и за это ее отправили на Голгофу. Голгофой назывался бывший скит Соловецкого монастыря на острове Анзер. Возвращения в кремль Брусилова добилась голодовкой, и, когда появилась в библиотеке, она напоминала отощавшую черную галку, так как была одета в черное, покрыта черным платком, скрывавшим ее голову, остриженную во время голодовки.

Лето заканчивалось, началось пожелтение листьев, в лесах было полно грибов и ягод, но почти все пропало: собирать было некому. Режим усиливался. Многих, имевших пропуск на выход из кремля для участия во внешних работах, переводили в ненаряженные или выводили на работы под конвоем. Маломощные бригады стариков собирали лишь крохи из лесных даров и то только для вольных.

Однажды утром я увидел в увядающем цветнике странную фигуру. Некто в пальто с поднятым меховым воротником, в шляпе и желтых туфлях стоял, держа себя рукой за нос, в глубокой задумчивости. Через час он появился в библиотеке. Он оказался анархистом-коммунистом, учеником Кропоткина, Владимиром Абрамовичем Макарянцем, 30 лет, сыном довольно известного до революции московского адвоката. Он был совсем «свежий», арестованный летом в ссылке и только что привезенный в Кремль, минуя перепункт. На вопросы старожиллов «Что нового на воле?» он кратко ответил: во-первых, воли нет, а есть четыре состояния: тюрьма — лагерь — ссылка — ожидание ареста, во-вторых, из ссылки политических начали отправлять в лагерь без предъявления нового обвинения, в-третьих, ему ОСО дало 5 лет, прикрепив стандартную формулировку КРД, что его как старого революционера очень обижало, так как он вступил в партию анархистов в 1917 году 14 лет от роду.

Такое известие произвело на всех тягостное впечатление, а Макарянц еще усилил тягость, добавив про слух о новом приказе, запрещающем голодовки. Требования голодающих не будут удовлетворяться — или снимай голодовку, или умирай, а если не умрешь, получишь наказание за сам факт объявления голодовки. Сказав все это, новичок схватил себя за нос, сел в читальне в углу и впал в транс. Петр Семенович, грустно улыбнувшись, сказал:

— Кончилось соловецкое лето. Переживем ли зиму? — И голос его дрогнул.

Оттого, что дела никакого
Нету никому ни до кого,
Стало тускло, холодно и голо,
Как в кино, где кончилось кино.

Где подруги, добрые, как феи,
На звонок спешащие друзья?
Всем уже до лампочки, до фени,
Даже и поплакаться нельзя.

Жизнь осиротела, оскудела,
Вымерзла, как сельское кино,
Оттого, что никакого дела
Нету никому ни до кого.

1990

Колокола Державина

Колокола Державина,
Звонче вас, громче нет!
Бьете неподражаемо
Вот уж две сотни лет.

Не серебро, не золото —
Просто глагола медь,
Но еще долго молодо
Вам после всех греметь.

Яростна ваша жалоба,
Радость, хвала, хула,
Колокола Державина,
Страсти колокола!

Дыбой, кнутом и ядрами
Волю прогнали прочь,
Но отчего-то ямбами
Заговорила ночь.

Может, всего не ведая,
Может, и о другом,
Но целых два столетия
Не умолкает гром.

1988



Борис АЛЬТШУЛЕР

«...По ту сторону окна»

Чувство страшной потери породило другое, почти паническое чувство — желание как-то удержать, записать, что видел и знаю. Не планировал я этим заниматься, но вот Андрей Дмитриевич неожиданно поставил такую задачу. Моя тема здесь: физика, ученые, коллеги в период горьковской ссылки академика Сахарова. В разных — научных и не только научных — аспектах. Тема эта очень широкая, и я не претендую на ее полный охват. Буду писать лишь о том, что принадлежит моему личному опыту и что я знаю от Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны.

1.

22 января 1980 г. В два часа, как всегда по вторникам, Сахаров поехал на семинар в Физический институт. На Краснохолмском мосту его машину останавливают. Потом прокуратура, перелет вместе с Еленой Георгиевной в Горький, проспект Гагарина, дом 214, квартира 3.

Последний раз я видел Сахарова за неделю, на предыдущем семинаре. Потом — рано утром 23 декабря 1986 г. на Ярославском вокзале. В тот же день мы вместе ехали на семинар. Было острое ощущение нереальности происходящего: после стольких лет этой бессрочной ссылки (Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна уже и место себе на горьковском кладбище подобрали) вдруг ехать с Сахаровым по Москве. Говорили о том, что в течение долгих месяцев они могли общаться только друг с другом, никаких иных контактов. Андрей Дмитриевич повторил ту мысль, которую он и ранее высказывал в Горьком Елене Георгиевне (она пишет об этом в своих воспоминаниях*): «Мы выдержали испытание на психологическую сов-

* Елена Боннэр. Постскриптум. Книга о горьковской ссылке/Изд-во «Де ла пресс либре». — Париж. 1988.

местимость в этой сурдокамере. Нас можно запускать в космос.

Но это было потом. А тогда, в 1980-м, было ощущение не нереальности, а полной аномалии происходящего. Сразу после высылки началась кампания в газетах. «Кто такой Сахаров? Кому он служит? Сахаров встал на путь прямого предательства интересов нашей Родины... скатываясь в самое грязное болото реакции»; «...Сахаров, будучи человеком крайне честолобивым и тщеславным, устав, видимо, от теоретических изысканий в области физики и почуствовав, что здесь наступил у него творческий кризис...»; «Предатель он потому и предатель, что продается. Нобелевская премия...»; «Больше нельзя мириться с диверсиями отщепенца и отступника...». Это «Известия», 23 января.

«Литературная газета», 30 января 1980 г.: «А. Сахаров более десяти лет порочил свой народ; подстрекал против него... изымаясь над всем святым, что есть у советского человека»; «Ренегат превзошел самого себя в кощунстве»; «Брюзжащий академик».

«Комсомольская правда», 15 февраля 1980 г.: «Гигантская мощь термоядерного оружия общеизвестна, она глубоко поразила Сахарова, создав у него определенный синдром (навязчивую идею).Он как-то не мог провести грань между своим участием в изобретении и желанием единоличного обладания ядерной бомбой»; «Технократические бредни»; «Права человека — это второй ход Сахарова — политического авантюриста и антисоветчика»; «Его «гуманизм» не просто фальшив. Он патологически бесчеловечен». И тому подобное. Через всю кампанию красной нитью проходит идея, что Сахаров как ученый кончился, «деградировал».

28 января приехала Елена Георгиевна. Это была ее первая из примерно ста пятидесяти челночных поездок Горький — Москва, Москва — Горький. Это была работа. До мая 1984 года она привозила и предавала гласности все общественные выступления Сахарова, она доставляла ему письма друзей, чудом по частям сумела вывезти рукопись огромной книги воспоминаний Сахарова. Той самой книги, которую трижды изымали, а Андрей Дмитриевич снова восстанавливал и которая все равно была бы утеряна, если бы не Елена Георгиевна. Почти каждый раз, когда она приезжала в Москву, ее вызывали в прокуратуру и делали предупреждение: не возить политических заявлений Сахарова, не давать интервью корреспондентам и т. п. Но она игнорировала все это, потому что другой связи с внешним миром у Сахарова не было, в чем весь мир наглядно убедился, после того как 2 мая 1984 г. Елену Георгиевну перестали выпускать из Горького. Бывало, что и раньше ее иногда не выпускали в Москву. Приезжают Сахаровы на вокзал, подходят к вагону, а у дверей стоит мужчина и говорит: «Елена Георгиевна, вам сегодня нельзя». Обычно это случалось, когда Москву должен был посетить важный иностранный гость, в планы которого входила встреча с Еленой Боннэр. Приехав из Горького в первый раз, Елена Георгиевна 29 января сделала заявление прессе: «Я защищаю своего мужа... Я приглашаю коллег-ученых: приезжайте к Сахарову. Я гарантирую вам стол и кров. Приезжайте и работайте». Сахаров лишен возмож-

ности посещать семинары в ФИАНе, значит, надо организовать филиал семинаров на его горьковской квартире. С первого дня депортации Сахарова эта идея отстаивалась начальником Отдела теоретической физики ФИАНа академиком Виталием Лазаревичем Гинзбургом и руководителем «вторничного» семинара чл.-корр. АН СССР Евгением Львовичем Фейнбергом.

Было много протестов в связи с высылкой Сахарова. Один хороший знакомый посоветовал: «Надо писать в ООН». Перед очередным семинаром — в начале февраля — Евгений Львович в нескольких словах сказал мне, какое колоссальное давление оказывается на ФИАН с требованием уволить Сахарова, о том, как они стараются противостоять этому давлению. Он сказал также, что старая, 1967 года, работа Сахарова, в которой барионная асимметрия Вселенной объясняется на основе чрезвычайно смелой идеи о нестабильности протона, неожиданно, после многих лет скептического отношения теоретиков, стала общепризнанной; что несколько месяцев назад на международной конференции один из ведущих американских физиков, лауреат Нобелевской премии Стивен Вейнберг говорил о пионерном вкладе Сахарова*. Вот такое удачное совпадение: в Москве пишут о деградации Андрея Дмитриевича, а в это же время широкое международное признание его научных заслуг. И тогда возникла мысль: надо написать в ООН о том, что академик Сахаров объяснил барионную асимметрию Вселенной. Пусть они там не поймут этих слов, пусть не поймут их представители высшего советского руководства — те, от кого зависит судьба и жизнь Сахарова. Но само это словосочетание — «барионная асимметрия Вселенной» — имеет какое-то надмирное, почти религиозное звучание, а это именно то, что нужно для обитателей высших сфер. То, что такое обращение будет там услышано (разумеется, если текст попадет к иностранным корреспондентам и прозвучит по «вражеским» голосам), сомнений не вызывало. Весь многолетний опыт правозащитного движения неоднократно подтверждал существование такого непрямого канала связи. Для нас это был эмпирический факт. (Пусть будущие историки, если смогут, объяснят его.) Итак, я пошел к Льву Зиновьевичу Копелеву, и после трех часов взаимных истязаний был сочинен краткий текст «Обращения в ООН». К нему присоединились Георгий Николаевич Владимов, Софья Васильевна Каллистрато-

* Вселенная (звезды, галактики) состоит в основном из протонов и нейтронов, называемых барионами. Антигалактик, состоящих из антипротонов и антинейтронов, астрономы не обнаруживают. Эта несимметрия состава Вселенной относительно замены частиц античастицами называется барионной асимметрией Вселенной. Сахаров показал, что такая асимметрия может возникнуть из первоначально симметричного состояния, если отказаться от одного из самых общепринятых постулатов — постулата об абсолютной стабильности (т. е. бесконечном времени жизни) протона. Это была действительно «сумасшедшая» (в хорошем, боровском смысле) идея. Он показал, что для объяснения наблюдаемого состава Вселенной достаточно допустить, что протон «живет» не бесконечно, а «всего лишь» в тысячу миллиардов миллиардов раз дольше нынешнего возраста Вселенной. Сейчас во многих странах мира построены и строятся экспериментальные установки для проверки этой гипотезы Сахарова.

ва, Григорий Соломонович Померанц и Мария Гавриловна Петренко-Подъяпольская. Обращение было «запущено в космос». В конце февраля «Голос Америки» три дня передавал этот текст.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Было очень много протестов, в том числе международных. Были настойчивые попытки коллег из ФИАНа объяснить «руководящим товарищам», что Сахарова необходимо сохранить как ученого. Но факт таков, что после того, как в начале марта 1980 года Национальная Академия наук США объявила полный бойкот советской академии, где-то наверху специальным решением (говорили, что его подписал секретарь ЦК КПСС М. В. Зимянин) академик Сахаров был формально оставлен работать в ФИАНе и теоретикам разрешили командировки в Горький. И резко сменилась пропагандистская пластинка. Стали писать другую ложь: в Горьком у Сахарова «все условия» для плодотворной научной работы, ему там очень хорошо. Но все-таки этот мартовский поворот, по-видимому, был спасительным. Слишком уж целенаправленно — к трагическому исходу — развивались события в первые полтора месяца ссылки. А потом, по-видимому, стала действовать установка «изолировать, но сохранить». Или, может быть, в более жесткой форме: «Умереть мы вам не дадим... но вы станете беспомощным инвалидом» (главный врач Горьковской областной больницы имени Семашко О. А. Обухов, лето 1984 г.).

2.

Сахарову не было хорошо в Горьком. «Компетентные органы» свою работу выполняли добросовестно: систематические взломы квартиры (Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна уходят в магазин, возвращаются, а замок сломан, с письменного стола исчезли бумаги — это при том, что у дверей квартиры — бесшумный милицкий пост), специальная глушилка за стеной (включают приемник на КВ, первые несколько слов слышно хорошо, и тут те, за стенкой, «врубают» на полную мощность), изоляция от людей. Соседей по дому строго предупредили: не общаться ни в какой форме; друзей не допускали, не допускали и «ходовиков» — тех, кто приезжал со всех концов страны навестить Сахарова в ссылке.

А было еще нечто почти мистическое — рука, которая просовывается в окно машины и чем-то прыскает в лицо. В результате Андрей Дмитриевич на короткое время теряет сознание, а из машины исчезает сумка с бумагами. Это случилось в октябре 1982 года на стоянке у городской железнодорожной кассы. Елена Георгиевна купала билеты в Москву, а когда вышла из здания, то увидела Андрея Дмитриевича, который шел ей навстречу, и рука его была в крови. Машина была заперта изнутри, и, чтобы достать сумку, агентам пришлось разбить стекло. Придя в себя и пытаясь открыть дверь, Сахаров поранил руку. «У него было лицо такое, как будто он только что узнал, что потерял кого-то близкого». Андрей Дмитриевич сказал, что когда он вышел из машины, то увидел, что сзади

нее стоят три женщины, из-под пальто которых видны белые халаты. «Умереть мы вам не дадим». Хорошо помню, как в эти дни, буквально накануне отъезда была неожиданно и без объяснений отменена заранее запланированная и договоренная с Андреем Дмитриевичем командировка фиановцев. (Предыдущая командировка состоялась 23 сентября, а следующая — только 17 января 1983 г.)

Это была уже третья кража. Но, пожалуй, самая страшная была предыдущая, в марте 1981 года, когда исчезло более 800 страниц рукописи и совсем не было копий. Елена Георгиевна только что уехала в Москву, а Сахаров пошел к зубному врачу. Толстую рукопись он всегда носил с собой — это был единственный способ ее сохранить. Перед тем как сесть в кресло дантиста, он снял свитер и сумку и хотел положить тут же, в кабинете. Но заведующая в категорической форме велела вынести вещи на вешалку в коридор. Больше он их не видел. Елена Георгиевна в своей книге пишет: «На следующий день после того, как в поликлинике украли сумку, Андрей встретал меня на вокзале; он был осунувшимся, как бывает в бессоннице, при тяжелой болезни или от долгой боли. Губы дрожали, и голос прерывался: «Люсенька, они ее украли». Пропал труд нескольких лет. Но если Сахаров что-то задумывал, он все равно доводил дело до конца. А потом рукопись снова украли, а 8 декабря 1982 г. был обыск в поезде у Елены Георгиевны. И снова он восстанавливал текст. Но книга, огромная книга воспоминаний Сахарова, скоро выйдет, и спасибо за это от всех нас Елене Георгиевне. Однако эта много раз восстановленная Сахаровым книга, конечно, сильно отличается от того, что было в сумках. Ведь Андрей Дмитриевич писал заново. А те рукописи, что и сегодня хранятся в архивах КГБ, — когда они будут возвращены?»

Но самым тяжелым, самым невыносимым для Сахарова было заложничество, давление на близких. С того самого момента, как он начал открыто высказываться по общественным вопросам, его пытались заставить замолчать. И поскольку вызовы к прокурору и угрозы личной расправы (визит в квартиру «террористов» в 1973 г.) не помогали, то применялись другие методы.

Нам все время здесь приходится говорить о каких-то совершенно аномальных вещах, не укладывающихся не только в рамки закона, но и в рамки обычных человеческих представлений. Но ведь эта вседозволенность, непредсказуемость действий и есть причина того животного страха перед КГБ, который пронизывает всю эпоху. Чтобы читатель хоть немного почувствовал, на каком уровне шла «война», приведу один маленький, можно сказать, комический эпизод еще догорьковского периода, которому сам стал свидетелем. Сахаровы на неделю уехали в Ленинград, и московская квартира на улице Чкалова осталась пустая. Случилось так, что я зашел к ним сразу после возвращения, и первое, что почувствовал еще в лифте, — это дикую вонь. Прихожу на кухню, там Елена Георгиевна чистит холодильник. Здесь же и Андрей Дмитриевич. «Сейчас еще что. А вот что было, когда мы вошли!» Что случилось? В их отсутствие в квартире побывали «гости» и среди

других своих дел выдернули из розетки шнур холодильника. А в морозильнике лежало мясо, которое в тепле, естественно, протухло и через неделю кишмя кишело червями. Чтоб неповадно было заниматься антисоветской деятельностью.

Но вонь — это смешно, а когда угрожают убить годовалого внука — это не смешно. Что должен делать любой нормальный человек в такой ситуации? Только молчать, оцепенев от страха за малыша. Вот так все и молчали. А Сахаров был совершенно нормальный человек с естественными человеческими реакциями и очень большой ответственностью перед близкими. Значит, замолчать? Вместе со всей страной? Смириться с тем, что ОНИ победили, применив ТАКОЙ метод воздействия? Смириться для Сахарова тоже было невозможно, тем более что он ясно понимал, в какую пропасть, на какую очередную бойню ведут страну. Приходилось искать нетривиальные выходы из безвыходных ситуаций. В 1977 году были вынуждены эмигрировать (хорошо, что такая возможность существовала) Татьяна Семенова и Ефрем Янкелевич со своими двумя детьми. Тогда же был исключен с пятого курса института (якобы за несдачу экзамена по военному делу) младший сын Елены Георгиевны Алексей Семенов.

Первые два года ссылки Сахарова заложником его общественной деятельности сделали невесту Алеши — Лизу Алексееву. Была искусственно создана ситуация, для Андрея Дмитриевича совершенно безвыходная, ситуация, которую удалось разрешить только смертной голодовкой. Нельзя понять Сахарова, если не понять его мотивов в этом деле. Тем более что тогда его почти никто не понимал. («Великий ученый и общественный деятель рискует жизнью из-за кого? Из-за какой-то девчонки».) А все было очень просто. После исключения из института Алексей Семенов подлежал призыву в армию. Если бы это произошло, то любое выступление Сахарова могло стать для Алексея смертельным. Вот так затыкали рот академику Сахарову. Единственный выход — эмиграция. Но у Алеши есть невеста, студентка того же института, без которой он никуда ехать не хочет.

В сложившейся критической ситуации Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна настояли на отъезде Алеши, но Андрей Дмитриевич обещал, что Лиза к нему приедет. Это было в марте 1978 года. Вскоре Лизу исключили из института. В дальнейшем она несколько раз устраивалась на работу, но каждый раз туда приходили «сотрудники» (делалось это достаточно откровенно), и ее увольняли. У нее сложились очень тяжелые отношения с родителями, которые требовали, чтобы она порвала со «шпионским гнездом». (И нельзя их особенно за это осуждать. То, что делали Сахаров, другие правозащитники, находилось в то время за пределами понимания советского человека.) В результате Лиза почти четыре года жила на Чкалова и действительно стала членом семьи. И тут я не могу не отдать должного человеческим качествам Елены Георгиевны, ее матери — Руфи Григорьевны ну и, конечно, Андрея Дмитриевича. Ведь они приняли в дом (и тем самым спасли) чужого человека, да еще в усло-

виях, когда это было сопряжено с огромными новыми трудностями. Только что, понимаете ли, отправили за рубеж одних заложников — и вот новая проблема. Достаточно было намекнуть, просто дать почувствовать, что она нежелательна, — и Лиза немедленно ушла бы совсем. И тогда... «Инженеры человеческих душ» с площади Дзержинского умели создавать безвыходные ситуации. Но не было намеков, не было даже этих подлых мыслей. Должен сказать, что и с Лизой им повезло. Алеша не ошибся в своем выборе.

Организовать отъезд Лизы за границу было невероятно трудно, а после 22 января 1980 г. возникла и вовсе тупиковая ситуация. Сахаров писал во все инстанции, просил о помощи московских коллег-академиков. «Сам факт заложничества, связанный со мной, для меня совершенно непереносим» (письмо А. П. Александрову, 20 октября 1980 г.). Никто не откликнулся. «Что касается моих коллег в СССР, то они, имея опыт жизни в нашей стране, прекрасно понимают мое положение, а их молчание фактически является соучастием; к сожалению, в данном случае ни один из них не отказался от этой роли, даже те из них, кого я считаю лично порядочными людьми» (из письма американскому физико-теоретику Сиднею Дреллу, 30 января 1981 г.).

Визиты теоретиков из ФИАНа были нужны Сахарову в его изоляции, но он был вынужден отказаться от них на полтора года (до отъезда Лизы), поскольку сам факт этих поездок стал использоваться для создания иллюзии нормальной жизни в Горьком*.

Что оставалось Сахарову? Слово свое, данное Лизе и Алеше, он нарушить не мог. В этом, если хотите, была его уникальность, во всяком случае, в условиях нашего времени, наших нравов. По своему устройству он действительно был осколком той исчезнувшей цивилизации, той миллионами расстрелянной и рассеянной по миру русской интеллигенции. Но были еще в нем упорство, с которым он доводил до решения поставленную задачу, смелость, с которой он перешагивал через общепринятые представления, через всеми признаваемые за непреложную данность запреты. Летом 1981 года в США в штате Монтана Алексей и Лиза вступили в законный брак. (Законы этого штата допускают заочное бракосочетание.) Но у нас этого не признали. По советским законам Лиза Алексеева никак не была связана с семьей Сахаровых, и требование о ее выезде за рубеж многими, очень многими воспринималось как нереальное, вздорное и осуждалось. Однако Андрей Дмитриевич мыслил другими понятиями — понятиями свободного человека. Почему невеста не может поехать к жениху в другую страну? Не должно быть таких запретов. Перешагивая через пропасть, он создавал новую реальность для всех нас.

В ноябре — декабре 1981 года Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна в результате 17-дневной голодовки победили всесильный КГБ

* Уже сейчас в достойной застойного периода антисахаровской статье «Мы не рабы, рабы нёмы» (Военно-исторический журнал, 1989, № 11 и 12) автор «опровергает» тезис об изоляции Сахарова ссылкой на эти визиты (см. № 12, с. 22).

и другие неизвестно какие органы — Лиза Алексеева получила разрешение на выезд в США. Надо сказать, что уже во время этой голодовки, когда возникла непосредственная угроза жизни Сахарова, некоторые ученые в Москве проявили немалую активность в попытке как-то повлиять на руководство и спасти Андрея Дмитриевича. Я не все знаю, и об этой стороне лучше расскажут другие. Отмечу лишь с благодарностью ту помощь, которую оказал ныне покойный Евгений Михайлович Лифшиц в налаживании «горячей линии» между Лизой Алексеевой и президентом АН СССР академиком А. П. Александровым.

При этом эволюция Анатолия Петровича шла от переданного через секретаршу: «Пусть сама едет в Горький и расхлебывает, что заварила» — до (через пять дней) личного разговора: «Я сейчас еду в Кремль, там будет решаться вопрос. Позвоните мне, пожалуйста, вечером». Как Лиза плакала, получив первый ответ! Это было на десятый день голодовки, положение представлялось безнадежным. В Горький Лизу не пускали, и академик Александров это хорошо знал. Но вечером того же дня она последовала его «совету» и поехала в Горький. До вокзала ее провожал Юра Шиханович. Там к ним подошли агенты. Юре хорошо пригрозили (в 1983 г. он все-таки был арестован — в сущности, за помощь Сахаровым), а Лизу посадили в машину и увезли на Щелковское шоссе, километров за тридцать, где и высадили. Оттуда она своим ходом, но с «хвостом» все тех же спортивного вида мужчин добралась домой и, конечно, сообщила о случившемся корреспондентам. На следующий день все радиостанции говорили об этом не очень умном совете «ехать в Горький», данном президентом Академии наук СССР. Не знаю, не буду говорить, что это были за игры и на каком уровне, но знаю, что речь шла о жизни и смерти академика Сахарова, Елены Георгиевны, Лизы, да кто знает — может быть, и о судьбе всей страны.

Не исключено, что каждая победа Сахарова что-то, хотя бы немного, сдвигала на самой вершине пирамиды власти в СССР, сдвигала в сторону будущих преобразований. Но страшно вспомнить, как его не понимали в те дни голодовки 1981 года, как осуждали Елену Георгиевну и Лизу, как опасно было это непонимание и осуждение. Насколько по-человечески естественным и необходимым был этот шаг Андрея Дмитриевича, многие осознали позже. А тогда было очень трудно.

3.

Занимался ли Сахаров наукой в эти годы? Да, он это делал всегда, всегда думал о физике. (Исключением являются ужасные месяцы в Горьковской областной больнице имени Семашко в 1984 и 1985 гг.) В 1980 году он опубликовал в «ЖЭТФ» (Журнале экспериментальной и теоретической физики) три работы: «Массовая формула для мезонов и барионов», «Постоянная кварк-глюонного взаимодействия» и «Космологические модели с поворотом стрелы

времени»*. В отчете, направленном в Отдел теоретической физики ФИАН в следующем году, он, в частности, пишет: «В 1981 году мною не направлено никаких работ в печать и ничего не издано. Я занимался развитием моей последней работы 1980 года». Далее следует подробное описание идей и соображений, которые легли в основу следующей работы — «Многолистные модели Вселенной», опубликованной в ЖЭТФ в 1982 году. Кончается этот отчет так:

«Работа еще не оформлена и не вполне закончена. Предполагаю сделать это в ближайшее время. Надеюсь также, что решение волнующего меня вопроса о судьбе невестки даст мне возможность в ближайшее время вновь возобновить научное общение с моими коллегами из теор. отдела ФИАН.

16 ноября — 1981

С уважением
А. Сахаров».

Отчет отправлен в ФИАН накануне голодовки за выезд Лизы Алексеевой. Убедившись, что помощи ждать неоткуда, Андрей Дмитриевич сам приступил к окончательному решению проблемы. Это и есть сахаровский «инженерный подход»: он не просто изучает проблему, достигая лучшего ее понимания, он сразу же промышляет всю цепочку действий, необходимых для ее решения, и затем действует. Неважно, о чем идет речь: о бомбе, о структуре Вселенной или о судьбе невестки. Увы, оказалось, что голодовка в 1981 году — это еще цветочки. Самое ужасное произошло в мае 1984 года, когда против Елены Георгиевны было возбуждено уголовное дело (по ныне отмененной политической статье 190¹ УК РСФСР) и ее больше не выпустили из Горького в Москву. Однако относительно «спокойные» 1982—1983 годы тоже были знаменательны систематическими обысками, кражами рукописей, арестами друзей. Ну и, в конце концов, отсутствие элементарного медицинского наблюдения. Горьковским врачам, полностью контролируемым КГБ, доверять было нельзя, а Академия, несмотря на неоднократные просьбы, ничего не делала в этом плане. Петля постепенно затягивалась.

О помощи зарубежных коллег. Принципиальная позиция, занятая в связи со сылкой Сахарова Национальной Академией наук США, была, как уже говорилось, спасительной. Огромную роль в помощи Сахарову сыграл президент Национальной Академии Филипп Хандлер, умерший от рака в конце 1981 года. (Чего только не писали о нем в наших газетах!) Памяти доктора Филиппа Хандлера посвятил Андрей Дмитриевич упоминавшуюся выше статью «Многолистные модели Вселенной». Она была опубликована в ЖЭТФ в октябре 1982 года, но посвящение Хандлеру снял Главлит.

Многие, очень многие ученые и научные организации в разных

* Первые две работы относятся к теории сильных взаимодействий, так называемой квантовой хромодинамике. Третья — к общей теории относительности, космологии. В ней выдвигается интересная (и пока еще не получившая признания) идея о существовании в истории Вселенной момента, в который не имеет смысла вопрос: «Что было раньше?» От этого момента время «в обе стороны» течет вперед.

странах мира выступали в защиту академика Сахарова. Но не так просто было организовать эффективную поддержку. 14 сентября 1981 года в Москве открылась X Европейская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. Академик Сахаров, основоположник всего направления*, не только не участвует в работе конференции, но подвергается преследованиям, незаконно изолирован в Горьком. Зарубежные физики — участники конференции пишут коллективное письмо в защиту Сахарова и вручают его... председателю советского оргкомитета конференции академику Велихову. И ни одного экземпляра не было передано журналистам в Москве. Такой важный шаг оказался в значительной мере холостым. На более решительные действия (бойкот заседаний конференции, международный скандал) коллеги не пошли. Впрочем, все равно спасибо: отсутствие каких-либо действий могло привести к непредсказуемым последствиям. Легко представить себе, как на самом верху кто-то кому-то говорит: «Ближайшие коллеги не вспоминают о Сахарове, хватит с ним церемониться».

Но и улучшить положение Сахарова «тихая дипломатия» не могла. До того уровня, где принимаются политические решения, доходят лишь достаточно сильные сигналы.

К вопросу о «тихой дипломатии». Недавно мы узнали, что академики П. Л. Капица и Ю. Б. Харитон, пытаясь помочь Сахарову, обращались к Ю. В. Андропову. Но делалось это совершенно приватно, а получив от председателя КГБ отказ, они отступились. А Сахаров не отступался и, как правило, в конце концов добивался своего. Но то был Сахаров.

Частный эпизод того периода, принадлежащий моему личному опыту. Осень — кажется, октябрь — 1981 года. В Московском Доме ученых проходит международный семинар «Квантовая гравитация». Находясь через Елену Георгиевну в постоянном контакте с Андреем Дмитриевичем, знаю, что тематика семинара очень ему интересна, что именно этим он сейчас занимается и что, будь он в Москве, наверняка находился бы здесь. Выступают с интересными докладами известные советские и зарубежные ученые. О Сахарове — ни слова. Подхожу в фойе к ассистенту Стивена Хокинга доктору Нику Варнеру, представляюсь и говорю (момент беседы выбран так, что рядом никого нет): «Академика Сахарова чрезвычайно интересует то, что происходит на этой конференции. Но его насильно держат в Горьком. Было бы очень важно, если бы участники конференции выразили озабоченность такой ситуацией». Надо отдать должное Нику Варнеру и профессору Хокингу — письмо от зарубежных физиков было «организовано» и передано председателю семинара академику М. А. Маркову. Не исключено, что оно дошло до президента академии. К журналистам это обращение не попало.

К сожалению, я тогда не смог еще раз встретиться с Ником

* «Сахаров поднял нас на решение второй, не менее величественной атомной проблемы двадцатого века — получения неисчерпаемой энергии путем сжигания океанской воды!» (Из книги И. Н. Головина «И. В. Курчатов», М., 1967, 1972. В последующих переизданиях Сахаров не упоминается.)

Варнером и не получил окончательного текста письма. Происходило все это в чрезвычайно напряженной атмосфере, в условиях прослушивания и слежки. Через полгода, в конце мая 1982 года, моей жене на «беседе» в главной приемной КГБ, среди прочего, было сказано: «Вы не знаете, чем занимается ваш муж. Вы думаете, он наукой занимается, а он занимается антисоветской деятельностью. Он вас обманывает, а нам хорошо известно, что цель, с которой он посещал международную конференцию, была не научной. Он подговаривал иностранных ученых писать всякие письма...» Это был уже второй вызов; первый цикл «бесед» с ней, с ее ныне покойной матерью, со мной состоялся в марте. Тогда же меня уволили с работы, а моей жене заявили: «Ваш муж должен прекратить все контакты с академиком*. В противном случае он десять лет не увидит своих детей».

Тогда, весной 1982 года, меня и мою семью спасла гигантская кампания защиты, начавшаяся благодаря моим старым, еще со времен учебы в Московском университете, друзьям, которые к тому времени уже давно жили в Израиле и США. Я пользуюсь случаем выразить благодарность всем, кто тогда оказал мне поддержку. Я благодарен Андрею Дмитриевичу, который написал заявление в мою защиту. Это заявление Елена Георгиевна привезла из Горького в Москву в начале июня, и, конечно, оно было передано корреспондентам. Тогда же она привезла письмо от Сахарова, которое привожу полностью:

«Дорогой Боря!

Не успел я написать тебе, что я думаю и советую по поводу твоей ситуации, как она рисовалась 2 месяца назад, как все повернулось вверх дном! Есть от чего закружиться голове. Тем более что все это происходит в дупле зуба динозавра, как ты правильно пишешь. А это тот случай, когда советовать что-либо невозможно и не нужно, а можно только пожелать ясной головы и моряцкого счастья (т. е. авось волна будет не слишком уж высокой). Ясная голова у тебя вроде есть... В общем же — трудные времена... Мы с Люсей думаем о вас, как и о многих других: «За тех, кто в море». А что касается науки, то сейчас (как, впрочем, и всегда) — необычайно интересные времена. «Блажен, кто посетил сей мир...» Соединение супергравитации и GUT, составные модели кварков, лептонов и глюонов, бум в космологии... Относительно космологических идей экспоненциальной начальной фазы (с усовершенствованием Линде или без оного). Я пока отношусь к ним настороженно (может, старость?). Мне непонятно, как, начиная с гигантской космологической постоянной, получить в современном вакууме ноль. И главное — мне не хочется отказываться от многолистной модели. Ну

* Интересно, что фамилию «Сахаров» они не произносили никогда. Либо «академик», либо просто намеками («вы понимаете, о ком идет речь»). Очень странно это выглядело и, признаюсь, создавало ощущение какой-то неуязвимости, защищенности.

ладно, подождем. Будущее покажет, кто прав, покажет всем нам и многое другое. К счастью, будущее непредсказуемо (а также в силу квантовых эффектов) — и не определено.

10/V. 1982 г.

С наилучшими пожеланиями,
А. С.»

Многолистная модель Вселенной — разрабатываемая Сахаровым модель осциллирующей Вселенной, каждый новый цикл которой он называет «листом». Других высказываний Андрея Дмитриевича о науке пояснять здесь не буду — это особая тема.

«К счастью, будущее непредсказуемо...» Думаю, что за этими словами Андрея Дмитриевича стоит нечто гораздо большее, чем просто констатация вероятностного характера законов квантовой теории. Будущее не только непредсказуемо — в данный момент оно просто не существует, возможны разные сценарии, в том числе и с прямо противоположными результатами (выживет человечество или нет, расстреляют Анатолия Щаранского или в конце концов отпустят, продолжится в стране процесс преобразований или она вся превратится в большой Сумгаит и т. п.). И результат может зависеть от личных усилий, от личного поступка сейчас. С этим чувством ответственности, невозможности пустить дело на самотек жил академик Сахаров. Почему «к счастью»? Потому, что в мире фатализма жить не только неинтересно — там просто нет жизни с ее основным свойством — свободой выбора и ответственностью за этот выбор.

4.

Пропускаю почти год. За это время была и упоминавшаяся выше кража сумки с рукописью воспоминаний из кабинета врача, из машины с применением к Сахарову какого-то токсина и 8 декабря 1982 г. обыск Елены Георгиевны. Тогда у нее забрали кинофильм, фото пленки и часть восстановленной Андреем Дмитриевичем рукописи. Обыск продолжался несколько часов. Поезд, на котором она приехала в Москву, загнали на дальние пути, откуда потом ей самой пришлось нести вещи. Было очень плохо с сердцем. 25 апреля 1983 г. у Елены Георгиевны был сильный сердечный приступ, как потом выяснилось — инфаркт. (В 1984 г. в своем судебном деле она прочитала официальное заключение академической больницы: «Крупноочаговый инфаркт передней, боковой и задней стенок».) Было это в Горьком. Отлежавшись две недели, она 10 мая приезжает в Москву и, в частности, привозит текст статьи Сахарова «Опасность термоядерной войны» — ответ Сиднею Дреллу. Это была уже третья попытка переправить статью за рубеж. Две предыдущие копии пропали на перегоне Москва — США.

Врачи московской академической больницы активно настаивали на ее госпитализации. Но это означало бы полную изоляцию Сахарова от внешнего мира. Елена Георгиевна соглашалась лечь в больницу в Москве, но с одним-единственным условием: чтобы вместе с ней был госпитализирован и Андрей Дмитриевич, который тоже

нуждался в лечении. Ведь четвертый год ни одного врачебного осмотра. В больницу — только вдвоем, другого варианта не существовало. Лечь в больницу одной было бы предательством.

26 мая дома на Чкалова состоялся консилиум. Зав. отделением доктор Бормотова сказала Елене Георгиевне: «Я вынуждена написать в истории болезни, что вы отказываетесь от госпитализации». «Дайте, я сама напишу». Елена Георгиевна взяла историю болезни и вписала туда: «Настаиваю на госпитализации, но только вместе с мужем, академиком Сахаровым, в больницу АН СССР в Москве»*.

Ученый секретарь академии академик Скрябин сказал тогда одному из коллег Андрея Дмитриевича: «Мы не позволим ей шантажировать нас своим инфарктом». Сахарову в госпитализации в Москве отказали. К сожалению, московские коллеги в этом деле снова проявили удивительное непонимание ситуации. Многие осуждали Елену Георгиевну за то, что она якобы нарочно обостряет ситуацию, пользуясь своей болезнью. В этих условиях призывы нового президента АН США Франка Пресса к смягчению бойкота и «наведению мостов» звучали как приговор.

19 июня Елена Георгиевна вернулась в Горький. 20 июня в журнале «Ньюсуик» появилось интервью с президентом АН СССР Александровым, в котором он, в частности, говорил, какой красивый и большой город Горький. «Академики, которые живут там, не хотят никуда переезжать». Здесь же он сказал про Сахарова: «К сожалению, я думаю, что в последний период его жизни его поведение более всего обусловлено серьезным психическим сдвигом». 2 июля я получил по почте письмо от Андрея Дмитриевича:

«Дорогой Боря!

Посылаю копию моего письма Никольскому¹. Надеюсь, что все же удастся сдвинуть с места это дело, которое тянется уже год².

Что касается компактификации³, то эта надежда стала теперь безумно модной. Я получил несколько оттисков на эту тему из разных источников, в том числе статью С. Вейнберга (это препринт Техасского университета, поэтому не даю ссылки, достать ее в библиотеке вряд ли можно, потом надеюсь прислать). Что касается меня, то у меня возникла мысль, что, возможно, радиус компактификации устанавливается на некотором постоянном значении с учетом квантовых эффектов, подобно радиусу атома водорода. Как решается проблема λ -члена⁴, я, конечно, не знаю (суперсимметрия?).

19-го числа приехала Елена Георгиевна. Сейчас живем и лечимся вместе. Это светлый момент на общем довольно-таки грустном фоне нашей ситуации. А могло бы быть иначе, быть может... О здоровье Ел. Георгиевны не пишу, изменений по сравнению с тем, что было в Москве, особых нет, к сожалению.

25 июня — 83

Будь здоров, твой А. С.
Елена Георгиевна присоединяется».

* Академик в своей больнице может пользоваться привилегией быть госпитализированным с женой.

Примечания к письму

¹ Профессор С. И. Никольский, заместитель директора ФИАНа, в феврале 1980 года отказавшийся поставить подпись под приказом об увольнении Сахарова.

² Речь идет о публикации моей статьи, представленной Андреем Дмитриевичем в «Доклады Академии наук». В конце концов она была опубликована благодаря помощи академика В. Л. Гинзбурга, оформившего на нее акт экспертизы, несмотря на то что я в то время в ФИАНе не работал. А работал я тогда совсем в другом месте — дворником; продолжалось это пять лет — с 1982 по 1987 год. Впрочем, я с большой теплотой вспоминаю и саму работу, и весь тот трудовой коллектив.

³ Компактификация — замыкание в окружности, в сферы или иные компактные пространства микроскопических размеров «лишних» измерений «высокомерного» пространства — времени. Тут необходим некоторый комментарий. В конце 70-х, в 80-е годы в теоретической физике возник ряд новых направлений, которые Сахаров считал истинно революционными: «теория великого объединения»; еще более общая теория струн — единая теория всех взаимодействий, включая гравитацию; возродилась и чрезвычайно плодотворно используется старая идея о существовании высших (дополнительных, больше четырех) измерений пространства — времени, возникла, как говорят, «высокомерная» физика. «Лишние» измерения непосредственно не наблюдаемы, потому что размер — радиус — пространства в этих направлениях очень мал, а сами эти координаты замкнуты. Единые теории такого рода не противоречат опыту, если радиус компактификации лишних измерений примерно в миллиард миллиардов раз меньше размера протона. Но чем фиксируется этот радиус, не известно, на этот вопрос теория пока ответа не дала. Высказанная Сахаровым в письме идея, что радиус компактификации может устанавливаться, если учесть квантовые эффекты (особенно красива наглядная аналогия с атомом водорода), пока еще ждет своей реализации.

⁴ «Проблема λ -члена» — проблема зануления космологической постоянной.

Есть в этом письме одна фраза, от которой у меня и сейчас, когда в который раз перечитываю, все, что ли, холодеет внутри. Андрей Дмитриевич никогда не жаловался, практически никогда не говорил в сослагательном наклонении — «если бы да кабы». А тут в личном письме: «А могло бы быть иначе, быть может...» Да, все «могло бы быть иначе, быть может», и Сахарова удалось бы вырвать из рук КГБ, и не было бы этих страшных голодовок 1984—1985 годов. Будущее, конечно, непредсказуемо, но результат зависит от личного поступка сегодня. Все время тогда было острое ощущение, что не делаются какие-то элементарные, очевидные усилия. Москва болела страхом, западные коллеги начали «уставать» от этой дурной бесконечности, а положение ухудшалось, трясина засасывала. «А могло бы быть иначе, быть может...»

Я получил это письмо 2 июля 1983 г., а на следующий день «Известия» публикуют заявление четырех академиков. И началось. А после публикации в июле в «Смене» чудовищных, откровенно клеветнических глав из книги Н. Н. Яковлева включился какой-то безотказный, так называемый геббельсовский, механизм пропаганды. Даже от, казалось бы, умных и порядочных людей приходилось слышать в адрес Елены Георгиевны такое... Не говоря уж о «широких народных массах». (Думаю, что эти взятые в кавычки слова на самом деле имеют мало смысла. Любой народ состоит из личностей, индивидуальностей. Но тогда это были «массы».)

В своей книге «Постскриптум» Елена Георгиевна вспоминает, что поток гневных писем доходил до 130 в день. Было немало

угроз, особенно в ее адрес. «А нам угрожают на рынке, и, когда выходишь на балкон, на улице скандалы — было все. Кажется, только не били. И как апофеоз — погром, который мне устроили в поезде 4 сентября, когда я ехала из Горького». Я каждый раз встречался с Еленой Георгиевной, когда она приезжала в Москву, слышал от нее много рассказов обо всех этих событиях и свидетельствую: никогда она не говорила об этих людях с раздражением, а тем более со злостью — всегда только с сожалением, с ясным пониманием того, кому и зачем надо разжигать все эти страсти, доводить людей до такого состояния. В этом они с Андреем Дмитриевичем очень похожи.

Не нужно думать, что все это история. 2 июня 1989 г. вся страна стала свидетелем массовой травли Сахарова на Съезде. Впрочем, принципиальное отличие 1989-го от 1983 года в том, что теперь люди имели информацию, своими глазами видели все, и их реакция была достаточно однозначной. 3 июня я отправлял на Съезд телеграмму протеста. Телеграфистка, усталая средних лет женщина, вдруг начала говорить, а я, имея в руках авторучку, написал: «Куда? На Съезд? Про Сахарова, что ли? Много таких телеграмм. А я вам так скажу. Человек столько прожил и, скажем прямо, получает немало. На фига ему врать? А наши эти понаехали, быдло. Как они орали, у меня аж мурашки по коже. Хоть зови его в гости, приглашай к честным людям. Чтoб он хоть немного отошел, очухался от этого дерьма».

В эти дни из Президиума Съезда в Отдел теоретической физики ФИАНа приходили для передачи Сахарову огромные пакеты с сотнями телеграмм со всех концов страны. И в каждой — те же чувства. Я прошу прощения у депутатов I Съезда за процитированные выше ругательные слова (без которых, однако, нет живой разговорной речи). Все не так просто. Среди тех, кто кричал и показывал пальцем на Сахарова, были и люди, которых искренне возмутило заявление Андрея Дмитриевича по поводу сообщений мировой печати о случаях сознательного уничтожения командованием наших солдат, попавших в окружение, — так называемых «мерах по исключению пленения». И это было самое ужасное. (Как будто никогда не было ни заградительных отрядов, ни СМЕРШа, ни сталинской формулы «пленный равно предатель».) Именно от этого религиозного чувства, от отношения к государственным и военным командным структурам как к святыне старался лечить Сахаров, подставляя себя под удар.

Только что в органе Министерства обороны (см. сноску на с. 234) повторяется весь набор ругательств и поношений в адрес Сахарова, одобрительно цитируются книги Яковлева и Зивса, заявления академиков. Андрей Дмитриевич успел прочитать начало этой статьи в 11-м номере и, как говорит Елена Георгиевна, очень веселился. Все правильно, «противник» снова, в который уже раз, потерял самообладание и саморазоблачился, Сахаров снова вызвал «огонь на себя». Что это за «противник», что это за силы, Сахаров хорошо понимал, хотя редко об этом говорил. В сущности, это те же круги, что крутили афганскую мясорубку, что мучили его и Елену Георгиевну в Горьком, что сажали правозащитников, убили Анатолия Марченко, орга-

низовали шабаш на I Съезде. Что это за силы? Я здесь отмечу лишь один легко проверяемый документально, но почему-то малоизвестный факт.

До лета 1984 года Главное политическое управление СА и ВМФ возглавлял генерал армии А. А. Епишев. (Именно к первым годам афганской войны относятся те самые сообщения западных информационных агентств о «мерах по исключению пленения», о которых сказал Сахаров канадской газете «Оттава ситизен».) Откройте БСЭ, третье издание: «Епишев А. А. ...с 1951 по 1953 г. заместитель Министра государственной безопасности...» Вот такая «связь времен». Человек бериевской команды до наших дней возглавлял ГлавПУР и насаждал там своих людей. Профессор Н. Н. Яковлев тоже продолжает служить верой и правдой. На днях я купил в магазине его свежую книгу «Война и мир по-американски (традиции милитаризма в США)» (М., Педагогика, 1989).

5.

Плохо в Горьком, плохо и в Москве. Аресты друзей, обыски. Безумие все длится и длится. 2 мая 1984 г. Елену Георгиевну не выпускают из Горького и возбуждают против нее уголовное дело. И снова помощи ждать не приходится, надо решать проблему самому. Андрей Дмитриевич объявляет голодовку с требованием, чтобы его жене разрешили поездку в США на лечение. Но фактически прорыв этой блокады нужен был им обоим (а в более широком плане, наверное, и всем, всему человечеству).

7 мая Сахарова забирают в больницу. 11 мая в результате насильственных уколов у него был микроинсулт. Все это я узнал много позже (через полтора года), а тогда, в начале мая, разные люди привозили из Горького «информацию», в самых черных, обвиняющих выражениях представительскую роль Елены Георгиевны. Все это, очевидно, было инспирировано КГБ. Реальную информацию все-таки удалось получить благодаря героическому поступку друга Сахаровых математика Иры Кристи. 6 мая она сумела приехать в Горький, подойти к балкону, на котором стояли Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна и кое-что от них услышать за те несколько секунд, пока не подбежала охрана и ее не увели в отделение милиции. К сожалению, ровно через год КГБ взял реванш: серия фальсифицированных фототелеграмм, адресованных Ире Кристи и подписанных «Андрей, Люся», полностью дезинформировала всех (и я в подлинность этих телеграмм поверил и до сих пор себя за это ругаю). В результате никто в мире не знал о многомесячной голодовке Сахарова в 1985 году. Тогда, в 1984 году тоже никто не знал, что на самом деле происходит в Горьком.

Бэла Коваль, близкий друг Сахаровых, сумела приехать туда 21 мая, в день рождения Андрея Дмитриевича. И сумела подойти к дому. (Выступая на митинге, посвященном открытию мемориальной доски на доме Сахарова в Горьком 27 января 1990 г., она очень на-

глядно описала тот ужас, который испытала от темных зашторенных окон и от полной неизвестности.) Лето 1984 года было примечательно во многих отношениях. После поездки в Горький с последующим интервью в Москве иностранным корреспондентам взята под многомесячный домашний арест Ира Кристи (почти домашний: на работу — в сопровождении милиционера, на прогулку с ребенком — тоже втроем). Из Троицка под Москвой никуда не выпускают еще одного близкого друга Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны — Леонида Литинского, но его блокирует уже не милиция, а люди в штатском. В начале июля — арест замечательного человека Лины Тумановой, передававшей на Запад информацию о репрессиях. За Марией Гавриловной Петренко-Подъяпольской везде следует, не скрываясь, «толпа» (бывало более десяти) мужчин. Вероятно, и за мной была слежка, но тут, каюсь, я ничего точно утверждать не могу, так как я их в упор не вижу.

Единственная информация из Горького — это то, что удавалось услышать «из-за бугра». Вдруг в конце мая все радиостанции передают о звонке Елены Боннэр знакомой в Италию. Разговор якобы был прерван, но ее голосом были произнесены слова: «Диссидента с нами больше нет». (Приехав в Москву через полтора года, Елена Георгиевна сказала, что никуда, конечно, не звонила и звонить не могла. Вероятно, КГБ воспользовался куском фразы из своего колоссального архива магнитофонных подслушек). Где-то в первых числах июня включаю радио и слышу, как диктор Би-би-си ясным, незаглушаемым голосом говорит: «По сообщениям западных корреспондентов из Москвы, вчера в Горьковской областной больнице скончался лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Дмитриевич Сахаров». Услышал я это далеко от Москвы, в Вологодской области, куда мы с семьей ездили на неделю. Никому я об услышанном не сказал и целые сутки жил под гнетом этой информации, до того момента, как поймал интервью Тани Семеновы. Она говорила, что это сообщение, скорее всего, «утка», пробный шар, пущенный КГБ. Но сам факт его появления означает, что состояние Сахарова действительно критическое. Я ей поверил, и она оказалась права.

Конец июня 1984 года. В Москве собирается Международный биохимический конгресс, который заканчивается грандиозным банкетом в Кремле. Никаких протестов в связи с положением Сахарова. Правда, председатель и организатор конгресса академик Ю. А. Овчинников предпринял специальные шаги для успокоения некоторых зарубежных коллег: он демонстрирует на экране фальсифицированную «историю болезни» Андрея Дмитриевича, из которой следует, что состояние его здоровья совсем неплохое. А 10 июля мир содрогнулся от ужасного сообщения. Радиостанции передавали: «Из врачебных кругов в Москве стало известно, что к Сахарову применяют психотропные средства и гипноз. Что к нему в обстановке особой секретности специальным самолетом привозили из Москвы специалиста по гипнозу ведущего сотрудника Института усовершенствования врачей профессора Рожнова. Цель визитов — попытка воздействия, с тем чтобы Сахаров прекратил голодовку».

Помню, как поймал передачу на арабском языке, из которой понял только одно слово «Рожнов».

Андрей Дмитриевич вышел из больницы 8 сентября, не добившись своего. Позже Елена Георгиевна рассказывала, что никогда не видела его в таком состоянии. Он не подходил к письменному столу, не интересовался свежими препринтами, не мог работать. Это продолжалось около месяца. Невозможно все это осознать. Не укладывается в голове. Кого мучили, какой мозг разрушали! Кто эти люди?

Подробности этой голодовки Сахаров изложил в письме «Президенту АН СССР академику А. П. Александрову. Членам Президиума АН СССР», переданном адресату в ноябре 1984 года.

«Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в самый трагический момент своей жизни» — так начинается это письмо. Приведу несколько цитат.

«Способы принудительного кормления менялись — отыскивался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня отступить. 11—15 мая применялось внутривенное вливание питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мне плечи. 11 мая (в первый день) кто-то из работников больницы сел мне на ноги. 11 мая до введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. Я потерял сознание (с непроизвольным мочеиспусканием). Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, изломанными (как на экране телевизора при сильных помехах). Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта...»

«25—27 мая применялся наиболее мучительный и унижительный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, без подушки, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугий зажим, так что дышать я мог только через рот...»

«То, что происходило со мной в горьковской больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет знаменитой антиутопии Оруэлла, по удивительному совпадению названной им «1984»...»

Полный текст письма впервые опубликован в СССР в журнале «Знамя» (февраль 1990 г.) Я прочитал этот документ, который и читать-то мука, в декабре 1985 года, после приезда в Москву Елены Георгиевны. За рубежом он был опубликован в 1986 году в ее книге «Постскриптум». Но это было уже «после драки».

В этом письме Александрову Сахаров обосновывает необходимость поездки его жены на лечение в США и заявляет, что если такая возможность предоставлена не будет, то он выйдет из Академии наук СССР и объявит новую голодовку. Если Сахаров что-то для себя решил, то шел до конца. Елена Георгиевна пыталась его отговаривать и перед первой, и перед второй голодовкой. Но надо знать Андрея Дмитриевича, чтобы понять, какое это бесполезное занятие. «Ты не понимаешь, я голодал не только за твой выезд, но и за мое окно в мир. Они хотят превратить меня в живой труп. Ты позволя-

ещь мне жить, осуществляешь связь с внешним миром. Они хотят уничтожить ее» — так он говорил в сентябре 1984 года.

Елену Георгиевну многие тогда обвиняли в том, что из-за нее погибает Сахаров, что она допустила эти голодовки. Одна хорошая знакомая говорила: «Да она должна была лечь у порога и сказать, что только через ее труп». Но Сахарову и без этого хватало ультиматумов и запретов. А если бы и самый близкий человек — заодно с КГБ против него? Не хотел КГБ голодовок Сахарова и связанных с ними международных осложнений. Отсюда экстремальные меры по предотвращению утечки истинной информации и по распространению ложной (например, «фильмы» Виктора Луи). Не исключаю, что со временем мы узнаем, какой политический удар нанес Сахаров по этим органам своим противостоянием и тем более своей победой. Не могла Елена Георгиевна объявлять войну Сахарову, ничего она не могла сделать. «Боннэр во всем виновата» — этот тезис КГБ стал лозунгом миллионов и, увы, был воспринят и некоторыми людьми из близкого окружения, теми, от чьей позиции реально зависел тогда ход событий. Конструкторы безвыходных ситуаций — люди, без сомнения, талантливые в своем роде*.

6.

В больнице Сахаров не только не мог заниматься наукой, он не мог даже думать о ней. Позже я как-то спросил его: «Ведь вы всегда думаете о науке. Могли ли вы обдумывать физические проблемы в больнице, во время этих многомесячных голодовок?» Он ответил: «К сожалению, это было невозможно. Самое мучительное было то, что я ни на секунду не оставался один. В палате, в коридоре, в туалете — везде меня сопровождали агенты, переодетые больными. Причем, как правило, они что-то говорили, зачастую оскорбительное или агрессивное. Это был способ давления, и это было самое тяжелое». Но накануне трагических майских событий, в апреле 1984 года, он направляет в «ЖЭТФ» фундаментальную работу «Космологические переходы с изменением сигнатуры метрики», которая публикуется в журнале в августе, когда Андрей Дмитриевич уже более трех месяцев находился там, в специальном отделении больницы имени Семашко. На рукописи статьи, а также на авторских экземплярах рукой Сахарова написано: «Посвящается Люсе». Но в журнале посвящения нет — снова снял Главлит. Об этой работе следует сказать подробнее.

В отчете, направленном в ФИАН в ноябре 1984 года, академик Сахаров, в частности, пишет: в работе «высказана гипотеза о существовании состояний физического континуума, включающих области с

* В 1937 году один «твердокаменный большевик» выдержал все пытки и «согласился» признать себя иностранным шпионом и публично покаяться только после того, как на его глазах стали пытать его жену. В 1984 году заложником общественной деятельности Сахарова сделали его жену, и у Андрея Дмитриевича не было иного выбора, кроме этих страшных голодовок.

различной сигнатурой* метрики, и о возникновении наблюдаемой Вселенной и бесконечного числа других Вселенных в результате квантовых переходов с изменением сигнатуры метрики. Высказано предположение о существовании в нашей Вселенной наряду с наблюдаемым (макроскопическим) временным измерением двух или другого четного числа компактифицированных временных измерений...»

«...Значительную часть отчетного времени я не мог заниматься научной работой, в особенности потому, что с 7 мая по 8 сентября был принудительно госпитализирован в больницу имени Семашко, где подвергался насильственному кормлению, нанесшему серьезный ущерб моему здоровью, и где был лишен всех связей с внешним миром, в том числе научной литературы».

Статья находится на стыке квантовой космологии и «высокомерной» физики. О последней я упоминал выше. Квантовая космология — новое, бурно развивающееся направление, в рамках которого законы квантовой теории применяются для описания Вселенной в целом. Весь подход — необходимое следствие квантования метрического гравитационного поля. В квантовой теории всякая физическая величина флуктуирует (хаотически меняется) около некоего среднего «классического» значения. Принципиально новым в квантовой космологии является то, что теперь рассматриваются и немалые флуктуации метрики — такие, при которых меняется топология пространства — времени, образуется множество иных вселенных, свойства которых, вообще говоря, отличаются от того, что мы наблюдаем в нашем мире. Там могут быть другие значения масс элементарных частиц, их констант взаимодействия, другое число измерений пространства — времени, другая энергия вакуума (космологическая постоянная). Чем меньше последняя, тем дольше существует соответствующая Вселенная. Малость космологической постоянной в нашей Вселенной Сахаров объясняет так называемым «антропологическим принципом», суть которого сводится к простому тезису: «Мы наблюдаем такую Вселенную, в которой мы (наблюдатели) могли возникнуть». Для возникновения жизни и прохождения всех этапов биологической эволюции вплоть до homo sapiens нужно много времени, Вселенная должна существовать достаточно долго. А те миры, где космологическая постоянная велика, просто некому наблюдать.

Все ранее рассматривавшиеся «высокомерные» обобщения нашего четырехмерия (координаты которого суть длина, ширина, высота, время) шли по пути увеличения числа пространственных координат при сохранении одного «времени». Сахаров предложил рассматривать многообразия с разной сигнатурой, а также многообразия, в которых в разных областях может быть разное число временных координат. Переходы между такими областями не могут быть описаны классическими уравнениями движения. Они могут происходить

* «Сигнатурой» здесь Сахаров называет число временных осей пространства --- времени.

только в результате квантового туннелирования (просачивания). Области с одной осью времени Сахаров обозначает буквой U — от слова Universe, области чисто пространственные, в которых нет ни одной временной координаты, — буквой P (далее цитата): «от имени древнегреческого философа Парменида, рассуждающего о мире без движения (у Пушкина: «Движенья нет — сказал мудрец брадатый...»)»*. В конце этой удивительной работы Сахаров пишет:

«Заметим в заключение, что в пространстве P следует рассматривать бесконечное число U-включений...; при этом параметры бесконечного числа из них могут быть сколь угодно близкими к параметрам наблюдаемой Вселенной. Поэтому можно предполагать, что число похожих на нашу Вселенных, в которых возможны структуры, жизнь и разум, — бесконечно. Это не исключает того, что жизнь и разум возможны также в бесконечном числе существенно иных Вселенных...»

7.

Но спустимся на грешную Землю. После неудачной голодовки 1984 года Андрей Дмитриевич был очень подавлен, укорял себя за слабость и уже в конце сентября решил, что снова будет голодать и что выйдет из академии. Об этом он написал в цитированном выше ноябрьском письме президенту Академии наук СССР.

Тянулись долгие безысходные месяцы, из академии не было никакой реакции. За это время теоретики побывали у Сахарова дважды — в ноябре и феврале. После визита 25 февраля 1985 года один из них, отвечая на мой вопрос «Как там?», сказал, что Андрей Дмитриевич говорит, что намерен снова голодать и что он собирается выйти из академии, если Елене Георгиевне не дадут разрешения на поездку за рубеж для лечения. «Все это безумие, ужас какой-то», — почти с отчаянием говорил коллега. Да, это действительно был ужас. Но ужас был и в том, что об этом ужасе никто не знал. Что было делать? Я сам был под ударом, я не мог подводить физиков, но не мог и похоронить в себе эту информацию. Я пошел к человеку, с которым мы в течение ряда лет вместе принимали решения по этим чрезвычайно ответственным вопросам, — к Маше, Марии Гавриловне Петренко-Подъяпольской. Мы сочинили короткий текст: «Из кругов правозащитников в Москве стало известно...», — и не сразу, а недели через три (чтобы никто не подумал на фиановцев) Маша забросила его в прессу. Было это тоже непросто. Почти все друзья были арестованы, и за ней самой везде следовал «хвост». Вскоре сообщение о намерении Сахарова выйти из академии и снова голодать передала радиоголоса, что, несмотря на все предосторожности, произвело в теоретделе весьма сильное впечатление, почти панику. Я не

* «Мы несколько раз слышали, как он читал наизусть Пушкина, тихо, почти про себя: „Когда для смертного умолкнет шумный день...“ Он сказал однажды: „Хочется следовать Пушкину... Подражать гениальности нельзя. Но можно следовать в чем-то ином, быть может, высшем...“ Из книги Раисы Орловой и Льва Копелева «Мы жили в Москве»).

понимал почему. Не знаю: может быть, то, что случилось через год, проясняет ситуацию? А может быть, и нет.

Весной 1986 года, когда Сахаров жил совсем один, а Елене Георгиевне делали операцию на сердце в США, коллега-теоретик при весьма драматических обстоятельствах сказал мне, что по коридору Отдела теоретической физики ходят сотрудники КГБ, что они проводят суровые беседы с физиками, назначенными к поездке, предупреждают, чтобы ничего ненаучного от Альтшулера к Сахарову и обратно никто не возил. И специально предупреждали, чтоб об этих беседах никто не говорил мне. В этой стрессовой ситуации поступок теоретика, нарушившего столь авторитетные указания, был шагом истинного мужества. Меня органы обходили, и, думаю, по одной-единственной причине: знали, что при каждом их прикосновении мои друзья поднимали шум на весь свет и «весь свет» откликнулся. Это и спасало. Спасибо.

Но тогда, весной 1985 года, меня все-таки не обошли, хотя и ничего страшного тоже не случилось. В конце мая меня вызвали в главную приемную КГБ: формально — для возвращения одной из пишущих машинок, взятых на обыске в 1983 году, а фактически — чтобы сделать предупреждение: «А вы ходите в ФИАН, общаетесь с теми, кому разрешено посещать, вы понимаете кого, они вам доверяют, рассказывают. Вы потом болтаете по всей Москве, а в результате возникают международные осложнения». И далее следовал стандартный пакет угрожающих намеков. К сожалению, этот сотрудник был неправ. Никакого существенного «международного осложнения» из той полученной от теоретика информации не произошло. Так же, как не произвела впечатления записка самого Андрея Дмитриевича, чудом пересланная в конце апреля из горьковской больницы одному знакомому в Москве и переданная через пару недель по «голосам». Все перекрыли поддельные фототелеграммы, о которых я говорил выше. Истинная причина этого вызова в КГБ была мне тогда, увы, неизвестна. А причина была в том, что Сахаров уже полтора месяца проводил голодовку и подвергался принудительному кормлению, что органам удалось обмануть всех — и друзей, и весь мир, — и никто не знал, что происходит в Горьком. И вызвали меня для беседы, очевидно, профилактически — оказать давление (мол, мы знаем все), с тем чтобы не очень дергался в попытке получить какую-либо информацию.

До ноября никто ничего не знал об Андрее Дмитриевиче и Елене Георгиевне. Летом 1985 года Организация Объединенных Наций официально объявила Сахарова пропавшим без вести, был объявлен розыск. Советские власти (т.е. КГБ через Виктора Луи) ответили на это серией снятых скрытой камерой фальсифицированных фильмов. В начале сентября Алексей Семенов объявил голодовку на площади Сахарова перед зданием советского посольства в Вашингтоне. Голодовка продолжалась одиннадцать дней и была прекращена после того, как обе палаты конгресса США единогласно приняли резолюцию в защиту Сахарова.

Ноябрь 1985 года. Неясные сообщения по радио о том, что в Горьком все хорошо, что жена академика Сахарова получила разрешение на поездку в США. После многих месяцев неизвестности, сдобренной всевозможными «утками», верится с трудом. Телеграфирую в Горький с просьбой подтвердить оптимистические сообщения фототелеграммой (этому виду информации я еще по наивности доверяю). И 10 ноября получаю в ответ следующую фототелеграмму (в данном случае подлинную):

«Дорогой Боря! Сейчас, как мы считаем, уже нет оснований беспокоиться, состоится ли поездка. Елена Георгиевна 24 окт. получила разрешение, добилась продления срока выезда до конца ноября, чтобы побыть со мной.

Я еще немного переживаю непонятливость москвичей, а Елена Георгиевна уже совсем в настоящем и будущем, как и я, в основном. Здоровье у нас примерно в том же состоянии, как последнее время, со скидкой на возраст и особенности последнего полугодия. В целом — мы счастливы и возбуждены немного. Спасибо за книги! Я начинаю читать статьи и книги. Большой привет Ларисе от нас обоих. Твой А. Д. С. Привет и целуем всех друзей. Елена Георгиевна».

Рано утром 26 ноября встречаю Елену Георгиевну на Ярославском вокзале. Первый вопрос: «Зачем вы посылали в мае эти оптимистические фототелеграммы?» — «Какие телеграммы???» — «Но как же это можно подделывать?» — «Они всё могут». Не всё, наверное, но очень многое. Невозможно представить себе, каким силам противостоял Андрей Дмитриевич в этой беспрецедентной борьбе в горьковской больнице.

Его победа воспринималась как чудо, о чем я ему и написал. «Ты, конечно, понимаешь, какое чувство удовлетворения, сделанного дела испытываю я от «чуда», и ты сам разделяешь эту радость. Сейчас живу сообщениями оттуда. Недавно говорил!!! И волнуюсь» (из новогодней открытки, отправленной из Горького 20 декабря 1985 г.). Елене Георгиевне предстояла операция на сердце, и Андрей Дмитриевич, естественно, очень волновался. К счастью, у него теперь была возможность иногда говорить с ней и детьми в США. Разумеется, тематика этих телефонных разговоров не должна была выходить за рамки бытовых или медицинских вопросов.

Я много писал Сахарову в Горький, но пачка почтовых «уведомлений о вручении» за 1986 год особенно толстая. Главная причина в том, что уведомления стали возвращаться с подписью Андрея Дмитриевича, а когда знаешь, что письма доходят до адресата, то писать легче. От него я получил два больших письма в январе и в марте. В основном они о науке, но есть и «гражданские» абзацы:

«Дорогой Боря, уже давно мне пора написать тебе письмо в ответ на твои многочисленные и очень интересные и разумно-оптимистические (оптимистический подход толкает на более правильные действия, вообще на действия — а под лежащий камень вода

не течет). Один мой литовский знакомый говорил: хорошо жить с надеждой, а ты попробуй жить без надежды. Но сам он, я думаю, все же имел какие-то надежды (он очень сильный и самодисциплинированный человек, в «особых» условиях, вставая за три часа до подъема, сумел изучить в совершенстве 6 языков. Время на это у него было). А сейчас вообще его судьба изменилась к лучшему...»

«...Что рукописи не горят — это действительно один из хороших парадоксов века...»

«...28 декабря я (уже второй раз!) говорил с Люсей и другими членами семьи. Операции на сердце, видимо, не будет, и это меня разочаровывает — хотелось чуда. Но врачи опасаются оперировать, т. к. инфаркт обширный и застарелый; с другой стороны часть сердца, не затронутая инфарктами (одним или несколькими) в приличном состоянии, и они не хотят рисковать. Им видней. Окончательно будет ясно немного потом...»

Это цитаты из январского письма. «Чудо» все-таки произошло. Тяжелейшая операция на «открытом сердце» прошла успешно. Второе, мартовское, письмо написано уже после операции.

В 1986 году Андрей Дмитриевич написал и опубликовал в «Письмах в «ЖЭТФ» статью «Испарение черных мини-дыр и физика высоких энергий». «В работе обсуждаются возможности проверки представлений физики высоких энергий, связанные с наблюдением испарения черных мини-дыр — если они будут обнаружены» (из отчета, направленного в ФИАН 10 ноября 1986 г.). Далее в этом же отчете Андрей Дмитриевич пишет:

«В настоящее время изучаю работы по струнам. Пытался разрабатывать триангуляционную аппроксимацию мирового листка. Но оказалось, что это уже сделано, причем получены важные результаты. Собираюсь в следующем году продолжить изучение этого круга проблем. Хотел бы принять участие в обсуждениях по проблеме термоядерного синтеза (МТР, лазерное обжатие)...»

21 мая 1986 года Андрею Дмитриевичу исполнилось 65 лет. В этот день его посетили Владимир Яковлевич Файнберг и Аркадий Александрович Цейтлин — оба специалисты мирового класса по квантовой теории поля и теории струн. Это был последний визит теоретиков к Сахарову в Горький. И это был во всех отношениях важный и плодотворный визит. И свой день рождения Андрей Дмитриевич встретил не один. Ведь Елена Георгиевна вернулась из США в Горький только через две недели. Но, конечно, Сахаров думает не только о единой теории поля. Вскоре после катастрофы в Чернобыле еще из Горького он пишет академику Г. И. Марчуку о необходимости принципиальной переориентации всей программы развития атомной энергетики на подземное размещение реакторов. В этом же письме он излагает идею о возможности предотвращения катастрофических землетрясений с помощью превентивного подземного ядерного взрыва. В этих направлениях он работает и позже, после возвращения в Москву.

Особый режим изоляции продолжался и те полгода, когда Сахаров жил совершенно один, и с июня по декабрь, когда они снова

были вдвоем. В последней открытке, полученной нами из Горького, Елена Георгиевна пишет: «А как мы живем, это описанию не поддается — так как это и не жизнь на самом-то деле, но Андрей считает, что жизнь, раз мы вдвоем, и, может, он прав?..» Открытка датирована 17 ноября, за три недели до гибели в Чистопольской тюрьме Анатолия Марченко и за месяц до освобождения.

9. Заключение

Что же это все-таки было — Сахаров?

«Ахматова говорила, что смерть меняет портреты. Андрей Дмитриевич — редкое исключение из этого правила. Смерть не добавила ему ни святости, ни мудрости, ни честности. Эти его качества, по моему, в полной мере ощущал каждый, кто с ним общался даже мимолетно. Андрей Дмитриевич отличался удивительной небудничностью в самой прозаической обстановке. Он, как никто, был подключен ко всем основным глубинным процессам нашего времени, каждого дня. И, как никто, был выше, больше, значительнее того мгновения, в котором жил...»; «И еще одно уникальное свойство. Все, что он делал, немедленно становилось историческим событием, выламываясь из той эпохи, в которую происходило. Ну какой режиссер мог сочинить сцену, которая разыгралась прошлым летом в Верховном Совете? Каждое его слово, каждая пауза, реакция зала и президиума — все немедленно впечатывалось в память, укрупнялось и становилось Историей. Почему? Ведь он не речист. Есть другие ораторы, выступающие гораздо более хлестко и ярко, чем он. Так почему же? Да потому, наверное, что вся его деятельность — это мучительные попытки пробиться к истине и повести за собой своих упирающихся, сопротивляющихся соотечественников. Потому, наверное, что он каждым шагом и словом взрывал любую внешне благополучную ситуацию, не боясь испортить кому-то праздник и настроение. Взрывал ее не ради взрыва, не в полемическом задоре, а ради истины. И каждым негромким словом своим он делал явным то, что не хотело быть явным, обнаруживая то, что пыталось спрятаться, обнажал истинный смысл происходящего, показывая его подлинное лицо*». Эти цитаты проиллюстрирую живыми примерами.

Небудничность. В любой момент Андрей Дмитриевич мог поддержать разговор на абстрактную тему (теория струн, «стрела времени» и т. п.), предложить решить задачу или просто начать с увлечением рассказывать что-либо интересное. С какой перегрузкой, в каком перенапряжении он и Елена Георгиевна жили после возвращения из Горького, хорошо известно. Звонки, люди, заседания. И тем не менее приходит он однажды на кухню после вечернего отдыха (приходилось работать ночами, и Сахаров старался немного «добирать» вечером) и тут же сообщает: «Я стихотворение сочинил» — и зачитывает:

* Из выступления Ларисы Миллер на собрании в ЦДЛ, посвященном памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, 21 декабря 1989 г.

«Никита был большой шутник,
Он в небо запустил спутник.
Летает спутник по орбите
И кружит голову Никите.
И вскоре по всему Союзу
Сажать он начал кукурузу.
Тут вышел результат простой:
Никиты нет, но есть застои».

Спрашиваю: «У вас записано это?» «Да нет, зачем». Но я тогда почему-то проявил благоразумие и записал стих по памяти. Было это 28 июня 1988 г.

Сахаров много шутил, потому что думать ему было легко. А когда он говорил серьезно, то всегда по-пушкински «ясно, кратко и просто», и это становилось не только высказыванием, а чем-то материальным. Он угадывал болевую точку проблемы и «негромким словом своим делал явным то, что не хотело быть явным». Не хотело, но вынужденно проявлялось в виде травли в 1973 и 1983 годах, бурной реакции на заявление о взрывах в Московском метро в 1977-м и на интервью 1989 года об уничтожении своих в Афганистане, гнев аппарата в связи с призывом к двухчасовой политической забастовке перед II Съездом и т. п. Он, как хирург, вводил скальпель в нужное место и выпускал гной.

Но помимо ясного понимания проблем и профессиональной четкости в реализации задуманного были в нем еще качества, без которых Сахаров не был бы Сахаровым. Способность к состраданию, некоторая даже чувствительность и терпимость. «Самое поразительное в Сахарове то, что «he is not angry» («он не сердитый»), — сказал мне один американский физик. На вечере памяти Андрея Дмитриевича 22 января 1990 г. Татьяна Михайловна Великанова замечательно точно двумя словами охарактеризовала его отношение к людям: «Презумпция порядочности». Презумпция порядочности в отношении всех, в отношении любого человека. Я думаю, еще и поэтому получилось так, что к его мнению прислушивались представители высшего руководства и у нас, и в других странах. Такая внутренняя, совершенно для Андрея Дмитриевича естественная установка в отношении к людям была у него, конечно, не случайна. Корни уходят глубоко. Его дед, известный московский адвокат Иван Николаевич Сахаров, в начале века был редактором сборника «Против смертной казни». Вот как вспоминает сестра Ивана Николаевича Надежда Николаевна Райковская (урожденная Сахарова) о своем отце, то есть о прадеде Андрея Дмитриевича, арзамасском, а затем нижегородском священнике Николае Ивановиче Сахарове (1837—1911)*: «Он был и оставался до конца дней своих очень добродушным и скромным человеком. В его молитвеннике, который он всегда носил с собой везде в кармане, была надпись на первой странице: «Никого не оскорбляй». Как я понимаю, это значило: не делай ни-

* Райковская Н. Н. (1865--1950). Мои воспоминания (не опубликованы).

кому скорби, горя. Таким он был и таким оставался в памяти знавших его... Хоронили его удивительно и как-то особенно хорошо. У него, этого немудреного старика, было много духовных детей: за несколько лет перед тем нижегородское городское и пригородное духовенство выбрало его духовником...» В апреле 1987 года Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна в последний раз посетили Горький, теперь уже свободными людьми. И оттуда съездили за сто километров в Арзамас, и в память своего прадеда Андрей Дмитриевич поставил свечу в храме, где тот служил протоиереем.

И все-таки мы свидетели одного из настоящих чудес света: человек, не поддерживаемый никакими департаментами и партиями, приобрел такой глобальный авторитет. «Получилось так, что мое имя не принадлежит только мне, и я должен это учитывать», — сказал он как-то еще до высылки. А вот выдержка из интервью, данного во время 38-й Пагуошской конференции в Сочи в сентябре 1988 года. Вопрос корреспондента: «Ведь «академик Сахаров» — это уже не только человек, но — в нашем общественном сознании — это уже и понятие. Как вы сами ощущаете: легко ли вам быть «АКАДЕМИКОМ САХАРОВЫМ»?» Сахаров: «Легко ли мне быть понятием? Конечно, это внутренне ложное положение. Пастернак говорил: «Быть знаменитым некрасиво» — и был прав, это действительно очень некрасиво. Я стараюсь всячески гнать от себя ту психологическую отраву, которая с этим связана. Не знаю, удастся ли мне это. Частично, вероятно, удастся, какие-то иммунитеты у меня есть»*.

Андрей Дмитриевич лично общался с первым человеком государства, мог позвонить другим членам Политбюро (что он и делал иногда, например когда после землетрясения добился немедленной остановки Армянской АЭС). Но при этом, конечно, оставался сам по себе, совершенно независимым и хорошо сознавал всю ответственность и в то же время странность, неустойчивость этого своего положения. Ведь «дальше от царей — голова целей». Но что-то, а «голову» свою он никогда не берег. Мой отец в разговоре с ним как-то, кажется, вскоре после возвращения из Горького, заметил: «Вы находитесь на верхнем этаже власти», на что Сахаров сказал: «Я не на верхнем этаже. Я рядом с верхним этажом, по ту сторону окна».

Январь 1990 г.

* Молодежь Эстонии. — 1988. — 11 окт.

Был у меня друг

(о Камиле Икрамове)

— Ты слишком много читаешь, этостораживает. Нет, ты читай, конечно: «чтение — вот лучшее учение», а «печать — самое острое оружие нашей партии», но все-таки, наряду с почтением это немного раздражает...

Так он подтрунивал не надо мной одним. Мне еще не было и 20-ти, и я не столько любимое перечитывал, сколько именно новое заглатывал. И не развлекаловку, а все больше фундаментальное, мировоззренческое, философское. А у друга моего можно было заставить раскрытыми чаще всего «Севастопольские рассказы», «Капитанскую дочку», «Хаджи Мурата»... «Это он доучивается, наверстывает, — соображал я, — вовремя ему не дали». Но верно это было лишь отчасти.

Авторы законченных философских систем были ему подозрительны. Они претендовали на интеллектуальную власть, а власть — всякая — достаточно утомила моего друга. И казалось, что ему легче сочинить свой собственный экзистенциализм, к примеру, чем осилить трактат Ж.-П. Сартра по этике. И будьте уверены: в кустарной его философии вы бы чувствовали себя несравненно свободнее и от властей, и от отчаяния; а ведь она, в отличие от сартровской, знакома была и с вологодским конвоем, и с блатными, и с дистрофией 3-й степени... Скептическая и добрая, она будет сшита на вас, эта философия, если вы не пижон и не пьянеете от схоластики, если человечность (со строчной буквы) интереснее вам, чем Бесконечность (с прописной) с ее черными дырами.

Вот, кстати: человек — звучит это гордо или не звучит? У друга моего это был первый вопрос его человековедческих тестов. Не случайно: ведь в конце 50-х неоромантизм подскочил в цене, молодежь присягала «Алым парусам» А. Грина, пела взახлеб «Бригантину» и верила А. Вознесенскому, что пожар в Архитектурном институте символизирует что-то хорошее, новенькое. Всю скверну предполагалось спалить и зажечь чисто-чисто, вольно-вольно. Так что сам скепсис вопроса — гордо ли звучит человек — требовал отпора!

Да, отвечали вы, ибо вы воинствующий гуманист и у вас хорошее пищеварение. Да, в общем-то, звучит гордо... — ибо книги научили вас любить гениев и героев, и думали вы о них не то чтобы примазываясь, но по-братски деля их славу на все человечество, так что кроха перепадала и вам. Да, гордо... — ибо накануне вы бросили курить, или сочинили удачный стишок, или ночью на ура и еще на бис проявили себя в постели с женщиной, а поутру, сломив кисляйство и лень, проделали комплекс гантельной гимнастики. Да и школьное ваше сочинение держалось как раз на той гордой горьковской цитате,

там примеры так и теснились, так и просились под летящее ваше перо, и «пятерка» за ту работу перешла в аттестат зрелости...

Вы ответили? Идите. Второго вопроса вам не задаст мой взыскательный друг — по «закону достаточного основания» не задаст. Звучите, как хотите, лопните от гордости, пройдитесь колесом, но на интерес моего друга не рассчитывайте. Его бы воля, он и ваш аттестат зрелости попридержал бы: ясно ведь, что даже Евангелия вы толком не прочли. Ступайте же.

Впрочем, вернитесь. Не исключено, что когда-нибудь у вас испортится пищеварение. Или скуксится ваша мужская доблесть, типун мне на язык. Или она останется в норме, а просто ваша женщина предпочтет вам бронзового культуриста или внешторговца с импортными дарами. Или вас — по ошибке, конечно, — посадят за решетку! Смешное предположение, натянутое, но включию все-таки фантазию: вы в роли ээка. Шнурки от ботинок и поясной ремень у вас отняли, брюки спадают... Следователь — чудовище: к искренности, к здравому смыслу глух, как пень, способен буквально на все, на любую пакость и от вас домогается того же! И вот, представьте, снова звучит вопросик моего друга. Вам так же захочется на него отвечать, как и на следовательские? Помогут ли вам теперь гордые примеры из школьного сочинения? Джордано Бруно? Желябов? Тарас Бульба и сын его Остап?

Мой друг размышлял об этом в такой же камере, положив руки поверх казенного одеяла, и вертухай в неслышных валенках инспектировал его через глазок. Двенадцать лет тюрьмы, этапов, лагерей и ссылки отчеканили другу моему особую философию. Она не решает вопроса о том, что первично — материя или дух, яйцо или курица. Философия эта вообще не трогает проблем, которыми обычно занимаются, плотно покушавши. Она исходит из того факта, что покушать плотно не всегда удается и что теплый гальюн не всегда рядышком. Она может пригодиться людям, у которых иногда болят зубы, а иногда кружится голова. Людям, которые в жару хотят пить, в мороз — зябнут. Людям, которые, собираясь в дорогу, кладут в чемодан тапочки, мыло, бритву, белье, «тройчатку» — и только потом томик Эдгара По или Ивлина Во, а никак не наоборот. Я прошу читателя быть точным: вам не нужно облегчать свой багаж за счет облюбованной книжки, важно только не выпендриваться. Это специально оговорено в философии моего друга. Вот разве что сочинения «чистых» романтиков и творцов законченных «систем» брать с собою не стоит. И еще — профессиональных политиков труды. А если вы не хотите с ними расстаться, значит, вы едете не в ту сторону...

Ах, эта самоуверенность моего друга, эта запальчивая категоричность тех постулатов, которые он вывел сам! Никогда не забуду его единоборства с Хемингуэем. Рискуя быть придавленным его авторитетом, этой тяжелой плитой, которую подпирали в то время своими узкими плечами все интеллигенты СССР, мой друг одиноко и мужественно не любил Хемингуэя. Впрочем, не его книги — не мог он не понимать силы «Фиесты» или «Старика и моря», — а не любил

культы этого, моды этой. И расстреливал эту мишень не из главного калибра, а дробью юмора, иронии, подначки. Чтоб чувствительно было не самому бородачу, никогда о том не узнавшему, а нашим литературным мальчикам, охмуренным «мускулатурой стиля» и теорией «айсберга».

— Я не хочу нырять, — говорил мой друг, — и ощупывать содержимое этой самой «подводной части айсберга»! Мне некогда, и я не так хорошо плаваю...

И открывал «Капитанскую дочку», чтобы засвидетельствовать: глубины там никак не меньше, с лаконизмом ничуть не хуже... А что лучше читателю: когда жемчуг в строке, в абзаце, прямо в тексте или когда принуждают нырять за ним, ничего не гарантируя? А если жаждешь все-таки «погружения» — возьми вот чеховского «Архиерея»: ведь обратно не вынырнешь!

Такие вел мой друг семинары у себя на Красносельской улице. Изыскания стилистические были подсобны, впрочем; важнее всего было установить, кто и почему великий для России писатель. Не заморочила ли себя интеллигенция, повесившая в каждом доме в красном углу портрет бородача в грубом свитере? Бородач был тогда жив и строго следил за тем, чтобы боевых быков резали не как-нибудь, а по строгим правилам искусства. Немыслимая все-таки забота для великого, по российским меркам, писателя, ей-же-ей! Слишком многострадальная страна. Если б к тому времени явился уже «Иван Денисович», об этом и спорить бы не пришлось. Но он еще не вышел из своего рязанского укрытия, еще соседствовал со школьными тетрадками по алгебре, где ставил отметки его автор.

Каким это чудом среди выходцев из ГУЛАГа встречались нам редко с в е т л ы е люди? Ведь зацитирован уже вывод В. Т. Шаламова, едва ли не лучше всех знавшего сей предмет: там обретался отрицательный, сугубо и только отрицательный опыт. Автор же самого «Архипелага» вносит в этот вывод серьезные полемические коррективы. В спор таких людей по такому вопросу мог вмешаться мой друг, но не я.

Я только попробую ответить на вопрос: откуда с в е т? Память, даже если перегружена шаламовским опытом — это ведь не душа, они никак не синонимы. В том-то и дело, видимо, что душа — не тара, не контейнер, не транспортное средство, не емкость. Иначе с ней никаких особых загадок не было бы: чем нагрузили, то и везет, и всякие толки про суверенность и про уникальность души можно было бы с большевистской прямоотой пресечь как субъективный идеализм. Что и делалось, впрочем, 70 лет.

Камил Икрамов, мой друг, душу наподобие тары не подставил лагерному опыту! Память — дело другое, память он имел надежную, хранившую столько лиц, эпизодов, сюжетов и деталей, что хватило бы на объемистую книгу о ГУЛАГе и ссылке. На книгу совсем непохожую ни на «Записки из Мертвого дома», ни на «Колымские рассказы». Тот пласт воспоминаний, которым Камил пользовался активно, состоял прежде всего из... смешного. Да, это был как бы ГУЛАГ

глазами Зоценко или Жванецкого! Конечно, и через юмористику эту просвечивал ужас, но никогда в устных рассказах Камила он не был самоцелью. Ужас надлежало, по его понятиям, теснить, не давать ему того простора и главенства, на какие он претендовал в той жизни. Сама эта установка на «остраннение» (говорят, два «н» здесь — принципиальны), на смеж в аду была, видимо, спасательным кругом и волей к свободе. В юморе и еще в разговорах о «высоком» — о поэзии, об истории — душа сохраняла суверенность. Здесь много общего с Пьером Безуховым, которого Камил вообще чем-то напоминал смутно, но неотвязно, — так вот, здесь много общего со страницами, посвященными плену Пьера:

«Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления».

(«Война и мир», т. 4, ч. 3, гл. XII)

Не знаю, будет ли еще шанс и место сказать об отношении Камилла ко Льву Толстому, — скажу здесь. Время от времени он вдруг принимался достраивать, наращивать, укреплять культ Толстого — хлопотливо, азартно. Выяснял для себя и для друзей, что Толстой — «еще гениальнее», чем мы думали, уличал нас в поверхностном знании текстов, обнаруживал там ключи к сегодняшним проблемам... Помню разнос по телефону:

— А ты читал «Нет в мире виноватых»? Первую редакцию?

— Кажется, нет... не помню...

— Вот прочти, тогда будет о чем разговаривать! — И после этого безапелляционные частые гудки.

Я и сегодня не все помню у Льва Николаевича, но кто теперь накричит на меня за это? Один Камил Икрамов мог давать «свечки» по таким поводам. Подумать только: как будто освежу я в памяти заданный текст — а параллельно он и Юрия Карякина заставит это сделать, и Таню Бек, и случившегося об эту пору в Москве тюрколога из Ташкента, и журналиста из «Науки и религии» — и путем перекрестного опыления умов, глядишь, к концу месяца воссияет Истина! Чепуха: утопистом Камил не был. Просто на него так чудесно действовал кислородный коктейль истины, что неудержимо хотелось каждого тащить за руку к месту его раздачи: испейте, дурачки, ведь сами себе потом спасибо скажете...

Если в какой-либо статье случался выпад против толстовства, то последующие абзацы Камил мог закрыть рукой и уверенно предсказать: дальше будет свинство... не знаю, какое именно, но будет наверняка! Такая вот мнительность на него нападала.

Писательство — профессия, в общем-то, работающая на природный эгоцентризм: уж очень мышцы самолюбия постоянно напряжены. Среди нас редкостны, прямо-таки уникальны люди с призванием «разогревать» чужой талант, лелеять его и проталкивать вперед, быть его бескорыстным импресарио. Это даже не всем понятно в наши

дни: с какой стати Иксу трубить о незаурядности Игрека? Из одной м а ф и и, что ли?

В начале 60-х годов литобъединением по имени «Родник» в нашем пединституте руководил доцент Залесский, зав. кафедрой советской литературы. Нужно отдать ему справедливость — вполне бездарно руководил. При нем инакомыслие студентов шутовских притворялось наивностью, неосведомленностью, но после его руководящих наставлений вообще набирало в рот воды. Втройне это должно было относиться к Камилу: он ведь и сам ощущал себя вчерашним ссыльным из города Джамбула. И ведь не было за его плечами нормальной средней школы — «ремеслуха» была и сразу за ней — ГУЛАГ. Если б не те умницы и эрудиты из числа эзков, которые трогательно пеклись о его просвещении, нельзя было бы и помыслить на воле о филологическом факультете!

Сейчас мне нужно как бы отмотать пленку назад, чтобы тот случай правильно расположился во времени: Камил — еще не признанный лидер нашего кружка, на Хемингуэя он еще не замахивается, больше того — он внутренне съеживается, когда столичные студенты роняют такие словечки, как «имажинизм» или «контрапункт», ему, как чеховскому герою из «Учителя словесности», кажется позором, что он — наверное, единственный и последний в своей среде, кто не читал «Гамбургскую драматургию» Лессинга. Скоро он убедится, что толком никто ее не читал, и комплексы эти исчезнут, но тогда они еще были. Это важно для оценки того случая.

С моей точки зрения, доцент всегда бубнил примерно одно и то же. Но, видимо, в тот день он как-то особенно противно, с повадкой гробовщика, прикладывал свою соцреалистическую рулетку к строчкам начинающего поэта Олега Чухонцева, к рассказам вчерашнего плотника и солдата Володи Войновича — и выходило, что самое пленительное, самое живое у них — оно-то и непригодно. И Камил не смог вынести этого! Он встал и объявил главе кафедры, которому предстояло сдавать еще много экзаменов: на самом деле непригодны вы... да-да, именно вы-то и непригодны... слухом и чутьем к искусству природа обделила вас...

Ручаюсь, что дословно было сказано:

— Если вы ничего, ну совсем ничего не понимаете, так уходите лучше отсюда! Мы разберемся сами!

Сиренево-красный доцент выскочил вон из аудитории, а занятия — текущее и все последующие — стал вести Камил Икрамов.

Для такого поступка нужно не только забыть, что тебя лишь недавно расконвоировали, — нужно было расконвоировать мозг, душу... Или же — всегда иметь их свободными!

Вы говорите: Икс превозносит Игрека, потому что — одна мафия? Вот ситуация иная, где мы — те же студенты с пробами пера, а перед нами — Настоящий Писатель. Пригласили как-то в наш институт Павла Нилина; он выступил, ответил на вопросы, а потом Камил измором заставил его прочитать несколько страниц Володи Войновича. Оценка нилинская оказалась, вопреки нашим уверенным ожиданиям, какой-то уксусной. Так что вы думаете? Камил и с ним

поссорился. Вместо того чтобы словить шанс, закрепить ценное знакомство, показать Нилину собственную первую повесть, позондировать почву насчет рекомендации в СП, — вместо всего этого совсем другой поворот. Нилин слышит отповедь от ненормального узбека с необычно толстыми стеклами очков:

— Перед вами будущий крупный писатель, и сейчас вы упускаете честь открыть его! Очень к лицу была бы такая честь автору такой отличной повести, как «Жестокость»...

Долгая-долгая, никому еще не ведомая дистанция лежала между этими дерзкими сценками и нынешним статусом Владимира Николаевича Войновича, русского писателя из города Мюнхена (ФРГ), временно проживающего сейчас в Соединенных Штатах... До чего кургузый был на нем пиджачок тогда! Камил непременно купил бы ему новый, если бы не страх поранить гордость будущего крупного писателя. И если бы пенсия за напрасно расстрелянных родителей позволяла Камилу такой размах...

Отчего мне так дороги те, самые первые воспоминания? Перебирая эпизоды тридцатилетних отношений, я мог бы рассказать и другие, не менее выразительные, из тех, что ближе к концу. Но, увы, под вопросом моя «частная собственность» на эти поздние сюжеты: многие могут рассказать об авторе целой полки книг, о народном писателе Узбекистана, о спецкоре «Правды», члене трех творческих союзов, о друге целого сонма знаменитых у нас людей... А тогда, в хрущевскую оттепель, Камил принадлежал только тесному кружку, в котором, спасибо судьбе, был и я. Тепло духовной частной собственности, не прудотое коммунальными сквозняками, — это условие и любви, и творчества, и дружбы, и счастья. Сейчас мне кажется, что всего этого было «навалом», когда мы бродили по ночной Москве или когда Камил вел свои семинары в комнате на Красносельской...

Но вот это — как раз из последних лет; именно в последние свои годы он объявлял почти вызывающе:

— Детей своих друзей люблю больше, чем самих друзей!

Противился ершисто и гневно даже, когда о нынешних двадцатилетних говорили плохое. А ведь говорят же сплошь и рядом и всё хуже говорят: и сердцем они холодны, и неинтеллигентны, и к целям гражданского обновления повернуты спиной (бокком — это в лучшем случае), и аморализм затягивает их в свой омут... Камил просто страдал от этих разговоров. И шел в контратаку:

— Твой сын — такой? Ведь нет же? А друзья твоего сына? Смотри-ка, сколько «счастливых исключений» уже! Вот и моя дочь не такая, слава тебе, Господи. Значит, эти выводы — не из жизни, а из пьесы «Дорогая Елена Сергеевна», где поколение, я считаю, оклеветано! Наше дело — помогать им выжить, а не приговоры им выносить!

Спорное заявление? Еще бы. И репутацию талантливой пьесы можно было бы защитить, и сослаться на десятки других произведений, где эта самая клевета еще чернее. Но для Камилы это не было ни литературоведческой, ни театральной проблемой. «Помогать им выжить» стало для него задачей № 1, жизненной программой.

Не требуйте примеров того, как эту программу он осуществлял практически, — я две страницы исписал такими примерами и отказался от них: на бумаге это почему-то выглядит мелкотравчато и немного сусально, когда к людям, зажатым в наших отвратительных житейских тисках, Камилл приходит таким доктором Айболитом и высвобождает их. Но он и вправду помогал, вы уж поверьте...

Нечего и пробовать анализировать здесь Главную книгу Камилла, которая писалась все 30 лет, что я знал его. «Дело моего отца» называется книга, после публикации в «Знамени» (1989, № 5 и 6) она скоро выйдет отдельным и более полновесным томом. Автор демонтирует, чтобы рассмотреть детально, механизм самого изуверского судебного процесса во всей, может быть, мировой юстиции. Материал такой, от которого могла бы, как теперь выражаются, «поехать крыша». Но автор все время нам ставит ее на место — только одну эту заслугу я хочу выделить здесь; он не позволяет Сатане гипнотизировать нас, ибо речь ведет как раз о том, как мы дьявольское с божеским перепутали и как от этого уберечься впредь. Разговор о чудовищном идет от имени нормы, ради нормы. С опорой на те свойства в читателе, которые затрудняют работу Кашпировского и которые, даст Бог, воспрепятствуют применению подобных талантов в сфере политики. Иначе говоря, автор уважает наш здравый смысл, заостряет нашу зоркость, оттачивает наш скептицизм. Ох как необходимы нам эти качества при той эскалации демагогии, которая ширится вокруг!

Такой был у меня друг. С какой интонацией я говорю эту фразу? Тут выбор богатый: могу благодарно сказать, могу — хвастливо, могу — с нежностью и расплывшись в улыбке. Про себя чаще произношу ее с тоской самого настоящего сиротства, но это — про себя, это читателю необязательно.



Лев АННИНСКИЙ

Провал середины

Морок безымянности висит над этой эпохой. С первых дней до последних. Впрочем, за пределами ее последних дней все-таки присвоили ей имя: «застой».

Застой чего? Что застоялось? И разве в том дело, что — застоялось? А если бы «все это» не застоялось, а шло дальше... «семимильными шагами»... как это тогда называлось? «дальнейший и мощный подъем»... где бы мы были? Может, оно и к лучшему, что — «застоялось»?

А главное, не определишь никак, что застоялось. Определяемое ускользает за рамками определения. Суть — за кадром. И так — с самого начала: определения по касательной. Вначале говорили: наконец-то стабильность! Грешен, сам говорил. Стабильность — это что, самоцель? Или просто реакция на нестабильность? На сумасбродство, прожектерство, безумство, «субъективизм», «волюнтаризм»... что там еще? Ну, как реакция — ладно. Но попытки эпохи определить самое себя в позитиве фатально бессмысленны. «Экономика должна быть экономной». А какой она еще может быть — если она действительно экономика? Вот еще самоопределение: «эпоха развитого социализма». Видно, как от будущего отпихнулись: если с коммунизмом не выходит (обещали к 1980 году... причем, кто обещал-то? волюнтаристы? — так мы, мол, за них не отвечаем, — значит, «коммунизм» убираем). Что остается? Остается «социализм». Какой он может быть? Неразвитый и развитый. Все очень просто: был неразвитый, будет развитый. Иначе говоря, вышеупомянутый. Опять «масляное масло». Конечная цель — удовлетворение непрерывно растущих... и т. д. по кругу.

Помню, сам мычал в ответ на вопросы, когда на лекциях пытался определить, что же такое 70-е годы в литературе (в статьях не пытался — ответственность большая, а на лекциях вынуждали — вопросами). 60-е были ясны: там «левые» против «правых», XX съезд

против «культы личности», реформаторы против ортодоксов, молодые против стариков, городские против деревенских, «интеллектуалы» против «лириков», Запад, Восток, субъективизм, волюнтаризм и всяческая суета. А 70-е?

Вернее, началась эпоха — номинально — в 1964-м, но практически-то лет пять дожевывала, дотаптывала, переваривала то, что ей досталось от «субъективизма-волюнтаризма», — доводила до нуля, до небытия. Отстоялось — к 70-м; все то, что «не вписывалось», выдавила «за пределы» — от Сахарова до Солженицына. Что же «вписалось»? Что осталось нам от 70-х? «Нечто». Как определить? Никак. Нечто стабильное, закругленное, неухватываемое, неслышное, невидное, экономное, подспудное, секретное, уравновешенно-бессловесное. «Закрытая позиция» — есть такое понятие у шахматистов. Бывают позиции открытые, а эта — закрытая. На шахматной метафоре я и выезжал. «Закрытая» — не значит бессмысленная. Внутри-то там — напряжение, и не меньшее, чем в открытой. Конечно, все крайние силы — за краем доски: Владимов, Максимов, Синявский, Войнович (я оставался в пределах литературной ситуации), но ведь и «дома» — напряжение немалое: если по черно-белой схеме — так одного противостояния Шукшин — Трифонов хватало, чтобы наполнить схему азартом борьбы... скрытой борьбы, подспудной. А если позицию вскрыть?

Она вскрылась — в следующем десятилетии, в 80-х: оглушила гласностью, ослепила ясностью. Что именно стало нам ясно относительно нас самих — это и есть суть дела. Но подступ к сути кроется в спасительном самообмане долгого застойного «неведения» — и это тоже надо объяснить: факт безымянности.

Являясь по узкой специализации литературным критиком, я и дальше останусь в пределах своего материала. Бог даст, и литература выведет нас к кое-каким догадкам, и с ее помощью поймем кое-что в механике «застоя». Но материал надо ограничить. Речь пойдет не вообще о литературе 70-х годов, не о тех ее явлениях, которые были порождены 60-ми и были либо прижаты (Шукшин, Трифонов), либо зажаты, отжаты прочь (и там, «за рубежами», продолжали работать отъединенно), — нет, я возьму тех писателей, которые именно порождены эпохой «застоя», в ней обрели себя как поколение, на нее ответили фактом своего появления.

Так вот что интересно; это поколение тоже... не получило в критике внятного имени! Авторов много: Маканин, Киреев, Курчаткин, Бежин, Крупин, Афанасьев... не буду длить списка; фамилии достаточно известны: все это люди настолько разные, что и поколение из них не вдруг составилось, но составилось в конце концов... и что же? и м е н и нет у поколения. Ни «социальные наблюдатели», ни «коллекционеры характеров», ни «аналитики середины» — ничто не удержалось. В конце 70-х годов, когда эти писатели домучались наконец до своих первых книг и не замечать их стало невозможно, им приклеили пустое, ни о чем не говорящее определение «сорокалетние», так что теперь они, стало быть поколение «пятидесятилетних», к 2000 году дорастут до «шестидесятилетних» и т. д. В описании их

пути по сей день фигурируют подробности чаще всего организационно-издательские, именно то, что попали они в литературу не через бурный слив журнальной полемики, а через тихий отстойник книгоиздательства, — не столько, стало быть, прорвавшись в борьбе (как их городские и деревенские предшественники), сколько дождавшись в очереди.

Однако это чисто формальное обстоятельство (в конце концов, не все ли равно, как человек напечатал свои произведения, важно, как он их написал), теперь, «с вершины лет», все более кажется мне существенным. Оно не только определилось ситуацией творчества, но во многом и определило ситуацию творчества. Вытесненные за пределы непосредственной литературной борьбы, они не должны были заботиться ни о боевой определенности своих доктрин, ни о взвешенности каждого слова; в тихом пространстве издательских «лакун» они могли спокойно накапливать наблюдения, выстраивая — эпизод к эпизоду, книга к книге — целые мегаполисы и даже миры, неслышно живущие в тени исторического процесса. Их тяга к панорамированию реальности есть следствие издательских условий, но эти условия сами есть следствие жизненных причин, породивших писателей такой экстенсивной направленности. Их мир много шире тех эмблематических знаков и эпизодов, по которым их запомнила публика. Маканин в сознании читателей — прежде всего автор «Предтечи», создатель скандальной фигуры знахаря, просигналивший в 1986 году (как и многие другие писатели) о наступлении новых времен в литературе; за пределами этой вспышки часто остаются широкие маканинские жизнеописания — от уральских послевоенных бараков до подмосковных композиторских дач и от интеллектуального юродства либеральных студентов до темной, подземной мудрости слепых народных провидцев. Руслан Киреев — писатель такого же стайерского дыхания. Он автор не просто серии повестей и романов, но как бы целого горизонта реальности, поднятого в словесность. Он воспроизвел под именем Светополя своеобразную микро вселенную послевоенной южной России, с целыми системами типов и характеров, с семейными гнездовьями, с профессиональными «клубами» вроде пивного павильона или автобусной станции, или фотографического ателье. Разумеется, зная биографию Киреева, нетрудно расшифровать псевдоним (Светополь — Симферополь, Вита — Евпатория), но делать этого как раз не следует, потому что во внутренней задаче Киреев вовсе не биограф Крыма, и пишет он отнюдь не портрет «края» и даже не «общечеловеческий сюжет» на фоне «конкретной земли» (как когда-то Павленко в «Счастье») — Киреев пишет портрет земли вообще, он выстраивает модель человеческого существования. Ни в «крымском», ни в «послевоенном», ни в «бытописательском», ни в «публицистическом» прицеле эта проза, строго говоря, не уместится. Тут другой прицел. Какой? Вот это мы и попытаемся выяснить.

Но начнем с Маканина.

Междомье

Маканин лет на десять опередил ситуацию, в которой он стал понятен.

Поначалу, впрочем, казалось, что он опоздал. Его первый роман в 1966 году зачислили в «исповедальную прозу». В ту пору проза эта шла на убыль, признаки ее устоялись и даже отстоялись; маканинское жизнеописание молодого интеллектуала, острое, колкое и хрупкое, попало в след ранней прозы, улеглось в стандарт: исповедь молодого мечтателя, отсчитывающего свой путь, так сказать, от мировой гармонии будущего; назывался роман — «Прямая линия».

Конечно, пришел Маканин в эту прозу поздновато; он явился в третьем, что ли, эшелоне ее, «после битвы», или, простите мне легкий каламбур, после Битова, — когда основные критические баталии вокруг молодого героя-умника отгремели и споры о нем понемногу соскальзывали в психологические частности. Роман появился в «толстом» московском журнале и имел сочувствующую прессу. Наверное, не раз вспоминались Маканину и та журнальная публикация, и тот лестный резонанс в последующее десятилетие, когда повесть за повестью проваливались у него в какую-то зажурнальную, книжную вязкость и далее в безответность.

На целое десятилетие затянулась тeneвая, мертвая полоса, и когда в середине 70-х годов Маканин вынырнул из забвения, оказалось, что за пределами литературного процесса работают и другие интересные писатели, что целое направление выпало из внимания критики, что создалась немалая литература, которую почти не знают и которая укрепилась за пределами литературной периферии.

Как я уже сказал, Маканин врос в литературу помимо журналов. Статистика выразительная: выпустив за двадцать лет работы чертову дюжину книг, он за эти же двадцать лет «пробил» едва ли с полдюжины журнальных публикаций, да и то в последние годы, когда споры вокруг «Предтечи» сделали имя Маканина нечуждым сенсационности, а до того — год за годом — книга за книгой, а от журналов все отскакивает, от центральной литературной «драки» — отлетает и уходит куда-то... в туман.

Когда туман рассеялся, обнаружилось, что Маканин и не случаен, и не одинок. В критике появилось выражение «беспризорная проза», появился образ молодого страдающего автора, обидно недооцененного редакторами и рецензентами, появилась мысль, что это отвержение вопиюще несправедливо и что отвергнутому литературному поколению нужно срочно вернуть недоданное.

К рубежу 70—80-х поколение дождалось наконец своего критика. Это был Владимир Бондаренко; он понял, что подопечное явление надо окрестить. Он-то и назвал его: «поколение сорокалетних».

Бондаренко пробовал и другой термин — «московская школа», но это не пошло: москвичи не исчерпали списка. Сам Маканин, между прочим, с Урала. Критик продолжал нащупывать ускользающую суть: проза промежутка... поколение барака... поселка... коммуналки... Литература социальной равнодействующей, общей срединности, взаимосредненной массы...

Чуть отодвинувшись от этого влюбленного взглядывания, мы получаем — уже по одним заглавиям статей, которые писали о Макаanine другие, не столь солидарные с ним критики, — весь спектр неуловимости и непонимания: намеки или метафоры? (А. Ланщиков), соблазны бессюжетности (В. Кардин), игра на понижение (А. Казинцев), банальные истории (Н. Иванова), — и среди этих тактичных недоумений — А. Кондратович, как бы врезавший правду-матку: яности!

Ясности не было. Маканинские книжки, вкпе с книжками его собратьев по поколению, болтались на периферии привычной литературной схемы, в побочных кругах процесса, на обочине, как выражались наиболее строгие критики, рядом с жизнью, как они выражались (за общепотребительностью этих формул не сообщая имен их авторов). Так длилось лет десять, и в конце концов обнаружилось, что о Макаanine накоплено изрядное количество статей, что высказались о нем критики ярчайшие — Дедков и Камянов, Чупринин и Гусев, Соловьева и Роднянская, что Маканина, которого вроде бы не знали, куда втиснуть, давно уже можно произвести в чемпионы журнальных рубрик «Два мнения» и «С разных точек зрения».

Теперь нужно было объяснить уже не просто тексты Маканина, а сам феномен.

Возникла версия о создателе галереи типов.

Маканин — возделыватель новых пластов, открыватель новых тем. Чуткий социолог. Колумб «аварийного поселка». Исследователь барачных «углов». Коллекционер «ролей» и «характеров». Антрополог затрапезных монстров. Препаратор душ. Честный реалист, описывающий неведомую, незаметно обступившую нас реальность.

Так ли это?

Так, разумеется. Типология маканинских героев — свежа и нестандартна. Мебельщик-комбинатор, третьеразрядная поэтесса, инженер из отдела, где теснятся в одной комнате двадцать столов, захудалый журналист, барыга-мастер из телеателье... Не говоря уж о вершине маканинской пирамиды (или, лучше сказать, антипирамиды) — о типе знахаря-целителя эпохи ЭВМ, травника, ведьмака, полуграмотного пророка на фоне бесплатной медицины. Что угодно — но это не вариации чеховских и гоголевских «вечных» типов — это типы сегодняшние, новые, только что открытые, едва устоявшиеся в реальности.

Так что же, в самом деле, — «картотека психологических типов»?

Нет!

То есть типы, конечно, налицо. Но они — не самоцель, не сверхзадача у Маканина. Вы их не запоминаете. Вернее, вы в них не *это* запоминаете. От чтения Маканина остается не столько память о тех или иных типах, сколько ощущение некоего общего породившего их порядка или климата, цвет эпохи. Достаточно вслушаться в интонацию, когда в повествовании Маканина возникает какой-нибудь «бывалый и шумный командированный, знаток жизни и цен». Или пристает к вам обязательный «навязчивый сноб-интеллигент петербургского разлива». Психологической пластики нет; есть два-три штриха,

точные до эмблематичности. Смысл — не просто в существовании типа, смысл прежде всего в его ожидаемости, в его предсказанности, в его убийственной вычисленности наперед. Это и есть сверхзадача Маканина — горькое ощущение запрограммированности, гонка по размеченной трассе: то ли скепсис, то ли безнадега, то ли подкачка, то ли холодная констатация, впрочем, сочувственная... что-то неуловимое, но и неотступное. Так что четкость суховатого штрихового маканинского письма обманчива. Вы берете резвый разбег, а обнаруживаете себя в лабиринте. Вы бежите в полную силу, лихо сворачивая на обозначенных автором поворотах, а оказываетесь на собственных следах. Смысл лабиринта — не в пути, смысл — в невозможности вырваться.

Хорошо, берем начало нити.

Маканин — писатель поселка.

Он дает своей «малой родине» определение, броское до эмблематичности и проницательное до беспощадности: аварийный поселок. «Колумб барака», он чует глубинный психологический принцип этого пристанища. Он создает уникальный пейзаж: три заводских «жилдома», между которыми — под деревом — стол для общих чаепитий: население трех домов, словно бы наскоро выстроенных на пустыре, сходится на эти трапезы как на смотр и на исповедь. В домах — вроде бы полужизнь; полная жизнь — под открытым небом, за общим столом во дворе. Впрочем, двора нет — есть полупустырь. Это не традиционный деревенский дом «о пяти стенах» и не традиционный дом горожанина — комната-крепость. Это — «междомье»: образ жилья промежуточного, временного, призрачного... и вместе с тем фатально непреложного и реального для огромного количества людей.

Барак, детище первых пятилеток, жилье аврально-недолгое, рассчитанное на сезон-другой, по стечению исторических обстоятельств застряло в нашей жизни на два-три десятилетия, став колыбелью нескольких поколений. Психологические результаты этого сказываются теперь, когда поколения выросли и стали определять стиль жизни.

Характерно и то, что вышел Маканин из поселка уральского. Где-нибудь в Белоруссии или на западе России, где выжгла землю война, барак воспринимается как знак беды, как слом жизни — у Виктора Козько, скажем, или у Игоря Шкляревского, описавшего детдом как руины детства. Уральский поселок под пером Маканина возникает не как знак слома, а как знак жизненной непреложности, естественности. Его аварийность — привычна, обыденна, почти запрограммирована. Барак — жилье, сделавшееся единственным и незаменимым; это среда обитания, устоявшаяся на перекрестке, на перевальке; на великом перевальном пункте, который проходила Россия на пути из деревни в город в середине XX века. Маканин — физиолог этого эфемерного, неправдоподобного, фантастического и непреложного, перевального бытия.

Физиолог — не бытописатель. И тем более не живописец. Панорамы поселкового быта вы из Маканина не вынесете. Другое дело,

что наша проза (не только проза «сорокалетних», но вообще вся советская литература), в силу объективных и субъективных причин, вообще не дала впечатляющей картины барачного бытия. Может быть, потому и не дала, что воспринималось это бытие как временное, духовно-неокончательное. Но если есть все же картины жизни поселка и бараков, то вы запомните их скорее по Семину и по Астафьеву или даже по Рыбакову (химкомбинат в Сосняках — любопытная параллель химзаводу в «аварийном поселке»), но менее всего по Маканину, хотя именно Маканин впервые понял поселок как своеобразный «санпропускник» народа.

Может быть, потому и понял, что увидел в нем не казус и отход от нормы, а странный вариант естества, неслыханную дотоле нравственную норму, ставшую для людей точкой отсчета.

Здесь — грань, отделяющая Маканина и все его трезвомыслящее поколение от предшествующего поколения мечтателей. Собственно, от моего поколения. Мы отсчитывали от идеала, пусть гипотетического, пусть наивного, — мы успели стать мечтателями прежде, чем нас ударила война. Они — не успели. Для Евтушенко, который, конечно, считает себя поэтом «кочевой» России, барак — точка на пути, станция Зима — станция на дороге в светлое будущее, в вечное лето. Для Маканина барак — все: и родина, и «околица», и традиция, и страна детства, и место, куда, постарев, идут плакать о прошлом.

Он потому и не живописует поселковую жизнь, что не знает дистанции, необходимой для правильного перспективного живописания. Он именно физиолог, он знает эту жизнь по внутреннему закону, по ритму дыхания, по составу крови. Он не дает «картин», но два-три его штриха, на уровне эмблемы или знака, достаточны для того, чтобы почувствовать строй оттиснутой здесь души. За стеной стрекочет швейная машинка — сплошным, сквозным, успокаивающим жужжанием: все идет нормально. Таким же сплошным, сквозным, проходящим сквозь стены лейтмотивом несетя ругань. И тоже успокаивает: ругань, ссоры, даже драки — вовсе не знак неприязни или вражды — это знак жизнедеятельности, стабильности, знак равновесия, знак законности этой жизни.

Теснота. Скученность, многолюдье. Общий быт, жизнь на виду, безстенчивая открытость. Это тоже норма саморегуляции: знак честности и чистоты, знак душевной преданности всех всем. Жизнь барака — смесь солидарности и воинственности, стремления выбраться из этой кучи куда-то в иную жизнь (в иное многолюдье) и цепкой круговой взаимосвязи, поруки. Цепкость и беспочвенность вместе: существование держится в безвоздушном пространстве, теснотой держится, «прижатостью» к ситуации. Теснота спасительна, безындвидуальность надежна. «Ауры» душ смяты — идет кучная гонка, жизнь валом, скопом, «всем народом». Выбатывается невиданная способность к адаптации, умение, не удивившись, удержаться и прижиться в любой ситуации. Жизнь, в которой от тебя не зависит ничего, но выпасть (и перепасть) тебе может что угодно, надо только понимать закон ситуации, принимать его, использовать.

Обкатывается, выбатывается подобранный, находчивый, хладно-

кровный, крепкий человек. Никакого прекраснотушия. Есть поразительное место в повести Маканина «Голубое и красное», в одной из лучших его повестей (сквозь нейтральную белизну-желтизну слившегося спектра как бы просвечивают чистые цвета, когда-то в этом спектре смешавшиеся: «голубая» бабка — из «бывших», из допотопных, из беспомощных; «красная» бабка — из «настоящих», из трудовых, деревенских, крепких; между ними — глухая, яростная борьба за внука). Читатель, конечно, помнит эпизод, когда «красная» бабка, отлучась на несколько дней из дому (дело происходит в ее деревенском доме, где внук гостит вместе с «голубой» бабушкой), оставляет еду внуку, но не оставляет — своей сопернице. Время — послевоенное, скудное; начинается пытка голодом: из-за предельной гордости, из-за допотопно-дворянских амбиций бабка «голубая» отказывается взять без спросу у бабки «красной» хоть один кусок.

Внук — вот главное здесь действующее лицо, главная действующая сила. Вас охватывает ощущение нравственной глухоты и даже какой-то нарочитой тупости, когда этот парень счавкивает из рук «голубой» бабки приготовленную снедь, спокойно наблюдая, как та доходит с голодухи. И это — тот самый внук, который на всю жизнь унесет в памяти светлый образ «голубой» бабки и в конце концов воздаст ей должное!

Так что же это? Глухота и тупость, жестокость и жадность? Нет! Другое! Это — барачная хватка: не мной придумано, не мне менять, дают — бери, бьют — беги; таков порядок вещей, надо вписываться.

Я долго не мог найти для себя «формулу» этой психологии, этой поселковой, барачной адаптации — мне помогла кстати подернувшаяся газетная статья. В подмосковном поселке произошло следующее. Мальчик отправился за покупками в универсам и там не заплатил за сырок. Возможно, забыл. Его задержали, отправили в милицию. В детской комнате сделали парню соответствующее внушение и, сообщив в школу, отпустили. Парень пришел домой и повесился. Инспектор детской комнаты — женщина, потрясенная таким финалом, — сказала корреспонденту: «Сразу видно было: не наш мальчик. Не поселковый. Наши, поселковые, — те ко всему привычные».

Может быть, это и есть то последнее определение, которое объясняет душу маленького Ключарева, внука двух враждующих бабок и сына не столько своих родителей, сколько барачной тесной общины, когда он, Ключарев, вырвавшись из цепкого круга и преодолев посильное число ступеней на социальной лестнице, становится излюбленным героем Маканина: заурядным, средним, среднестатистическим инженером.

Что же это за тип? Серединный. Это человек обстановки. Это заводная ежесекундная активность в сочетании с глубинным непробиваемым фатализмом. При всей энергии бесперебойно функционирующий маканинский герой все время чувствует, что его удачи или неудачи зависят не от его действий, а от меняющейся общей ситуации, которую он не контролирует. Успехи обрушиваются на него

так же непонятно, как беды. Не без смеха, но и не без тайной надежды он связывает эти вещи по магической, пародийно-дикарской логике: ему, Ключареву, везет потому, что не везет его соседу, Алимушкину.

Ирония улавливается так или иначе во всех маканинских текстах, тонко уравновешенная с лиричностью. Баланс подвижный и даже рискованный: Маканин не обвиняет и не защищает своего героя, он видит «адскую смесь» — механическое напряжение единицы, втянутой в жизненную гонку, и боль личности, в этой единице раздавленной.

Ключевые образы-эмблемы продиктованы Маканину этой драмой. *Отдушина*. Мгновенный «передых» в гонке. Помните сюжет? Захудалая поэтесса, которая так же заморочена профессиональной предсказуемостью своих вдохновений, как заморочен своим «престижем» преподаватель математики, выбившийся «на уровень вуза». Не говоря уж о загнанном сорокалетнем мебельщике, выполняющем «заказы потребителей». Любовь, поселившаяся в этом треугольнике, — отдушина. Для каждого из троих. Не более чем пауза в гонке. Вздохнуть и нестись дальше. Как в колесе. Почвы нет — есть бесконечно меняющаяся ситуация.

Впрочем, какая-то потаенная тоска улавливается: прыгнуть выше, уйти вверх, насколько удастся. Мебельщик «уступает» математику поэтессе в обмен на то, что тот готовит его детей к университету. Образование — ступенька вверх, способ вырваться: из этой связки, из этой круговой поруки, из этого «общего коридора». Человек барака так или иначе проступает у Маканина в любой социальной роли: усредненный, беспочвенный человек, живущий как бы в невесомости. Привычный.

Писатель, правда, непривычный.

Пока маканинская проза прорастала на ничейной полосе между городом и деревней, критики лениво поругивали-похваливали автора, видимо, полагая, что он еще не успел присоединиться к тому или иному традиционному стану. Но как только стало ясно, что он не намерен присоединяться, что междомье не казус, а тема, окончательная его линия и принцип, Маканин получил первый настоящий критический удар, причем от одного из лучших наших зоилов. Нанес этот удар Игорь Дедков — критик, мучительно озабоченный именно опорой личности, прочностью почвы, критик, соединяющий любовь к Трифонову и к Абрамову, то есть к той или этой определенности, к той или этой опоре.

В маканинской прозе Дедкова уязвило главное, что он безошибочно там учуял: межопорность. То, что далека эта проза и от трифоновских интеллигентных заветов, и от абрамовских деревенских хроник. Дедков заметил: это не жизнь, это — актерство. Он сдул туман и обнаружил пустоту. Он сказал: зачем называть разврат уклончивым словом «отдушина»? Зачем избирать в герои модного мебельщика, боготворимого студентами преподавателя и преуспевающую поэтессу! Ты, мол, попробуй сделай Алевтину мойщицей посуды, Стрепетова — грузчиком, а Михайлова — человеком без определенных занятий,

суть-то и проступит из-под стыдливого грима. А так — пустота, прикрытая многозначительностью.

Хочу для начала поймать И. Дедкова на произвольной подмене. Критик, не доверяющий срединности, невесомости, он незаметно для себя сдвигает героев «Отдушины» вверх по социально-престижной шкале, сочиняя им в противовес не менее определенные фигуры низа. Грузчик против бонтонного «дизайнера» — это понятно. А у Маканина непонятно: ни то ни се... Так ведь в этом-то и вопрос! Люди стыка, люди воздуха, люди ситуации. Это — их реальность, а снаружи может быть что угодно, любой старый ярлык, хоть люмпена, хоть сына кухаркина. Во внутренней драме маканинских героев мало что переменилось бы, опиши он посудомойку и такелажника. Было бы то же самое: изнурительная гонка, престижная тяжба. Были бы задыхающиеся в невесомости, цепляющиеся друг за друга люди. Не верх, не низ. Середина.

Маканин находит точный образ этой невесомой цепкости. *Человек свиты*. Человек тертый, мятый, опытный, занимающий какое-то там «надцатое» место в «команде» начальника, отрабатывающий это место, набирающий и теряющий очки на невесомой шкале престижа. Фантом? И да, и нет! Потому что в ситуации массового общества само понятие фантома меняется. Еще неизвестно, замечает Маканин, что нужнее отлаженному механизму: надежные функционеры или дерганные гении. Потеря баллов, незаметное сползание по лестнице отношений, потеря места в свите — все эти условности оборачиваются для маканинского срединного человека реальной, всамделишной, безусловной драмой, да нет — гибелью! «Мы говорим не о пустяках, мы говорим о жизни...»

И. Дедков припечатывает: это не жизнь, это холуйство. И бессмысленное какое-то холуйство-то! Хоть бы из корысти человек бился, за материальные блага боролся, а то пустяки отстаивает — «место в свите». Пустое место, воздух! Говорить не о чем!

Не о чем? Это как подойти. Маканин увидел и драму, и проблему там, где до него видели только вакуум межумочности и туман промежуточности. Да, из-за пустого вроде бы места в этой новой реальности идет борьба, но борьба-то идет реальная. Пустым местом, оказывается, можно кормиться, можно жить, оно наполняется бытийной тяжестью — место в гигантской структуре, возведенной человеком в пустоте, вдали от «пекашинских» завалинок и столичных книгохранилищ, там, где сходится небо с холмами, — в междомье.

Маканин видит то, чего не видят другие: внутреннюю логику этой новой реальности. Он чувствует ее воздействие на человека. Человек слабый безропотно отдается потоку. Человек сильный может вывернуться со своей силой в какой-то чудовищный парадокс. На месте первопроходца может оказаться прохожий, хуже того — проходимец. Надо отдать должное мужеству Маканина: здесь он бросает вызов одному из любимых героев нашей литературы: он переосмысливает образ крепкого таежника, прокладывающего пути в девственную глушь. И в этом, «кряжевом» варианте Маканин видит все то же: отрыв от корня и почвы. Возникает бегун, пожиратель природы, вка-

львающий подонки, за спиной которого дымится развороченная, кровоточащая земля. Маканин и ему дает хлесткое, «прилипающее» имя: *гражданин убегающий*, — несколько портя, впрочем, отлично задуманный рассказ фельетонными фигурами сыновей, преследующих вышеубегающего гражданина со слишком узкой целью: сорвать с него денег.

И. Дедков, не пропускающий ни одной маканинской публикации, приходит в негодование:

— Да вы с точки зрения сына представьте себе ситуацию! С точки зрения брошенного существа! Понравится тогда вам математическая безучастность Маканина, методично пополняющего свою картотку типов?

Вот опять: от разных печек танцуем. Да в том-то и дело, что в маканинском художественном мире такой образ сироты невозможен! Здесь немислим брошенный бедный ребенок, зывающий к милосердию и пробуждающий праведный гнев! Эти брошенные мальчики очень быстро включаются у Маканина в общую гонку и пусть не так фельетонно (в лучших рассказах), но принимают-таки общий закон: крутящаяся карусель втягивает всех — именно это ощущение вызывает к жизни прозу Маканина. Праведный гнев тут мало что даст: перед нами реальность, для которой еще нет традиционных чувств и определений.

Маканин-то, вдуматься, и сам, при всей своей снайперской меткости, дает этой реальности определения как бы отталкивающиеся. Через заглавия его рассказов проходит жест отшатывания. Вслушайтесь еще раз: «Отдушина», «Гражданин убегающий», «Антилидер».

Антилидер — может быть, самый емкий из этих символов отрицательной активности. И безусловно — это одно из самых удачных созданий Маканина в смысле стиля и верности взятой манере. Какая точная пропорция успокоительной фактуры и катастрофической атмосферы! Штрихи знакомой, обыденной, надоедно-обкатанной реальности — а между ними бездна. Примелькавшийся сантехник, дядя из ЖЭКа, Толик Куренков, пьющий пиво у палатки, — и ощущение плающего в нем, гибельного, запредельного огня: бесовство, одержимость, надрыв и вызов. Маканин не показывает, как его убили, — он передает его обреченность. Важен не сюжет, важны даже не характеры («картотека типов!»): какой именно из задетых Куренковым противников его добьет — верзила ли уголовник, или сытый машиновладелец, или еще какой-нибудь неведомый, фигуры не имеющий мститель, чья ненависть ударит из мглы, из толщи жизни, из ситуации. Куренков будет убит, потому что он заденет «кого-нибудь». Задира, бунтарь, нарывала, он будет уничтожен «статистически», по закону, который он нарушает. По инерции Маканин говорит: рок, судьба, фатум, но эти слова — около истины. Истина страшнее: Куренкова губит не фатум, вне его находящийся, а его собственный принцип, его жизненная идея, живущий в нем «закон».

В нем живет непрерывная уязвленность.

Болезненная обидчивость этого маленького человека, его бешеное самолюбие, его взрывная неуравновешенность заставляют вспомнить,

конечно, героев Шукшина — и тотчас ощутить необратимую разницу! Недаром же, отбивая черту от Шукшина (а заодно и от Достоевского), Маканин подсказывает куренковской жене многозначительную реплику:

— Он у меня не какой-нибудь чудака, с идиотом я и жить бы не стала...

Так вот разница: то, что у Шукшина — чудачество и блажь, безумие и казус, то у Маканина — норма. Норма, исходящая не из нравственной сверхидеи, что проходит сквозь этот жуткий мир в беззащитной обнаженности «идиотизма» (если уж и Достоевского поминать), — нет, это норма, поднимающая с самого дна безликости, это безумие, ставшее обыденной, среднестатистической «равнодействующей»: ненависть ко всему, что хоть на волос выдается из ряда, поднимается над безличием, высовывается из общего «как все». Куренков ненавидит всякого, кто хоть как-то выделяется, будь то сорящий деньгами малый с «Жигулями» или слишком орущий правдоискатель в автобусной давке, слишком болтливый собутыльник или слишком здоровый сокамерник. Куренков — «антилидер», он подравниватель, он — яростное, до абсурда дошедшее исповедание усредненности, срединности. При всей эмблематической выделанности этой блистательно просчитанной Маканиным модели поведения мы чувствуем, как она реальна, и мы знаем, из какой невыдуманной барачной мглы вынесен этот опыт, этот почти биологический импульс, этот императив: не высовываться!

А как же «Предтеча» — причудливое цветение непредсказуемой инициативности, гимн неуправляемому таланту, странное порождение маканинского пера, единственная повесть, где скрытая энергия материалистически выверенного письма выплескивается в откровенную, полную перехлестов и явного вызова литературную сенсацию?

Знахарь, дикий травник, сомнамбулический экстрасенс, целитель, втирающий «энергию» в ладони пациентов, косноязычный пророк совести, то есть интуиции, то есть закона, по которому рак насыляется на нас природой «за нашу гонку» и прочие против природы грехи, — фантастическое и трогательное сочетание чистоты и тьмы, самобытной одаренности и младенческой веры в магию (и в науку как в магию).

Маканинский «знахарь» — порождение все той же срединной, усредненной среднестатистической массы, которая стоит перед сознанием Маканина вечной загадкой.

Именно так, причудливый, непредсказуемо одаренный, неменяемый и неуправляемый маканинский «знахарь» — парафраз и коррелят маканинского же самосмиряющегося, «безындивидуального» межумья и междомья.

Он отшельник, но — одержимый жгучим социальным чувством, идеей человеческого устройства.

Он чудака и безумец, но — повернутый к здравомыслию и верящий, что в этой жизни можно и нужно навести порядок.

Он уникал, человек упрямый и неконтактный, но, в сущности, здесь обернуты на безумную идею главные качества маканинского

серединного героя: его двуличие, его терпение, его готовность ко всему.

Да так ли уж безумны якушкинские идеи? Идея математически неотвратимого воздаяния: болезнь — за грехи, выздоровление — за покаяние. Идея разносторонности добра и зла. Идея некоей заданной в природе суммы психозэнергии, которую можно сберечь, сэкономить и перераспределить по справедливости...

Изумительное самообладание пророка — вовсе не отрицание хаоса, в котором всех «несет»; его смирение — вовсе не отмена всеобщей болезненной гордыни; его склонность к тайне и к сокровенности — вовсе не опровержение всеобщего «базара» и склонности бежать кучей. Якушкин — не отрицание мира «промежуточных» людей, — он — его «выкрут», его зеркальное, нет, зазеркальное отражение, его преломление в фокус, попытка его преображения.

Это попытка уравновесить, залечить серединный мир, восполнить его до цельности. Крайностью — на крайность! Средний врач — тусклый исполнитель инструкции, передаточная шестеренка бесплатной медицины, а Якушкин — светоч, единица, шутка природы. На многих ли больных хватит его непосредственной энергии? На тех, до кого физически дотянутся руки... Угаснет дар — и ничего не останется от его дела: ни приемов, ни принципов — одни легенды. Что же делать с его истиной миллионам страждущих в «хаосе» большого города? Как им помочь? Нужна миллионам помощь поточная, нужна методика простая и ясная, «чтобы коновал мог», нужна армия исполнительных медиков: лекари середины, врачеватели типовых недугов. Продвигай идеи Якушкина в эту миллионную армию — адаптируются идеи, и выйдет из них та же тиражированная элементарность. Стало быть, не случаен контраст: армии «безындивидуальных», бесплатных исполнителей, действующих по прописям в миллионном потоке, нужен в противовес именно чудак, гений, уникал.

А ему — эта армия в качестве фона и тыла для отступления?

Якушкин — такое же порождение маканинского мира, как усредненные функционеры, ревностно инспектируемые «антилидерами». Это причудливый цветок, но это цветок, распустившийся в том же климате. Да, перед нами сильный художественный контраст: воспаленный пророк — и ледяная пустота квартирков, в которых притихли разбежавшиеся люди. Но это та же проблема. Проблема духовного восполнения человека, смятого в среднестатистическом бытии, пытающегося удержаться в невесомости.

Открыл ли Маканин тип этого серединного человека в нашей литературе?

Нет.

Вряд ли этот жизненный тип вообще нужно было открывать: он замечен давно, и черты его вразброс зафиксированы Бог знает когда. Задача была в другом: осознать этот психологический тип — как ключевой.

Сделал это — Шукшин. Шукшин первым понял масштабность представшего ему «промежуточного» явления, всю далеко идущую характерность этого нового, межукладного человека. Шукшин изоб-

разил его с яростью и отчаянием. Его собственное отчаяние рождалось из отчаяния его героя, отпавшего от деревенских скреп и не припавшего к городским. Шукшин не имел ничего общего с «исповедальной прозой» послевоенных городских мечтателей, но он не изменил общей установки этого поколения, успевшего поверить в реальность цельную и неповрежденную: Шукшин увидел в промежуточном человеке прежде всего распавшуюся цельность. Он понял его как испорченного человека почвы, он окликнул своего героя, бродягу и чудика, с деревенского берега. Поэтому он раскрыл в этом характере драму потери, раскрыл — катастрофу.

Маканин раскрыл в промежуточном человеке — новую норму. Он увидел его изнутри. Он не застал других систем отсчета.

В сущности, все его поколение — послешукшинское, послетрифоновское, не поспевшее ни к войне, ни тем более к предвоенному «счастливому детству», — получило новую смешавшуюся реальность как единственно возможную. Они застали сдвинувшиеся с мест массы людей, бивачный быт первопроходцев и новоселов, и все это стало исходной формой бытия, порогом единственного дома: в барачном ли веселом, злом стеснении или в хаотичном разбросе «совмещенных» квартирных клеточек — перемешавшийся мир стал для них органичным и был принят как непреложный.

Главное же — не в том даже, что они вгляделись в этот срединный мир и попробовали найти в нем опору для своей художественной энергии. Главное — в том, что, вглядевшись, они опоры не увидели, а опершись, почувствовали — пустоту, провал.

Это — суть того, что судьба дала им понять в нашей жизни. Есть «низы», есть «верхи», но нет «середины». Середину — размывает, из середины все бегут: карабкаются вверх, к «властям», сползают вниз, в «люмпенство». Отсутствие средних классов — исторический рок России. Нет ядра в центре — все крутится, все встает с ног на голову. Баранка с дыркой. Союз «верхов» и «низов» против середины, то есть против пустого места, с которого, как с проклятого, бегут все. Перевороты революций — от этой пустоты в середине. Принцип: до основания, а затем... а затем — опять до основания? Так бывает только при отсутствии настоящего основания. Чужого не жалко, а своего нет; верхний может во мгновение ока стать нижним, нижний может выдвинуться в верхние...

А середина? Там ведь тоже что-то имеется, что-то копится. Копится там — зависть. Бездна, ненависть. Зависть — при взгляде «вверх», бездна — при взгляде «вниз», ненависть — при взгляде на «свое место». Ненависть к месту, к земле, к «мещанству», самое название которого — клеймо.

Тряхнет гласностью — выйдет все на поверхность: злоба, агрессия. И потому, пока можно, лежит система в спячке, затаенно, боясь двинуться. «Застой». Середина — замершая, боящаяся сама себя.

Владимир Маканин ввел зонд в самую глубь этой срединной, незакрепленной, замершей души.

Руслан Киреев подошел к ней иначе, он попытался объять ее «ширь»: выстроить панораму ее жизни.

Бессудебье

Честно сказать, меня привлекает в Кирееве уже само это стремление — выстроить «микровселенную». Уже сама его вера, что это в наше время возможно. Многотомные эпопеи писались давно — в 30-е, 40-е, 50-е — в подражание Толстому, Шолохову. В 60-е литература от «эпопей» отпрянула к «фактам», к логике «конкретной проблемы». К повести, рассказу, этюду. К «фрагментарии». К эссеистике интеллектуальной, к эссеистике лирической, к эссеистике как принципу.

Собственно, Киреев по ближайшей задаче вполне укладывается в этот принцип. Его рассказы, повести и короткие романы из «светопольского быта» высвечивают этот быт фрагментарно, иногда почти пуантилистски. Но переключка героев, бродящих из повести в повесть, дает ощутить во фрагментарии некий новый горизонт. Это требует объяснения. Близких аналогий нет. Дальние? Бальзак? Слишком далеко. Фолкнер? Тоже далеко, хотя я и пытался осмыслить Светополь как вариант Йокнапатофы в наших палестинах. Американисты до сих пор посмеиваются над этим определением.

Тем не менее микровселенная Киреевым на крымской матрице выстроена. Это не Крым, разумеется. Так что это?

Ступенька к ступеньке, стенка к стенке, улица к улице — город. Огромное население, причем не масса, а именно отдельные люди, но — множество. Знают друг друга, помнят, состоят в родстве, в свойстве, дружестве. Модель «народа», но не мистическое целое, а именно это вот движущееся множество, коловращение человекoв. Типология тяготеет опять-таки к «середине», не к «краям». Не выше местного университета, но и не ниже местного пивного павильона, с подробными заходами в бильярдную, на голубятню и на рынок. Если говорить о профессиональном составе, то перед нами, наверное, та самая полуосуществившаяся среднероссийская демократия, о которой применительно к Чехову говорил в «Жизни и судьбе» Гроссман. Средние люди. В этом-то смысле Киреев и сопрягается с Чеховым по-настоящему, а не в пластике (у Киреева скорее рисунок, чем акварель, хотя чеховский пуантилизм есть) и не в музыке фразы (тут другая музыка, хотя переключки бывают). Впрочем, после того, как Киреев в 1988 году опубликовал в «Звезде» повесть «Путешествие к Таганрогу», а затем в «Правде» статью «От своего имени», — его верность Чехову засвидетельствована документально. И объяснена недвусмысленно: Пушкин — далеко, а Чехов — близко, Пушкин — высоко, а Чехов — рядом. Среди нас. Такой, как все мы. Кто «все»?

Диспетчер таксопарка, пляжный фотограф, репортер местной газеты, бухгалтер, гладильщик, мясник, кастелянша, курьерша, кондукторша, кассирша, библиотекарьша, провинциальный артист, провинциальный художник, директор трикотажной фабрики, адвокат (это я уже иду по верхней кромке), но и шалава из шалмана, и шлюха из подворотни, и местный юродивый (нижняя кромка), и ветфельдшер, падший до скотника, и рыночный попрошайка...

И вот что интересно: при всем социальном и профессиональном разбросе, вычерченном весьма точными штрихами, Киреев типологией и профессиональными делами своих героев занят очень мало. То есть он и этого касается, конечно, но не это главный стержень, вокруг которого собраны у него люди. Он может внедриться и в производственный вопрос (например, когда дядя Паша Сомов требует у директора таксопарка отчета, почему новые машины дают новичкам, а не ветеранам), но это не более чем эпизод, к тому же несколько спорный (я уже как-то писал об этом), суть же киреевского интереса к человеку коренится не в социально-типологической его «прописке», а в чем-то другом. В чем? В общей причастности этого человека к кругу жизни Светополя.

Вот этот «круг жизни» и есть внутренний посыл киреевской прозы, почва его многолюдья. Дядя Митя — грузчик, его жилистые руки упоминаются как-то попутно, «само собой», а вот магазинный обруч, оставленный в кепке, которую дядя Митя так с картонкой внутри и носит, рассмотрен куда подробнее: из этого картонного обруча Киреев извлекает нечто куда более важное, чем профессия героя, — тот запах жизни, вкус ее, неповторимый аромат, ускользающий, живой цвет.

Живут люди, мыкаются, мучаются, сходятся, расходятся, но есть подо всем этим какая-то сила, которая их сводит или разводит, и все их расчеты — ничто перед этой силой, силой вещей, силой жизни.

Киреев не любит людей удачливых, победоносных: их победоносность в сущности профанирована, и рано или поздно жизнь им это докажет. Сюетится, дергается какой-нибудь активист, корячится на брусках, мускулы полирует. Он уверен: либо ты свой талант прячешь, либо ты его предьявляешь, то есть либо ты изгнанник, либо избранник. Но Киреев-то знает другое: все это тщета; его герой наверняка не избранник, но и в изгнанники не хочет, а сидит тихо и хранит-лелеет свою странность, свою душевность, свою заветность, не очень, впрочем, зная, к чему ее приспособить.

Кто из них «прав», спрашивать бессмысленно: «прав» может оказаться и первый — тот карьерист, который корячится на брусках. То есть это мне, читателю (критику), важно, «прав» или «не прав» Станислав Рябов, а Руслану Кирееву важно нечто другое.

И точно так же важно не то, хороша или дурна девочка Рая, таскающаяся с мальчиками на чердак, и не в том, хороша или плоха вульгарная толстуха, в которую превратилась эта девочка много лет спустя, — смысл в том, что Киреев все время совмещает девочку и толстуху, переживая и их контраст, и их таинственное единство.

Таинственное единство жизни — вот сердцевина киреевского многофигурного мира. Это не «галерея типов», это именно «общая жизнь»... как, впрочем, и у Маканина, при всей четкости его «социальной картотеки» и при всей эмблематичности врезаемых им в наше сознание «типов» вроде «гражданина убегающего» или «антилидера». Эти писатели — не типологи по основной задаче, они не аналитики в основе своей; типологи и аналитики они лишь в частных эпизо-

дах, при решении конкретных задач, а по глубинной задаче они, конечно, «философы» жизни, в свете чего и видно наконец, что внесло в нашу духовную реальность безымянное поколение «безвременья»...

Да, но ведь и среди их предшественников сильнеешие писатели стремились к тому же! И у Шукшина сквозь пестроту ситуаций и типов чувствуется шукшинская жизнь. И у Трифонова чувствуется: та жизнь, другая жизнь...

Так. Но ведь не удержали же! «Жизнь» не дала им удержать это ощущение. Растащила, разволокла в разные стороны: одного — в защитники уязвленного крестьянства, другого — в защитники уязвленной интеллигенции.

А «сорокалетние»? Поставьте вопрос так: Киреев, Маканин — писатели какого «слоя»? «Деревенщики»? Нет. Но и не оппоненты «деревенщиков». «Интеллектуалы»? Нет. Но и не оппоненты «интеллектуалов». Не та логика. Не деревня и не город.

А что? Серединка?

Да. «Серединка» жизни — вот то место, вокруг которого они ходят. Сердцевина жизни — вот то, чего они ищут. Тот самый центр, который вроде бы заполнен, забит, затоптан людьми... И ведь именно затоптан: прохожими, бегущими, пробегающими. В центре жизни — полость, вакуум, проходной двор. Вот почему не «производственная деятельность» героев важна этим писателям, а «что-то другое»: именно то, что делает «производственную деятельность» героев эфемерной подробностью в их сомнамбулическом дрейфе по жизни.

Ну хорошо, у Маканина это, положим, видно: у него в центре — «человек из барака», сезонник, гражданин «убегающий». А Киреев? Разве он не строит, разве не возводит стен, не соединяет лестницами уровни жилья, разве то, что он созидает, — не дом? Комнатка к комнатке, улица к улице, из Светополя в Витту, из Витты в Алмазово, из Алмазова в Гульгай...

Кочевье. Переезды, переселения. Вечное ожидание, вечная готовность сняться с места. Стены — из ракушечника: звукопроницаемы, призрачны. Лестницы скользки и опасны. Крыши сооружены из чего попало: куски резины и клеенки, прижатые ведрами и тазами, — все хлябает, гремит, дребезжит — до первого хорошего шквала. Жилье временное, жильцы временные: не живут, а как будто снимают жилье. Уборная во дворе, надо стоять в очереди. Укрома нет, интим немислим, независимость эфемерна, могут войти, вломиться, ворваться с радостью либо с бедой, могут украсть, могут увести отца, могут все... Страх безотцовщины, готовность к сиротству — лейтмотив Руслана Киреева. Даже и в грезях, от «маленьких домиков» родного Светополя отлетая, — отлетает в скитанье, в ситуацию той же неприкаянности, правда, она выведена в возвышенно-классический, «ненашенский» круг, в романо-германский: к Шамиссо, к немцам, к французам... но и в классическом элизиме автор «Питера Флемия» у Киреева скитается, он вечный странник, немец среди французов и француз среди немцев...

Ну а когда от «романцев и германцев» возвращаешься в родимые палестины? Тут «Трофимовна и Гусиха», у одной зуба нет, у другой —

глаза, но языки у обеих на месте. Гомеры завалинки! Философы двора. Двор сильнее дома! Двор живет и бурлит, а дом заваливается.

«Внешне дом не изменился: те же серые стены, те же сбитые ступеньки, ведущие в сводчатый подвал, где некогда обитала наша живность...» Нет, это не дом. Это — пристанище. Место проживания.

В последних повестях Киреева возникает мотив песка, медленно засыпающего город: «Песчаная акация», «Пир в одиночку»... Критики, уловив, подхватывают мотив, придавая ему оттенок экологического катастрофизма, — вполне в духе начавшихся 90-х годов. Но Киреев не стремится быть на уровне «текущих дискуссий», у него песчаный фронт, надвинувшийся на шеренгу бетонных коробок, — вовсе не знак «времени», не отклик на поветрия «эпохи гласности». Тут все идет из глубины, и в самом нашествии бетонных башен, вытеснивших «маленькие домики моего детства», — не меньше катастрофизма, чем в песчаных ветрах, освиствяющих башни. Она, катастрофа, заложена в самих этих домиках... Впрочем, не «катастрофа», конечно, тут я несколько форсирую тон, прочитывая киреевские тексты из нервической ситуации эпохи буксующей Перестройки. А Киреев рожден эпохой «застоя», ее безвременьем. Нужно очень точно понять его тональность. Бездомье — не крушение дома, а тихое оскудение: привычное, приватное, даже прелестное. Это какая-то удивительная смесь счастья и тревоги, спокойствия и беспокойства, жilyа и миража.

Что прежде всего характерно для художественной реальности Руслана Киреева, что составляет воздух его мира, магию его повествования?

Ритм повторов.

Ветеринар, опустившийся до скотника, время от времени, хлопая в ладоши, поет песенку об умирающем лебеде. В повторе этой детали нет приращения информации и не слишком много вариантности, обогащающей образ, но в повторе есть нечто более важное для Киреева — иллюзия стабильности. Мы ждем повтора, рефрена, возврата, в нем сконцентрирована надежда на возобновляемость бытия. Бытие хрупко и неверно, оно напоминает себе, что оно есть, мы все время ждем нового подтверждения, и оно каждый раз является: в песенке ли об умирающем лебеде или в том, как Рая Шептунова преодолевает ступени на чердак, где потеряет невинность, или в том, как бабушки садятся пить чай. В сущности, мы все это уже знаем: и как Рая дойдет, и как бабушки будут пить чай — мы не это, то есть не сам факт воспринимаем в каждом новом такте киреевской музыки, мы переживаем ожидание такта, ожидание факта... Тут сложный контрапункт доверия к реальности и недоверия к ней: Киреев словно ощупывает ее, каждый раз убеждаясь, что она есть. Ритм повторов — ритм опознания.

Еще характерная черта его прозы — короткая резкость приступа. Вас сдергивают с места без раскочки, сразу в клинч, во внутренний монолог, в «нутро бытия». Врасплох. Без объяснений. Мотивировок нет — мгновенные снимки действий. Но этот конспект действий дан

изнутри сознания как бы давно знакомого человека, который не должен вам ничего объяснять: он просто действует, как считает нужным.

Каждый действует по-своему, и каждый прав по-своему. Так создается в прозе Киреева своеобразный калейдоскоп реальности с перемешиванием элементов, хаотичность которых при поворотах «трубки» тонко сопрягается с четким ритмом и весьма рациональным перемещением самой «трубки»: это непрерывное взаимодействие хаотичности и рациональности, вернее, это непрестанное опровержение хаоса жизни мелочами, расчетом людей и непрестанное же опровержение их расчетов хаотичностью «макромира», равнодушно стирающего их планы.

Проза Киреева похожа на кружево с регулярным «встречным» узором. Писатель старательно вычерчивает отрицательный контур из положительных штрихов. Или положительный — из отрицательных. Пример первого — «победитель» Рябов. Пример второго — дядя Паша Сомов. Я воспользуюсь сейчас одним из приемов Киреева: выводя свой узор к очередному повтору-рефрену, он иногда вплетает в повествование как бы воспоминание о прошлом повествовании. Так, например, в повести «И тут мы расстаемся с ними...» сжато изложен сюжет повести «Посещение», и это избавляет меня от необходимости извлекать из нее квинтэссенцию, как я ее понимаю: я прямо возьму то, что извлек из нее Киреев, то есть то, что он сам и заложил в нее: «Дядя Паша... пил, курил, приударял за женщинами и лихо удрал из больницы, чтобы сыграть партию в бильярд или выпить с приятелями кружку пива в известном всему Светополю «Ветерке»...» Чувствуете?

Втянут дядя Паша в действия «отрицательные», вплоть до смертного финала, когда он поглаживает по круглому задку медсестру, делающую ему укол, — несомненно, в таких действиях он, дядя Паша, как раз и предстает человеком совершенно замечательным... я бы сказал «положительным», — если бы это определение (как и «отрицательный») изначально не било в прозе Киреева мимо адреса. Проза его как раз и ориентирована на ту жизнь, которая течет, гнездится и реализуется п о м и м о определений и доктрин, наискосок им, где-то в полостях, лакунах, где-то в «мертвых зонах» доктрин, вопреки ожиданиям.

Собственно, вся музыка повторов, рефренов и возвратов у Киреева есть не что иное, как игра с «ожидаемостью», все время искусно провоцируемой и все время искусно нарушаемой. Вы заранее знаете, что дядя Паша умрет, вы все время ждете его смерти... а он не умирает. Нет, он умирает все-таки — в последнее мгновение повести, где-то даже за обрывом последней фразы... именно в то мгновение, когда вы допускаете: вдруг не умрет? То есть жизнь реализуется не так, как вы ждете, а так, как надо ей, жизни; если же она реализуется именно так, как вы ждете, то ваше ожидание (ваше «доктринерское» ожидание) все равно посрамлено, потому что вы ждали «подтверждения», а жизнь как бы прошла сквозь него, не обернувшись.

Киреев — мастер «предсказуемых» положений, которые он опро-

вергает, либо... подтверждает — в зависимости от сверхзадачи. А сверхзадача? Жизнь «как таковая», стоящая вне предсказаний, ожиданий и предсказаний, вне догадок и доктрин.

Иногда кажется, что Киреев пишет без грунта, или, скажем так, ткет без основы, вышивает без канвы — в «воздухе». Ритм жизни сам себя держит. В этом текучем безвременье-бездомье возникает некий механизм жизнеудержания, для Киреева невероятно важный: р и т у а л.

«Моя бабушка считалась знатоком чая. Даже в самые трудные времена она заваривала его столько раз, сколько садилась пить чай. Или чай пить. Разница была колоссальной. Мне так и не удалось до конца уяснить, в чем собственно заключалась она, но, если не ошибаюсь, «пить чай»... — означало пить от жажды, когда пить хочется, и потому с чем — роли не играло, а вот «чай пить» приятно со вкусными вещами. Иными словами, лакомиться».

Образец киреевской прозы: непреложность от обратного («мне так и не удалось выяснить»... «если не ошибаюсь...»), кружево, висящее в воздухе, реализуемая тень, таинство ожидаемости, необыкновенность обыкновенности.

Вообще эта повесть о старушках — лучшая, как я думаю, писательская работа Киреева. По виртуозности пластического рисунка. По точности выхода на сверхзадачу. По органичности тона. Четыре старых человека путешествуют из Светополя в Калинов и обратно: две бабушки плюс еще дедушка, не считая Александры Петровны, соседки. Немножко Джерома, немножко Доде, немножко того же Чехова... И смешно, и трогательно, и грустно, и в конце концов, оглядываясь на это героическое путешествие, сотканное из мелких недоразумений, не понимаешь, что же так поразило и потрясло тебя, а ведь поразило и потрясло!

Шарм предсказуемости. Задумано — сделано. Задумали ветхие светопольские старушки совершить путешествие на далекую свою родину, в среднерусский городок Калинов, — и совершили. Ничто не помешало: ни отсутствие билетов, ни светопреставление, ни непредвиденные житейские мелочи, ни непредвиденные исторические катастрофы. Поехали-таки! И доехали. И даже в купе поезда, как и планировалось, пили чай... простите, чай пили.

Шарм непредсказуемости. Рассчитывали, по давней памяти, в Москве остановиться в гостинице «Савой» — вместо «Савоя» пришлось переночевать в какой-то дыре около ВДНХ, — ничего, переночевали, даже спасибо сказали.

Шарм старомодного достоинства, не замечающего под ногами, что почва давно не та, и даже, так сказать, почвы давно нет... Ничего. Достоинство держится и без опоры, как бы само из себя, и совершенно неважно, чем оно прикроет себя на этот раз: скромным ли, строгим воротничком Валентины Потаповны или кокетливой матерчатой розой на допотопном вечернем платье Вероники Потаповны, или картонным кругом, заправленным в кепку Дмитрия Филипповича, или его же моднящим провинциальным беретом. И совершенно неважно, что эти старички, прослезившиеся на Красной пло-

щади при звуке курантов, кажутся смешными, наивными; их жизнь — это их жизнь, это — реальность, которая (как позднее прокомментировал Руслан Киреев), «хотим мы этого или нет, такова», и «разве могла быть иной?» При той жизни, которая им досталась, — нет. Значит, она достойна уважения. Грустно и хорошо от этой мысли, больно и светло. Болью и светом веет от прощального паломничества светополевских горожан к истокам, и только в самое последнее мгновение повести, когда «мы расстаемся с ними», — вдруг падает какая-то тень... Городок Калинов, из которого вышли когда-то две девочки, неузнаваемо заброшен; деревенька, до которой они с таким трудом добрались, вообще исчезла. И от этого ощущения пустоты и бесцельности возникает в сознании старушек смертельная мысль о том, что жизнь прожита как-то «не так»: и у Валентины Потаповны, с ее когдатощными женсоветами и культпросветами, и у Вероники Потаповны, со всеми ее розочками и даже «вальдшнепами на вертеле», съеденными в ресторане гостиницы «Савой» в 1932 году. В сложном взаимодействии ожидаемости и неожиданности, на котором строит Руслан Киреев узор своей лучшей повести, обнаруживается какой-то потайной глобальный вопрос, которого вы не ожидали: да, все произошло так, как должно, но все это... выдуманно. Оно должно было бы состояться, это путешествие стариков, оно — реальность, оно дороже всяких доктрин и принципов, и потому его пришлось выдумать.

Общий урок, который выносят из жизни писатели, созданные «безвременьем»: жизнь есть, но ее нет. Ее можно «пощупать»: клеточка к клеточке, ступенька к ступеньке, — но это — мираж. Бесплотность, не отбрасывающая тени. Посередине жизни, в том центральном месте, где предполагается ее средоточие, ее корень, ее базис и исток, — пустое место, мнимость, выдумка, провал. Нет пункта, вокруг которого можно было бы собрать бытие. Все сыплется.

Вспомним еще раз: перед нами поколение, обретшее себя в застойный миг истории, в межвременье, в безвременье.

Я бы сказал еще так: в междоктринье. Люди, родившиеся между 30-ми и 40-ми, что они получили в качестве исторического опыта? Торжество непримиримости над соглашательством? Торжество «революционных демократов» над «либералами» в XIX веке? Заметьте: именно и прежде всего над либералами, потому что ненависть к мягкотелым интеллигентам была в этом пакете идей куда актуальнее, чем ненависть к охранителям или реакционерам, каковая как бы подразумевалась сама собой. Но как могли «дети застоя», получившие все это в виде закостенелой догмы, воспринять ее? Только с глубочайшим скепсисом. Они, в отличие от старших братьев-романтиков, успевших поверить в коммунизм, не успели ни во что поверить, и им, в отличие от старших братьев-романтиков, не пришлось корчить себе душу в эпоху XX съезда партии. Им не надо было мучиться, распознавая в современных консерваторах наследников того самого радикализма столетней давности, который когда-то лег в основу доктрины: они вообще не успели в доктрину поверить. Противостояние «либералов» и «консерваторов» в эпоху хрущевской

оттепели должно было только подтвердить в их глазах то, что жизнь профанируется л ю б о й доктриной — и правой, и левой. Слишком явственно было банкротство, и слишком схож был язык у разного толка идеологов, веривших, что жизнь можно объять, исчерпать и наполнить некоей угаданной Великой Идеей. Достаточно оказалось «застойного» двадцатилетия, в которое им довелось обрести себя, чтобы выработать иммунитет против л ю б о й доктрины. В эпоху гласности, когда перегруппировавшиеся вероучители начали сталкиваться под новыми лозунгами, когда на знаменах радикалов появились либеральные лозунги, на знаменах вчерашних атеистов — распятия, а на знаменах бывших интернациональных ортодоксов — лозунги сугубо национальные, — в эту эпоху «сыны застоя» вошли с трезвым пониманием того, что все лозунги, призывы, зоны, великие идеи и неуступаемые принципы скорее перейдут в собственную противоположность, чем оставят в покое жизнь как таковую. Скорее обанкротятся, чем ее признают — как таковую.

В этом контексте понятна та философия жизни, которую предложило нам поколение, не удостоившееся имени, — «сорокалетние», ставшие «пятидесятилетними». Их и впрямь трудновато определить; их мироконцепция как раз и исходит из того, что жизнь — неопределима. Жизнь дороже и мудрее идей, принципов, целей и смыслов. Такая, как есть: другой не надо. Вот эта, ускользящая, убегающая, утекающая, не оставляющая тени. Разглаживающаяся бесследно, как малый водоворотец в омуте тихой русской реки: едва закрутилось — и уже нету... только-только полюбилось — и уже надо расставаться. Прелесть и глубь, свет и грусть существования как такового — вот что предложили нам ф и л о с о ф ы ж и з н и. При всей внешней «кротости» этой программы, при всей кажущейся «недемонстративности» ее — она, в сущности, бросает весьма дерзкий вызов тем доктринам, от которых отказывается, она весьма демонстративна в настоящей литературной ситуации.

И литературная ситуация устами критики, не колеблясь, отвечает Кирееву и его героям:

— В вас нет ощущения к р о в и — только временные вывихи души. В вас нет знания г и б е л и — только тихая естественная смерть. В вас нет чувства долга: должности, ответственности, даже чисто профессиональной определенности — только соседство жителей. В вас нет понятия н а ц и и — лишь временные землячества. В вас нет сопричастности н а р о д у — только сознание «человека вообще», человека «как такового», представителя «рода человеческого»...

Я цитирую статью Марины Новиковой, несомненно ярчайшую на сегодняшний день из всего, что написано в критике о Кирееве, — статья эта памятна по публикации в «Новом мире», а затем доработана для отдельного издания киреевской трилогии. Так вот что там по поводу этой трилогии говорится:

«По прозе «сорокалетних» бродит амбивалентный герой. Эдакий умеренно, непоследовательно, в ы н у ж д е н н о плохой человек. Вернее, человек попеременный. В одном кармане у него крошечный

Мефистофель, в другом — еще меньший архангел Гавриил... (Пожалуй, по ходу вrastания церкви в истеблишмент эпохи Перестройки Марина Новикова могла бы поменять местами атрибуты: Мефистофель теперь поменее Гавриила. — Л. А.). Он думает: если он плохой, то и все плохие, все виноваты, все х на суд... то есть никого. Трюизм эпохи застоя. Заветная мечта киреевских героев — слиться. Бытом заслоняются от бытия: от неготовности к Бытию. О, глухомань духовная, о, провинция. Ни корней, ни почвы — песок! Что положит такой человек на последнюю чашу весов, чем подытожит свою жизнь? Ни чувства истории у него, ни желания осмыслить реальность под углом зрения таких больших, древних, как мир, великих понятий, как жизнь, смерть, бессмертие. Без них, вне их — «мышья беготня»: жизнь, в которой н е т с у д ь б ы...»

Тяжкая длань. Ни с одним определением не спорю: все так. Но до чего же быстро поднимается над жизнью «как таковой» кнут идеи! Или древко знамени. Или перст судьбы... Учужал ли Киреев давление этих новых ожиданий, когда обронил в своей последней повести то странное, «диковатое», «несуществующее» (в координатах М. Новиковой) словцо: «бессудебье»? А может, всем ходом этой жизни, накоплением скрытой тревоги вывело его к этому слову, которым он поставил под вопрос всю свою микроконцепцию — свою и своего поколения?

Что же ждет такую микроконцепцию в будущем?

Если вновь поднимет себя Россия к великим задачам, если хватит у нее сил и отчаянности поставить судьбу свою на кон больших, всемирных задач (неважно, бичами каких слов поднимет она себя на этот раз: «мировой справедливостью» или «Божиим промыслом», «научным предвиденьем» или «расцветом демократии», «национальным возрождением» или «единством во что бы то ни стало»), то вся попытка «сорокалетних» защитить «жизнь как таковую» останется в памяти литературы как незначачая передышка, как никчемная пауза, как миг переведенного дыхания.

Если же от сознания того, что обманом, насилием и банкротством оборачиваются все доктрины, суждено нам лечь в долгий спасительный дрейф сохранения жизни, как ложились и иные народы, десятками мирных поколений храня и восстанавливая существование после «исторической вспышки», — если суждена эта пауза, эта ниша истории, где потребуется «просто жить», не оправдываясь ежемгновенно перед заветами, принципами, учениями и другими «большими вещами», тогда иной смысл обретут и книги нынешних философов жизни. Тогда, можно сказать, они предлагают нам не что иное, как ф о р м у л у с п а с е н и я.

А применим ли мы эту формулу и вообще чем обернется, какой судьбой ляжет нам это бессудебье, — не берусь предсказывать. Мы — непредсказуемы.

Омут

80-е годы смотрятся в 60-е, как в зеркало. Так, в свою очередь, 60-е искали для себя «чистый образ» в революционных 20-х, революционные 20-е любили перекликаться с эпохой Дантона и Робеспьера, а те мыслили себя в категориях республиканской античности и т. д. Но я становлюсь на край этого водоворота не затем, чтобы оценить глубину — закрутит, втянет, не выберешься; я вслушиваюсь только в последний переклик — в переклик 80-х и 60-х через застойное бездвижье.

Расхожая схема такова: шестидесятники-де были оттерты и зажаты, но «оказались» правы и вот теперь возглавляют перестройку 80-х.

От восьмидесятников логично ждать благодарности, признания заслуг, подхвата идей. Логично ждать, что племя младое, незнакомое, влившееся в ряды постаревших либералов оттепельного образца, приметя вместе с ними добывать мамонтов и мастодонтов эпохи «культы», держиморд эпохи застоя, вообще реакционеров и консерваторов «всех времен и народов».

Мы по инерции думаем, что главная линия фронта по-прежнему пролегает между «нами» — идеалистами, мечтателями, романтиками и «ими» — твердокаменными запретителями. Ну разве что к бюрократической стене прислонят твердокаменные теперь еще и хоругвь, и мы получим блок «сталинистов» и «шовинистов» под стягами «монолитного единства». А против них — мы, разбуженные ветром XX съезда, мы, воспитанные на Блоке и Маяковском, на Ремарке и Хемингуэе, мы — романтики, ненавидящие мещанство, и с нами — молодая поросль, нами же и выращенная, нами призванная, от нас получившая плацдарм и оружие...

Так ничего же подобного! Вместо этой предполагавшейся диспозиции к концу 80-х годов выявляется нечто совершенно неожиданное и для нас близкое к убийственности.

Впрочем, это можно было предвидеть.

Молодые наши последователи не хотят бороться с нашими общими противниками — с мастодонтами «культы» и иудушками «застоя», они их в упор не видят.

Молодые смотрят — на нас — с презрением и жалостью. Мы для них — вовсе не провозвестники нового, не разведчики грядущего, не первопроходцы плюрализма. Мы вообще — не «первые» в их глазах, мы — «последние».

«Последние романтики» — озаглавливает статью в журнале «Искусство кино» (1989, № 5) молодой блистательный критик Александр Тимофеевский.

Поле, в котором они нас видят, заряжено отрицательно. Поле заминировано ложью.

Они нам говорят:

— Вы положили жизнь на то, чтобы сохранить лицо в бесчеловечных условиях. Вы научились жить под прессом деспотии. А нам все это неинтересно. Нам ваш опыт не понадобится.

Не понадобится? Дай-то бог... Хотя обидно, конечно, за наш

опыт. Мы действительно жизнь положили на то, чтобы научиться сохранять лицо в безличии.

Они нам и говорят:

— Вы выстрадали социализм с человеческим лицом. А нам он не нужен. Ни с человеческим, ни с каким другим лицом. И капитализм не нужен. Мы вообще обойдемся без этих допотопных определений: в современном обществе они ничего не обозначают.

Возможно. Только мы не можем прожить жизнь заново.

А они нам говорят, нанося удар в самую точку:

— Вы фантазеры и утописты, вы всю жизнь боролись с «обывательщиной», с так называемым мещанским бытом, с плюшевыми скатертями, с тюлевыми занавесками, с ни в чем не повинной геранью. Ради чего вы унижали и уничтожали это? К чему вы пришли? С чем остались? Чему у вас учиться?

Я моделирую этот аргумент по одному из самых ярких эпизодов критической борьбы рубежа 80—90-х годов — по полемике вокруг наследства шестидесятников в журнале «Искусство кино». Я понимаю, что это всего лишь эпизод, модель. Но эпизод символический и модель замечательная — по арсеналу доводов и составу эмоций.

Станислав Рассадин отвечает Александру Тимофеевскому:

— Смеюсь, читая! Потому что в самом деле смешно. Потому что похоже. Я действительно воевал, ну если не с геранью, так с «Ландышами». Теперь не воюю...

Присоединяюсь к Рассадину в этом признании. За исключением эмоций. Мне не смешно. Мне горько. Не оттого, что молодые бросают нам упрек, — этот упрек правилен и слава богу, что у молодых хватает мужества, переступив чувство почтения, бросить нам его. Мне горько оттого, в какой ловушке мы оказались. Мы все — наше поколение, последние романтики. Мы разве выдумали эту «антимещанскую» систему воззрений? Мы ее получили от отцов, мы ее из самых честных рук получили. Из рук великих поэтов, ненавидевших быт, застой, обывательскую бездвижность. И первый трубадур наш, Роберт Рождественский, именно с атаки на мещан начал свой штурм «старья» — именно на эту стену полез по «маяковской лесенке». Бунт против «сталинизма» мы начинали с ударов по «обывательщине». Тогда, на рубеже 50—60-х все это «сталинизмом» еще не называлось. Это именно называлось «обывательщина». Единственный пункт, в котором можно было, совмещаясь с официальной точкой зрения (обывательщина шла в официальном синодике по отрицательному списку), подрывать эту же официальщину.

Абсурд? Нет. Мы чувствовали, что хотя система и анафемствует по адресу «обывательщины», но всею тяжестью своей она именно на обывателе покоится. Только тут был какой-то хитрый поворот слова. И дела. «Обыватель» как нечто пассивное был для системы плох. Но «обыватель», мобилизованный в активность, был для нее уже как бы хорош. При активизации он должен был незаметно обронить имя «обывателя» и стать «гражданином». Каким — «нашим» или «ихним» — это было темно. Почему он должен был так преобразиться — тоже темно. Волевой скачок. Харизма! Мешали

этому — «герани», «ландыши» и «фикусы». Мы воевали на этом ботаническом фронте. Система опиралась на то самое, что могло бы ее сдвинуть. Мы сидели внутри системы. Изнутри были видны цветочки. Ягодки были впереди.

Но ведь внутрь системы оказалась вобрана вся жизнь, без остатка. И вся история! И разве подхваченная большевиками ненависть к мещанину и обывателю одною только интеллигентцией нового времени была выношена в России? Она ж в толщу народа уходит, она опирается на вековой, тысячелетний инстинкт «общины» и «мира», враждебных «выскочке» и «отщепенцу». Недаром же слово «хозяин» от веку окрашено у нас неприязнью и одним только суффиксом переводится в ненавистый ряд: «хозяйчик». И недаром же слово «кулак» еще до «сплошной коллективизации» обернулось эмблемой мироедства, так что первоначальное значение его — оптовый торговец на селе — даже и из словарей выветрилось.

Не стояло ничего прочно на нашей земле, не крепилось, не ограничивалось. А уж если крепилось, то с дикой яростью, насильственно, и крепостничество это было именно спасением от гулевого ветра. Простор — вот что в основе. На земле простор, в душе простор. Ни границ, ни пределов. Нищему легче прокормиться, ничтожному легче спастись на миру, на ветру, чем имущему собрать и удержать собранное — ведь растащат! По ветру пустят! По миру!

Емеля на печи святее работника — все ожидается «по щучьему веленью». Иван-дурак удачливее старших братьев, умников, — те вкалывают да копят, а этот авосем жив — и спасен! Главная же радость — гулянье. «Гулял по Уралу Чапаев-герой» — не обмолвка. Гулял-таки, как гуляли до него богатыри, как гуляет по сей день народ на Руси. Праздник — от праздности. Праздник — общее гулянье, «всем миром», — единенье душ, сокрушенье ранжиров и границ. Отгородился — чужак!

Кто же «отгородился»? Горожанин? Город — вот это чужое место. Место огороженное. Бург. В этом месте — мещанин. В этом бурге — буржуй. Подозрителен человек оседлый, огородившийся, окруживший себя чертой. Который «просто живет». Как это он «просто живет», как это он «для себя» живет? — надо жить не просто так, не для себя, а для чего-то... Для чего — это уж само решится: для Бога, для революции, для царя и отечества, для мирового коммунизма, для счастья человечества. Но не для себя.

Да разве ж какие-нибудь шестидесятники, «последние романтики», послушники веры, на атеистической матрице которой были воспроизведены вечные ценности мировых религий: вселенность, верность, бескорыстие, — разве ж могли мы повернуть этот вековой пласт, шатнуть эту безгрань, когда в самой жизни российской ни один корешок отдельно не держался, а только в общей дребри!

И никакой «западный опыт» не годился нам в помощь. Более того, с Запада-то и получили мы оформление антимещанских взглядов в систему, которую мы заново наполнили русским разгулом. Или слеп был Герцен, заразившись в Европе этой ненавистью к обывательщине, — она ж западными интеллектуалами и вынашива-

лась. По всему миру шло поветрие. И Маркс не сослепу же сделал ставку на пролетария, на неимущего, — этой идеей была вся цивилизация беременна, и еще не брезжил на Западе тот запредельный постиндустриальный переворот, который вывел общественный строй из гибельной аритмии кризисов; две мировые войны понадобились, чтобы это преобразование совершилось; ни один мыслитель до того не решился бы это точно предсказать, именно: что тот самый «средний класс», в вязкой упругости которого вечно гасли все импульсы справа и слева, — что именно этот класс пронесет сквозь дикий XX век неслыханное слово «консенсус», которое и мы теперь подхватываем с обычной торопливостью опоздавших учеников.

Уж мы-то, россияне, дети пространств, ненавистники границ, «бургов», «местечек», мы, граждане мира, последние романтики, — мы знаем, через что переступаем. Но надо. Надо трезветь. Надо реабилитировать герани и ландыши.

С гитарой, слава Богу, само получилось: Окуджава помог, и двинулось поколение последних романтиков к светлой мечте уже не под гайдаровскую барабанную россыпь, а под самый что ни на есть мещанский перебор. Ничего, получилось. На очереди канарейка. И фикусы с геранями. В чем тут подвох? Канарейку надо кормить. Регулярно. Цветы — поливать. Ежедневно. С немецкой аккуратностью. И без русского размаха.

Что с Русью станет на этом пути, с русским характером, с русской темой в мировой духовной драме?

Не знаю. Выхода нет. Надо меняться.

И пусть последние шестидесятники ложатся гатью под ноги первым восьмидесятникам, чтобы можно было перейти болото 70-х, бездонь застоя, стоячий морок самообмана.

Вернусь к своему предмету. Думает ли над этим наша литература?

Думает. Где корень зла? Где то утраченное звено, из-за которого мы упустили цепь? Где тот «человек без тени», который определил исход драмы: не тот, кто ставил мнимые цели и уточнял ложные задачи, а тот, кто все это делал, исполнял, соглашался? Где тот миллионный «средний человек», который мог бы и должен был бы устоять в середине — и не устоял? И пошел вразнос, в крайности...

А вот он: товарищ Полуболотов. «Полу...» — ни то ни се. Ни плоти, ни тени — одно исполнение приказов. Дьявольщина в повседневном варианте. Преставление миров. Под пение соловья в колдовском декоре питерской белой ночи вохровец-вертухай-расстрельщик рассказывает о том, как вот под это пение в благословенные прошлые годы он тут «брал», «сопровождал», «ликвидировал» — обыскивал, допрашивал, конвоировал, обеспечивал ликвидацию, докладывал об исполнении. Даже не в контексте дело — соловьиного пения и того, как каркает этот деятель от «воронка», а в том, что соловьиное пение каким-то запредельным образом проникает в карканье, слетается, сливается с ним. Уже все вам ясно, уже контраст сработал, и следить дальше не за чем, — однако мотает и мотает вам душу этой

своей «чисто-грязной» мелодией, арабеской безумия и расчета, ноюще-карающим дуэтом. Ночная песня — ноктюрн — «Ночной дозор» — узор превращений и подмен. Узор запертой клетки. И не улетишь, и дышать нечем.

«Ночной дозор» — повесть Михаила Кураева, окончательно утвердившая его к концу 80-х годов в числе самых читаемых авторов «эпохи гласности». Почему же я беру его в разговор о «сорокалетних»? Ведь он — не из тех, кто незаметно «втек» в литературу в застойные 70-е годы, он — из тех, кто дерзко и ярко ворвался в нее в громогласные 80-е. Так! Но, во-первых, по времени вхождения в жизнь (не в литературу — в жизнь) Кураев — именно из «сорокалетних»: родился перед самой войной, войны не запомнил, зато запомнил послевоенную нищету, а более того — тщету реформ, сползающих в «застой», тщету «застоя». Во-вторых, то, что в 70-е годы он «не пробился» в печать, не значит, что не писал, не пробовал. Сидя в «тихой заводи» киностудийного редактора, оставался в курсе новейших литературных дел. Был, например, редактором сценария Василия Аксенова на «Ленфильме». Но дело не в этом. Дело в существе участия: в том, что именно пишет о реальности Михаил Кураев. Дело — в узоре превращений и подмен. В «смешивающейся» фактуре. В смешении качеств и целей. В подмене имени — главной теме Кураева. Речь идет о реальности, теряющей темп, цель, смысл и имя. Хотя пишет Кураев — не об «эпохе застоя». Но он ею создан и ей отвечает.

Уже в «Капитане Дикштейне» все это нащупано и разработано — в первой повести Кураева, десять лет пролежавшей в столе (а может, десять лет писавшейся?) и в 1987 году со страниц «Нового мира» шагнувшей сразу в первый ряд русской словесности. И тоже морок, и тоже дьявольское смешение узоров; один — близкий, прямо у глаз, мелкий, бытовой: хождение гатчинского пенсионера Игоря Ивановича Дикштейна за три улицы в магазин; другой узор — далекий, где-то за пределами яви, хотя столь же филигранно-четкий; корабли Кронштадта, орудийные погреба, заряды, полузаряды, лотки, пояски, ролики, дьявольская пристальность к мелочам и дьявольская же «неразличимость» целого. И тоже лобуешься — читательски — тонкой, двойной арабеской и не понимаешь до поры до времени, как же тонколицый офицер из команды линкора «Севастополь» перейдет в состояние гатчинского пенсионера сорок с лишним лет спустя — пока простейшим сюжетным ударом Кураев не вышибает тебя из эйфории «эстетического чтения» в простой читательский шок — так вдруг проваливаешься из сна в явь и трезвеешь от мгновенной догадки: о, как все просто!

Просто. После подавления Кронштадтского мятежа в 1921 году Дикштейна расстреляли без суда и следствия — как офицера, захваченного с поличным, и какой-то кочегар взял себе его имя. Я не берусь взвешивать сейчас степень фактической вероятности такого сюжета; в конце концов, в революционную эпоху «все возможно». Кочегара в числе других пролетариев мятежного флота сразу к стенке не ставят, а предварительно выясняют личность. Ему нужно лю-

бым путем выпрыгнуть из ловушки, то есть из своей конкретной котельной, из своего трюма на мятежном линкоре. И поскольку капитана Дикштейна он издалека знает, а также знает, что того уже пустили в расход без суда и следствия, сиречь без бумаг, и, значит, претензии к нему у советской власти как бы нет, то вся разворачивающаяся подмена получает фактическое обоснование... но я о другом: сильнее обоснования — читательский шок.

Из сего и исхожу.

То, что кочегар на допросе назвался чужим именем, — вполне в духе той полной магических переименований эпохи, когда Гатчина становится Троцком, Сашка Смолянчиков перекрещивается в Фердинанда Лассалья, а Костя Ведерников записывается Кларацеткинским. Стал человек Игорем Ивановичем Дикштейном — что такого? Однако в общем контексте кураевской прозы переименование ставит всю четко прописанную картину как бы на край бездны. Вдруг понимаешь, что у кочегара раньше не было имени: Чубатый и Чубатый. Какая-то леденящая закономерность проступает в сцене, когда тройка следователей, небрежно поспрошав представшего ей арестанта, отпускает его, наскоро проштемпелевав имя и лицо.

Нет, не Савл с Павлом вспоминаются при этом, хотя эрудированный автор предусмотрительно подсказывает нам библейскую аналогию. И даже не Шарик булгаковский, становящийся гражданином Шариковым, — хотя мотив кровавой операции, хирургической пересадки звучит в кураевской философии. Нет, мне опять-таки Гроссман вспоминается: его страшная метафора — когда сталинская империя сдирает кожу с ленинской республики и натягивает на себя, похищает слова, перехватывает фразеологию, овладевает именем, крадет лицо. Гроссмановская метафора помогает понять глубинный смысл кураевских узоров, хотя ткань тут другая, у Гроссмана вообще никакого узорочья нет, там — толстовская истовость и серьезность, а Кураев — весь из Гоголя, с чертовщинкой, с ухмылкой: делает вид, что морочит голову, а сам — исповедуется. Тут весь секрет в дрожавшем просвете между повествователем и реальностью, в каком-нибудь одном лукавом словечке вроде «даже» или «в общем-то», или «отчасти» — когда возникает ощущение тайны и непредсказуемости, которую автор прячет за строем вещей, описанных с инвентарной дотошностью, с перечнями и описями. Но чем подробнее и пластичнее прописан «верх», тем потаеннее бездна, из которой являются и в которую уплывают картины «верха». Это не только Гоголь «Миргорода» и «Диканьки», «Тараса Бульбы» или «Мертвых душ» (хотя стилистически легче оживить именно этого Гоголя), скорее уж это «Портрет», «Записки сумасшедшего» (да еще и пропущенные через «Записки из подполья», как засекли критики, и через «Двойника»). **П е р е с а д к а л и ц а**, в которой откликнулось отделение «носа», — лишь внешний, сюжетно выставленный у Кураева стык миров, — в глубине превращение пострашнее.

Но о глубине как скажешь? «С Марсельезой Никифоровной мы сейчас знакомиться не будем, — улыбается Кураев. — О Марсельезе Никифоровне речь впереди...» Никакой речи и впереди не будет. А

будет — вот эта лукавая улыбка рассказчика, который делает вид, что у него все действующие лица дергаются на ниточках, но как бы страшится открыть нам и себе ту бездну, над которой они так послушно и даже весело дергаются. Когда-то В. Розанов передал впечатление от прихода Гоголя в странной метафоре: был Пушкин, была ночь, мороз, звезды, потом дьявол помешал палочкой, муть со дна поднялась — Гоголь.

Сверху резкая четкость, снизу муть — вариация Кураева.

Идет за пивом пунктуальнейший Игорь Иванович Дикштейн, гривеннички все пересчитаны, в очереди — порядок, в мыслях — тоже; снег, по которому он идет, — утопан... а все же ощущение такое, что идет он по зыбучему песку или по облаку, и создает это ощущение Кураев всем строем своего повествования, сплетением узоров, когда из-под асфальта гатчинской улицы проступают могилы моряков, расстрелянных весной 1921 года, а из-под них — могилы тех безвестных архангельских, вологодских, ярославских мужиков, которые проложили на качающемся болоте эти линии и квадраты, возвели эти каменные ансамбли, дворцы, мосты, обелиски, скверы, набережные, крепости, форты... Это мираж? Реальность?

— Да была ли история у Гатчины?

— Что хотел сказать затерявшийся в бездне времен тот первый человек... кто назвал озерцо почему-то Хотчино?!

— Возможно ли устроить на этой неверной земле гнездо прочное и основательное, в «немецком вкусе»?

«Немецкий мотив» питерской симфонии откликается у Кураева поразительным эпизодом, когда оккупанты, уходя, предупреждают, что сейчас будут поджигать, и предлагают жителям приготовиться тушить, а сами, для очистки совести перед великой Германией плеснув все-таки в угол керосином и ткнув для проформы факелом, не оглядываясь, уходят...

«Немецкий вариант»: хаос, организованный для проформы.

«Русский вариант» — организованный для проформы порядок.

«Колеблющаяся стихия Кронштадтского мятежа»... Вы слышите? Трагические события марта 1921 года: восстание флота, штурм мятежной крепости, делегаты X съезда партии, идущие с винтовками по льду, — все это описано у Кураева со скрупулезной дотошностью «читателя исторических журналов» и опять-таки с чисто гоголевской страстью к реестрам и регламентам, под которыми — гоголевское же! — качание стихии. Правые? Левые? Не имеет значения. Оказался офицер Дикштейн на корабле — и пошел в мятежники, а мог оказаться в береговой артиллерии. Оказался Чубатый в Кронштадте — попал в восставшие матросы, а окажись в Питере — и попал бы в штурмующие цепи. Волной смывает людей и в бунт, и в подавление бунта; все лозунги идут в котел, перемешиваясь, перевариваясь; матросы — вчера еще и «краса и гордость революции», «надежда свободы», сегодня уже — «клевшники», «жоржики», «иванморы», «обезоруженные», поставленные к стенке... но проходит час, и к стенке становятся герои штурма: Тухачевский, Путьна, Дыбенко, Рухимович, Бубнов, и сами имена их выскабливаются из

истории. Да есть ли имя у кого бы то ни было в этой карусели? Есть ли лицо? Как удержать лицо в безликом потоке сменяющих друг друга, сминающих друг друга масс?

Удержать лицо — значит быть готовым встать к стенке; вот коллизия повести «Капитан Дикштейн». Спасти шкуру — значит потерять лицо, Слиться, смыться, влиться. Весь путь Чубатому — в масовую лаву — с его-то происхождением, с его татуировками и с этой песенкой, вынесенной то ли из Сергиева Посада, где вырос, то ли из «третьей котельной», куда загнала служба: «Среди поля ржаного родился от рабыни тиранов-господ, много-много для сердца молодого уготовано было невзгод...»

Не те невзгоды выпали: нанесло на другой край. Назвался Дикштейном...

Один любопытный силуэт мельком проходит в «Капитане Дикштейне»: Гришка Бушуев, который во время оно «был опером и ходил на реквизиции», а ближе к войне, «став начальником тринадцатого отделения», выселил Игоря Ивановича Дикштейна из «прекрасной квартиры на Старопетергофском близ Обводного канала» и, «покончив с эксплуататором», вселился туда сам.

Воистину Игорь Иванович (переселившийся в заштатную Гатчину) мог бы и сам оказаться в роли Гришки Бушуева, включая, конечно, и «реквизиции» во время оно. Иначе повернула все «колеблющаяся стихия» истории. Но Гришка, безвестный и безотказный винтик карающей машины, засел в сознании Кураева.

В «Ночном дозоре» Кураев вытасил этого героя на авансцену. Под пение соловьев тов. Полуболотов поведal нам, как вел, как сдавал, как в засаде сидел, как акт составлял...

Итак, самый страшный, самый главный, самый последний вопрос: откуда же все-таки взялись миллионы исполнителей? Кто «отдавал приказы» — это мы, с помощью историков, кое-как выяснили после XX съезда. Еще поджожины съездов потребовалось, чтобы треть века спустя добраться до вершины пирамиды. После XXVII съезда мы одолели последнюю инстанцию: мы выяснили — виноват Сталин. Все, выше нету. И, соответственно, дальше некуда. Дальше — вопрос о тех, кому можно было отдавать приказы. Не только в смысле социально-психологическом. Шире. Можно со всей скрупулезностью проработать карту «укладов», можно до процента вычислить состав «ленинского призыва», каковой и лег в основу сталинской силовой структуры, — но почему эта структура одолела и подчинила огромную страну, какой подпочвенный слой выдержал и принял на себя ее тяжесть, какой высший смысл в том, что вся эта ситуация вообще осуществилась на Земле, — эти вопросы все-таки остаются.

Мы с ужасом созерцаем пирамиду, мы посылаем проклятья ее вершине, но думаем ли мы, на каком основании все это выстроилось? Где первоэлемент? Какая нравственная катастрофа вызвала на свет саму ситуацию, в которой гражданин Полуболотов получил возможность конвоировать других граждан? Откуда он взялся?

Михаил Кураев совершенно в духе социальной ангажированности

«сорокалетних» дает на этот вопрос ответ: гражданин Полуболотов из лавочников. С детства к крестьянскому обиходу сердце не лежало, а другого обихода не было. Кроме — «лакейского». Догадка существенная: не из неимущих составила армия, не из пролетариев, которым, кроме цепей, нечего терять. А из тех, близких к пролетариату по степени моральной униженности, коим, однако, было что терять. И кои успели попробовать вкус того, что теряли. Будь то деревенская чайная, плохонькая и тесная, или городская парикмахерская, «у Обводного канала», унаследуй ты ее от родителей или прихвати, женившись на наследнице владельца... бывшего владельца, которого мог бы повести, куда следует, Гришка Бушуев, а мог бы — и сам Чубатый... Но так вышло, что Чубатый на дочке бывшего женился. И водить бывших, куда следует, довелось вохровцу Полуболотову. Который «чуть» не унаследовал чайную.

Страшно и точно сказано: это все — несостоявшиеся лавочники. Те самые, которые могли бы составить средний класс общества, образовать центр его, стянуть края к середине. Не удержали. Не удержались. Ухнула в небытие, провалилась середина. Кронштадтский мятеж, может быть, и явился последней конвульсией обреченного «среднего крестьянства» (да антоновщина еще), а как утратилась перспектива, так и стали разбегаться бывшие «лавочники»: кто — в начальство и ведомство «военного коммунизма», в его меченосные органы (вверх, вверх), кто — в люмпен, в «пролетариат», вниз, и — в края, на границы бытия, в лагерные дали, оголяя ничейный оказанный центр жизни.

В опеченении стоит Кураев перед этой открывшейся бездной. И в «Дикштейне», и в «Ночном дозоре», если есть помимо дьявольского гоголевского узора некое взаимодействие с «последними вопросами» бытия, то — гоголевское же опеченение перед бездной. Чувство «застоя», опрокинутое в исток. Крах логики — выворот изначальных смыслов. Расчет секунд возможного побега конвоируемого — под пение соловьев. Арифметика шагов — при полном провале целей и ценностей. «Экономика должна быть экономной» — когда подменено все: и экономика, и долг, и бытие. И понятие о лице, и понятие об имени.

Все решается в точке, вокруг которой мир поворачивается: в подмене имени. Чубатый, спасая шкуру, берет имя капитана Дикштейна, но спасает не шкуру. Лицо, взятое напрокат, прорастает в душу. Это таинство — открытие Кураева: прорастание духа жертвы в «шкуру» потенциального палача. Я не знаю, можно ли это назвать просветлением. Это что-то другое — зараженность, что ли. Пунктуальность, дух которой убит в очкарике, гардемарине, инженере, — вдруг пробуждается, прорастает в чубатом кочегаре, которому не к чему приложить этот дух в его «валкой» жизни... И он всю жизнь несет в себе этот перекосяк. Он наводит порядок в очереди за пивом, старается помнить, в каком кармане какой куртки какая лежит авоська... а очередь орет, а карманы перепутаны, и жизнь прожита тускло, жалко, по-чужому.

И все-таки — это просвет. Надежда. Надежда обрести лицо.

Удержать лицо, подхваченное у другого, — жизнью расплатившись за подлог, ставший реальностью.

«Ах, Игорь Иванович... — бездна моя... мой омут!» — вздыхает Кураев, глядя вслед герою, бредущему с авоськами, — за секунду до того, как тот, пораженный инфарктом, упадет на снег, и сорок пять лет спустя после того, как так же, «уже мертвым», упал на снег тот Дикштейн — тихий инженер, отдавший лицо и имя этому омуту, этой бездне, из которой — все мы и в которой для нас — все.

Выйдем ли из бездны, спасемся ли из омута, обретем ли судьбу, вспомним ли имя? Найдем ли центр тяжести, точку опоры, земной дом бесплотному духу?

Или это проклятье неодолимое — оцепенение наше, страх перед собой, безнадежность «застоя», разряжающаяся истерикой бунта и грезой о несуществующем рае?

Сны на Православную Пасху

Однажды мне предложили в Риме симпровизировать перед телезрителями что-нибудь о Боге, о православной церкви, о нашем особом религиозном опыте. Приближалась Пасха, и режиссер телевидения желал подготовить к Светлому Празднику специальную передачу. Отказываться было неловко. В гостиницу, где я жил, уже привезли аппаратуру, наставили линзы, зажгли софиты, и вопрос был задан в прямой непринужденной форме, которая меня покорибила: как вы верите в Бога? как вы пришли к религии? что для вас православие? и т. д.

Я не религиозный писатель, не проповедник, не моралист, а кроме того — не привык исповедоваться по телевизору. «Кто верит — тот в сердце хранит», — сказала мне как-то одна староверка. Режиссер же хотел чего-нибудь интересного, занимательного для публики, всеобъемлюще-православного и в то же время интимного, личного. В подобных предметах всего ужаснее профанация, и у меня появилось ощущение, что как-то невольнo меня втягивают в нее — в экранизацию религии. А религиозная беседа на Пасху да и вообще разговор на эти темы налагают ответственность на человека, которую способен нести далеко не каждый. О Боге нельзя болтать. О Боге подобает молчать. И, наверное, о религии могут и должны говорить люди, которым Сам Господь велел это делать. А мне никто не велел.

И я начал, уходя от ответа, вспоминать о лагере, где мне посчастливилось встретить по-настоящему верующих людей. Там были православные, были так называемые сектанты со сроком заключения 10, 15 и даже иногда 25 лет. Среди них были истинные подвижники, почти святые, хотя не мне судить о святости. Естественно, они думали только о Боге, о вере, о Священном писании. Но говорили об этом сдержанно и скромно. И нередко с юмором — по отношению к себе, к своей участи христианина. Помню одного православного старика (из «тихоновцев», катакомбная церковь), который в общей сложности, с небольшими перерывами, провел в лагерях и тюрьмах 40 лет. Он начал сидеть за веру с 1919 года и радостно сообщал о себе: «Лично меня Господь миловал: ведь я этой советской власти почти и не видел!..»

А римскому режиссеру все хотелось узнать: как это бывает в России, когда Господь открывается людям... Я ему рассказал что-то вроде притчи. Возможно, это легенда, русский религиозный фольклор.

Но, говорят, это факт, и относится он, по-видимому, к началу 30-х годов, когда православных священников партиями увозили на Север. Представьте: состав поезда, и в товарный вагон грузят колонну священников. Много стариков, им трудно взобраться по отвесной лесенке. Но смотрит солдат охраны: в дверях вагона, в проеме, стоит Христос и помогает арестантам вскарабкаться. Каждого старика поддерживает за локоть... При виде Спасителя, которого сами священники и не различали, охранник бросил винтовку наземь, упал на колени, уверовал. Ехали мученики, ехали на верную смерть, и Господь им помогал...

— Но почему Христос явился этому солдату, а не священнику? — допытывался режиссер. Я не нашелся, что ответить. Пожал плечами. Вероятно, Господь Сам знает, кому и когда явиться...

А в качестве притчи этот эпизод говорит мне еще и о другом: допустимо ли рассуждать о вере по телевизору, если область эта интимная для каждого из нас, таинственная и священная? Если церковь за нашей спиной все еще кровоточит — Христом в дверях вагон-зака?..

Впрочем, возможно, в моем непонимании вопросов режиссера, в нежелании откровенно беседовать на религиозную тематику сказала моя историческая или персональная отсталость. Хоть и причисляю себя к православным христианам, но я ведь человек, прямо скажем, не церковный.

В последнее время в русской среде — в метрополии и в эмиграции — особое развитие получила доктрина Религиозного Ренессанса. Она страдает, на мой взгляд, самохвалством (а что может быть ужаснее христианского самохвалства?) и преувеличением успехов на собственно православной, национальной почве. А в соединении с авторитарными или теократическими чаяниями (церковь вместо государства), с отрицанием демократии и с действительно богатырским ростом Русского Национализма — несет угрозу в первую очередь самой же религиозной идее.

Недавно говорили: Россия «выстрадала» социализм. Теперь выясняется: она «выстрадала» Христа. Не надо обольщаться. Мы уже несколько раз подвергались «религиозному» обольщению. И в результате «Святая Русь» провалилась в такой (тоже «религиозный») атеизм, какой еще миру не снился. Не одни безбожники-коммунисты — по их почину (чего греха таить?) «самый благочестивый народ» громил церкви, ругался над святынями, расстреливал иконы из мелкокалиберных винтовок («учись стрелять по-ворошиловски!»), принимая эти доски, очевидно, за живых угодников. Еще недавно мы «соборно» поклонялись нетленному трупу Ленина в Мавзолее. Боготворили Сталина. И, проклиная «развратный Запад», лезли на мировой форум с идеей «Россия — родина слонов»... А нынче снова, оказывается, русский народ — богоносец, вооруженный самой передовой философией, и ждет не дождется Нравственной революции под мысленный малиновый звон сорока сороков...

А реально, в современной России, нет ни Ренессанса (даже религиозного), ни революции (даже нравственной). Просто нам пон-

равились с детства и запали в душу слова — «Ренессанс» и «революция». И мы — противоестественно, кощунственно — продолжаем соединять «религию» с «Ренессансом» (будучи противниками Ренессанса) и «революцию» с «нравственностью» (будучи противниками революции). Дался нам, видать, за неимением собственного, итальянский Ренессанс (Леонардо да Винчи! Микеланджело!)! Далась нам революция! Слова уж больно красивые и поэтично звучат...

Действительно же происходит в нынешней России (и то хорошо!) не возрождение, а некоторое оживление религиозного чувства и сознания. Выражается это поворотом части интеллигенции — молодой преимущественно и наиболее интеллектуальной — к забытым ценностям, к церкви, к религиозной философии. Воспитанные в атеизме, дети вдруг что-то уразумели во тьме и потянулись читать Библию, которую раньше не читали, посещать храмы, креститься, молиться, обдумывать и обсуждать эти странные планы и замыслы, за что советская власть (оцерковленное государство) осуждает и преследует новых еретиков. Как в Древнем Риме, молодое христианство в Советском Союзе — это еретичество. Оно связано с другими ересями: свобода мысли, права человека, поиски смысла жизни и своей индивидуальности... Это удивительный, но естественный процесс. Русская интеллигенция всегда жила сверхличными целями, «высшей идеей». Долгое время эту потребность в «высшем» питал «социализм». Теперь он выветрился, слава Богу, и, миллионными убийствами убив себя, сошел на нет как «вдохновляющая идея». Но свято место пусто не бывает. На смену пришли «духовные интересы» и среди них — религия.

Само «дисидентство» и «правозащитное движение» в России приняли образ не политической оппозиции, не борьбы с режимом, но — осмысления действительности и нравственного, духовного ей сопротивления (независимо, у атеистов это проявляется или у верующих). Здесь на первом месте — совесть (в соединении с ищущей мыслью). Правильно именуют нынешних политзаключенных в СССР «узниками совести».

Не побоюсь сказать: юные христиане сейчас стали умственной элитой страны. И это связано с корнями, с прошлым, с возможностями народа. И, видимо, не случайно в новой русской словесности с неожиданной силой зазвучала «религиозная боль».

И все же — не будем преувеличивать. Массы русского населения прозябают в своем «исконном», советском атеизме, а закончив семилетку, развиваются в ту же сторону, пораженные «научным открытием», что Бога — нет. Громадные пространства деревенской и провинциальной России «церковно обслуживают» лишь неграмотные старухи. А народная молодежь, разуверившись в идеях, ищет не Бога, а мотоцикл и телевизор. Пол-литру. Квартиру. В этом смысле «безбожная Европа» куда более традиционна и сохраняет бережнее христианское достоинство, нежели «патриархальная Русь»...

В этих условиях наши «ренессанты» утверждают, например, что «только православные могут считаться русскими». Ничего себе отбор: 80 % русского населения сюда не входят. По счастью, расизм

трудно привить России. Какой только крови не перемешано в русских. Но при отсутствии расового единства такое пытаются возместить — православием. И это опасно. Православная Теократия в условиях современной России — все равно что «социалистическая революция» в промышленно отсталой стране (с небольшой прослойкой «сознательного пролетариата»). Утопия, конечно, но осуществимая в принципе — в виде фашизма, которым уже переполнены ожесточенная страна и государственная советская власть, давным-давно променявшая Интернационал на Великодержавие. Недостает православия в качестве связующего, авторитарного звена.

Было: Государство мы превратили в Церковь (без Бога, с Лениным в Мавзолее и всемирным коммунизмом). Остается: Церковь — последнее упование — превратить в национальное Государство со всеми вытекающими естественными государственными обязанностями (промышленность, цензура, полиция, армия и т. д.). Мы к этому подошли — альтернатива: либо миру быть живу, либо России... И это самое ужасное. Антихрист. Маленький, русский, социалистический антихрист, с завидущими глазами, провозглашает Теократию. Православный Ренессанс...

Христианство, при всех непомерных требованиях к человеку, сохраняет понимание, что идеальное общество (по Евангелию) не построить человеческими силами. Более того, оно было бы греховно и противоречило бы религии, которая «не от мира». В этом смысле монастырь всегда служил границей между Богом и государством. Стереть границу и — крест над тюрьмой вместо красного флага. Говорят, тюрьма от этого смягчится. Что православный коммунизм, национализм, фашизм будут лучше и гуманнее тех, которые уже были без этого эпитета. Допустим, лучше. Но каково Кресту в этом сочетании?..

В начале века русский религиозный философ В. В. Розанов — противник либерализма, прогресса, революции, демократии, социал-демократии — писал в «Опавших листьях»:

«По-видимому (в историю? в планету?), влит определенный процент пошлости, который не подлежит умалению. Ну, — пройдет демократическая пошлость и настанет аристократическая. О, как она ужасна, еще ужаснее!! И пройдет позитивная пошлость, и настанет христианская. О, как она чудовищна!!! Это хромьенькие-то, это убогонькие-то, с глазами гиен...»

Жизнь нельзя связать с Евангелием. Жизнь всегда сопряжена с Евангелием. Живешь себе поживаешь и вдруг чувствуешь — сквозь кожу — тоску по тексту Евангелия, как по ткани, по клеткам, составляющим тебя, которых недостает, не хватает, как нехватка кислорода...

События священной истории — включая Каина с Авелем, изгнание из рая, потоп — удивительным образом соответствуют нашей микроскопической, ежечеловеческой жизни. Чуть ли не каждый день мы претерпеваем и это изгнание, и, случается, брак в Кане, и даже чудо прокормления тысячной толпы несколькими хлебами. И введение во Храм, и лобызание Иуды. В этом качестве Евангелие —

при всей его неотмирности, безгрешности, при всей безмерности смысла — как-то странно и органично ложится (органичнее прочих книг и сказаний) прямым отражением на общее наше и частное существование. Лишь упаси Боже при этом священнодействовать, обращая себя персонально в сюжет небесного Промысла. Но и мы, живя просто, словно переживаем наново, в уменьшенном и непривлекательном виде, и Рождество Христово, и Его заушение. Где-то в нашей действительности содержатся, должно быть, в скукоженном образе евангельские семена.

Не потому ли искусство — даже и Ренессанса, и позже, удаляясь от средних веков, — продолжало наполняться божественными сюжетами? Пускай искаженными, но и получаемыми отовсюду сообщениями о прохождении того же пути повседневным человеком. Ведь все это было, было с нами. И искушение в пустыне. И моление о чаше. Задатки (и отклонения) непрестанно прорастают сквозь замусоренную землю. Писание становится канвой и коррективом, где все предварено и заложено в чистом виде. Единственная книга. Единственный текст, лежащий в основание жизни. Точно не было ничего и нет, кроме священных текстов.

С преемственностью православной религии и христианской культуры мне довелось познакомиться опять-таки в Мордовии — там, где Священное писание находится под запретом и переписывается от руки. При каждом очередном обыске эти листочки изымают, а они снова появляются и расходятся по зоне... На закате, на рассвете (или пока не рассвело) за каменной баней, за длинной дощатой уборной стоят на коленях люди — лицом к запретке, к проволоке, к забору, к вольному полю. Пройдет надзиратель — разгонит, пригрозит. Но, смотришь, опять, за сортиром кто-то стоит и молится...

Вскоре после того, как меня привезли в лагерь, вечером, за час до отбоя, подошел ко мне человек и спросил осторожно, не хочу ли я послушать чтение Апокалипсиса. Он повел меня в кочегарку, где легче было укрыться от глаз доносчиков и начальства. Там, в полутемной, похожей на пещеру норе, уже собрались и жались по углам, на корточках, какие-то люди, и я подумал, что сейчас достанут книгу либо список из-под бушлата, но я ошибся. В красных отблесках печки встал человек и начал читать Апокалипсис — на память, наизусть, слово в слово. Когда он умолк, кочегар, который был здесь хозяином, пожилой мужик, сказал: «А теперь продолжай ты, Федор!» И встал Федор и читал на память следующие главы. Дальше был пропуск, потому что знавший продолжение ушел работать в ночную смену. «Ну, он отдельно прочтет, в другой раз», — сказал кочегар и вызвал Петра. И тут я понял, что все основные тексты Священного писания распределены между этими эсками, простыми мужиками, сидевшими в лагере по 10, 15, 20 лет. Они знали наизусть эти тексты и, встречаясь тайком, время от времени повторяли, чтобы не забыть.

Вся эта странная сцена напомнила мне тогда роман американского фантаста Рея Брэдбери — «451° по Фаренгейту». 451° — температура, при которой горит бумага. А в романе Брэдбери избра-

жается будущее «идеальное» государство, где все нормализовано и поэтому запрещены книги и бумага, запрещено читать и писать. Книги, когда их находят при обыске, и лица, владевшие книгами, предаются огню. Но в конце романа рассказывается, что где-то за чертою города, в пещерах, по ночам все еще собираются люди, и один говорит: «Я — Шекспир», а другой: «Я — Данте» или что-нибудь в этом роде. И это означает, что один что-то помнит наизусть и читает из Шекспира, другой — из Гете, третий — из Данте...

Мужики-лагерники в кочегарке с таким же успехом могли бы сказать о себе. Один: «Я — Апокалипсис, глава 22-я». Другой: «А я — Евангелие от Матфея». И так далее, по эстафете, кто сколько помнит. И это была культура в ее преемственности, в ее изначальной сути, продолжающая существовать на самом низком, подземном, первобытном уровне. По цепочке. Из уст в уста. Из рук в руки. От поколения к поколению. Из лагеря в лагерь. Но это и есть культура, может быть, в одном из чистейших своих и высочайших проявлений. И если бы подобных людей и такой эстафеты не было на свете, жизнь человека на Земле потеряла бы смысл.

1980

Образ и давление времени

Открытое письмо

Секретарям Союза писателей СССР
Секретарям Союза писателей РСФСР
Секретарям Московской писательской
организации

Членам редакционной коллегии «Литературной газеты»

Членам редакционной коллегии «Литературной России»

Членам редакционной коллегии «Московского литератора»

Глубокоуважаемые товарищи!

Видные писатели и сотрудники аппарата, выполняя порученное им задание, проводили со мной долгие беседы об альманахе «Метрополь». Я не мог им ответить с достаточной обстоятельностью, так как, не будучи составителем «Метрополя», был знаком только с некоторыми работами альманаха. Из «Московского литератора» я сперва узнал, что произведения четырех писателей, мои в том числе, служат фиговыми листками, прикрывающими литературный срам, а затем та же газета опубликовала подборку отрицательных об альманахе отзывов почти тридцати членов Союза писателей. Работая в советской литературе пятьдесят лет, я, конечно, научился разбираться в механизме такого рода подборок, но меня смущало то, что среди осудителей было несколько людей одаренных. Мое смущение усугублялось тем, что не все участники альманаха были мне близки как художники. Во мне поселилась тревога.

Но вот последовали дни и недели, в течение которых кое-кто из осудителей стал заявлять знакомым и составителям устно, а один — письменно, что их отзывы газетой искажены, что не нравятся отдельные произведения, а в целом альманах хороший или даже очень хороший. Наконец я прочел весь альманах и, положив руку на сердце, могу теперь сказать: альманах действительно очень хороший.

Может быть, мне как участнику альманаха или, пуще того, как рядовому члену Союза писателей не пристало высказывать свои суждения руководителям союза, но, отвечу я, во-первых, мои настойчивые собеседники требовали от меня, чтобы я высказался, а во-вторых, некоторую надежду придает мне то, что к моему мнению, не всегда с ним соглашаясь, прислушивались Мандельштам и Ахматова, Василий Гроссман и Платонов. А вдруг прислушаетесь и вы?

В альманахе есть то, что Шекспир называл «образом и давлением времени». Огромное художественное наслаждение доставили мне рассказы молодого писателя Евгения Попова, который вошел в литературу, напутствуемый Василием Шукшиным. Ткань этих сибирских рассказов насыщена прочными, яркими красками, из слов рождаются не заводные куклы, а люди, тепловая энергия жизни. В отличие от несравненного Зоценко, который своих героев не любил (Попов, как и Зоценко, продолжает линию сказа), молодой писатель любит своих незадачливых героев, а известно, что искусство возникает тогда, когда сочувствие к людям сочетается с артистизмом чувства.

Мне думается, что Фридрих Горенштейн (имя мне доселе неизвестное) — серьезный писатель. Его Юрий Дмитриевич, Зина, слепорожденный Аким Борисыч, считающий себя выше и счастливее ослепших, — это характеры «капитальные», как любил выражаться Достоевский, характеры, обнаруженные автором «Ступеней». Учительский дух нашей отечественной литературы стал источником ее бессмертия, и Фридрих Горенштейн мучительно-страстно развивает проповедническую сущность русской художественной мысли.

Тридцатилетний Виктор Ерофеев обратил на себя мое внимание исследованиями, посвященными необычной личности де Сада, трудам Льва Шестова. В «Метрополе» опубликованы три его рассказа. Первые два я не отнес бы к его удачам, но третий рассказ, «Трехглавое детище», принадлежит к лучшим произведениям альманаха. Мастерски нарисованы престижный дачный поселок, сотрудники и коридоры института, страшная гибель Наденьки и не менее страшная гибель души Игоря. Вяземский как-то сказал о Василии Львовиче, о дяде Пушкина, что этот пожилой поэт годится отроку Александру в племянники. Я знаю иных литературных дядей, которые годятся в племянники Виктору Ерофееву.

Евгения Попова и Виктора Ерофеева исключили из Союза писателей, прибегнув к маскировочной формулировке: мол, приняли их раньше неправильно, книг у них нет, одни журнальные публикации. Но разве устав союза не растолковывает ясно, что в союз принимаются писатели и на основании журнальных публикаций? У нас часто ссылаются на горьковские традиции в работе Союза писателей. Меня в союз приняла комиссия, возглавляемая Горьким, когда число моих лет равнялось двадцати двум, а число моих стихотворений, опубликованных в журналах, не достигло и этой цифры, ни одной книги я не успел выпустить. В то же время в приеме в союз было отказано почтенному писателю, издавшему собрание сочинений. Традиция существует тогда, когда ей следуют, а не тогда, когда ее декларируют.

Конечно, сподручнее руководить пишущими, похожими друг на друга, как узоры на обоях. Но Союз писателей по самому своему замыслу должен быть союзом неповторимых. Наш трудный, долгий опыт показал и доказал, что исключение из союза не есть исключение из русской литературы. Один из осудителей альманаха подкрепляет свои инвективы цитатой из Пастернака, а сам небось голосо-

вал за исключение великого поэта из союза. Поговаривают, что изгнание двух молодых писателей из нашей среды есть инициатива главы московских литераторов Феликса Кузнецова. Я с ним не знаком, но, когда я обдумываю его речи и действия, у меня складывается впечатление, что человек он малосильный, растерявшийся, который хочет казаться волевым и жестоким. Что же, казаться жестоким легче, чем быть рассудительным.

Я хорошо понимаю, что руководит творческой организацией не просто, работы невпроворот, мероприятие набегаёт на мероприятие, и все же нельзя при этом ни на миг забывать о том, что нам досталась в наследство могучая литература, что у каждого из нас так мало вероятных возможностей в ней остаться, и поэтому вряд ли разумно отсекал надежные молодые таланты. На тех авторов «Метрополя», которые постарше, укоренились попрочнее, обрушился обвал экономических санкций, у всех (за одним-двумя, кажется, исключениями, впрочем, легко объяснимыми) задержаны набранные или сданные в типографии книги, рассказы, стихи, переводы, пьесы, принятые театрами, осуществленные киносценарии, а двух молодых, менее защищенных, выгоняют вдобавок из союза, хотя тот же Феликс Кузнецов провозгласил *urbi et orbi*, что никто не будет подвергнут репрессиям. Совесть не позволит мне оставаться в союзе и пользоваться его благами, если вы в ближайшее время не исправите ошибку и не восстановите в союзе двух не по уставу исключенных.

Полагаю, что я должен сказать несколько слов о тех, кто в литературе постарше.

Загадочная вещь — манера письма. Ничто так не привлекает современников, как новая, острая манера письма, и ничто не устаревает так быстро, как манера письма, существующая вне содержания. Я слышал от собратьев по перу, что манера письма Беллы Ахмадулиной мешает им при чтении ее рассказа «Много собак и Собака». Но если преодолешь эту преграду, то почувствуешь в прозе знаменитой поэтессы истинную боль, боль, без которой не рождается искусство. Вот и прочтен рассказ, заканчивающийся вопросительным знаком, и нашу мысль продолжают волновать и Шелапутов — новый бесприютный Сван, и фантомная фигура безукоризненного Пыркина, «человека никакого, опасного человека».

«Похороны доктора» Андрея Битова — вещь, которой суждена долгая жизнь. Портрет женщины-врача рисуется на наших глазах в день ее смерти, но в этом как будто бегло нарисованном портрете — вся ее жизнь, ее прошлое, ее близкие. Многие строки рассказа хочется прочесть вслух, как стихи.

Влиятельное лицо — Римма Казакова, — утверждая приверженность к целомудренной любви, обвиняет альманах в сексопатологии. Возможно, ее задело название рассказа Фазиля Искандера — «Маленький гигант большого секса», рассказа очень смешного и очень грустного. Что касается секса, то он есть только в ироническом названии. Фотограф Марат охотно хвастается своими гигантскими похождениями. Делает он это довольно ловко, так, что чита-

телю приходится самому решать — фантазирует Марат или говорит правду. Но когда уличный курортный фотограф рассказывает о своей встрече с одной из наложниц Лаврентия Берии — ни ему, ни нам уже не до шуток. Фазиль Искандер — один из самых популярных советских писателей, и какое счастье, что его популярность сопрягается с тонким, благородным вкусом, с многодержательностью. Русские читатели с гоголевских или, пожалуй, с фонвизинских времен привыкли к смеху сквозь невидимые миру слезы. Природа смеха Искандера несколько иная. Это смех кавказцев, победоносный смех людей, которые работают весело, а веселятся торжественно, живут трудно, а умирают легко.

Когда появился «Звездный билет» Василия Аксенова, Анна Андреевна Ахматова мне сказала: «Талантливо! Это заговорило новое поколение — уже не дети, даже не внуки, а правнуки». И радостно добавила: «Половину слов я не понимаю». А Ахматова редко кого хвалила, она принимала далеко не всех литературных ровесников Аксенова.

Как же могло случиться, что один из известнейших писателей, автор таких шедевров, как «На полпути к Луне» или «Дикой», не мог на протяжении одиннадцати лет пристроить «Четыре темперамента», пьесу с точки зрения цензуры безобидную? Произведение экспериментальное, оно не всем нравится, но оно есть, и легко предположить, что без этой пьесы личность Аксенова не может существовать, как не существует в нашем сознании Леонид Андреев, автор реалистических «Жили-были» или «Дней нашей жизни», без «Жизни человека».

Поразмыслим об этом.

В стихотворном разделе альманаха впервые — огромная подборка песен Владимира Высоцкого. Я не сказал бы, что он всегда хорошо владеет стихом, но некоторые вещи — первоклассные, истинная поэзия. Новое для меня имя — Юрий Кублановский. Это имя зрелого мастера. Его стихи с их богатым, свежим словом, удивительно разнообразными по музыкальной строфике и метрике, проникнуты высоким религиозным чувством. Тем же чувством дышат стихи Инны Лиснянской, одинаково сильной как в лирике, исполненной трагизма, так и в произведениях сюжетного характера, чему примером «Слепой». Зложелатели альманаха могут обвинить (и обвиняют) этих высокоталантливых поэтов в трансцендентности, но разве не трансцендентна вся русская поэзия — от Ломоносова и Державина до Блока и Ахматовой? Это может не нравиться, но с этим надо считаться, иного выхода нет. Совсем другой — Евгений Рейн, у которого шутка, ирония естественно и нежно сочетаются с душевной болью, низменность быта — с порывом в небеса, стих его живописен, и живопись эта броска, оригинальна.

«Московский литератор» опубликовал заявление Сергея Михалкова, касающееся меня: «Мне не понятна позиция С. Липкина. Представители национальных литератур, эпос которых он перевел и которые еще не вышли из печати (неграмотность фразы, уверен, принадлежит редакции, Михалков отлично владеет русским языком),

задумываются над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин!»

Действительно, в моей переводческой работе меня больше всего привлекало воссоздание памятников эпической поэзии — «Шахнаме» Фирдоуси, поэм Навои и Джами, эпоса киргизов «Манас», бурят — «Гэсэр», татар — «Идегей» (вещь, которую не могу опубликовать), кавказских «Нартов», пространных эпизодов индийской «Махабхараты». Я благодарен судьбе за то, что эта работа привела меня к изучению истории, быта, языков народов Востока, открыла мне философские прозрения мусульманства, буддизма, индуизма. Я благодарен судьбе за то, что во время войны в рядах 110-й кавалерийской дивизии я делил с воинами-калмыками опасность боев и тяжкую горечь нашего временного отступления. Когда в годы сталинского геноцида решили ликвидировать как нации калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, я с ума сходил от невыносимой боли, я плакал по ночам, вспоминая высланных друзей. Эта боль мучает меня и поныне. Трагедии калмыков и чеченцев я посвятил страницы своих поэм, которые до сих пор не напечатаны, хотя я их не раз предлагал различным редакциям. Мы помним, как сталинские литературоведы и историки указывали народам: пусть они вычеркнут из памяти, втопчут в прах свое национальное достояние — эпические поэмы. К счастью, из этого ничего не вышло. Подумал ли любимец советской детворы, что он невольно продолжает бессмысленное дело варваров, указывая «представителям национальных литератур», как поступить — телерь уже не с подлинником, а с переводом? Задумался ли Михалков над тем, что в наших республиках есть образованные, умные, честные ученые и писатели, которые в указах и подсказках не нуждаются? Да и с чисто литературной точки зрения филиппика Михалкова бессмысленна. Можно назначить председателем Союза писателей, но нельзя назначить писателем, назначить поэтом-переводчиком. Будут другие переводы восточных эпических поэм, они будут лучше, чем мои, но моих они не заменят — точно так же, как юмор нового детского поэта не заменит михалковского юмора.

* * *

Друзья меня спрашивают, жалею ли я о том, что из-за участия в альманахе «Метрополь» я оказался на старости лет в трудном положении. Да, жалею, жалею о том, что представлен в «Метрополе» весьма небольшим количеством стихотворений.

Анатолий Франс рассказал о набожном акробате, который служил Богородице с помощью фокусов: иначе он не умел ей служить. Авторы альманаха — писатели очень разные по манере письма, по кругу тем, по пониманию основ художественности. Но их сближает (если мне будет позволено применить к делам нашего цеха столь высокий термин) экуменическое начало. Все авторы хотят, каждый по-своему, служить Богу, чье имя — Правда, и не хотят служить дьяволу, чье имя — Ложь.

Декабрь 1979 г.

Апрель

Надежда АЖГИХИНА

Перед рассветом

— Я разуюсь, а то там вода, наслежу. — Он исподлобья, вопросительно глянул на нее, переступил с ноги на ногу, и на линолеуме остались две неровные серые лужицы.

Она кивнула, не двинувшись, так и продолжала стоять, прислонившись к дверному косяку, в коротком линиялом халатике и тапочках на босу ногу.

Он быстро снял куртку, шарф, повесил в стенной шкафчик, истоптав окончательно всю крошечную прихожую, снова вопросительно посмотрел — чуть искоса, с затаенным лукавством, как смотрят бесконечно любимые и балованные дети на родителей, как он всегда смотрел, и, быть может, на других женщин тоже. Вдруг, засуетившись, стал искать тапочки, вывалил из галошницы старые растоптанные туфли, наконец нашел, но не по размеру, маленькие, кое-как втиснул ноги.

— Чаем напоишь?

Она с усилием оторвалась от косяка, пошла на кухню, и он, волоча большую коричневую сумку на длинном ремешке, скользнув глазами в глубину темной комнаты, следом.

В кухню пробивался жидкий сонный свет от фонарей внизу — во дворе, на противоположной стороне улицы, обозначал потускневший бок заварного чайника на подоконнике, белые панели холодильника; где-то за портьерой, отодвинутой от окна, угадывались часы. В доме напротив обреченно светились бледные пунктиры лифта.

— О, Господи, который час-то? — старушечьи пробормотала она, щелкнула выключателем, и через мгновение кухню залило бело-желтым, из ввинченного в потолок, как в поезде, шестигранного пластикового плафона, и это мгновение до света воздух как будто медлил, решая, впустить ли пришельцев, отринуть ли ночь, сон, которым дышит вокруг все живое.

Часы не тикали, начиненные электрическим механизмом, стрелки их, чуть изогнутые от частых прикосновений, показывали четверть пятого. Чайник грелся на плите, поблескивая единственным начищенным боком, на столе ютились уныло пустая сахарница с прилипшими от влаги крошками сахарной пудры, пепельница, большой коробок спичек с неровно оторванными краями. Он, устроившись на табуретке между столом и холодильником, курил «Беломор». Неожиданно холодильник затрещал, и он вздрогнул от этого звука.

— Так чем обязаны такой чести? — спросила она, шурясь от света и от сна, садясь напротив.

— Двушка была только одна, понимаешь? — Он по-детски простодушно посмотрел на нее, и лукавство затаилось в уголках глаз. — И ты автомат съел. Ты не слышала телефона? Я посреди Нагатино, без копыа, доехал до трех вокзалов на ассенизаторе каком-то, от туда пёхом. Вот промокли ноги. У тебя нафтизина нет? Два дня как отболел. Бронхит.

— Нет.

— Уж, — он покачал головой, рассмеялся, — думал, он меня не доведет, представляешь, пьяный в дрезину и говорит: «По-ом, найдем кореша». Насилу отвязался на трех вокзалах. Скажу тебе, на площади шлюх — даже не думал, что их сразу столько может быть. Старые. Поношенные. И все с авоськами или с сумками хозяйственными. Представляешь?! Как будто на рынок собрались. Во дела...

— Что же ты не поехал куда-нибудь поближе? — Она смотрела на него с бесстрастным интересом, как смотрит начинающий биолог, готовясь препарировать жука или лягушку, и голос ее звучал отрешенно, похожий на холодный и странный свет на кухне в ночном городе. Этот голос его обескуражил.

— Я к тебе ехал, — сказал он, отложив папиросу. — Я — к тебе пришел.

Холодильник, взревев, дернулся и замолк так же беспричинно, как и загудел.

Она посмотрела на холодильник, на часы, унеслась взглядом в ночь с пунктирами лифта напротив, за окном, и как будто вдруг вспомнив про собеседника, вынырнув из темноты — на него.

— Изматываешься? — Он снова закурил. — Как там твои эти, доктора, кандидаты? Все к восьми, как на поверку?

— Я теперь там не работаю.

Он отложил коробок спичек.

— Как так? Почему? Тебе же обещали хорошую ставку, когда институт закончишь...

— Модернизация производства. Теперь карточки компьютер учитывает. А компьютеру в комплект полагается социолог. Секретарши в эпоху хозрасчета — анахронизм.

— Ну это хамство, — возмутился он. — Сколько лет человек работал, надеялся, а они... Ты бы в профсоюз пошла, что ли. Заморочили человеку голову и под зад коленкой...

— Я сама ушла. — Она облокотилась на стол. — Здесь, недалеко. В кооперативе.

— Что? — не понял он. — Кем?

— Машинисткой. Работа сдельная. Очень много, между прочим, было претендентов. Зато спокойно, и заказчики хорошие. В основном с печатного текста, им важно оформить правильно. Они там по технической информации, меня из института порекомендовали, так бы не устроилась.

Он затынулся, закашлялся, глотнул дым.

— Машинисткой, значит?

— Очень мне повезло с местом. Главное, чтобы кооператив этот подольше продержался, поговаривают, скоро такие закроют, останется один общепит.

— Сортиры оставят. Доход больно хороший. Рэкет только одолевает. Твои приятели спокойно спят?

— Это организация серьезная. И не такой у них доход, как кажется. Действительно людям помогают. Почему все плохие как один?

— А что сказали в институте о твоей новой работе?

— Ничего не сказали. — Она повернула сахарницу крошками к себе.

— Никто-никто не поинтересовался, как это ты вдруг, интеллигентный человек, пошла в такое предприятие? — Он сощурился.

— Никто-никто, — передразнила она, — я же бросила институт, когда мама умерла, я же тебе говорила...

— Но ты же собиралась восстановиться, ты же училась, Любка...

— Не восстановилась. — Она поставила на стол чашки без блюдец, бросила две ложки в темных разводах.

Он сидел сгорбившись, курил, потом выпрямился.

— Ты идешь по легкому пути, Люба, — голос его обрел уверенность, — я о тебе такого не думал.

Она остановилась, долго и внимательно смотрела на него.

— Наверное, ты прав.

Пронзительно засвистел чайник, его звук дрожал в кухне после того, как выключили конфорку.

Люба налила чай, достала из холодильника плавленый сырок, масло.

— Подожди, у меня есть. — Он вскочил, сильно качнув стол, так что чай пролился из чашек, вытащил из сумки банку баклажанной икры и еще одну, стеклянную, с пластмассовой крышкой. — Вот. Кажется, каша с мясом. — Он отдал в руки Любе, потрогал подбородок. — Теща дала.

Люба выкинула содержимое банки на сковородку, швырнула масла.

— Зачем ты от них ушел?

Он сидел, сложив руки под коленями, согнувшись, замотал головой.

— Не могу больше. Этот дом, эта семья — не мое. И им не хочу портить...

— Напрасно ты ушел.

— Напрасно?! — Он с ожесточением выпрямился. — Ты говоришь, напрасно. А заявлять, что я съедаю больше, чем в дом приношу, это как, не напрасно? Рубль двадцать выдавать по утрам любимому зятю — это что? — Он скрипнул зубами. — Напрасно... Нет уж...

— Надо тебе вернуться. — Люба достала из сушки тарелки, выложила кашу из сковородки. — Ты ведь всегда возвращался.

— Мы договорились, — почти радостно объяснял он, — в субботу и воскресенье Санька у меня, то есть у родителей. Зоопарк, цирк. Патриаршие... Москва! Понимаешь, Москва, а не это Орехово-Кучево...

Люба потянулась за «Беломором».

— Не кури. По крайней мере это не кури.

Она взяла папиросу, зажгла.

— У Нины что? — Он быстро заморгал, как всегда, когда начал волноваться, и на лбу обозначилась морщинка.

— Легает. Виталик на пятнадцатке. Ездим с ней к маме иногда, вот оградку покрасили в прошлые выходные. Нинка не всегда по воскресеньям свободна.

— Замуж не вышла?

— Замуж выходят, когда квартира есть. А мы тут с ней да с Виталиком втроем, и на очередь не ставят — лишних семьдесят сантиметров на душу. Вот она все хочет на кооператив налетать.

— Мне тут, знаешь, дали замену, — он взялся за кашу, — этика и психология семейной жизни... Горячо! Так вот, баба в декрет ушла, ну мне и дали. Спрашивают, а я иногда не знаю, что и отвечать...

— Нашли лучшего педагога. — Она смотрела теперь насмешливо.

— А что? И лучшего. Баба такой предмет вести не может. Итак обезмужичела школа вконец. А девчонки сейчас — вы такими не были...

— Пристают?

— Еще как. После уроков остаются, рассказывают — такого не слышал.

— И ты?

— Говорю, надо ждать настоящей любви.

— Нам, положим, ты тоже так говорил.

— Что, неправильно?

— Не совсем правильно. Ты литературу не начал вести?

— Нет... Не могу рассказывать о писателях, которые не нравятся. — Он покончил с кашей, теперь сосредоточенно размешивал чай.

— Кстати, ты наврал нам тогда, я все забывала сказать — помнишь, про молодого Державина? Это не о Державине было стихотворение...

— Да, я ошибся тогда. Тоже потом прочитал. А все-таки какой у нас кружок был, а? — он рассмеялся. — А Гришка-то, Гришка, настоящим писателем стал! Книжку выпускает. За свои, правда, деньги. Но все равно — книжища! Обещает посвящение написать — пер-

вому учителю. — Он снова засмеялся, по-детски, и стал похож на пионера из старого учебника.

— Знаешь, какие стихи недавно он написал? — Сосредоточился, откинув голову, пошевелил губами, будто припоминая. — Вот, слушай:

Слово, не сорвись на стон,
Опасайся стать соленым,
Ты — последний мой заслон
На лугу вечнозеленом,
Где лежим июньским днем
В зелени травы измятой
Под прицельным артогнем
Роковых восьмидесятых.

Зазвонил телефон.

Они оба разом посмотрели на аппарат с перетянутой изоляцией трубой, Люба подошла.

— Да, у меня гости. Старый знакомый, Сергей, я тебе говорила. Ну, тот, что практику у нас в школе проходил, географию, и кружок по литературе вел. Шереметьево? Что еще за рейс такой? А то приезжай, познакомлю. Ну, привет шефу.

— Кто это? — потрясенно смотрел на Любу.

— Мишка. — Она снова села на табуретку, нога на ногу, запахнула халатик.

Помолчали.

— У вас что, серьезно? — Он пытался затянуться потухшей папиросой.

Люба пожала плечами.

— Он кто?

— Шофер. В управлении работает, здесь рядом. Начальника встречает из Милана. Что за рейс такой — пять двадцать, — она посмотрела на часы. — Наш, аэрофлотский, как пить дать. И еще задерживается.

Сергей наконец затянулся, посмотрел на нее, потом на папиросу и снова на Любу.

— Деньги, значит, водятся, — констатировал он. — Калымит еще.

Люба отвернулась к окну, туда, где дышала ночь.

— Черт знает что, ну погода, — проворчал он, — вот ноги снова промочил, точно ведь заболею. Заболею, а?

Люба не отвечала.

— Слушай, и давно вы... знакомы?

— Год примерно.

— Значит, — он положил руки на стол, — значит...

— Это значит, что когда ты последний раз уходил из дома, мы были уже знакомы. Именно так. А что тебя удивляет? — Она наконец повернулась к нему, и он изумился, увидев глубокую складку от уголков носа к губам, он ее раньше никогда не замечал, эту складку, такую же, как у женщин в автобусе, идущем от последней станции метро.

— Но ведь ты его не любишь? — почти выкрикнул он.

— Слушай, что тебе надо, а? Чего тебе от меня вообще все время надо? Ты никогда не интересовался, из чего состоит моя жизнь — и она состояла из того, чтобы ждать твоих звонков среди ночи, ждать, пока ты снова поссоришься с женой. Тебе просто было всегда плевать, что со мной, хоть я содхну, хоть меня кто изнасилует, когда я добираюсь ночами в твоё Кукуево... Вот ты снова появился — зачем? Чтобы мне опять морочить голову?

— Я — морочил тебе голову?

— Когда у меня умирала мама, ты не пускал меня к ней в больницу, ты требовал, чтобы я читала твои дурацкие конспекты к урокам в это время, а потом, когда стало совсем плохо, ты исчез, ты испарился, ты забыл начисто, что со мной!

— Да? — Он растерянно смотрел на нее. — Но я...

— Тебе нужно было всегда только взять, урвать чужой души, согреться, набраться сил, взлететь, а все остальное — до фени, до лампочки...

— Может, мне уйти?

— Как хочешь.

— Ну, я ухожу. — Он продолжал сидеть и смотреть на нее.

— Как хочешь... Я не могла понять долго, несколько лет. Ты был кумиром, необыкновенным, ты жил духовной жизнью, не как все, ты думал о высоком, мечтал о призвании. Мы все, все просто сдвинулись на тебе! И потом, когда я тебя встретила опять, после выпускного, и все началось, я была поражена, я балдела от одного твоего голоса: Макаренко! Шаталов! Все они просто в подметки тебе не годились. И я не могла понять, отчего так мучаюсь, почему же мне так плохо с самым необыкновенным человеком. И почему ты так поступаешь со мной, со своей женой...

— Но я... — начал было он.

— Послушай. — Она начала успокаиваться, откинула со лба упавшую прядь. — Я не могла понять, почему ты мечтаешь преподавать литературу, а ведешь географию. Почему мечтаешь развестись, а живешь в семье. Не занимаешься ребенком, подожди. — Она махнула рукой. — Ты просто во всем привык себя чувствовать правым. А ты кругом не прав и боишься об этом даже подумать. Ты боишься жизни, вот что. И ты болтун, прости меня. Не ты один, вы все такие, боитесь настоящего. Роковые, артобстрел, — передразнила она. — Брехня все это. Ни на что все ваше поколение не годится. Между прочим, и стихи эти я уже слышала.

Он сидел, опустив голову.

— А я тебе была нужна — для того же. Чтобы от жизни спрятаться. Чтобы думать о высоком — за мой, понимаешь, счет. Ты здорово устроился, за счет жены — одно, родителей — другое, за мой — третье...

Она замолчала, встала, зажгла горелку под чайником и снова села.

Сергей молча курил.

— Да, — наконец проговорил он, — я и не думал, что тебя все это так затянет.

Люба смотрела на него оторопело.

— Любка, Любка... Я так долго ждал, мучился и думал, что есть человек, который до конца — мой, понимаешь, мой! Для которого я — это все, который все простит, поймет. Ведь это самое главное, чтобы был человек, который для тебя готов на все. Я когда об этом думал... — Он смотрел снизу вверх, послушно и беззащитно, как ребенок, такой светлоголовый мальчик с карими глазами, в которых прыгают золотые искринки и где-то в уголках прячется улыбка. — Любка!..

— Ты никогда меня не любил!

— Ну иди же сюда...

— Никогда, за все эти десять лет!

— Иди сюда. Черт возьми, почему у тебя выключатель всегда не на месте...

Телефон звонил из последних сил. Люба, запутавшись в халате, больно ударилась ногой об угол табуретки.

— Да. Я не слышала. Да. Что ты орешь? Ну и пусть задерживается дальше. Да. Не подходила, потому что не могла. Да! Потому что занималась любовью. Иди к черту. — И повесила трубку.

Сергей появился на кухне, запахивая продранный бухарский халат, закурил. Спичка на мгновение озарила его, шею, щеку, грудь, подбородок, слишком женственный и нежный для тридцатидвухлетнего мужчины.

— Не зажигай. Так лучше.

Телефон зазвонил снова.

— Да. Да! Я тебе сказала как есть. Я не издеваюсь. Встречайся, и счастливо встречать. Слушай, оставь меня, а?!

Сергей взял было чайник и тут же отдернул руку.

— Распаялся, кажется.

— Воды налей.

Он снял полотенце в подпалинах, держа на вытянутой руке, налил воду, которая тут же окутала его паром. Люба сидела, потирая ушибленную ногу.

— Есть хочется.

— У нас председатель решил клиентов кормить бесплатными завтраками, чай и бутерброды, на столиках тут же. Очень пристойно, клетчатые салфетки, как в пиццерии. Так один хмырь третий день приходит изучать каталог, ровно к одиннадцати. Бутерброд съедает и уходит. Я его спросила вчера, будет ли на следующей неделе, он отвечает — непременно, хочет вполне оценить свои возможности. Так и сказал. Снова сегодня заявится, наверняка.

— Ты бы восстановилась в институте все-таки. Хотя, конечно, это все формальности. Но нельзя же так, — говорил он с набитым ртом.

— Помнишь, ты всех нас, весь кружок возил в Переделкино? Как мы над могилой Пастернака плакали? Я точно плакала, помню.

— Ну, я прямо ошалел — думаю, такая будет классной дамой. Не завучем, а именно классной дамой, как раньше, а тут...

Люба затушила папиросу.

— Тебе к первому уроку?

— Ко второму. Девятый «В», головорез на головорезе. А стихи — стихи эти на самом деле другой парень написал, Гришкин знакомый. Но у Гришки тоже есть об этом... Вот что, ты будильник поставь на полдевятого, завтра трудный день будет. Комиссия какая-то придет...

Снова зазвонил телефон. Люба подняла трубку, но оттуда на всю кухню раздавались короткие гудки.

Утром шел дождь. Мелкий, осенний, частой сеткой накрывший город. Думать о дороге на работу с пересадками и автобусами под таким дождем было мучение, и думать о том, сколько надо сделать за день, тоже было мучение, и под сеткой занудного бесконечного дождя казалось, что вся жизнь монотонна и тащится через пень колоду, как не должна, как ей нельзя идти. И казалось, пешеходы, утренние, хлюпающие носами, понимали это и, смирившись с неправильным течением жизни, тащились на работу, по делам, к своей нескончаемой мороке.

Чай с утра им попить не пришлось — заварка кончилась, и хлеб зачерствел непоправимо. Она не успела как следует погладить юбку, и ботинки у него за ночь так и не просохли.

— Слушай, — вдруг остановился он, сняв уже с вешалки куртку, — мне же сегодня взносы платить, аж за три месяца. — Он растерянно посмотрел по сторонам. — Еще вчера надо было, до сегодня ведомость задержали... — Он пошарил в карманах, потом вывернул, по прихожей покатались двадцать копеек. — Нет у тебя десятки на неделю? До двадцать восьмого, до получки?

— У меня только три. — Люба вытащила кошелек из сумочки. — Точно, три.

— Попробую родителям позвонить. — Он заглянул в кухню, где стояли часы. — Может, успею.

— Погоди, — остановила Люба. — Дай-ка я сначала соседке наберу, здесь, в крайнем подъезде.

Люба позвонила без четверти девять, когда я еще толком не проснулась — вчера допоздна дежурила в газете, номер шел трудно, материалы из моей полосы то снимали, то снова ставили, так что когда наконец все, хоть и с ощутимыми потерями, было подписано, вместо законной радости пришла какая-то вялая опустошенность и привычная после дежурства надсадная головная боль.

Люба не в первый раз брала в долг и отдавала аккуратно, в ею же самой назначенный срок. Да хоть бы и не в срок.

Я быстро оделась и спустилась в наш двор, затянутый туманной сеткой дождя. Они вышли из Любиного подъезда, раскрыли смешной розовый зонтик, который помню без малого лет восемь. Любин спутник — его лицо показалось знакомым — выглядывал из-под капюшона по-мальчишески удивленно, как будто этот мир все еще продолжал его поражать, а она, тщательно накрашенная, в старень-

ком пальтишке и позапрошлогодней моды сапогах, жалась к нему под зонтиком, слишком хрупким и беззащитным.

Я отдала деньги, и мы расстались, я двинулась к дому, они — через двор, наискосок.

Уже на последней ступеньке подъезда я оглянулась. Они прощались, остановившись на пяточке между детской площадкой с покосившейся песочницей и мусорными контейнерами. Он наскоро коснулся ее щеки и устремился направо, к арке, чтобы слиться с торопящейся толпой.

Люба на мгновение осталась одна под зонтиком, потом, неуверенно ступая, боясь угодить в лужу, зашагала налево, к подземному переходу. Что-то было щемящее и жалкое в ее нескладной фигурке, в затрепанном пальто, затерянной среди бесприютности этого города, под горестным дождем, и захотелось немедленно догнать ее, утешить, сказать какие-то необходимые и такие простые слова...

Я догнала ее уже у самого подземного перехода.

Люба шла, ничего и никого не замечая вокруг. Глаза ее были широко раскрыты, и все лицо светилось таким оглушительным счастьем, что и утренняя суета, и дождливый неуют, и нескладницы городских встреч и расставаний рядом с ним, этим счастьем, потеряли всякий смысл. Зонтик бросал на Любу едва заметную розоватую тень, и она медленно проплыла в розовом облаке по ступенькам подземного перехода вниз, ни с кем не сталкиваясь, никого не задевая.

Я так и не решилась ее окликнуть.

Баба сеяла горох...

...откуда, как появляются в голове эти слова, из какого подполья они вылезают и просятся на язык, ведь ничего же не помнишь, никто им тебя не учил, никто не жужжал в ухо, не писал перед носом, не печатал в том, что привык каждое утро доставать из почтового ящика и наскоро проглядывать в трясучем автобусе и оглушающем метро, — нет, всего этого не было, а если ты их когда-то и слышал, то в таком глубочайшем детстве, от которого и следов-то в памяти уже не осталось, да и был ли он, след этот, — неизвестно, так же как и неизвестно — есть ли в этом возрасте память; и что бы там ни говорили разные ученые, что бы нам самим ни казалось, но если хорошенько подумать — откуда ей в таком возрасте взяться? Нет, она появляется позже, отштамповывается из бед и переживаний, выжигается самой жизнью на ничем не защищенных, таких нежных, нетронутых никакой гадостью душах, а когда жизни еще почитай что и нет; так, всего лишь год или чуть больше от роду; когда все несчастья — это отнятая соска, ушибленный палец или опять заболевший живот — о какой, спрашивается, памяти можно здесь говорить?

Но почему тогда, стоит только взять в руки мягкое, пахнущее молоком и еще чем-то тельце сына, посадить себе на колени и начать подбрасывать — пока чуть-чуть, самую малость, чтобы сразу не испугать, — и слова эти сами выскакивают из памяти, и ты еще не успел удивиться, а язык их уже произносит, и одно цепляет другое, и вот тебе уже кажется, что не сын, а ты сам сидишь на коленях, смотришь на огромную фигуру отца, на парящее где-то там, в высоте, как далекое светило, лицо, и тихо подпрыгиваешь, сжимаясь от сладкого, почти настоящего испуга, цепляешься за ходящие вверх-вниз руки, а те живут сами по себе, ловят ритм и с каждым разом поднимаются все выше и выше, и вот уже сын взлетает, отрывается от коленей, и под тобой все тоже угрожающе проваливается вниз, взгляд скользит по стене, надвигается потолок, кажется — еще немного, и он обрушится на твою голову, и ты вжимаешь ее в плечи, и так хочется завизжать, но крик беспомощным комком застревает в горле, руки победным жестом выпрямляются до упора, сын на секунду зависает, впиваясь взглядом в так сильно вдруг изменившийся мир, руки ослабляют нажим, и ты начинаешь падать, не быстро, нет, томительно-медленно, и в то же время стремительно сближаясь с запрокинутым вверх лицом, и поневоле зажмуриваешь глаза — вот-вот врежешься, но что-то мягко останавливает падение, тело вновь обретает вес, и ты опять на коленях, и крик облегченно покидает горло, сын открывает глаза, выпрямляется, еще до конца

не веря, хочет избавиться от твоих рук, слезть, но ты его крепко держишь, раздвигаешь колени и... сам спиной летишь вниз, чтобы затормозить у пола и вернуться обратно...

Прыг-скок, прыг-скок...

Но нет, все это ерунда, пустая кажимость, игра ума и воображения, ничего такого нет, есть только взлетающий над твоими коленями сын, и есть взрослый ты, подбрасывающий его в такт каким-то бессмысленным, непонятно откуда выскакивающим словам:

Обвалился потолок...

Да и какая разница — помню я их или не помню, конечно, не помню, просто не могу помнить по определению. В том-то и вся прелесть детства, что каждый день начинается заново, без груза вчерашних забот и несчастий, без этих дурацких мыслей и переживаний, которые, хочешь ты того или не хочешь, все равно как назойливые мухи лезут в голову, не оставляют в покое даже здесь, дома. В том-то и счастье, что не надо думать — что было вчера, сегодня, не надо раз за разом перемалывать это в своей памяти, рассчитывать, прикидывать, пытаться сообразить — что сулит завтра, какую еще гадость подстроит тебе то ли жизнь, то ли судьба, то ли еще что-то. Не надо нервничать, метаться, постоянно выбирать между плохим и еще более худшим. Не надо никуда ходить, ни в чем участвовать, постоянно оказываясь на перепутье, где направо пойдешь — честь потеряешь, а налево пойдешь — жизнь не сохранишь. Вообще ничего не надо! Надо только жить, расти, что и так происходит, само собой.

Так что радуйся, сын. Радуйся, пока можно. Пока нет детского сада, куда тебе надо будет уходить из теплого, родного дома, уходить в темноту и слякоть, в холод и враждебность, в паутину бессмысленных и непонятных требований, которые зачем-то обязательно надо соблюдать, а иначе крик, тычки, оплеухи и — самое страшное — злоба во взрослых глазах; где тебе самому придется учиться стоять за себя, отвечать ударом на удар, хитрить, обманывать, изворачиваться и ждать, ждать, когда же за тобой придут и уведут наконец из этого жестокого, сразу опостылевшего тебе места. И вернувшись домой, не отдыхать, нет, а со страхом думать, что вот... завтра утром... опять... Пока нет школы, где ты впервые пожалеешь о том, что так быстро кончился детский сад, где вместо одной-двух воспитательниц — пусть плохих, но уже в чем-то привычных, да и откуда их взять среди нас — хороших? — ты будешь иметь целую кучу учителей — калейдоскоп в лучшем случае скучных неудачников — а кто из нас удачник? — хоровод озабоченных дисциплиной и успеваемостью людей, и к каждому надо будет приспособливаться, а иначе нельзя, никто с тобой здесь носиться не будет, кому нужна здесь твоя индивидуальность, до конца еще не задавленная искренности, непосредственности, личности, в конце концов? Кому?! Всем только мешает. Мешает успешно отправлять школьную службу, мешает непонятностью, непредсказуемостью и многим, многим другим. На кой, спрашивается, нужны педагогу эти личности, если их в классе 30—40 без малого? Если надо успеть, не выйти из графика,

вдолбить в головы все, что полагается по программе?.. А потом еще будет работа. Любимая — нелюбимая, интересная — неинтересная, перспективная — бесперспективная — кто знает? Как повезет. И еще будет жизнь, где каждый за себя и один против всех, где все время надо быть начеку, чтобы не обошли, не обделили, не выкинули за борт, чтобы урвать, отхватить, так как на всех никогда не хватало и не хватит. Семья, свой ребенок, глядя на которого ты будешь вспоминать и с ужасом думать, что вот, подрастет, и начнется... Все будет. А пока... пока живи сегодняшним и радуйся. Взлетай под потолок и возвращайся обратно, подпрыгивай и проваливайся вниз, кричи, смейся и забывай...

Прыг-скок, прыг-скок...

Вот так, вот так. И не дрейфь. Главное, ничего не бойся. Ведь пока все нормально. Ты с нами, мы с тобой. Нет еще ни детского сада, ни школы, ни всего остального. Есть только мы, родной дом, где все твое, все для тебя. Может, и не самый лучший, но и не хуже многих других. Есть мебель — видишь, совсем новая, если ее не ломать и ухаживать, она еще может послужить долго; ковры — валяйся на них, играй, только не пруди; книги — подрастешь и будешь их читать, только не очень верь; телевизор — пусть пока черно-белый, это ничего, открытка уже есть, немного поднакопим и будет цветной; а летом опять поедем на Юг, к морю, солнцу, фруктам, будешь купаться, загорать, я тебе выловлю краба, мы засушим его, привезем домой и поставим в сервант, к ракушкам и хрусталу...

Баба сеяла горох...

И вообще, не будем загадывать. Кто знает, что там, впереди. Глядишь, еще и пробьемся. Должно же это когда-нибудь прекратиться. И начаться совсем другое. Спокойствие, уверенность, счастье. Так почему это не может начаться с тебя? Почему?! И кто сказал, что не может? Может. Должно. Просто обязано. Ведь начало уже положено — тебе не придется корячиться, ломать голову, как выкроить из худосочной зарплаты деньги на мебель, стервенея от тоски, газеть на облупленные стены, разохшийся, взрывающийся под ногами паркет, ходить в тоскливой одежде времен ударных строек оптимизма. Всего этого у тебя уже не будет. Ты ни в чем не будешь нуждаться — я обещаю. Я все сделаю, чтобы у тебя этого не было. Чтобы у тебя все было по-другому, все иначе. Черт с ними со всеми, пусть думают обо мне, что хотят, пусть сами играют в эти игры, а я нет, я не буду. Я буду жить для тебя. Только для тебя. И плевать я хотел на все эти собрания, заседания, митинги, голосования — если им больше делать нечего, пусть сами этим и занимаются, а у меня есть ты. И гори оно все остальное ясным огнем. Все равно все будет так, как будет, а не так, как они хотят. И в этом «как будет» каждый должен найти свое место сам. И я найду его, найду и передам тебе, сын. Уже почти нашел. А ты передашь потом своему сыну, тот своему, и так дальше, дальше, дальше. Пусть они кричат, пусть чего-то требуют, а я буду молчать, сожму зубы, и буду молчать, молчать и все делать так, как надо, как требуют, как от меня хотят, не эти, нет, от этих ничего не зависит, а другие, от

которых зависит все, буду делать, чего бы мне это ни стоило, потому что со мной ты, со мной всегда будешь ты, мой сын!

И все будет отлично, сын, все будет хорошо, плюнь на мои страхи, это я так, чтобы немного себя поугаить, а на самом деле мы с тобой уже на коне, видишь, как он нас подбрасывает, переносит через рвы и канавы, бугры и буераки, мчит туда, где ждет нас ровный надежный путь, твой путь, сын...

Прыг-скок, прыг-скок...

И нет у нас никакого прошлого, все уже позади, только будущее, только вперед, а стишата эти со словами дурацкими — что ж, бывает, слышал где-то и забыл, и теперь кажется, будто запомнил еще в детстве, будто помню, как подпрыгивал на коленях отца, как руки его подбрасывали меня вверх и ловили у самого пола, а губы шептали: «Я все сделаю, сын, я все буду делать так, как надо, сожму зубы и буду молчать, молчать...»

Обвалился потолок,

Прыг-скок, прыг-скок.

*Литературно-художественный
и общественно-политический альманах*

«АПРЕЛЬ»

Выпуск третий

Редактор *Е. Б. Аузан*

Оформление художника *А. Ю. Литвиненко*

Художественный редактор *Н. Д. Смольникова*

Технический редактор *Е. Б. Николаева*

Корректор *А. В. Федина*

Н/К

Сдано в набор 24.07.90. Подписано в печать 04.12.90. Формат 60×90^{1/16}. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,00. Усл. кр.-отт. 20,25. Уч.-изд. л. 26,39. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1187. Цена 4 руб. 50 коп. Изд. № 8.

Советско-британское издательство «Интер-Версо»
107078, Москва, Садовая-Спаская, 20

Издательство «Международные отношения»
107078, Москва, Садовая-Спаская, 20

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР.
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

4 р.50 к.

520